ЗНАМЯ

ISSN 0130-1616

12/2010
декабрь

индекс: 84471

Национальная литературная премия
Ивана Петровича Белкина,

«автора» пушкинских повестей

присуждается за лучшую повесть на русском языке,
напечатанную впервые в текущем году.

*Правом выдвижения на премию обладают
периодические издания, издатели, творческие организации,
критики, редакторы, литературные обозреватели*

Жюри этого года

Председатель жюри
Александр Эбаноидзе,
писатель, главный редактор журнала «Дружба народов»

Гарри Бардин,
кинорежиссер

Евгения Вежлян,
литературный критик

Алла Гладкова,
главный редактор издательства «Время»

Евгений Ермолин,
литературный критик, обозреватель

Координатор премии
Наталья Иванова

При генеральной поддержке
**Фонда «Президентский центр
Б.Н. Ельцина»**

Размер премии — 150.000 руб.
Премии финалистам — 50.000 руб.

Выдвижение заканчивается 15 декабря 2010 г.

*Присылать выдвинутые произведения в количестве 6 экземпляров следует
секретарю премии **Марине Сотниковой** с пометкой «Премия Белкина»
по адресу: 123001 Москва, ул. Большая Садовая, дом 2/46
тел./факс 699-52-83*

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

выходит с января 1931 года

содержание

12/2010 декабрь

3 Максим Амелин. **Проникновенный свет.** *Стихи*

6 Анатолий Курчаткин. **Полет шмеля.** *Роман. Окончание*

108 Наталья Николенкова. **Чуйский тракт.** *Стихи*

113 Александр Басманов. **Возраст любви.** *Рассказ*

124 Мария Тиматкова. **Разлука.** *Стихи*

126 Андрей Тавров. **История не про нас.** *Рассказ*

136 Павел Лукьянов. **Запомни, как выглядит жизнь.** *Стихи*

138 Ф.К. **Стихотворения В. Мааса**

карт-бланш Анны Кузнецовой

144 Екатерина Завершнева. **Бабушка.** *Рассказ*

мемуары

154 Евгений Сидоров. **Записки из-под полы**

критика

167 Светлана Шишкова-Шипунова. **Жизнь и смерть интеллигента**

технологии

172 Владимир Березин. **Соглядатаи, клоуны и сценаристы**

нестоличная Россия

178 Виктор Коваль. **Рождество на водах**

Россия без границ

189 Мая Ульрих. **Копелев в Германии**

наблюдатель

рецензии

197 Дарья Маркова. — **Марина Бувайло. Игры**

199 Артем Скворцов. — **Андрей Василевский. Все равно**

202 Анастасия Ермакова. — **Игорь Гамаюнов. Свободная ладья**

204 Мария Михайлова. — **Между сердцем и временем: Воспоминания об Александре Дейче.** *Составление: Е.К. Дейч*

206 Елена Степанян-Румянцева. — **Н.А. Дмитриева. В поисках гармонии: Искусствоведческие работы разных лет.** *Редактор-составитель С.Ф. Членова*

208 Евгений Степанов. — **Е.И. Зейферт. Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины XX — начала XXI веков**

210 Юлия Рахаева. — **Эдмон Ростан. Сирано де Бержерак. Четыре перевода. Героическая комедия в пяти действиях в стихах.** *Перевод с французского:Т. Щепкина-Куперник, В. Соловьев, Ю. Айхенвальд, Е. Баевская. Составление: А. Григорьев*

studio

212 Валерий Сендеров. **О лютерах поганых, латыньских, и учебниках российских, патриотических: Литературное чтение. 4 класс. Часть 1.** *Составление: Л.Ф. Климанова и др.*

проект

215 Ольга Бугославская. **Александр Сегень. Поп; Поп: фильм Владимира Хотиненко**

музей

217 А.Г. Мысливченко. **Чеховские дни на Луке**

знакомый журнал

219 Виктор Кузнецов. **Страстной бульвар, 10.** *Ежемесячный журнал*

ни дня без книги

221 Анна Кузнецова

229 **Содержание журнала «Знамя» за 2010 год**

236 **Именной указатель авторов журнала «Знамя» за 2010 год**

239 **Письмо в редакцию**

Максим Амелин

Проникновенный свет

Ещё победная песенка

Осенью в заброшенный сад
лучше не ступать и ногой, —
выйдешь из него, но другой,
или не вернёшься назад.
Если же тебя занесло,
гордость урожаем былым
пусть не распирает, — белым
всё-таки ещё не бело.

В чёрном она бела,
в белом она черна,
поэтому откликается
на разные имена,
данный блюдя зарок,
взятый храня обет,
хоть в самоограничениях
ни цели, ни смысла нет.

Нет на разведённых ветвях
больше ни листа, ни плода,
выгнали долой холода
стаи насекомых и птах.
В мёртвом и в живом существе,
гибнущем на каждом шагу,
вспомнить никого не могу,
шествуя по жухлой листве.

В чёрном она бела,
в белом она черна,
поэтому откликается
на разные имена,
данный блюдя зарок,
взятый храня обет,
хоть в самоограничениях
ни цели, ни смысла нет.

Об авторе | Максим Альбертович Амелин родился в 1970 году в Курске. Занимается издательской деятельностью. Автор трех книг стихов. Живет в Москве. Предыдущие публикации в «Знамени» — № 6, 2008, № 7, 2010.

* * *

Гул многоустый, многоязычный, многогортанный,
вширь раздаваясь, вглубь проникая, ввысь устремляясь,
души живущих ужасом полнит, страхом объемлет,
в трепет приводит всех от умерших до нерождённых:
что происходит? что исчезает? что возникает?

Вся во Вселенной тварь ощущает плотью сквозною
проникновенный свет, исходящий из ниоткуда,
из неподвижной точки ничтожной, зоркому глазу
неразличимой в круговороте лиц и событий,
но и ответы в нём на вопросы есть и надежда.

* * *

Каждый божий день, кроме выходных и праздничных,
когда без надобности особой смысла нет
из дому выдвигаться в сторону центра,
с невыносимым скрежетом, скрипом, сипом,
визгом и лязгом, царапающим и дерущим насквозь

барабанные перепонки, на сумасшедшей скорости
поезд подземный привычно проносит меня
мимо того самого места, между «Автозаводской»
и «Павелецкой», где моего приятеля, не из близких,
тихого человека и семьянина, каких ещё поискать,

собутыльника мирового и страстного книжника,
ни гроша не стяжавшего честным себе трудом,
Борю Гелибтера (помяни в молитвах имя его, живущий!)
разорвало в куски во время взрыва шестого
февраля две тыщи четвёртого года от Рождества

Христова, в пятницу, в тридцать две минуты девятого,
едущего на работу в утренний час пик,
не подозревая, что ему, бедолаге, за пятьдесят четыре
дня до сорокатрёхлетия в самое средоточье
угодить (о случайность бессмысленная!) суждено,

и приходят мне в голову то проклятия гневные:
«Тем, кто отдал, не дрогнув, страшный приказ, и тем,
кто, сознавая и ведая, что творит, исполнил,
пусть не будет покоя ни на том, ни на этом свете,
ни в холодных могилах, ни в жарких постелях телам

их не спится, а душам готовится кара сугубая!» —
то смиренные мысли о том, что непостижим
человеческому разумению небесный промысел тайный
и к нему подступаться с мерой земной бесполезно,
что рождение смертных, жизнь и кончина в руках

у Творца, всех блаженных Своих обратно зовущего:
«Да пребудет благословен возлюбленный мной!» —
то предчувствия смутные, мол, если общего дела
философ окажется прав и точнейших данных
для грядущего воскрешения понадобится цифирь,

можно будет её почерпнуть отсюда, и в опровержение
горьких слов иного мыслителя доказать,
что поэзия после Освенцима и ГУЛАГа, кровавых
революций и войн, Хиросимы, Багдада, Нью-Йорка
может быть, но какой? — кто знает, — возможно, такой.

* * *

Огромная туша мёртвой косатки,
волнами выброшенная свирепыми,
на пустынном валяется берегу.

Лоснящийся бок июльскому солнцу
подставив, плотная и тяжёлая,
она уже начала разлагаться и гнить.

Вскоре громада прежнюю форму
утратит, лишится былой упругости,
грузно потом осядет и оплывёт.

Душный прогорклого жира запах
неуловимо, но властно тем временем
воздух окрестный вытеснит весь.

Наверно, недели, месяцы, годы
должны пройти, прежде чем жители
мест отдалённых голый остов найдут.

Они на мелкие части распилят
его, из костей вырежут украшения
и напишут на них о бренности бытия.

Анатолий Курчаткин

Полет шмеля

роман

13

— Так это я тебе обязан своим приглашением сюда?

— Только без патетики. Не люблю патетику. — Хитровато смеющиеся глаза Жёлудева так и играют, эта же усмешка сквозит в голосе, рождая ощущение некой каверзы. — Хотя, конечно, ваша группа приглашена по моей рекомендации.

«Ваша группа», невольно отмечаю я для себя. Но то, что я больше не связан с нею, совершенно не важно для Жёлудева, и я ничего об этом не говорю.

— Ты, получается, ее поклонник?

— Упаси боже! — восклицает Жёлудев. — Моя б воля, я бы предпочел Вертинского. «Тихо тянутся сонные дроги…» А? Божественно!

— Но если ты не поклонник группы, почему ты ее рекомендовал?

— А не догадываешься? — Хитро-усмешливый взгляд Жёлудева обещает такую каверзу, что у меня от потрясения должна отвалиться челюсть.

— Из-за меня, что ли? — через паузу, отнюдь не уверенно спрашиваю я.

— Вот именно. Из-за кого же еще, — подтверждает Жёлудев.

Его признание доставляет мне некоторое удовольствие: получается, это не я благодаря Савёлу здесь, а Савёл благодаря мне. Но что за блажь нашла на Жёлудева: увидеть меня, через столько-то лет? Тем более что в конце моей армейской службы мы уже почти не общались. И как он узнал, что я имею к группе Савёла отношение?

— У тебя появилось желание повидаться? — спрашиваю я. — Но ведь я, по идее, не должен был приехать. Авторы текстов обычно не выступают с группами.

— Как это не должен был приехать? — удивляется Жёлудев. — Обязательно должен был. Такое было условие: с вашими поэтами, а с Леонидом Поспеловым — просто обязательно.

Мы уединенно сидим с ним, оставив празднество, в одной из многочисленных, должно быть, комнат этого новодельного замка, сработанные на Гаргантюа с Пантагрюэлем кресла покойны, перед нами на черном металлическом подносе с видами Кремля девственная бутылка коньяка «Пьер Краузе» семидесятого года, коньячные рюмки и хрустальное блюдо с шоколадом, — мы можем предаваться нашим армейским воспоминаниям всласть.

— Как ты, нормально дослужил срочную? — спрашиваю я.

— Нормально, — кивает он.

— Удалось восстановиться в своей Школе?

Он снова кивает:

— Удалось.

Окончание. Начало см. № 11 за 2010 год.

— Генерала выслужил? — перескакиваю я через множество звеньев.

Он хмыкает. С явным довольством.

— Генерал-лейтенанта? — пытаюсь я расшифровать его хмыканье.

— В точку, Леонид Михайлыч, — отзывается он. — В логическом мышлении тебе никогда было не отказать. Надо думать, ты бы в нашем ведомстве сделал карьеру.

Мы с ним обращаемся друг к другу на «ты», но по имени-отчеству. Странно было бы сейчас обращаться друг к другу, как сорок лет назад. Пусть я и по сей день для половины знающих меня Лёнчик. Но нас с ними не разделяет пропасть в четыре десятка лет.

— Да уж будто, Дмитрий Константинович, в вашем ведомстве одним логическим мышлением карьера и делается, — говорю я.

— Поймал, — чуть помедлив, соглашается он. — Да ведь ты бы к нам и не пошел?

— Да если бы позвали, так почему же, — ускользаю я от ответа.

— Не пошел, не пошел бы! — каверзная улыбка из глаз Жёлудева перетекает на его губы. — Посмотрел, познакомился я с тобой немного, полистал… не пошел бы!

Ну да, конечно, вот откуда он знает, что я работал с Савёлом. Я перед ним сейчас как голый.

— Твой покорный слуга поэт, — говорю я. — Что поэту делать в вашей конторе?

— Знаешь наше самоназвание! — Он делает глоток коньяка, берет шоколадку, снимает с нее шуршащую золотую облатку. И, откидываясь на спинку кресла, забрасывая ногу на ногу, спрашивает, и я кожей ощущаю: вот оно, *самое то*: — Откуда, слушай, ты у нас появился? Почему Маркушичев решил тебя привлечь?

Маркушичев? Меня? Куда? Я теряюсь. Кто такой Маркушичев?

— Ты имеешь в виду Евгения Евграфовича? — Я рискую попасть пальцем в небо, нанеся себе тем некий урон, но у меня нет другого ответа на загаданную загадку.

— Ну, если хочешь так, — произносит он. Добавляя с интонацией осуждения: — По-интеллигентски. Его я имею в виду, его. Евгения Евграфовича.

— Почему же ему было не привлечь меня? — в такой форме, свойственной всякой неискренности, отвечаю я. Значит, «у нас» — это теперь для Жёлудева кремлевские стены.

— Да потому что не вижу объяснения, — говорит Жёлудев. Взгляд его колко упирается в меня — это не взгляд, это жало изготовленной для смертельного удара безжалостной шпаги.— Почему именно тебя?

— Это ты хочешь узнать у меня? — Не могу же я рассказать ему о Балерунье. — Странно, почему ты хочешь узнать об этом у меня?

— Положим, не только у тебя. Но и у тебя тоже. — Шпага, приставленная ко мне, все так же морщит мне кожу своим безжалостным жалом. — Ну?! Что за причина?

— Да уважительная, наверно, причина, — говорю я. Мне не остается ничего другого, кроме как уворачиваться от приставленной шпаги.

В омертвевших глазах Жёлудева появляется живое выражение — его обычное выражение каверзной усмешливости. Я въявь ощущаю, как жало смертельного оружия перестает холодить мне кожу — шпага убирается в ножны.

— Да, наверно. Уважительная, — произносит Жёлудев. И змеиный изгиб его улыбки делается круче. — Но Маркушичев притом утверждает, что не очень-то тебя знает. В смысле, насколько на тебя можно положиться. Что скажешь? Можно на тебя положиться?

Мозг мой лихорадочно работает. Я не понимаю своего бывшего армейского сослуживца. Что он имеет в виду? В чем положиться? В моей так называемой *работе* для них? Или его беспокоит моя надежность как финансового партнера? Если первое — он не в курсе делишек Евгения Евграфовича и полагает представленный мной доклад вполне реальной работой. Если второе — что, разве он не имел возможности убедиться в моей надежности по благополучно притекшему к ним откату?

— Думаю, ты знаешь, что на меня можно положиться, — отвечаю я в конце концов обтекаемой фразой.

— Да откуда я знаю, — говорит Жёлудев. — Сколько лет прошло! Люди меняются. И чаще всего не в лучшую сторону. А ты исключение?

— Не претендую. Но если твое наблюдение верно, какая разница — буду это я или кто-то другой?

— М-мм… — тянет Жёлудев. — Хороший ответ. И у тебя в самом деле есть фонд, а не просто сайт висит в Интернете?

— Ну, а проживи сейчас на одно поэтическое творчество. — Я снова избираю для ответа окольный путь — семь верст объезда. — Есть фонд, есть. И сайт, конечно, тоже.

— Ладно… посмотрел я на тебя. Ничего, Леонид Михайлович, держишь форму, — оценивающе окидывает он меня своим усмешливым взглядом. Похоже, приближается конец нашей уединенной встречи.

— Да и ты, Дмитрий Константинович, на свои не тянешь. — Вот когда я наконец могу позволить себе быть совершенно искренним. — Отлично выглядишь. Хоть снова в строй.

— Я и есть в строю. — Он подносит рюмку к губам, делает новый глоток, кидает в рот остатки шоколадки. — Только не в том. Из того — вышел по возрасту.

Полминуты спустя мы уже стоим на ногах. Перед дверью в зал Жёлудев приостанавливается и подает мне руку, что, надо полагать, означает — наше общение здесь, на этом празднестве, завершено:

— Ну, работай. Но учти: я за тобой буду следить. Халтура не пройдет.

В голосе его никакой дружественности, одна отстраненная деловая строгость.

Мы размыкаем наше рукопожатие, готовясь открыть дверь, и тут меня осеняет, что мы не обменялись координатами. Но если он мои с легкостью найдет, то мне его — никак.

— Погоди! — приостанавливаю теперь его я. — А номер твоего телефона?

Фирменная каверзная улыбка Жёлудева изгибает ему губы удалой змейкой.

— Да не нужно тебе, — роняет он.

— Ты что, знаком с ним? — с затаенной уязвленностью возбужденно спрашивает меня Гремучина, когда я возвращаюсь к столику.

— С Митяем-то? — небрежно отзываюсь я. Специально, чтобы поддразнить ее.

— Ну да… — Она спотыкается, не решаясь назвать его так, как я. — С Жёлудевым.

— Знаком, — коротко подтверждаю я.

— Ого у тебя знакомства, — ревниво произносит Гремучина. — Да Женька рядом с ним — мальчик на побегушках.

— Евгений Евграфович? — Теперь я действительно нуждаюсь в уточнении.

— Евгений Евграфович, ну конечно, — нетерпеливо отвечает мне Гремучина. И тотчас возвращается к Жёлудеву: — О чем вы таком беседовали? Тебя не было больше, чем полчаса!

— О судьбах отечества беседовали, о чем еще, — говорю я. Ревнивое возбуждение, в котором она пребывает, можно погасить лишь усиленным внима-

нием к ее собственной персоне, и я перевожу стрелку на нее: — Ты уже выступала?

О, она уже выступала. И конечно, сорвала шквал аплодисментов, все были в восторге, подняли ее на руки и так донесли до стола. Едва не разорвав платье на сувенирные клочки.

Савёл с группой между тем все наяривают с эстрадки. Однако задарма на Савёле не поездишь. Было обговорено — выступление полтора часа или там два, десять минут он еще переработает, но не больше. Мы не успеваем с Гремучиной завянуть — сияя своей заячезубой улыбкой, Савёл принимается благодарить за горячий прием, возвещает, как все мы были счастливы выступить здесь, и объявляет выступление законченным. Паша-книжник, Ромка-клавишник, Маврикий — все один за другим следуют за ним с эстрады прочь, направляясь к выходу.

Следует поспешить и нам с Гремучиной.

Спустя двадцать минут наш минивэн «Субару» уже въезжает в ворота Савёловой дачи. Остался последний акт пьесы: получить деньги. Оранжевый пиджак, только мы вышли из зала, отозвав Савёла в сторонку, вручил ему черную пластмассовую папку-портфельчик. О, эти проклятые дензнаки! Будь я Господом Богом, я бы приравнял их изобретение к первородному греху.

Раздача денег превращается Савёлом не в последний акт, а в самостоятельную пьесу. Есть люди, которым отдать деньги, что оказались в руках, — все равно что отсечь себе детородный орган. Савёл принадлежит как раз к таким.

Пройти к нему в студию, посидеть там, обмениваясь мнениями, пять минут, десять, как бы ставя точку в отыгранном спектакле, — это нормально. Но не полчаса же, не час! Час между тем уже минул, а Савёл все тянет с раздачей. Черная папка-портфельчик исчезла — похоже, по пути в студию он оставил ее где-то в доме. У Ромки-клавишника, Маврикия, Паши-книжника, у Гремучиной — у всех в глазах стоит голодный блеск. Я не выдерживаю первый. Что мне в конце концов, я отрезанный ломоть.

— Савёл, — поднимаюсь я. — Мне пора уезжать. Давай рассчитаемся.

— Ладно, что с тобой поделаешь. Пойдем, — произносит Савёл через паузу.

Мы поднимаемся на второй этаж к нему в кабинет. В кабинете Савёл, севши за стол, вместо того чтобы приступить к расчету со мной, некоторое время сидит, сосредоточенно глядя в сторону, и чем дольше сидит, тем озабоченнее и суровее становится у него вид.

— Вот какая штука, Леня, — произносит он наконец, переводя взгляд на меня. — Жирные люди, Леня, — это такая пакость. Договаривались по-одному, а заплатили по-другому. И что сделаешь? Пришлось утереться.

— Что ты говоришь? — тяну я словно бы сочувственно. Вот для чего он медлил с расчетом: обламывал нас, доводил до кондиции — чтоб мы *созрели*. Созрели для согласия получить меньше, чем предполагалось. — Это неприятно, — продолжаю я. — Но мне ты должен выплатить мой истинный гонорар.

— Что значит истинный? — Савёл обескуражен. Он не ожидал подобного поворота.

— Истинный. Который положен мне за мое участие. Десять тысяч зелеными.

Если бы я по-прежнему работал с ними, я бы не решился на такую наглость. Я бы поджимал хвост, приседал на задние лапы, как обложенный красными флажками волчара — не смея покинуть огороженное пространство, — но что мне теперь-то?

— Сколько?! — не сдержавшись, восклицает Савёл. — Десять кусков зелеными?! Это с какого потолка ты взял?

— На котором написано. Видел того — сидел рядом с хозяином? Вот он до моего сведения и довел.

— А кто это вообще такой? — спрашивает он.

То, что человек, сидевший бок о бок с самим хозяином, *кто-то*, — яснее-ясного.

— Спросишь у Маргариты, — роняю я, — она тебе осветит точнее. А мы старые кореша. Еще с армии.

Мы старые кореша, вот он мне и сказал — таков смысл моих слов, и Савёл восклицает:

— Не мог он тебе говорить о десяти! Не было речи ни о каких десяти.

— А о скольких же? — невинно осведомляюсь я.

Савёл затыкается. Он понимает, что прокололся, что, по сути, признался мне в надувательстве. Однако у него все же есть подозрение, что я блефую и точной суммы определенного мне гонорара не знаю.

— Да вот о чем мы с тобой договорились, о том и шла речь, — выдает наконец он.

На то, чтобы оценить ситуацию, у меня уходит секунды две или три. Жадность фраера сгубила, вылезает во мне трезвым увещеванием блатная мудрость.

— Ладно, раз договорились, пусть так и будет, — говорю я.

«Сам найдешь дорогу?» — с угрюмой суровостью спрашивает он меня, когда мы, спустившись по лестнице, оказываемся на первом этаже. Если бы ему удалось благополучно обтяпать замышленное, он бы проводил меня до крыльца, как в прошлый раз, а так — ну невмоготу.

На крыльце, накинув на плечи кунье манто Савёловой жены, курит Иветта Альбертовна. Домработница в одежде хозяйки — какая тривиальная коллизия.

— Ой, это вы, Леонид Михайлович, — с облегчением вырывается у нее, и она одаряет меня своей обычной, сравнимой с блеском солнца лучезарной улыбкой.

В самом деле, а ведь мог быть не я. Или я с Савёлом — если бы ему удалось благополучно обтяпать свое дельце со мной и он пошел меня провожать. Едва ли бы ему понравилось, что она в манто, предназначенном совсем для других плеч.

— Да, Иветта Альбертовна, покидаю вас, — говорю я. — Счастливо. Не знаю, когда теперь увидимся.

— Очень жаль, Леонид Михайлович, что больше не придется вас видеть, — ослепляя своей мажорной улыбкой и глядя прямо в глаза, говорит Иветта Альбертовна. Она смотрит так *прямо*, что возникает ощущение, будто мы касаемся друг друга. — Давайте-ка обменяемся телефонами. Вдруг я захочу вам позвонить. Вдруг вы — мне.

Ее чисто женский интерес ко мне, звучащий в этих словах, так несомненен, что вопроса, верить или не верить, передо мной не возникает. Надо же ей было выйти курить сюда именно сейчас! Елки-зеленые, хватит с меня двух дочерей Евы, между которыми разрывается моя плоть.

Однако, разумеется, я стараюсь не подать вида, что испытываю. Наоборот, я привожу в движение все свои мимические мышцы, изображая накрывшую меня от ее предложения радость.

— Давайте обменяемся!

Ручки у меня, как водится, не обнаруживается, и она, затянувшись, быстрым движением передает мне сигарету:

— Подержите. Я схожу в дом. Принесу бумагу и чем записать.

Полученная от нее сигарета жжет мне пальцы. Естественно, не буквально, но такое ощущение, что жжет. Акт курения — очень интимный акт, в нем, простите, есть что-то от нижнего белья, которое не выставляется напоказ и открывается для взгляда лишь тех людей, у кого есть на это право; и вот, держа в руках сигарету, которая только что была в ее губах, я словно бы созерцаю ее в нижнем белье — что-то вроде того.

— Прошу, — протягивая мне ручку с листком бумаги, выходит Иветта Альбертовна из дома. Вместо манто хозяйки на ней теперь, должно быть, ее соб-

ственное пальтецо — простроченное пухлыми прямоугольниками китайское изделие наподобие моей куртки.

Въехав в Москву, я вижу у метро женщин, стоящих с охапками опушившихся веточек вербы. Сегодня же, осеняет меня не просто 1 апреля, сегодня Вербное воскресенье, неделя до Пасхи, завтра начинается Страстная неделя!

Непонятная сила заставляет меня остановиться, заглушить мотор и выйти из машины. Когда я вновь сажусь в машину и, положив веточки вербы на сиденье рядом, трогаюсь с места, я весь переполнен благостным чувством исполненного долга. И благость эта никак не связана с выдранными у Савёла деньгами.

14

Временами Лёнчику казалось, ему *не дослужить*.

Он не был разжалован, но не был теперь ни замкомвзвода, ни даже отделенным, а так — младший сержант без подчиненных, сам по себе, вроде Жёлудева. Но Жёлудев, состоя на офицерской должности переводчика, действительно был сам по себе, со свободным распорядком дня, а он так же, как все, сидел на политзанятиях, в третий раз за время службы изучая разгром Деникина—Колчака—Юденича, не имел права выйти из казармы в туалет, не доложивши о том командиру своего отделения. Старшина Кутнер чем дальше, тем больше, стал доставать всякими мелкими унизительными придирками, откровенно стремясь вывести из себя. Вскоре, вероятно, следовало ждать разжалования — только подать к тому повод. «Говорил тебе, жизни не будет», — кривил в своей прозорливо-ехидной улыбке губы Жёлудев. «Но Афанасьеву-то помог!» — защищался Лёнчик. «Ему помог — себя закопал», — с безжалостным порицанием ронял Жёлудев. На пути к дисбату документы Афанасьева затормозила комсомольская организация округа. По неким негласным инструкциям для направления дела в суд исключение из комсомола должно было быть единогласным, и, видимо, Портнов посчитал, что проводить новое собрание может оказаться себе дороже. «Вот подловят тебя на каком-нибудь нарушении, и пойдешь в дисбат вместо него», — заключал Жёлудев. Лёнчик не отвечал, ему нечего было ответить.

У него стала болеть голова. Боль была словно вбита в мозжечок подобно колу, и кол еще там ворочался, месил мозг, как веселкой, — несусветная была боль. Поднимался с постели — уже ждала его, ложился спать — и не мог заснуть: боль была сильнее желания сна.

Наконец он додумался пойти в санчасть. Кутнер не давал ему сделать это недели две. Лёнчик записывался утром у дежурного по роте в журнал посещения санчасти, Кутнер на разводе, стоя перед строем с журналом, взглядывал на Лёнчика: «Температура какая?» — «Нет температуры», — стискивая зубы, отвечал Лёнчик. «Нечего в здоровом виде по санчастям таскаться», — вычеркивал его имя из списка Кутнер. Но в один из дней в середине недели Кутнер укатил в увольнение на двое суток к тетке в Ленинград, развод проводил Жунас, и Лёнчик наконец получил на посещение санчасти «добро».

Начальник санчасти майор Медетов, услышав жалобу Лёнчика, казалось, взвился к потолку — хотя физически остался сидеть на своем стуле за столом:

— А задница у тебя не болит? Геморроя нет? Он пришел — голова у него болит! Позор! Косить на третьем году! Ездят на тебе, из нарядов не вылезаешь?

— А мне на первом году легче служилось, — Лёнчик огрызнулся.

— Ух ты, смотри какой! — Казалось, Медетову стало интересно. — Что это тебе стало служить труднее, на дембельском-то году?

— А вот две недели в санчасть к вам попасть не мог.

— Как так две недели? — Медетов, похоже, был обескуражен. — Я каждый день здесь. Меня нет — фельдшер здесь всегда из срочников.

— Я разве о вас? В роте меня не пускали.

— Взъелся на тебя, что ли, кто-то? — спросил Медетов. — Поэтому и решил покосить?

— Да какое косить! — вырвалось у Лёнчика. — Болит голова, ну несусветно, сил нет!

Медетов подергал пальцами кончик усов, — была у него такая привычка.

— Если она у тебя так болит, таблетки тебе — что мертвому припарки. Причину надо устранять. В госпиталь лечь согласен? В неврологию.

Головная боль исчезла в первый же день, как Лёнчик проснулся в госпитале. Он лежал на застеленной свежей простыней койке, и голова была ясной до пронзительности.

Он не знал, что делать. Сказать врачам правду — значило подвергнуть себя риску быть обвиненным в симулянтстве, соврать, сказав, что голова болит, — ему и не хотелось врать, и какие последствия могло повлечь его вранье? Но когда начался обход и палата наполнилась офицерами в белых халатах, никаких затруднений с жалобами на головную боль Лёнчик не испытал. Такая невероятная дистанция была между ним и офицерами — космических масштабов, сказать офицеру все, как есть, — это было невозможно.

Капитан, майор и полковник начальник отделения трогали его голову, выспрашивали о характере боли, Лёнчик живописал — словно она терзала его вот прямо сейчас, — опасаясь, что ему не поверят, но нет: вскоре после обеда пришла медсестра, принесла какие-то назначенные ему таблетки, сообщила, что вскорости, завтра-послезавтра, в общем, как будет талон, Лёнчику сделают рентген головы, — и снимки все покажут.

Снимки ничего не показали. Лёнчика повезли в Ленинград в окружной Военно-морской госпиталь на консультацию, но и там никакого диагноза поставить ему не смогли.

Лечение, что в конце концов назначили Лёнчику, заключалось во внутривенной инъекции двадцати кубиков новокаина через день. Еще во время инъекции голову начинало кружить, как от сильного опьянения. Когда все двадцать кубиков исчезали из шприца, медсестра помогала подняться, а в дальнейший путь к палате он отправлялся самостоятельно, перехватываясь по стенке руками, и, добравшись до палаты, ложился на кровать. «Ну, кент, ну, Лёнчик, ну устроился, через день пьяный!» — ржали сопалатники. Через полчаса потолок с полом возвращались на свои места, Лёнчик вставал — и впереди у него был целый день свободы. Не идти на дежурство, ни в наряд, ни на политзанятия.

Через несколько дней такой жизни он зафонтанировал стихами. Чего с ним не было уже года полтора. Писал и писал их — по два, по три в день. Палата была на восемь человек, все время разговоры, споры, а то и ссоры, и он облюбовал для работы стол недействующего медицинского поста в углу коридора.

Полковник, начальник отделения, возник над ним, утонувшим в своих тетрадях, в один из последних дней новокаиновых инъекций. Как он приблизился, Лёнчик не заметил, увидел его, лишь когда одна из тетрадей на столе вдруг взмыла в воздух, он рванулся за ней, — тетрадь его была в руках начальника отделения.

— Это что же, стихи, что ли? — с недоуменным удивлением проговорил начальник отделения, переводя взгляд с тетради на Лёнчика.

Начальник отделения был мрачновато-холодным, с неторопливо-внушительными движениями человеком, в манере его общения с окружающими сквозила высокомерная пренебрежительность, казалось, каждое мгновение от него можно ждать начальственной таски — неизвестно за что, причина найдется, по той самой формуле.

— Нет, стихи, что ли? — повторил начальник отделения. — Переписываешь чьи-то? Или собственные?

Лёнчик почувствовал себя попавшимся на месте преступления преступником. Он еще никому, кроме Жунаса, даже и Вике на гражданке, и Жёлудеву, не открывался в своем *грехе*, и здесь, в госпитале, когда спрашивали, что там корябает за столом, отвечал: письма.

— Собственные, — через паузу признался он.

— Собственные. Ага, — протянул начальник отделения. — Можно почитать? Поэт пишет, чтобы его стихи читали другие.

Лёнчик понял: придется уступить. Тут же с удивлением сделав открытие: а он и не против, чтобы начальник отделения прочитал его вирши. И вправду, стихи пишутся не для того, чтобы умирать в тетрадях.

— Это не та тетрадь, — сказал он. — Это черновик. Эту не надо читать.

— Так давай беловик, — потребовал начальник отделения. Он получил от Лёнчика беловую тетрадь и погрузился в нее. В Лёнчике бушевал ураган. Наконец начальник отделения, оторвав от тетради взгляд, тряхнул ею: — Что это ты пишешь: «Печальный стук последнего вагона, прощальный взгляд, бессвязный взмах руки…» Как взмах руки может быть бессвязным? Бессвязной бывает речь.

— И взмах тоже может быть бессвязным, — не согласился Лёнчик. — В зависимости от обстоятельств. Это метафора. Троп. Перенос понятий.

— Какие слова знаешь! — Начальник отделения сыграл бровями, изображая изумление. — Перенос понятий, надо же. — Он отдал Лёнчику тетрадь. — В Литературный институт думаешь поступать?

— В Литературный? — переспросил Лёнчик. Он был подавлен: неужели его стихи так плохи, что не заслуживают никакого отзыва. — Есть такой институт?

— Неужели не слышал? — Теперь изумление начальника отделения было, похоже, совершенно искренним. — В Москве, имени Горького. Для молодых талантов. Очень многие известные писатели и поэты оттуда вышли.

— Имени Горького? — эхом переспросил Лёнчик. Его вмиг залило радостью: начальник отделения нашел его стихи талантливыми!

— Ладно, не слышал — теперь знаешь, — сказал начальник отделения. В его мрачновато-холодном взгляде зажегся огонек непонятного Лёнчику интереса: — Что, скажи честно, как на курорте тебе здесь было? Отдохнул?

Лёнчик испытывал к начальнику отделения такую счастливую признательность за его оценку — не солгать.

— А то! — ответил он.

— А голова вообще-то болела? Не бойся, по-честному: все равно скоро выписываться.

Лёнчик не боялся. Ему было стыдно. Он видел, к чему клонит начальник отделения.

— Болела, — сказал он. — Еще как. Ужасно болела.

— А как в госпиталь лег, так и прошла?

— Так и прошла, — признался Лёнчик.

Какая неимоверная, какая безумная пауза разверзлась в их разговоре!

— Ладно, долеживай, — произнес затем начальник отделения.— Дней пять тебя еще подержать смогу, больше не выйдет. А снова станет невмоготу — пойдешь в санчасть и опять сюда.

— Спасибо, — поблагодарил Лёнчик, на самом деле еще не в состоянии по-настоящему оценить слова начальника отделения.

Начальник отделения продержал Лёнчика в госпитале, как обещал, еще пять дней, Лёнчик ехал к себе в часть в полной уверенности, что месяц-другой — и снова окажется здесь, но возвращаться в госпиталь не понадобилось.

Он пролежал в нем почти месяц, двадцать девять дней, и за эти двадцать девять дней в части произошли события, которые все изменили. Командир части уснул за рулем своего «Запорожца», съехал на встречную полосу и на полной

скорости врезался в грузовой «Зил». Вместо него командиром части теперь был майор Портнов. Пока «и.о», но ротой он уже больше не занимался, и всем заправлял замполит капитан Правдин. Правдину до Лёнчика не было никакого дела, и Кутнер тоже перестал донимать всякими мелкими придирками. У Лёнчика с его сержантским званием, да не обремененного никакими командирскими заботами, настала жизнь, о которой только мечтать.

Но только он жил словно в вакууме. Совсем разошелся с Жунасом, и с Жёлудевым тоже отдалились друг от друга. Жёлудев сдружился с Кутнером, всячески выказывал ему свое почтение, — знаться с таким Митяем совсем не хотелось. Спасенный Лёнчиком от дисбата Афанасьев, заметив его одинокость, попытался прибиться к нему, — Лёнчик не поощрил его попыток. Афанасьев был ему неинтересен.

Ровно месяц спустя после приказа министра обороны об увольнении в запас его призыва, 3 октября, Лёнчик стоял перед КПП в шеренге уходящих на гражданку, и начальник штаба зачитывал приказ по части об увольнении следующих военнослужащих… Он дошел до фамилии Лёнчика, произнес ее, — и Лёнчика окатило горячим чувством, будто он может сейчас взлететь. Обманное, конечно, было чувство, не взлететь — сколько ни маши руками, но там, внутри себя, он так и взмыл в небо.

* * *

— Саша Мальцев умер, ты знаешь? — спросила мать.

— Саша… — протянул Лёнчик. Сознанию, увязшему в армейской жизни, чтобы понять, о ком речь, нужно было напрячься. — Саса-Маса?! — ошеломленно воскликнул он.

— Вернее, погиб, — сказал отец. — Уже чуть не год. На работе, в цехе, конструкция там у них какая-то стала валиться. Саша ее — держать, а все разбежались, он и не удержал, она рухнула.

— Рухнула… и на Сашу? — Возможно, впервые в жизни Лёнчик назвал Сасу-Масу не прозвищем.

— Так. На него, — подтвердил отец.

Сознание Лёнчика понемногу привыкало к известию.

— А почему мне никто ничего не написал? Ни Вика с Жанкой, ни вы?

Отец с матерью переглянулись. Словно советовались друг с другом, кому отвечать. Но ответил брат. Ему уже было тринадцать, он учился в седьмом классе и чувствовал, должно быть, себя совсем большим.

— У тебя же там автомат. Мало ли что, кто тебя знает.

Лёнчик посмотрел на отца с матерью.

— Даете! Ну, автомат и автомат. Не застрелился бы.

Саса-Маса, Саса-Маса, стучало в нем имя первого школьного друга.

— Ой, ну вот ты, слава Богу, и дома! — запоздало подала голос бабушка Катя, все это время только поглядывавшая на него и тихо улыбавшаяся обращенной в себя улыбкой. — Не чаяла и дождаться.

— Да баб!.. — воскликнул Лёнчик. — Чего там: три года!

Он объявился на пороге родительского дома всего какой-нибудь час назад, не предупредив о своем приезде — свалившись как снег на голову, и был еще в форме, только снял обрыдшие сапоги. Подходила уже пора укладываться спать, но мать с бабушкой Катей тут же бросились собирать стол, чтобы сесть, отметить его возвращение, — не хватало только сестры с мужем. Они как молодая семья с ребенком получили недавно от завода комнату в коммунальной квартире, это был другой конец Уралмаша, и звать их сегодня уже не стали.

— Да, три года, — проговорила бабушка в ответ на его слова, и оказалось, что она имела в виду совсем не себя: — В армии-то у солдата жизнь, что копейка.

Метроном, отстукивающий имя Сасы-Масы, снова застучал в мозгу Лёнчика со всей силой.

— Видишь, совсем не обязательно только в армии, — сказал Лёнчик.

Назавтра он первым делом отправился в военкомат. Почистил пуговицы на кителе и бляху ремня асидолом, отдраил до зеркального блеска сапоги. Нужно было встать на учет, взять справку о демобилизации — получать паспорт.

И только успел отойти от дома, лицом к лицу столкнулся с Гаракуловым.

Серое габардиновое пальто, рассчитанное на широкую, квадратную фигуру Гаракулова, при каждом шаге полоскалось на нем, словно он сейчас представлял собой что-то вроде огородного пугала из сколоченных крест-накрест палок. По лицу его можно было бы изучать анатомию черепа — так плотно обтягивала кожа костяк лица, казалось, она наклеена на него, — а посередине левой щеки багровел странный четырехточечный изогнутый шрам.

— Во ни хрена себе, кого вижу! — заступая Лёнчику дорогу, проговорил Гаракулов. — Идет блестит доспехами, прямо витязь. В отпуск, что ли? Или дембельнулся?

— Демобилизовался, — с неохотой отозвался Лёнчик. — Привет.

— Я и говорю, привет. — Гаракулов будто спорил с ним. — В форме, ремешок кожаный… Подари ремешок-то. Не будешь же носить. А я буду. Кожаный, с бляхой. Свинца туда граммов сто пятьдесят — ого какой будет ремень.

В одно мгновение десять лет жизни осыпались, как шелуха, Лёнчик увидел, как они с Гаракуловым, ворвавшись в школу, несутся сломя голову по лестнице на свой четвертый этаж, Гаракулов отстает — и пытается подставить подножку…

— Ты сходи в армию, послужи, и будет тебе ремень, — сказал Лёнчик.

Какая перемена произошла с лицом Гаракулова! Глаза налились холодной бешеной тяжестью, во всем облике его прорисовалось что-то бульдожье — вот прыгнет и разорвет.

— Ты, падла, думаешь, в армию сходил, ты против Гаракулова переть можешь?! Кто против Гаракулова — я тому, падла…

— Ладно, поговорили, — с легким сожалением, что ему так и не открылась причина странного изменения в наружности Гаракулова, сказал Лёнчик.

Гаракулов, однако, шагнув вбок, снова заступил Лёнчику дорогу.

— Что поговорили! — изошло из Гаракулова с той же бульдожьей бешеной тяжестью. — Ты спроси, как живешь! Не видишь, кожа да кости остались.

— Вижу, — кивнул Лёнчик.

— Подколол один. В карты играли. В «очко». Большая наука. Фарт идет, в коленках мандража нет — сядешь на трон. — Гаракулову, было видно, доставляло удовольствие рассказывать о том событии. — Я, как ни открою, «очко» и «очко». Он у меня уже без носков, в трусах и майке. На майку будешь? Буду! У меня «очко», снял с него майку. На трусы будешь? Ему без трусов западло оставаться, он за финяк: краплеными мечешь! Слово за слово, крыть ему нечем — и стукнул меня. Причем, падла, финяком сразу забздел, вилку из банки схватил, килькой водку закусывали, и этой вилкой мне. Во, сечешь? — ткнул Гаракулов себя в щеку, в тот странный четырехточечный шрам, с самого начала привлекший внимание Лёнчика. — Ну, я его той банкой, крышкой ее, как цапну — куда он меня. Кровь — как из барана. Забздел, падла, что порву его, тут финяком и стукнул. И в печень, сука, в печень! И два раза, сука!

— В печень? Ого! — Невозможно было остаться безучастным к этому рассказу. — Под счастливой звездой родился.

— Полгода в больнице под капельницей, — с горделивым самодовольством отозвался Гаракулов. — Полторы недели только, как вышел.

— А тот, что подколол? — не удержался, спросил Лёнчик. — Судили?

Гаракулов поморщился:

— Чего судить, если моего заявления нет? Но он сейчас моя сявка по гроб жизни. Скажу ему, лижи мне ботинки, — будет лизать. А я еще другой ногой на холку ему встану.

— Зачем тебе это нужно? Чтоб языком и на холку?

Глаза у Гаракулова сузились. Бульдог в них словно бы клацнул зубами.

— А что, чтобы мне на холку? Я тебе что, простой слесарюга? Я бригадир! Я бригаду… все у меня в кулаке, не пикнут! Хочешь вместо меня бригадиром? Порви мне сначала пасть! Дай срок, в техникум поступлю, закончу, — начальником цеха стану. Я план, всех раком поставлю, — а дам!

— Рад за тебя, — прервал его Лёнчик. — Прежде всего, что жив-здоров. Пока.

На этот раз Гаракулов его не удерживал.

Еще одна оглушающая встреча произошла у Лёнчика в милиции. После военкомата, обретя нужную справку, он отправился в паспортный стол. Женщина-делопроизводитель забрала у него справку, дала заполнить форму на получение паспорта, пришпилила к ней принесенные им фотографии и исчезла с его бумагами за дверью, что вела в другую присутственную комнату. Появившись через минуту, она предложила Лёнчику пройти вслед за своими бумагами.

Лёнчик проследовал указанным ею путем, вошел — и остолбенел. Комната, оказавшаяся за дверью, была невероятно мала — клетушка, но во всем ее облике — как стояла мебель, в деталях обстановки — было нечто, что недвусмысленно свидетельствовало: это не просто присутствие, а *кабинет*. И за письменным столом со столешницей зеленого сукна в этом кабинете сидел смотрел на него каменно-суровым взглядом, с погонами младшего лейтенанта милиции на плечах, тот мордатый, что ударил его наладошником.

Садись, не размыкая губ, указал он Лёнчику мановением руки на стул около своего стола. Дождался, когда Лёнчик сядет, и из него, с той же каменной суровостью, так запомнившейся Лёнчику при их встрече на Самстрое, изошло:

— Отслужил, значит? И что, думаешь, на гражданке вольная воля?

Лёнчик ошеломленно молчал. Превращение мордатого из бугра шпанской кодлы в представителя власти было так неожиданно, что язык ему будто связало. И если б еще простой милиционеришко, а то уже офицер!

— Язык отсох? — повысил голос мордатый. — Чем собираемся на гражданке заниматься?

Молчать дальше было невозможно.

— Чем заниматься, — выдавил из себя Лёнчик. — Работать пойду.

— Вот именно! Работать. А не груши тем самым местом околачивать. Будешь околачивать — быстро управу найдем. Понятно?

— Понятно, — снова вынужден был ответить Лёнчик.

— Если понятно, — свободен, — повел головой мордатый, указывая на дверь.

Лёнчик вышел из кабинета с чувством, что его обварили крутым кипятком.

Из паспортного стола, он отправился в Дом пионеров к Алексею Васильевичу. Он чувствовал перед ним вину — что не попрощался, уходя в армию. А после паспортного стола желание увидеться с Алексеем Васильевичем сделалось нестерпимым. Словно проглотил какую-то тухлятину и, чтобы забить отвратительный вкус во рту, требовалось немедленно заесть гадость.

С Алексеем Васильевичем в Доме пионеров он, однако, не встретился. Это было невозможно. Невозможно встретиться с тем, кого нет. Алексея Васильевича не было в живых уже целый год.

Ноги свернули во двор Викиного дома-пилы сами собой. Хотя заходить к Вике сейчас, в середине дня, было бессмысленно: ему полагалось быть на работе. Душа просила заглушить боль от посещения Дома пионеров, ей хотелось утешения — немедленно! — и она не желала ничего знать о распорядке Викиной жизни.

Звонить к Вике следовало два звонка, — Лёнчик позвонил три: душа могла требовать чего угодно, но быть в это время дома Вика не мог никак. На три звонка, помнилось Лёнчику, открывала старуха, которую можно было застать дома когда угодно, — спросить о Вике, и, ублаготворив душу, убраться восвояси.

Старуха, узнав его и поохав от восхищения мундиром, пригласила, однако, заходить. Да нет, есть у них кто-то, сказала она. Лёнчик, недоумевая, прошел к двери Викиной комнаты и постучал. Ой, кто там, услышал он. Голос был слабый, словно бы сонный, и женский, — похоже, Жаннин. Странно, что она делала дома в это время. Жанна в нынешнем году, как Вика свой техникум, закончила университет, распределилась бухгалтером на завод имени Калинина, который, по слухам, клепал баллистические ракеты, и ей тоже полагалось быть на работе. Он слегка приоткрыл дверь и крикнул в образовавшуюся щель:

— Жанка, ты? Это я, Лёнчик!

В наставшем вслед за тем молчании Лёнчику послышались расстерянность и недоумение.

— Леня? Поспелов? — проговорил наконец из-за двери голос, — это точно была Жанна; и голос у нее был уже ничуть не сонный, наоборот — так и звенел.

— Я, я это, — отозвался Лёнчик. И попытался расширить щель.

— Стой! Не заходи! — взвизгнула Жанна. — Закрой дверь. Жди. Сейчас!

«Сейчас» длилось минут десять. Когда Жанна открыла, глаза у нее были подведены, губы накрашены. Но на плечах был халат, из-под которого выглядывали голые ноги.

— Привет, — со своей лисьей интонацией, улыбаясь, сказала она. — Заходи. Как неожиданно! Демобилизовался? А я простудилась, болею, отлеживаюсь. Сплю — и вдруг стук.

Глаза ее блестели, в улыбке светилась радость видеть его.

— А Вики нет? — должно быть, глуповато спросил он: ясно было и так, что нет.

— Вики нет. Никого нет. Рабочий же день. Это я болею, лежу в постели.

Лёнчик невольно глянул на ее кровать — кровать была застелена, но торопливо, из-под косо лежавшего покрывала выглядывал белый угол простыни. Словно мощная темная волна объяла Лёнчика, потащила с собой, встряхнула — и ушла, оставив по себе ощущение такой колоссальной силы, перед которой он был ничтожно мал и немощен.

— Так Вики если нет… я думал… наверно, мне… — понесло Лёнчика как по кочкам. Он хотел сказать, что раз Вики нет, тогда, наверно, пойдет, но так этого и не сказал и, вместо того чтобы выйти из комнаты, ступил вперед и закрыл у себя за спиной дверь. — Вчера только приехал. Я вообще-то думал… у вас здесь никого, думал, не будет.

— А я, видишь, дома, — отозвалась Жанна.

— На бюллетене, да? — спросил Лёнчик.

— На бюллетене, конечно. Я же теперь не студентка, так просто не прогуляешь.

Так они стояли, с легкостью говоря обо всем на свете. Жанна не приглашала проходить в глубь комнаты, но почему-то получалось, что все время переступали с места на место и продвигались все дальше, дальше, пока не очутились у самого обеденного стола. Первой заметила перемену в их дислокации Жанна.

— Ой! — воскликнула она, оглядываясь на стол. — У нас не убрано. Это я так себя чувствовала… Не обращай внимания, я на самом деле ненавижу беспорядок!

Но Лёнчику не было дела до порядка на столе. Волна, мощно вобравшая его в себя, когда взгляд схватил ослепительный угол простыни, выглядывающий из-под покрывала, вернулась и больше его не отпускала. Жанна, горело, однако, в его сознании — будто окружая ее огненным неприступным кольцом, — была женой Саши Мальцева.

— А с Сашей… когда это произошло… вы еще вместе жили или разошлись? — спросил Лёнчик. Назвать Сашу Мальцева, как всю жизнь — Сасой-Масой — язык не повернулся.

В молчании, наставшем после этого его вопроса, Лёнчик услышал тихое посапывание заложенного Жанниного носа.

— До этого, — ответила Жанна. — У нас вообще не получилось… с самого начала.

— Почему у вас не получилось? — осмелился Лёнчик на новый вопрос.

— Разные, наверное, потому что были. — Жанну, похоже, ничуть не сердили его вопросы. — Я студентка, он рабочий. Никаких общих интересов. Я больше никогда такого себе не позволю. У мужа с женой должен быть один уровень.

Она как отделяла себя от Сасы-Масы — и показывала это Лёнчику. В Лёнчике все возликовало. Огненное кольцо вокруг Жанны сжалось и потухло. Теперь к ней можно было приближаться сколь угодно близко — на сколько она позволит. И у него было чувство: она *позволит*. Конечно, не сразу, не сегодня.

Но все произошло именно сегодня. Жанна опустилась на стул, посидела немного, поднялась и, постояв некоторое время, снова села.

— Что-то меня ноги не держат, — проговорила она, улыбаясь извиняющейся улыбкой.

— Тебе, может, лечь? — предложил Лёнчик. Без всякой задней мысли.

Он лег поверх одеяла на кровать с ней рядом, выставив наружу ноги в ботинках, спустя какую-нибудь минуту, как легла она. Жанна не протестовала. Лёнчик подцепил носком одного ботинка каблук другого, стащил с ноги, и тот с громким стуком упал на пол. Жанна как ничего не услышала. На стук второго ботинка Жанна среагировала.

— Запри дверь, — проговорила она, закрывая глаза. — Там в замке ключ.

Когда Лёнчик, молниеносным движением сделав два оборота ключом, рванул от двери обратно, Жанна, сев на постели, снимала халат. Ремень, китель, брюки Лёнчик сбросил с себя, пока преодолевал расстояние до кровати.

— Подожди. Не торопись, подожди, — говорила она ему, но он торопился, он спешил: он хотел поскорее, побыстрее забыть эти три года, изгнать их из себя, вытолкнуть, и Жанна помогала ему в этом, как он помогал ей все эти армейские годы, сочиняя статьи для ее дурацкой стенгазеты и посылая их письмами…

Лихо, что свернул в их двор, вся в ореоле счастливого блаженства, провеяла мысль, когда он снова просто лежал рядом с Жанной. Жанна приподнялась на локте и, вытребовав его взгляд, шумно подышала носом.

— А у меня носик разложило. — Спокойно дышу. Какой ты лекарь! Полечишь еще?

Они лечились и лечились, потеряв всякий счет времени, засыпая и просыпаясь, поднялись раз, кое-как одевшись, подсели к столу со следами завтрака, съели по нескольку бутербродов с заветревшими колбасой и сыром и снова отправились в постель лечиться. Время напомнило о себе громким стуком квартирной двери, тяжелыми шагами, донесшимися из коридора, мужским голосом, сообщавшим там кому-то, что он пришел.

— Ой, дядя Костя уже с работы пришел, смена закончилась, сейчас мама с Викой вернутся! — Жанна соскочила с кровати, натянула на себя халат и принялась носиться по комнате, лихорадочно разыскивая свою одежду. — Вставай, вставай! — на бегу приказала она Лёнчику. — Одевайся!

Первым появился Вика. К его приходу Лёнчик с Жанной успели и одеться, и застелить постель, и проветрить комнату, и даже привести в порядок стол. Вика, однако, проник в их тайну почти сразу. Должно быть, по тому, как Лёнчик с Жанной держались друг с другом, как разговаривали, переглядывались. Жанна вышла из комнаты, отправившись на кухню ставить чайник, он хмык-

нул и, повернувшись к Лёнчику, с вопросом во взгляде, звучно хлестнул сложенными вместе указательным и средним пальцами правой руки по большому пальцу левой — как плетью, что означало: отодрал? Лёнчик уклончиво пожал плечами. Он не был уверен, что Жанна хотела бы его признания.

— Да брось ты! — воскликнул Вика. — Мне что, ее дело. А что с тобой — я только рад. А то и родственниками станем, а? — подмигнул он Лёнчику. — А? Что? Не против?

Дверь открылась, Жанна, без чайника в руках, вошла обратно в комнату, увидела их — и, как поняв, о чем у них шел разговор, вся окунувшись в свою лисью улыбку, объявила:

— Вик! А у нас с Лёнчиком роман. Подтверди, что не шучу, — посмотрела она на Лёнчика.

Лёнчик почувствовал облегчение, что не нужно таиться и шифроваться.

— Роман, — подтвердил он.

Появившейся еще четверть часа спустя Таисии Евгеньевне ничего не объявляли, но все как бы подразумевалось само собой, стол вновь стал заполняться тарелками, Вика исчез и немного погодя появился с двумя бутылками портвейна… вставали из-за стола — уже было не просто темно, а глубокий вечер.

Вика с Жанной пошли провожать Лёнчика до дома. Жанна шла, взяв Лёнчика под руку, временами обхватывая ее обеими руками и словно повисая на ней, — в этом была и особая доверительная беззащитность, и некая хозяйскость: он как бы принадлежал ей, был *ее*. Вика шел рядом, засунув руки в карманы, покачиваясь после выпитого портвейна, молчал, а они с Жанной говорили и говорили. Вернее, она задавала вопросы, а он отвечал

— И что ты теперь собираешься делать? — спрашивала она. — Пойдешь снова на завод работать?

— Наверно, — отвечал он. — Деньги же как-то надо зарабатывать.

— В институте своем будешь восстанавливаться?

— Не знаю, нет, наверно. Буду в следующем году в Литературный институт поступать.

— Еще поступишь ли. Не поступишь, а право на восстановление здесь потеряешь.

— Не потеряет, — неожиданно подал голос Вика.— Я этого не допущу.

Оказывается, шагая рядом, он не просто молчал, а внимательно слушал их разговор.

— Как это ты не допустишь? — удивился Лёнчик.

— Так, как. — Вика гоготнул. За три года, что не виделись, в нем появилась уверенная дерзкая сила, от того Вики, которого в детстве трепал крысолицый, не осталось и следа. — Я с кем корешусь, знаешь? Я их попрошу — они кому угодно приказать могут.

— Почему вдруг они для меня что-то делать будут?

— Это они не для тебя делать будут, для меня. Я для них тоже немало делаю. Таких тут сволочей помог выявить… А сейчас в стране, как Хруща сняли, столько разгребать надо!

— К отцу в Израиль обещают помочь съездить, — вставила слово Жанна.

— Так они, вроде, и три года назад обещали, — вспомнил Лёнчик разговор с Викой около военкомата при проводах в армию.

— Ну, три года! — отозвался Вика. — Это же капстрана. Быстро такие дела не делаются.

— Но в институт, Лёнчик, обязательно нужно, — вернулась Жанна к оставленной теме.

— В Литинститут, — ответил Лёнчик.

— Но он вообще-то в Москве, — со значением протянула Жанна.

— В Москве, — благостно согласился Лёнчик. Ему было так хорошо — он и понимал смысл, спрятанный в Жанниных словах, и не понимал. Военкомат, встреча с мордатым в паспортном столе, известие о смерти Алексея Васильевича — все было в такой несусветной дали, казалось, произошло не сегодня, а Бог знает когда. Гражданская жизнь начиналась вот сейчас, и была вот такой: легкой, блаженной, не обремененной никакими тяготами, ничем не омрачаемой — сплошное счастье.

15

Директора издательства зовут Аркадий Борисович. Он упитанно-округл, с озабоченно-любезным выражением лица, а в каждом его движении сквозит *пронырливость*, так и видишь, как он свободно протекает в любую замочную скважину, без всякой смазки.

— Пожалуйста, пожалуйста, господин автор, всегда к вашим услугам! — приговаривает Аркадий Борисович, провожая меня до дверей. — Мы наших авторов любим, к нам приходят и по второму, и третьему разу, приходите и вы, ждем!

Я уже жалею, что зашел к нему в кабинет. Не было в том никакой нужды. Получил свои двенадцать пачек, двести сорок экземпляров, и вали, зачем ты здесь кому-то еще нужен со своими словами благодарности. Тем более что на самом деле это они должны тебя благодарить — дал людям на себе заработать.

Перед тем как закрыть багажник, я раскурочиваю одну из пачек, вытаскиваю из нее три книжки. Две занимают свое законное место в сумке на заднем сиденье для встречи с гаишниками (слава Богу, больше не придется убеждать их, что человек с фото на задней странице обложки — это я и есть), а одну, вверх первой страницей обложки, я помещаю на приборную доску перед собой — время от времени поглядывать на нее. Не видеть своих стихов, изданными книжкой, шестнадцать лет — это срок.

Из издательства путь мой лежит в турагентство на Мясницкой. У, какой тучный урожай снимают с меня обитатели бывшей улицы мясников. Индивидуальный тур в Бразилию, с посещением Амазонки, национального парка Игуасу, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, недельным отдыхом на курорте Ангра дос Рейш, и отели не какие-нибудь, а пять и четыре звезды, ниже Балерунья не опустится, да билеты туда-обратно зашкаливают за пять тысяч американских условных единиц.

Едва я вхожу в агентство, около меня тотчас образуется завихрение из нескольких его работников, вернее, работниц — сотрудники агентства сплошь женского пола. Меня готовы ласкать и носить на руках, только что не облизывать. Как это непохоже на картину в издательстве. Полная противоположность.

В конце концов меня предают в руки агентши, которая занимается моей поездкой. Агентша выкладывает на стол передо мной договор, из-за которого я и приехал. Мы просматриваем пункт за пунктом, мне опять не нравится несколько формулировок, — и агентша, не слишком ерепенясь, начинает править их, сообразуясь с моими замечаниями. Отправляйся я в Турцию или Египет, она бы велела мне катиться вместо зарубежных стран куда подальше. Но вести себя так с заказчиком индивидуального тура в Бразилию — исключено.

— Только давайте без неожиданностей. Что мы сейчас сделали — чтобы тот же текст один к одному в следующий раз, — требовательно говорю я, когда мы заканчиваем с правкой.

Договор должен подписать директор, я должен буду вновь приехать, вновь прочитать и, если меня все устроит, поставить наконец и свою подпись. После чего — деньги на бочку. Откровенно говоря, можно было бы согласиться и с текстом этого договора, но тогда нужно и платить деньги, а у меня их еще нет. Я

жду их со дня на день. Должно быть, наша встреча с Жёлудевым на празднестве то ли его друга, то ли патрона оказалась небесплодна, — Евгений Евграфович, когда я позвонил ему в очередной раз, так и рассыпался, сообщая мне о транше, мелким бесом: «Что вы, право, Леонид Михайлович, беспокоитесь! Все в лучшем виде, перечисляем, ждите!»

Часы, когда я выхожу из агентства, показывают без четверти пять. Мне бы надо к себе в Ясенево за Костей Пенязем — и потом снова в центр. Но ехать сейчас в Ясенево, пробивая пробки — это вернешься в центр часа через четыре. Нам же с Костей нужно быть на Петровке к семи. Он снова в Москве и снова живет у меня. Мы с ним сегодня выступаем на поэтическом вечере в клубе ОГИ. Клуб этот привечает в основном молодежь, я для них не персона, вот позвать из зарубежья целую группу — это да, это самое то, и Костя зван. Но Костя — друг, благодаря его участию зван выступить на вечере и я.

Давай, Костя, собственным ходом, позвонив ему, прошу я. Ладно, собственным, так собственным, покорно принимает изменения в своей судьбе Костя.

У меня же высвобождается два часа времени. Которые неизвестно куда деть и как убить. Первая моя мысль, конечно же, — Евдокия. Мы договорились, что она подойдет прямо в клуб, к началу, но почему нам не встретиться раньше?

Евдокия, однако, не отвечает. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Перезвоните позже», — раз за разом сообщает мне красивый женский голос. Тонкая горячая игла ревности прошивает меня насквозь, насаживая на себя, будто на вертел, и вот меня уже поджаривает со всех боков, как молочного поросенка в каком-нибудь гриле. Моя радость не в метро, не приходится сомневаться, — иначе на какой-нибудь станции сигнал бы прошел. Телефон у нее отключен. Так она поступает, когда мы ложимся с нею в постель. Зачем она отключила телефон сейчас?

Клуб, где мне предстоит выступать, находится на Петровке. Сев в машину, я подкатываю поближе и, обнаружив свободное местечко, припарковываюсь на Сретенском бульваре. После чего отправляюсь фланировать по улицам.

Я поднимаюсь по Сретенскому бульвару к Пушкинской площади, пересекаю ее по подземному переходу и оказываюсь на Тверском бульваре. Бульваре своей молодости, первых лет московской жизни — Литинститут стоит здесь, дом двадцать пять, так номер и торчит в памяти. Мимо поселенного на бульваре лет десять назад памятника Есенину я прохожу, стараясь не смотреть на него. Надо же было сделать из пропойцы и психопата бесполого пасторального кудрявчика! Я даже иду, повернувшись к нему затылком. Соответственно — ухом вперед, глазами вбок. Тень встречного человека возникает передо мной, когда избежать столкновения невозможно, и я лишь инстинктивно хватаю его в объятия, чтобы человек не упал от удара.

— Леонид Михайлович! Разве можно так? Как вы ходите по улицам? И для вас опасно, и для людей.

Обескураженный, я отпускаю едва не сбитую мной с ног женщину, — женщина мне знакома, но кто это? Она ответно глядит на меня, только теперь молча, но вдруг ослепляет улыбкой — такой ярко-солнечной, что я тотчас узнаю ее. Это Иветта Альбертовна, домработница Савёла. Надо же! В пятнадцатимиллионном мегаполисе столкнуться нос к носу!

— О, Иветта Альбертовна, прошу прощения! Ей же богу, не хотел! — принимаюсь оправдываться я с жаром. — Вроде никого передо мной не было…

— Как это никого не было, — говорит Иветта Альбертовна. — А я? Я что — это «никого»?

— О, ну что вы, как вы могли такое предположить! — Я помню нашу трехнедельной давности встречу на крыльце савёловского дома, ее попытку заинте-

ресовать меня собой, — ситуация полна неловкости, а в таких случаях на меня нападает галантерейная галантность.

— Нет, простых оправданий мне мало, — говорит Иветта Альбертовна в ответ на мое блеяние. — Требуется компенсация морального ущерба. Вы приглашаете меня на свой сегодняшний вечер. Я и без того собиралась. Но я хочу получить личное приглашение. Это и будет компенсацией.

— Откуда вам известно о вечере?

— От Паши, — не заставляя меня ломать голову над тайной ее знания, говорит Иветта Альбертовна. — Прочел объявление в Интернете. Он, кстати, тоже собирался прийти. Ему очень нравятся ваши стихи, вы знаете?

Паша-книжник — единственный из банды Савёла, кто относился ко мне с уважением. И еще ему, оказывается, нравятся мои стихи. Чего не знал, того не знал.

Странное дело, мне, однако, совсем не хочется приглашать Иветту Альбертовну. Если она придет сама — это одно, если я ее приглашаю — это уже совсем другое. А между тем там будет и Евдокия.

— А почему вы здесь? — спрашиваю я, не давая ответа на ее просьбу. — До вечера в клубе еще долго.

— Мне нужно настроиться, — говорит Иветта Альбертовна. — Все же, согласитесь, повседневная жизнь не располагает к адекватному восприятию поэзии. Я всегда так делаю, когда направляюсь в театр, музей, на выставку. Обязательно гуляю. Именно по Тверскому. У Тверского бульвара особая аура. Вы не с той же целью здесь прогуливаетесь?

Я был прав, всегда думая о ней, что родители готовили ее совсем к другой жизни. Надо же, настраивать себя к слушанию стихов как какую-нибудь скрипку.

— Нет, я не прогуливаюсь, просто так уж дорога легла, через Тверской, — вру я — чтобы Иветта Альбертовна не предложила провести остаток времени вместе.

— Ну, тогда до встречи, — вновь ослепляет меня своей солнечной улыбкой Иветта Альбертовна. И спохватывается: — Так я не получила от вас компенсации! Вы меня приглашаете?

— Приглашаю, — говорю я.

— Благодарю вас, — с церемонностью наклоняет голову Иветта Альбертовна. — У меня трудно со временем, но я постараюсь.

Вернувшись к Пушкинской площади, я пробую вновь дозвониться до Евдокии, но попытка моя опять остается всего лишь попыткой. «Перезвоните позже», — отвечает мне чужим семплированным голосом ее номер.

А Костя вот отзывается, хотя и в метро. Мы договариваемся о встрече и, встретившись под памятником Пушкину, двигаем на Петровку.

В клуб неожиданным образом мы приходим последними из выступающих. Распорядитель вечера встречает нас на пороге и, едва поздоровавшись, начинает подгонять: скорее, скорее, народ уже собрался, зал полон. Расставленные в несколько рядов длинным полукружьем стулья и в самом деле все заняты. Я смотрю на ряды, кто там есть. Отыскивая, естественно, прежде всего мою радость. Глаза выхватывают лицо Иветты Альбертовны, лицо Паши-книжника, но Евдокии я не вижу. Напротив зрительских рядов поставлено еще несколько стульев, два свободны — надо полагать, для нас с Костей, — а на остальных уже сидят. Это Ларчиков, которого я не видел уже полные двадцать лет, две дамы по бокам от него — несомненно, поэтессы, приехавшие из Германии в составе их группы, дам я вижу впервые. А вот с третьей дамой, что сидит с краю, я прекрасно знаком.

— Здравствуй, Риточка, рад видеть, — здороваюсь я с Гремучиной.

Гремучина смотрит на меня так, словно я материализовался здесь из какого-то ее страшного сна.

— Что такое происходит последнее время? — вопрошает она вместо приветствия. — Куда ни приду — там и ты.

Зеркальная ситуация, просится у меня с языка, но я только хмыкаю.

— Леонид Поспелов, — представляюсь я ее соседке. Должно быть, эта соседка и взяла в пристяжные к себе Гремучину, как Костя меня.

Ларчикову я просто пожимаю руку:

— Привет! — будто мы виделись если не вчера, то позавчера.

Ответное пожатие Ларчикова вяло и холодно. Слиняв на волне перестройки, еще из Советского Союза, в Германию, он сделал там преподавательскую карьеру, женился на какой-то состоятельной вдове, вполне благополучен, зачем ему в этой его нынешней устроенной жизни всякий хлам из жизни прежней?

Право выступать первой предоставляется одной из дам — той, что привела с собой Гремучину. Следом за нею наступает очередь Кости. Лицо его мгновенно меняется, обретая вдохновенную значительность, морщины на лбу разглаживаются, напрягаются крылья носа, — он превращается в *поэта*. По дороге в клуб он сказал мне, что прочтет пять стихотворений, и не больше, но вот уже им прочитаны и шесть, и семь, а его все несет, он забыл свои благие намерения и готов читать, читать — до потери пульса.

Ведущему приходится выводить Костю из транса едва не силой.

Справиться с Ларчиковым ведущему уже не удается. Взгромоздясь на Пегаса, Ларчиков, как ведущий ни пытается стащить его вниз, на землю, просто не обращает на того внимания.

Я принимаюсь исследовать зал, выглядывая Евдокию. Вдруг она уже здесь? Но нет, из знакомых лиц — все те же два, Иветта Альбертовна и Паша-книжник.

Следом за Ларчиковым выступает Гремучина, потом вторая немка, которую судьба-индейка забросила в город Гамбург из моего родного Екатеринбурга, в прошлом Свердловска. В отличие от той, что читала первой, она поэт, но уж больно грамотно-гладка. Костя рядом со мной то и дело позевывает.

Мне выпала сомнительная честь выступать последним. Я обещаю себе, что дольше десяти минут мое выступление не продлится. Но только оказываюсь на ногах, только раскрываю рот — и все, меня несет. Я уподобляюсь Косте, Ларчикову — всем. Восторг, которым сияет лицо Иветты Альбертовны, ободряющая улыбка Паши-книжника заставляют меня давать моему Пегасу новые и новые шенкеля — тем более что в руках у меня моя свеженькая книжка!

Вечер традиционно заканчивается застольем. Так было в советские времена, не по-другому это и сейчас. Подошедшего ко мне пожать руку Пашу-книжника я усаживаю за стол рядом с собой. Иветта Альбертовна со своей сияющей улыбкой стоит поодаль, сделать вид, будто ее тут нет, невозможно, и я зову Иветту Альбертовну также присоединиться к нам. Появления Евдокии я больше не опасаюсь. Ясно, что она теперь уже не появится.

Ларчиков неожиданно «опознает» меня и начинает расспрашивать об общих знакомых. Но в какой-то момент беседа со мной становится ему неинтересна, и, резко отвернувшись, он снова перестает узнавать меня.

Паша-книжник вдруг заводит разговор о Савёле. Он убеждает меня, что Савёл имеет передо мной какие-то финансовые обязательства, что он недоплачивал мне и я должен поднять этот вопрос.

— Боже мой, Паша, — говорю я, — кто же сомневается, что недоплачивал?

— Нет, речь о «Песенке стрельцов», там другое, я все время хочу вам об этом напомнить, — не отстает от меня Паша. — Ведь вы же заключали на нее договор еще Бог знает когда. Еще при советской власти. Савёл тогда из-за денег не был еще готов удавиться. И значит, он с вами заключил нормальный договор, с процентами. А не как потом.

— И что из того? — спрашиваю я Пашу.

— А то, Леонид Михайлович! — восклицает он. — «Песенку» мы до сих пор исполняем, а он вам за нее, знаю, не платит. За остальное — так уж вы согласились, а за «Песенку» обязан, за каждое исполнение, там такая сумма набежала!

Скажи он мне это, когда я уезжал от Савёла тем вечером, я бы вцепился в его сообщение мертвой хваткой. Но Паши при обсуждении не было, и все это теперь неважно. Да и сумма, что там *набежала*, наверно, несравнима с той, что я уже получил и еще получу благодаря Балерунье.

— Да как теперь что докажешь, — говорю я. — Где теперь найдешь этот договор.

— Мальчики, примите меня, дайте посижу с вами, — прерывает наш разговор Гремучина.

Паша, глянув на меня, с неохотой встает.

— О, вот спасибо, — тотчас плюхается на его стул Гремучина. — Пашенька, ты джентльмен. Очень хорошо, что вы тут оба вместе. Я хочу на Савёла пожаловаться. Какой тяжелый человек Савёл. Просто как камень. Он плющит! Плющит, плющит, плющит! С творческим человеком так можно? Особенно с женщиной. Я начинаю сомневаться, творческий ли он человек сам!

— У бедняжки никак не получается наладить контакт с коллективом, — говорит Паша, когда Гремучина покидает нас.

— Но подходит она вам как автор? — интересуюсь я. — Одну песню вы с нею, судя по тому нашему выезду на празднество, уже сделали.

Паша машет рукой.

— Так это, ни то ни се. Подмалевок. Для пробы. Пока все без толку.

Застолье наше, как всякое такое застолье, заканчивается неожиданно. Вдруг, будто провеяло ветром и подхватило, все начинают собираться, вот еще только что сидели — и уже поднялись.

Я бы хотела, Леонид Михайлович, вашу книжку в подарок, ослепляет меня своей улыбкой Иветта Альбертовна. Сказать, что мне не льстит ее просьба, будет откровенной ложью. Но тот экземпляр, что был со мной, уже подарен Паше, а остальные в багажнике моего корыта. На Сретенском бульваре? — вопрошает Иветта Альбертовна в ответ на мое сообщение, где машина. Это же два шага. Ведите.

Но мы не расстаемся и на Сретенском бульваре. Как отправишь, подарив свою книгу поклоннице, потом ее на метро? Иветта Альбертовна живет в Северном Чертанове. Не рядом с моим Ясенево, но не другой край Москвы, крюк, но не Бог весть какой. Около ее подъезда темнота, и я отправляюсь проводить Иветту Альбертовну до двери.

— Еще раз благодарю вас, за чудесный вечер, за книгу, — принимается прощаться Иветта Альбертовна, отворив дверь и становясь на пороге.

— Это вы мне позвольте поблагодарить вас за интерес к моим стишатам, — ритуально расшаркиваюсь я в ответ и вдруг, неожиданно сам для себя, беру ее руку в свои, наклоняюсь и целую запястье. — Мне было приятно, что вы сидели в зале.

И что заставляет меня целовать ей руку и добавлять фразу с ключевым словом «приятно»? Это уже не имеет никакого отношения к ритуалу.

— Включим, может, радио? — предлагает мне Костя, перебравшийся, пока я провожал Иветту Альбертовну, на переднее сиденье.

Я тыкаю в красную кнопку на панели приемника. И сразу мы, только в динамике возникает голос диктора, просвещаемся: сегодня в центральной клинической больнице, иначе, в Кремлевке, в пятнадцать часов сорок пять минут скончался первый Президент России Борис Николаевич Ельцин.

— Ты слышал?! — восклицает Костя.

— Слышал, — отзываюсь я.

— Нет, а почему столь вяло?! — так же восклицанием вопрошает Костя. — Вы тут совсем забыли, что он сделал для России!

— Вот лучше бы он ничего для нее не делал. — Я веду машину и намеренно не позволяю себе Костиных эмоций, я должен быть спокоен. — А ты, если бы здесь остался, уже был бы не рядом со мной, а там, где не разговаривают.

Костя затыкается. Я, конечно, применил болевой прием, но уж так человек устроен: не почувствовав боли сам, не понимает чужой.

— Что, телефон по-прежнему не отвечает? — спрашивает Костя потом.

Я взглядываю на него. Ах, Костя, милый мой. Пробрало.

— Нет, — говорю я, вновь устремляя взгляд на дорогу, — не отвечает.

* * *

Евдокия объявляется назавтра утром, и довольно рано. Мы с Костей еще спим, и я вылетаю к телефону на звонок из постели.

— Ты еще дрыхнешь?! — слышу я в трубке исполненный энергии голос Евдокии. — Как можно, когда ты мне так нужен!

В этом ее исполненном энергии голосе ни тени вины за вчерашнее, напротив: это я виноват, смею спать, когда *нужен*.

— Ты почему вчера не пришла? — встречно спрашиваю я. — И отключила телефон.

— Ну да, я его отключила, — с охотой подтверждает Евдокия.

— Что у тебя произошло, что ты не пришла и еще отключила телефон?

— Да ты меня ревнуешь, что ли? — В голосе Евдокии возникают снисходительно-успокаивающие, *кроткие* нотки. — Папа приехал. Не предупредил, ничего. Звонок в дверь, открываю — он на пороге. Я тебе из-за этого сейчас и звоню.

— Из-за приезда отца?

— Из-за приезда отца, — покладисто, все с теми же нотками кротости отвечает Евдокия. — Давай встретимся, я тебе все объясню. Как скоро ты сможешь выехать?

Она просит меня встретиться где-нибудь на полдороге. И совсем не нужно никакого кафе, как она обычно любит, можно просто пересечься — и поговорить, да и прямо в машине.

— У тебя сейчас, после ремонта, не машина, а зверь, — льстит мне Евдокия.

Того, что она выдает, севши ко мне в машину, я бы не смог предположить, даже обладай фантазией, о которой говорят «буйная». Моя радость просит меня ни много ни мало как послужить у ее отца личным водителем.

— Нет, ты не думай, что я тебя прошу об этом как об одолжении, — говорит она. — О наших отношениях он вообще не должен знать! Ничего, ты понял?!

Ну да, конечно, что-что, а вот это как раз мне понятно.

— Что же, за деньги? — ошарашенно спрашиваю я.

— Естественно, — подтверждает она. — Он заплатит.

— Да вообще-то мне это неинтересно, — говорю я. — Ни за деньги, ни без денег. Надо найти какого-то профессионала — думаю, это не проблема.

Евдокия прерывает меня:

— Ты не понимаешь! Просто кто-то, откуда-то, неизвестно кто папу не устраивает. Ему нужен человек, на которого можно положиться. Которому можно доверять!

Она смотрит на меня прямым твердым, каким-то *железным* взглядом. Она дорога мне той своей явленной в улыбке «кислинкой» — какой я увидел ее впервые на выступлении в МГУ, — а эта меня и настораживает, и пугает, эта мне чужая, не *моя*.

— То есть все-таки ты просишь об одолжении, — говорю я.

Моя радость некоторое время молчит.

— Ну, получается, да, — соглашается она потом. — Но об одолжении для меня! Он меня попросил найти такого человека, и к кому мне обратиться, как

не к тебе? Я обращаюсь к своему мужчине, а он мне: я не могу! Ты мне не имеешь права отказывать!

«К своему мужчине». Этот аргумент оглушает меня. Стыдно сказать, в этот момент я вспоминаю, как обратился к Балерунье. Она мне не отказала.

— А что за срочность такая? Почему как на пожар? — спрашиваю я.

Ей становится ясно, что я согласился. О, каким счастливым удовлетворением освещается ее лицо! Я снова прозреваю в ней ту, *мою*, и ощущаю ее «кислинку».

— Срочность — потому что ему нужно уже сегодня. — Она снова само смиренство и кротость. — Прямо вот сейчас. И одна встреча назначена. И другая.

— А если у меня тоже встреча? — задаю я вопрос.

— Отмени. У тебя ведь ничего экстраординарного? А он все же два с половиной года был оторван от жизни. Папа, выезжаю к тебе с водителем, скоро будем, — набрав номер, произносит она в трубку, когда я завожу двигатель.

И каким голосом она говорит это! Это опять та, *не моя*, и в ее устремленном вдаль, на поток машин впереди, сосредоточенном взгляде мне вновь чудится нечто *железное*.

Когда мы останавливаемся около ее дома, уже выбравшись наружу, приготовившись захлопнуть дверцу, она вновь заглядывает ко мне:

— Когда он будет подходить к машине, выйди, открой ему заднюю дверь, очень тебя прошу. — И повторяет, — такое у меня, должно быть, лицо: — Очень тебя прошу! Ну очень!

16

Его несли так, что у Лёнчика было чувство, шатается под ногами пол. Когда в армии три года назад проголосовал против исключения Афанасьева, оказавшись один против ста, и то не возникало такого чувства.

Руководитель семинара, похоже, был на стороне его судей. Он обычно брал слово в конце обсуждения, отпуская по ходу только отдельные реплики, скорее направляя ими разговор, а не оценивая, сегодня же он именно оценивал. И все в одну сторону — будто подталкивая весь семинар. Он вообще считался прежде всего поэтом-песенником, песни приносили ему хороший доход, в дни семинаров на занятия к институту его привозил личный шофер на серой «Волге». Вести семинары, которые проходили раз в неделю по вторникам, начинаясь в середине дня — и больше в этот день никаких других занятий, отчего день получался оглушительно громадным, — руководитель приезжал в сопровождении жены — девушки лет девятнадцати, в одиночестве садившейся на самую дальнюю скамью в углу у стены и молчаливо сидевшей там весь семинар.

Лёнчик не нравился руководителю, он понял это еще в прошлом году, на первом курсе. Что-то было в нем неприятное руководителю, откровенно досаждавшее, чуждое. И семинар почувствовал это и рвал сегодня Лёнчика, как собачья стая раненого своего члена.

— Ну что же, Леня, — проговорил руководитель, приступая к подведению итогов. — Досталось тебе сегодня. Смотри, как тебя твои товарищи разнесли. Обижаешься на них? Не обижайся. Будешь потом благодарить. Знаешь, почему будешь благодарить? — Он взял прислоненную к столу трость, с которой всегда появлялся в институте и которую явно носил для форсу, потому что никогда на нее не опирался, утвердил трость перед собой и навалился на нее всем своим крупным, тяжелым телом. — Благодарить, Леня, будешь потому, что тебе сегодня мозги ставили на место. Речь не о технике стиха — выставляешь ты арматуру наружу и выставляй. Речь, дорогой мой Леня, о том, как ты на мир глядишь. Вот «Песенку стрельцов» ту же взять, о которой столько сегодня говорили. Кто они,

эти твои «вельможи» с «купцами»? А поп с кадилом? Я, знаешь, даже и не хочу в твоих ассоциациях разбираться. А уж «злобно родине служить» — вообще ни в какие ворота не лезет. «Родина» — и «злобно», как это сочетается?

— А почему вдруг нет? — раздался голос за спиной у Лёнчика. — Все зависит от задачи.

Голос был незнакомый. Лёнчик, сидевший на первом ряду, как то было положено тому, кого обсуждали, обернулся. Неизвестному, перебившему руководителя, было лет тридцать, он имел непримечательное, того рода, про которое говорят, землистое, слегка одутловатое лицо с кривовато-острым носом, маленькие глаза с опущенными вниз наружными углами смотрели с острой колючестью, остро, как у летучей мыши, торчали уши, обширная плешь на темени слегка пушилась редкими волосами, и в сочетании с дешевым и мятым темно-коричневым пиджаком он весь производил впечатление словно бы некой *потертости*. Неизвестный пришел в компании Жоры Бравина и до этого, за все два с половиной часа обсуждения, не произнес ни слова. В том числе и тогда, когда Жора бомбил Лёнчика, как американцы во Вторую мировую Дрезден. Жора вообще в основном на обсуждениях ругал. У него была поэма про отца, работавшего парторгом ЦК на какой-то стройке, чем автор очень гордился, руководитель всегда ставил ее в пример.

— Вы кто такой? — отнимая руки от набалдашника трости и отставляя ее в сторону, вопросил руководитель. — У меня в семинаре открытые двери, кто хочет, тот приходит, пожалуйста. Можно и выступать. Но пока обсуждение. Вы из института? Как ваша фамилия?

— Да не все равно, какая фамилия, — отозвался незнакомец. — Не выступал — ждал, что вы будете говорить. Но вы уж слишком… Ломаете человека через колено.

— Как фамилия?! — настойчиво, с нажимом, произнес руководитель.

Бравин рядом с приведенным им гостем сидел, весь сжавшись. Было ощущение, он хотел бы сейчас иметь шапку-невидимку и скрыться под ней.

— Ну, чего ты! Скажи, — толкнул он соседа локтем.

Незнакомец вздохнул.

— Рубцов я, — сказал он. — И что?

— Какой Рубцов? — В голосе руководителя прозвенел интерес. — Не Николай ли уж?

— Николай, — подтвердил незнакомец.

— Надо же, — протянул руководитель. — Какой чести мы удостоились! Оленька, — глянул он на жену в дальнем углу аудитории. — Вот он, Николай Рубцов, легенда института, посмотри на него. Что, Николай Рубцов, я слышал, восстановились? Снова учиться будете?

— Заканчивать, — сказал Рубцов.

— Заканчивать, — повторил за ним руководитель. — Хорошо. За ум, значит, взялись. Так и зачем же, Николай Рубцов, мешать? Было обсуждение — могли высказаться. Теперь поздно.

Но Рубцов, оказалось, так не считал.

— А если «родина», — нервически выкрикнул он, вздергивая свой негустой голос чуть не к фальцету, — так что, обязательно «любимая» да «милая»?!

— Ну, у вас-то с любовью к родине все в порядке, — с интонацией усталой терпеливости ответил руководитель. — Она у вас сплошь «милая» да «любимая».

— А это смотря какая родина! — с той же нервичностью выкрикнул Рубцов. — Если родина — моя деревня, где я родился, так какая еще!

Отставленная в сторону трость снова оказалась в руках руководителя.

— Поднимитесь, Николай Рубцов, — сказал он, — и покиньте аудиторию. Вы уже вылетали из института? Теперь его вам, как вы выразились, надо заканчивать.

На этот раз Рубцов не ответил. Посидел молча, потом встал, громко отодвинув от себя стол, и, громко топоча ногами, пошел к выходу из аудитории.

— Держись, братишка, — бросил он, проходя мимо Лёнчика. — Пиши, никого не слушай.

Дверь за ним закрылась, громовая тишина стояла в аудитории, и нарушить ее мог теперь только руководитель. Нарушил он ее, когда, казалось, ей уже не будет конца.

— Нужно было, Жора, его приводить? — проговорил он, обращаясь к Бравину. Бравин взметнул на руководителя глаза, мелко затряс головой, молча соглашаясь, что не нужно было. — В следующий раз думайте, с кем водиться, — прощающе заключил руководитель. — Трость замерла у него между ногами, и обе руки утвердились на ней. — Вы зачем в Литинститут пришли? — пылая жаркой вдохновенностью, воскликнул он, обращаясь теперь ко всему семинару. — Просто образование получить? Руку себе поставить? Руку вы себе поставите. Для чего мы с вами здесь возимся? И что вы будете с этой рукой делать? На масло заработать, чтоб бутерброд было чем намазывать, одной поставленной руки недостаточно. Надо иметь успех. А откуда успех, он что, сам по себе берется откуда-то? Успех приходит к тому, кто работает на него. Но работать нужно с умом. Общество заинтересовано только в тех, кто приносит ему пользу. А как поэт может приносить обществу пользу? Отвечая на его запросы к поэзии. Иначе говоря, успех нужно оплачивать служением обществу. Службой, если грубее. А не просто щелкать, как соловей в ореховых зарослях. Ты же, Леня, — взгляд его переместился на Лёнчика, — щелкаешь, как тот соловей. И все еще с иронией, с насмешечкой.

Лёнчик вдруг не выдержал. Брошенные этим Рубцовым, когда уходил, слова поддержки понуждали его к защите, заставляли сжать кулаки.

— Я же не над обществом насмехаюсь. Это лирический герой над собой.

Возмездие за нарушение негласного правила не прерывать руководителя не замедлило себя ждать.

— Молодец! — изверглась на Лёнчика кипящая лава презрительного гнева. — Молодец, нахватался, не напрасно учишься! Лирический герой у него… Какой у тебя лирический герой в «Стрельцах»? И не ночевало. А вот намеков, подмигиваний, фиг в кармане — в каждой строке, как пыли. И общество должно тебя кормить? В смысле, печатать. Да не будет оно это делать! Хочешь фиги показывать — показывай. И сиди соси лапу!

Пол, когда Лёнчик выходил после семинара из аудитории, не шатался, а ходил ходуном, вставая дыбом. Саша Борткевич, с которым приятельствовали, догнав в коридоре, хлопнул Лёнчика по плечу, обнял, сказал, сверкая черной дырой от вырванного зуба:

— Ну, приласкали тебя! Я тебя предупреждал. Предупреждал?

— Предупреждал, предупреждал, — деревянно подтвердил Лёнчик.

В раздевалке его пальто оказалось на соседнем крючке с бравинским. Бравин, снимая с крючка свое, проговорил с удивлением:

— Смотри-ка, Рубцов за тебя горой встал! Не ожидал.

По всему выходило, этот Рубцов был известной личностью. Спрашивать, однако, у Бравина, кто он такой, Рубцов, не хотелось.

— И правильно встал, — бросил Лёнчик. — Понимает, что к чему.

Как ни болтало пол под ногами, показать, что тебя качает и ты еле стоишь на ногах, — Лёнчик скорее согласился бы быть четвертованным, чем сделать это.

Вета, с руками в карманах своего разлетающегося колоколом желтого пальто, стояла у крыльца в компании парня, которого Лёнчик уже не раз видел около нее. Голова ее, несмотря на то что столбик термометра несколько дней как прочно держался ниже нуля, была непокрыта, и волосы были сплошь в блестках кружившегося в воздухе редкого снежка.

— Как обсудился? — прервав разговор с этим не имевшим никакого отношения к институту парнем, спросила Вета.

— Нет слов, — бравурно отозвался Лёнчик. Он не собирался рассказывать, как оно все было на самом деле. Тем более не хватало только открывать правду при этом типе. — Сказали, чтобы готовился к Нобелевской.

— Ну да, к Нобелевской! — Вета засмеялась.

Парень рядом с Ветой слушал их обмен репликами со смущением и напряжением, словно это было ужасно важно для него — о чем они говорят. В глазах его стояло выражение приветливо-угодливой собачьей преданности.

— Лёвчик, спасибо, что побыл со мной, скрасил мое одиночество, — повернулась к нему Вета. — И за это спасибо, — непонятно для Лёнчика похлопала она по своему коричневому портфелю в руке. — Извини, надо идти.

— Хорошо. Раз надо. Тогда до свидания, — забубнил Лёвчик.

— До свидания, — без любезности ответил Лёнчик.

Лёвчик двинулся к центральным воротам института — на Тверской бульвар, а Лёнчик с Ветой согласно тронулись к задним воротам, выходившим на Большую Бронную.

— Какой ты неучтивый, — сказала Вета — первое, что произнесла, как они с Лёнчиком остались вдвоем.

— А ты меня с этим Лёвчиком даже не знакомила, — парировал Лёнчик.

— Да мне просто в голову не пришло, — с насмешкой отозвалась Вета.

— Конечно. Не пришло. Что он вообще около тебя крутится?

— Я что, должна сказать ему, не крутись? Лёвчику ничего от меня не нужно.

Ага, не нужно. Лёвчик — Лёнчик, всего-то одна буква замены. Лёнчик почувствовал, как в нем поднимается волна ревности. Вета не была его девушкой — в том смысле, который вкладывается в это понятие. Она лишь позволяла ему быть около себя. Он чувствовал, она может ускользнуть от него в любой миг. Как ящерка — такой образ стоял в его сознании. И ощущение это угнетало его. Она была как магнит, он — кусок железа. При том что ему не очень-то нравились ее стихи. Они были слишком экспрессивны, слишком много *накручивания*, такая Марина Цветаева, возведенная в квадрат. И стихи она подписывала не полным своим именем — Светлана, — а вот этим, сокращенным, Вета, и просила в жизни называть себя только так. Впрочем, Вета — это ему нравилось. Вета — это звучало необычно, свежо для уха, в имени Вета была весна, пробуждающаяся природа, ликующий лепет бегущих ручьев — так, во всяком случае, ощущалось им.

— Если ему от тебя ничего не нужно, что он здесь снова толокся? — спросил Лёнчик.

Вета приподняла перед собой портфель и приложила к нему ладонь.

— Мандельштам, — по слогам торжествующе произнесла она. — Лёвчик мне принес Мандельштама.

— Иди ты! — вырвалось у Лёнчика. — Покажь.

Вета не согласилась:

— Ну да! Снег идет. Это же не манускрипт на телячей коже. Бумага.

Они уже шли по Бронной, миновали Некрасовскую библиотеку, пересекли Сытинский переулок, впереди была Пушкинская площадь. Лёнчику не терпелось взять Мандельштама в руки, и, дойдя до Пушкинской, он увлек Вету в кафе «Молочное» на углу Бронной и Пушкинской, в котором по утрам перед занятиями обычно завтракало все общежитие.

Гардеробщики в «Молочном», в форменных пиджаках с галунами, помогли раздеться. В зале было самообслуживание, легкие пластмассовые столики на тонких металлических ножках, с голыми голубыми столешницами, — обычная общепитовская столовка, только гардеробщики в галунах и напоминали о том,

что это «кафе». Однако если сесть за столик у окна, с видом на памятник Пушкину на другой стороне площади, на глазастооконный дом Эрихсона слева через дорогу от памятника, то можно сидеть и сидеть — главное, чтобы не было много народу и на твой столик не претендовали.

Сейчас, когда обеденное время уже закончилось, народу в кафе почти не было, и занять желанный столик не составило труда. И только сели, Лёнчик потребовал:

— Ну?! Вытаскивай. Давай-давай!

Вета оглянулась по сторонам. Но вблизи никого, и она решилась.

— Я еще сама не смотрела, — сказала она, доставая тетрадного формата, в переплете из серого глухого ледерина книжицу. — Он только дал, и я тут же убрала с глаз долой.

Лёнчик раскрыл книжицу — это оказалась на самом деле не книга, а самодельно переплетенная машинопись, третий—четвертый, а может, и пятый экземпляр. И с первых же строк ему снесло голову: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда — так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей…» Это не было похоже ни на что, что он читал прежде, ни на кого, это была будто резьба алмазным резцом по граниту. «Петербург! Я еще не хочу умирать: У тебя телефонов моих номера. Петербург! У меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса…» — прочитал он и обнаружил, что весь, с макушки до пят, взялся ознобной гусиной кожей.

— Да поешь же ты, у тебя уже все остыло, — попробовала отобрать у него книжицу Вета. — Дай мне посмотреть! Я говорю, даже еще не заглядывала!

Но Лёнчик не отдал ей книжицы — не мог от нее оторваться. О, вот таким поэтом он хотел быть, такой выразительности, такой алмазной твердости и резкости! Только невозможно было стать именно таким — ведь такой поэт уже был!

Подумав о том, что Мандельштам обязывает его стать *другим*, следом Лёнчик вспомнил о сегодняшнем обсуждении. На нем от него тоже потребовали сделаться другим. Правда, в ином смысле, чем Мандельштам. Но один человек настоятельно велел ему не меняться.

— Держи, — закрыв книжицу, протянул ее Лёнчик Вете. Взялся за ложку, — Вета была права, суп остыл. — Николай Рубцов, имя такое слышала?

— Конечно, — пожала плечами Вета. — А ты что, не слышал? О нем в институте вроде все знают. Всего на втором курсе, что ли? Салага?

Она училась на курс старше его и, хотя была моложе на три года, иногда, как бы в шутку, любила подчеркнуть его младшесть. Он в таких случаях всегда напоминал ей, что она заочница, а значит, учиться ей дольше и они закончат институт почти одновременно, так что нечего задирать нос. Однако сейчас Лёнчик решил обойтись без обмена уколами.

— Что у него за стихи? — спросил он.

— Некоторые записывают его в гении, — проговорила Вета, раскрывая книжицу Мандельштама.

— Почему?

— Спроси у них. Все, все, все, хватит о Рубцове! — воскликнула она, заслоняясь Мандельштамом.

Лёнчик съел свой остывший обед, выпил холодный кофе, сходил к раздаче, купил дополнительно по стакану горячего. Народу все так же было немного, их никто не тревожил, и они просидели в кафе, передавая друг другу машинописную книжицу, зачитывая друг другу то целиком стихотворение, то строфу, часа полтора, если не два.

И все это время Лёнчик думал о том, как сделать, чтобы после кафе расстаться с Ветой. У него в кармане лежала телеграмма с вызовом на переговорный пункт в почтовом отделении неподалеку от общежития.

Вета, однако, и сама не была намерена оставаться с ним после кафе. Оказывается, дома ее ждали с лекарствами для заболевшего отца. Я забыла, я совсем забыла, ой, балда, с тобой и твоим Мандельштамом обо всем забыла, приговаривала она, стремительно застегивая портфель, поднимаясь и летя через зал к выходу, Лёнчик едва поспевал за ней.

Некогда, некогда, не до того, отмахнулась Вета от его попыток объясниться, почему он не может проводить ее до дома. Она, быстро-быстро перебирая ногами, застучала по ступенькам вниз, в метро, а он, проводив ее взглядом, мимо дома Эрихсона, где в гастрономе на первом этаже уже зажгли свет, торопливо направился на Чехова, бывшую, как его просветила Вета, Малую Дмитровку, на остановку 3-го троллейбуса ехать в общежитие. Да уже пора было и не в общежитие, а сразу на переговорный пункт. Вызов на переговоры с родным городом был безымянный, но он знал и без того, с кем ему предстоит говорить. Это была Жанна, кто его вызывал. Больше некому.

* * *

— Ты мне не написал после лета ни одного письма, — сказала Жанна.

Это была правда, ни одного. Лёнчику было нечего ответить в свое оправдание.

— Да как-то так, знаешь… вроде не о чем, — пробормотал Лёнчик. — И времени нет. Сама ведь была студенткой, помнишь.

— Помню. Полно было времени, — не приняла его объяснения Жанна. — Вот чем ты, например, занимался сегодня?

— Сегодня у меня было обсуждение на творческом семинаре. — Воспоминание о семинаре вмиг наполнило Лёнчика болезненным ощущением своей дефектности. — После такого обсуждения другие у нас вообще пьют неделю.

— Ты же не «другие», — тоном самой умудренности произнесла Жанна. — Мне нет дела до других. Другие пусть пьют. Я уже думала, что-то случилось, раз ты не пишешь.

— Нет не случилось ничего, — тупо ответил Лёнчик.

Жанна в трубке помолчала.

— И это все, что ты хочешь мне сказать? — спросила она потом.

— А что мне говорить? — вопросом отозвался Лёнчик.

Так они проговорили еще несколько минут и попрощались. Послевкусие от разговора было ужасное. Лучше уж было и не ходить на переговорный пункт.

В августе, возвращаясь из Красноярска, где провел лето, работая в газете студенческих стройотрядов края, он на десяток дней заехал к родителям. Заехал к родителям, а провел эти дни с Жанной. Жанна взяла на работе отпуск без содержания, и была с ним с утра до вечера. Днями, когда Таисия Евгеньевна с Викой были на смене, лежали в постели у нее дома, вечерами ходили в кино, фланировали по улицам. Уже через несколько дней их совместного времяпрепровождения он ждал не мог дождаться, когда настанет срок уезжать. За год московской жизни он совершенно отвык от нее, она стала ему неинтересна. И Жанна это чувствовала. И, видимо, поделилась своими чувствами с Викой. В один из дней Вика попросил Лёнчика выйти с ним на лестничную клетку будто бы составить компанию, пока курит, и, задымивши, неожиданно сказал: «Жанка за тебя замуж собралась, сечешь? Смотри, если обманешь, ноги вырву. Ты мои возможности знаешь». В нынешний свой приезд в родной город с Викой Лёнчик почти не виделся, и не только из-за Жанны. Вика за этот год, что Лёнчик прожил в Москве, изменился еще больше, уверенная сила, которую Лёнчик обнаружил в нем, вернувшись из армии, распирала его на разрыв, и, когда пересекались, столь явная стена стояла между ними — ощущалась почти физически.

В общежитии на площадке перед лифтами царило странное оживление. Здесь толклась целая толпа, и все что-то горячо обсуждали. Лёнчик вслушался — речь шла об Окуджаве. Он вспомнил: в актовом зале общежития сегодня его выступление; еще утром собирался непременно быть на нем.

— Окуджава еще выступает? — вопросил он, обращаясь сразу ко всем на площадке.

— Петь отказался. Не будет петь, — ответил ему сразу хор голосов, и Лёнчику стало понятно, почему разговор был так жарок.

Но все же на выступление Окуджавы следовало пойти. Лёнчик только решил подняться к себе в комнату, оставить там пальто.

Прибывшие сверху один за другим лифты рассосали толпу. Лёнчик остался один. Ожидая нового явления лифтов, он услышал, как открылась и захлопнулась входная дверь. Мимо вахты простучали шаги, приблизились и смолкли прямо за спиной. Лёнчик обернулся. Перед ним стоял не кто другой, как Рубцов.

— Хотел бы поблагодарить вас за поддержку, — вырвалось у Лёнчика.

Рубцов вгляделся в Лёнчика, и лицо его озарилось узнаванием.

— А, это вы! — На семинаре, уходя, он обратился к Лёнчику на «ты»: «Держись, братишка». — Да что там. Они в поэзии ничего не понимают. Вот их спроси, что такое кантиленность. Важнейшее для русской поэзии качество. Они не знают. Потому что в «Поэтическом словаре» у Квятковского этого термина нет!

Лёнчик предпочел промолчать. Он тоже не знал, что такое кантиленность.

Кабина лифта, приплыв сверху, выстрелила контроллерами и замерла. Они вошли внутрь, выяснили, кому ниже, нажали нужную кнопку и поехали.

— В зале там выступление Окуджавы. Знаете? — спросил Лёнчик.

— Знаю, — не сразу, через паузу кивнул Рубцов.

— Он петь отказался, — поторопился сказать Лёнчик.

— Да-а, — бросил Рубцов. — Если б и пел. Я тоже пою.

— Нет, ну это все же Окуджава. — Лёнчик не мог оставить автора «Леньки Королева» без защиты.

— Так иди и слушай, — как разрешил Рубцов, вновь неожиданно обращаясь к Лёнчику на «ты».

Лифт остановился. Рубцов распахнул двери кабины и, прежде чем растворить железную дверь шахты, сказал, выставляя перед собой указательный палец:

— Слушай только себя, понятно? Всех выслушивай, а слушай только себя.

Лёнчик поднялся на свой этаж, — по пустынному коридору прогуливался Юлик Файбышенко, муж Иры Марченко. Ира училась на два курса старше, на семинаре прозы, но Лёнчик, так получилось, еще на первом курсе, только начались занятия, подружился с ними — читал в компании свои стихи, и Юлику они понравились. Ира раньше, до института, была замужем за Анатолием Кузнецовым, автором известной повести «Продолжение легенды», Кузнецов недавно поехал в командировку в Англию и остался там, Иру вызывали в КГБ, она боялась, что отчислят из института, но вроде все обошлось.

— Салют! — увидев Лёнчика, направился к нему навстречу Юлик. — Хоть ты здесь! А то все там в зале, нам тут с Ирой приткнуться негде.

Юлик с Ирой снимали комнату в коммуналке, Ира в общежитии появлялась только в дни сессий — готовиться к экзаменам, Юлик писал прозу, подрабатывал внештатно сразу в нескольких редакциях, ему в общежитии и вообще нечего было делать, и раз они оба заявились сюда, тому была весьма существенная причина.

— Так и я туда, в зал, собираюсь, — сказал Лёнчик. — Вот только пальто к себе заброшу.

— Но он же петь не будет? — насторожился Юлик.

— Да говорят, — подтвердил Лёнчик.

— Вот видишь. — Юлик развел руками. — Он потом будет петь. У вээлкашников, на седьмом этаже. Чтобы не как концерт, а в своей компании.

Вээлкашники — это были члены Союза писателей, получавшие образование на Высших литературных курсах — ВЛК, — небожители, обитатели Олимпа, Лёнчик, учась в институте второй год, ни с кем из них до сих пор знаком не был.

— А вы что, приглашены туда ? — вырвалось у Лёнчика с невольной завистью.

— Приглашены, — кивнул Юлик. — Хочешь пойти? Придем не вдвоем, а втроем… не выгонят же!

Когда они вместе с Ирой пришли на седьмой этаж и, постучавшись в нужную дверь, оказались в заполненной народом под самую завязку комнате, Окуджава был уже там. Сидел в углу на стуле, держа руки перед собой на коленях, и из-за того, что был щупл и как-то поразительно узок — словно линейка, — возникало ощущение, что стремился сжаться, сделаться как можно незаметней, чуть ли не исчезнуть.

Прежде чем он запел, прошло минут двадцать. Окуджава несколько раз брался за стоявшую рядом с ним у стены гитару, брался — и отпускал, но вот она наконец легла ему на колени, он начал пощипывать струны, подкручивать колки, неожиданно пальцы его забегали по ладам, заперебирали струны — он запел. С первого же звука его необычного, клекочущего голоса с Лёнчиком произошло странное: было ощущение, он *взмыл*. Невероятная сияющая, слепящая высь открылась ему. Где все было один неизвестно откуда берущийся, все заливающий собой и все в себе растворяющий свет. И так, пока Окуджава пел, пережидая — не без досады — аплодисменты, Лёнчик парил и парил в этой слепящей выси, и казалось невозможным, что в конце концов придется ее оставить.

— Кайф, — выдохнул кто-то, когда Окуджава отставил гитару. И все тотчас заговорили — разом, но каждый давая произнести свое слово другому: — Булат, несказанно! Великолепно! Как вам это удается, Булат? Изумительно, несравненно, поразительное исполнение!

Окуджава, повернувшись к соседу, попросил жестом: закурить бы. Сосед торопливо полез в карман, Окуджава прикурил от чьей-то услужливо предложенной спички и, сделав затяжку, выпустив дым, сказал:

— Ну что это все я да я. Давайте и другие пусть выступят. Кто-нибудь поет, нет? Или стихи свои почитает. — Он повел вокруг себя взглядом. И взгляд его остановился на Лёнчике. — Вот вы, молодой человек, вы поэт?

— Сочиняю, — ответил Лёнчик. Неожиданно так звонко, что ему тотчас стало неловко за этот звук литавров в своем голосе.

— Ну вот давайте, — располагающе и серьезно глядя на него, сказал Окуджава. — Поэты в молодости должны читать свои стихи, не дожидаясь уговоров.

Эта его последняя фраза все решила.

— Нет, я не против. — Лёнчик вскинул голову. — Пожалуйста.

— Лёнчик, «Песенку стрельцов»! — подсказал ему громким шепотом Юлик.

Лёнчик согласно кивнул. Но сначала он прочел другое стихотворение. Одно из тех, что также подверглось сегодня сокрушительному разгрому. И еще одно — которое было важно для него самого. И уже после того стал читать «Стрельцов».

Аплодисменты, раздавшиеся, когда он закончил читать и, приложив руку к груди, поклонился, не шли ни в какое сравнение с аплодисментами Окуджаве. Окуджава, однако, встал и, сделав несколько шагов вперед, протянул руку Лёнчику. Рука у него оказалась маленькая, костистая и с крепким ухватом.

— Благодарю вас, — не разрывая рукопожатия, проговорил Окуджава. — Вы доставили мне удовольствие. Серьезно. Очень хорошо. Как ваше имя?

Лёнчик назвался.

— Леонид Поспелов? — запоминая, переспросил Окуджава. — Приятно познакомиться, Леонид Поспелов. Буду теперь следить за вами.

— Еще бы выпить, а? — сказал Юлик Лёнчику, когда они, проводив взглядом уплывшую вниз кабину с Окуджавой, стояли перед закрытой железной дверью лифтовой шахты. — Где-нибудь добавить можно, как думаешь? Так хорошо! В жизни не часто выдаются такие дни.

Лёнчик был с ним согласен. Возвращаться к себе в комнату, переходить к обыденному строю вещей после пережитого полета казалось немыслимым. Хотелось продлить праздник.

— Пойдем по этажам, — предложил он Юлику. — Чтобы в общежитии Литинститута где-нибудь не гуляли — так не бывает. А водка потребуется — выбежим, купим у таксиста. У нас тут на углу стоят, у них с наценкой — в любое время.

Бежать за водкой как младшему в их компании пришлось ему. Гуляли — под гитарные переборы — на пятом этаже, с Ириного курса, и ее встретили с распростертыми объятиями, а заодно и Юлика с Лёнчиком. Впрочем, оказался тут и Рубцов. Он стоял в дальнем конце комнаты, у окна, руки в боки, будто собирался танцевать «Барыню», но не танцевал, а просто стоял так и смотрел перед собой с угрюмо-нахохлившимся видом. Было впечатление, его обидели, он борется в себе с этой обидой, но у него не получается преодолеть ее.

На то, чтобы добежать до угла, договориться с таксистом, отдать ему деньги, и обратным путем в комнату на пятом этаже — у Лёнчика ушло не больше пяти минут. Но за это время диспозиция в комнате резко изменилась. Гитара теперь была у Юлика, ремень ее широкой портупеей перехватывал его наискось через плечо, а Рубцов стоял посередине комнаты, руки сжаты в кулаки, и, напрягая жилы на лбу, он кричал высоким, визгливым голосом:

— Отдай! Отдай гитару! Не тебе ее принесли! Не тебе, ты!

Юлик прохаживался по комнате и, спокойно поглядывая на Рубцова, перебирал струны, извлекая из гитары не связанные между собой музыкальные фразы.

— Если народ не хочет, чтоб ты пел! Что я тебе ее отдавать буду.

— Я Рубцов! — продолжая сжимать кулаки и наклоняясь вперед, вскричал — но более взвизгнул — Рубцов. — Ты меня не знаешь?!

— А я Файбышенко, — с прежним спокойствием отозвался Юлик. — Ты меня знаешь?

— Отдай гитару! — снова пустил фальцетного петуха Рубцов. — Отдай, тебе говорят!

— Забери, — останавливаясь, насмешливо предложил ему Юлик. — Ну? Давай.

— Т-ты! Т-ты! — вырвалось из Рубцова. Он шагнул к Юлику и остановился. Ясно было, что с плотным, мускулистым Юликом ему не совладать.

В следующее мгновение он стремительно полетел к выходу из комнаты. Дверь за ним влупилась в косяк, будто выстрелила.

Молчание, что наступило следом за тем, было как выдох после долгой, закружившей голову задержки дыхания. Потом Юлик снял с себя гитару и повернулся к Ире. — Ты домой хотела? Твоя взяла.

Лёнчик с ними пришел, следовало с ними и уходить.

Вызывать лифт, ждать, когда придет, не стали и пошли по лестнице вниз пешком. Шли молча, было ощущение — что сейчас ни скажи, все будет не к месту, любое слово. И только когда уже прошли второй этаж и повернули на последний вираж, Юлик, ни к кому не обращаясь, сотряс воздух:

— Надо же было так себе кайф испортить!

Ира не отозвалась. У Лёнчика на языке крутились те же слова, но какой смысл было вторить эхом? Однако когда уже миновали вахту и стали прощаться, у Лёнчика противу воли спросилось:

— Что у вас там произошло?

— Да-а, — неохотно протянул Юлик. — Он хочет сидеть на троне и чтобы все вокруг поклонялись. Он что, Окуджава? Вот Окуджава — пожалуйста, я согласен. А он с какой стати?

— Ты же не читал его стихов, — сказала Ира.

— А ты читала?

— Не читала. Но в институте все вокруг говорят…

— Мало ли что у вас в институте говорят, — оборвал ее Юлик.

К телефону на вахте Лёнчика вызвали, когда он уже лежал в постели. Часы над головой дежурной, когда Лёнчик скатился к ее столу, показывали два часа.

Он сорвал с телефона на стене трубку и тревожно выдохнул:

— Алле!

Кто ему мог звонить в такое время, он даже не мог догадаться. Он подумал об отце с матерью, о сестре, брате. И о Жанне промелькнула мысль.

В трубке играла музыка — в технике телефонной станции произошло замыкание, и какая-то радиоволна подавала на линию свой сигнал.

— Лёнчик, — сквозь звуки скрипок произнес в трубке голос Веты, — извини, если я тебя разбудила, но я собралась ложиться — и чувствую: не могу лечь. Почему ты мне не сказал правды о своем обсуждении?

О Боже, прозвучало в нем с облегчением. Вета почти никогда ему не звонила, а уж в такое время тем более.

— О каком обсуждении? — спросил он, не понимая, о чем она.

— О твоем сегодняшнем обсуждении, — ответила Вета. — Представляю, что с тобой делалось, когда мы встретились. А я — с Мандельштамом… Мне ужасно стыдно.

Она говорила — в Лёнчике, будто приходя из некоего невероятного далека, прорезалось, прорастало воспоминание о сегодняшнем обсуждении в институте. Казалось, оно было на самом деле год, два, десять лет назад.

— Мои стихи понравились Окуджаве, — сказал он, осознавая одновременно, что за музыка сопровождала их разговор. Это был «Полет шмеля» Римского-Корсакова. Басовито гудя струнами скрипок, шмель пронзал своим мохнатым, играющим радугой телом залитые солнцем пространства, плыл в них вольным, ни от кого не зависимым маленьким кораблем — само воплощение свободы, упоения жизнью, легкости бытия.

— Окуджаве? — переспросила Вета. — А! Это же сегодня у вас в общежитии встреча с ним! И что же, ты читал ему свое?

— Читал, — невольно переполняясь гордостью, подтвердил Лёнчик.

— И ему понравилось? — В голосе Веты прозвенел восторг.

Шмель, летевший в трубке на крыльях скрипок, подхватил Лёнчика, принял в себя, Лёнчик стал им, и теперь сияющие солнечные пространства были открыты ему во всей их беспредельности, он был их обитатель, их хозяин — их полноправный владетель.

Вета между тем неожиданно замолчала. Он произносил в трубку: «Вета! Вета! Почему ты молчишь?» — она молчала, только раз ответила ему: «Подожди, дай соберусь с духом», — и наконец, видимо, собралась.

— Лёнчик! — раздался в трубке ее голос, и был он полон некоего особого значения. — Лёнчик, я сегодня подумала, что ты не считаешь меня близкой, раз не захотел разделить со мной свои чувства. Ведь тебе было плохо, да? Тебе плохо, а ты не захотел разделить их со мной. И знаешь, мне стало ужасно обидно, что ты не считаешь меня близкой.

Лёнчик потерялся. Она его обвиняла, но как-то странно, не понять, в чем обвиняет.

— Вета, Вета, — заприговаривал он, — ну разнесли и разнесли…

— Нет, подожди, — прервала она его. — Подожди! — И голос ее теперь был полон не только некоего непонятного значения, но и торжественности. — Я вот что тебе хочу сказать: если ты сделаешь мне предложение руки и сердца, я, наверное, приму его.

Лёнчик молчал, ошеломленный. Он не был готов к такому.

Шмель в трубке завершил свой полет. Сияющие солнечные пространства свернулись, настало мгновение полной, словно бы темной тишины, и зазвучала другая музыка.

Решение следовало принимать немедленно. Сейчас, сию минуту — или, может быть, никогда. Как с головой в омут.

— Ветка, выходи за меня замуж, — сказал Лёнчик.

— Это что же, ты мне делаешь предложение? — словно удивилась она. — Я должна подумать. Дай мне несколько дней на размышление.

17

— Это что у тебя за срань?! — говорит бывший вице-мэр одного из небольших городов Западной Сибири, не доходя до меня нескольких шагов — когда я, завидев человека, отвечающего описанию, сделанному Евдокией, выбираюсь из своего корыта и открываю заднюю дверцу. — Я на этой срани должен ездить?

— Вам нужен я или моя машина? — спрашиваю я бывшего вице-мэра.

По свирепому выражению его лица я вижу, он готов дать мне как личному водителю суровую выволочку, но у людей этого склада мозги свою выгоду считают быстрее суперкомпьютера, и вместо готовой излиться у него с языка страстной речи я получаю всего-то яростное сверкание глаз, и он молча направляется к распахнутой для него дверце.

— Садись, поехали, твою мать! — только и говорит он, оказавшись внутри, и, вырвав у меня из рук дверцу, сам захлопывает ее.

Боже мой, и моя радость вышла из чресел этого мурла? Поглядывая на его повелительно-грубое желвастое лицо в зеркале заднего вида, я думаю, что Евдокия ничуть не виновата передо мной: с таким папашей и в самом деле отключишь телефон лишь потому, что он объявился у тебя на пороге.

Дорога от «Речного вокзала», где на Фестивальной живет Евдокия, до Большой Ордынки, куда нужно бывшему вице-мэру, хотя уже совсем не час пик, напоминает гирлянду из множества пробок, ехать такой дорогой молча — испытание не легче, чем пытка «испанским сапогом», общее дело, как известно, сближает, пусть это и участие в пытке, и бывший вице-мэр снисходит до разговора:

— Чего на такой срани ездишь, нормальную машину не купишь? — спрашивает он.

— Мне и на этой нормально, — отвечаю я.

— Как на такой колымаге нормально может быть? Уважать себя надо! Не будешь себя уважать, не будут другие.

Возможно, он прав. Он знает, о чем говорит. Для этих людей, что ради власти готовы проутюжить вокруг себя все, как катком, самоуважение — что-то вроде дополнительного физического органа, вроде второго сердца, без которого они умрут. При этом «самоуважение» и «самоутверждение» для них — слова-близнецы, синонимы.

— Самоутверждение через машину — признак ущербности человеческой личности, — говорю я, не раскрывая бывшему вице-мэру хода своей мысли.

— Что-о?! — вопрошает он. Удивление окрашивает его голос словно яркой цветной краской. — Что ты такое о личности? Ты кто вообще по профессии?

— Ваш водитель, — говорю я. — Меня попросили — я вас вожу.

Бывший вице-мэр некоторое время молчит. Потом шумно отваливается на спинку сиденья:

— Ох ты! Не простой фрукт. — И тут же пригибается к моей шее вновь: — Откуда тебя Дуська знает?

Реагировать нужно немедленно, без задержек. На свой страх и риск. Почему-то мы с Евдокией не обсудили, как отвечать на этот вопрос, если вдруг он возникнет.

— Дочери наши дружат. — Ничего другого в голову мне не приходит.

— Тоже на журфаке учится? — помедлив, интересуется бывший вице-мэр.

— Нет, не на журфаке, — отвечаю я. Что на этот раз истинная правда.

Когда мы останавливаемся у нужного офиса на Большой Ордынке, на гранитном крыльце которого ждет его некий господин холеного топ-менеджерского вида, я, напрочь забыв о просьбе Евдокии, остаюсь спокойно сидеть на своем месте, дожидаясь, когда ее папаша оставит машину, но он тоже сидит-молчит — и лишь со свирепой выжидательностью смотрит на меня в зеркало заднего вида. Я недоуменно оборачиваюсь к нему — и тут вспоминаю. Твою мать, звучит во мне восклицанием. Я открываю дверцу, выбираюсь наружу, огибаю свое корыто сзади и открываю дверцу со стороны бывшего вице-мэра.

— Что, раньше людей не возил? — бросает мне бывший вице-мэр, ступив на асфальт. — Чтоб с задницы машину больше не обходил! Только с передка! — И, пока я перевариваю сказанное, добавляет: — Не отлучаться никуда! Жди меня здесь, сколько бы ни задержался!

Оставшись один, я извлекаю из кармана мобильный и звоню Евдокии. В отличие от вчерашнего дня телефон ее отзывается мгновенно.

— Чтоб ты знала, ты подруга моей дочери, — говорю я. Объясняю, что и как вышло, ожидая от нее реакции веселья, но Евдокия неожиданно для меня слушает мой рассказ с требовательной серьезностью.

— Хорошо, что предупредил, — говорит она. — На всякий случай, как ее зовут?

Я называю имя своей дочери.

— А кто она? — следует новый вопрос. — Ну, чем занимается: работает, учится?

Кто она? Чем занимается? А вот об этом мне уже не хочется говорить. Мне не хочется пускать Евдокию в мою жизнь так глубоко.

— Сочиняй, что хочешь, — отвечаю я. — Главное, не забудь потом сообщить мне, что сочинила. Будем сочинять вдвоем одну сказку.

Тут наконец моя радость услаждает мой слух смешком:

— Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! Из сказки возгорится пламя!

Вот такой, с этой ее ироничностью, с этой ее кислинкой, я ее обожаю, вот такая она — *моя*, и я тотчас вспоминаю, о чем было напрочь забыл.

— Я же книгу вчера получил из издательства, — говорю я. — Собирался, как встретимся, подарить. А ты меня огорошила — у меня это из головы выскочило.

— Книгу?! Получил?! — вырывается у моей радости. — Ой, хочу-хочу-хочу! Приготовь!

Закончив разговор с нею, я тут же достаю из бардачка экземпляр книги и погружаюсь в сладкую муку сочинения дарственной надписи. Мне нужно подписать книгу так, чтобы бывший вице-мэр, если она окажется у него в руках, ничего бы не заподозрил. Не знай он меня вживе — и Бог с ним, а теперь — отец подруги и вдруг с нежной надписью?!

На муки сочинения надписи у меня уходит едва не четверть часа. И когда бывший вице-мэр звонит мне с коротким сообщением: «Выхожу!» — я только-только собираюсь убрать подписанную книгу обратно в бардачок.

Убирая книгу, я извожусь насмешливым недоумением: что за нужда была ему сообщать, что выходит? Понимание того, из-за чего звонил, приходит ко мне лишь после того, как я вижу его возникшим на крыльце. Ах же ты, Боже мой! Я вываливаюсь наружу и, торопливо обогнув свое корыто (с передка, с передка!), открываю заднюю дверцу.

Бывший вице-мэр, ни слова не произнеся, садится в машину и раскрывает рот, только когда оказываюсь на своем месте за рулем и я:

— Ну вот что, Лёник! На срани твоей ездить нельзя. Позор. Дуська как раз собралась машину покупать, давай-ка подмогнем с покупкой, на ней меня по доверенности и повозишь. Знаешь приличные салоны, чтоб все тихо-спокойно?

Хорошо еще, стучит во мне, что ты не додумался назвать меня Лёнчиком!

Вслух, однако же, я, конечно, ничего подобного не произношу.

— Найдем, чтоб все тихо-спокойно, — отвечаю я бывшему вице-мэру.

* * *

Мы намечали с моей радостью купить ей «Форд Фиесту», его мы и покупаем. Странно быть с нею рядом, да много часов подряд, и при этом изображать отношения людей, никогда не видевших друг друга в облачении Адама и Евы.

Я опробовал машину в салоне и знаю, что за удовольствие сидеть за ее рулем, но я не мог и представить, что за наслаждение получу, выкатив на дорогу и встроившись в поток.

— Замечательная машина! — не удержав в себе захлестнувшего меня восторга, восклицаю я в пространство перед собой.

— Да уж, это, Лёник, машина, — отзывается бывший вице-мэр, севший рядом со мной. — Не то что твоя «срань».

Я натурально прикусываю язык, заставляя себя снести его тычок. Что ты меня заставляешь терпеть, моя радость!

Евдокия в этот момент подает голос. Словно услышав мое обращение к ней.

— А ваша машина, Леонид Михайлович? Ваша-то машина осталась там!

Ну да, точно. Моя срань, как выражается ее папаша, осталась около салона.

— Поведешь? — поворачиваю я голову назад к Евдокии. — А я вернусь за своей.

— Ой, нет, пока нет, не готова, — машет руками моя радость. — Я еще должна набраться опыта. Чтобы со мной кто-то посидел рядом. Посидите, Леонид Михайлович?

— Посидит, посидит, — торопится предупредить мой ответ бывший вице-мэр. — Это все равно что меня возить. Взамен. Посидишь, Лёник?

— Если только за дополнительную плату, — роняю я, обращаясь к бывшему вице-мэру.

Бывший вице-мэр не настроен выложить больше той суммы, что наметил.

— Взамен меня — о какой дополнительной может идти речь? — сурово произносит он через паузу. — Только со мной — ты за рулем, с Дуськой — она за рулем, а ты рядом.

Я едва не лопаюсь от смеха. «Качаю» свои права еще пару минут и наконец даю себя уговорить. После чего наш разговор обмелевает, усыхает, сходит на нет, и дальше мы уже едем молча.

Едем мы на давно присмотренную нами с Евдокией платную стоянку неподалеку от ее дома. Оттуда американская обновка отправится завтра на регистрацию в ГИБДД, чтобы после этого уже и стать *транспортным средством*. А мне, пока происходит регистрация, гарантированы два дня «отпуска».

Когда, оставив нашу покупку на стоянке, мы идем к воротам, я приотстаю от бывшего вице-мэра и, дав знак Евдокии, чтобы она тоже отстала, вытаски-

ваю из черного кожаного рюкзака, снова одолженного мной у соседа, свою книжку:

— Убери.

— Ой, как замечательно! — шепотом восклицает она, и книжка, мелькнув моим портретом на обложке, исчезает в ее стремительно провжикавшей молнией сумке.

Звук молнии заставляет бывшего вице-мэра обернуться. Но пока он разворачивается, сумка Евдокии успевает повиснуть на ее плече с видом самой безгрешности. Ему достается увидеть, как я, сложив лямки рюкзака вместе, забрасываю его на плечо.

У бывшего вице-мэра, видимо, отменное настроение. Предвкушение того чувства самоуважения, с которым будет подъезжать к нужным местам на достойной машине, согревает его, словно рюмка хорошего коньяка, и душа просит ублажить себя потехой.

— Что это ты, Лёник, сегодня с торбой не расстаешься? — остановившись и подождав, когда мы поравняемся с ним, вопрошает он. И берется за лямку моего рюкзака. — Что у тебя там такое? Глянем давай? Как говорят по телевизору в одной передаче, народ хочет знать.

— Папа! — укоряюще произносит Евдокия. Ей и неудобно передо мной, и стыдно за него, но в ее возможностях — лишь этот скромный протест.

Впрочем, ее заступничество совсем мне не нужно. Я все же не настоящий водила по найму, чтобы трястись перед работодателем. Я резко стряхиваю рюкзак с плеча, выдергивая одновременно лямки из руки бывшего вице-мэра, и перебрасываю рюкзак на другое плечо.

— Любопытно, что у меня там? Куча денег.

— Ну?! — восклицает бывший вице-мэр. — Так тем более нужно посмотреть! Поделим. Нельзя же все одному.

— А оно и так не одному, — трогаясь с места и понуждая тронуться их с Евдокией, — говорю я. — Он не один, над ним тоже люди есть.

— Кто это «не один»? — интересуется бывший вице-мэр. Он начинает терять кураж, потехи, которой жаждала его душа, не получилось.

— Да кому деньги несу.

Выйдя за ворота стоянки, мы незамедлительно расстаемся. Бывшему вице-мэру неуютно, и он не хочет длить наше совместное пребывание. Евдокия, прощаясь со мной, поворачивается к отцу спиной, чтобы сказать мне глазами: потерпи, потерпи! — и скрепить свою просьбу воздушным поцелуем.

Между тем я сообщил бывшему вице-мэру сущую правду: в рюкзаке у меня деньги. Откат, вторая часть, которую я должен передать Евгению Евграфовичу. Он так извелся ожиданием этих денег, что не пожелал дать мне ни дня отсрочки. И вот я с утра таскаюсь с этим рюкзаком, не решаясь даже на короткий миг расстаться с ним, — что довольно забавно, бывший вице-мэр тут прав. Смешно сказать, мне видится естественным снова везти деньги в нем, как бы рюкзак — самая та тара для транспортировки отката.

Вернувшись к салону и сев за руль своего корыта, я тут же достаю телефон и звоню Евгению Евграфовичу.

На условленное место у метро «Сокольники» я прибываю первым и минут десять стою жду его. Он появляется в том же самом франтоватом длиннополом пальто из тончайшего кашемира, в котором я увидел его впервые у подножия Арсенальной башни, только вместо бордового шарфа с кистями выпущен наружу, поверх пальто, другой, цвета благородной слоновой кости.

— Пойдемте в машину? — предлагаю я. — Отъедем где народу поменьше.

— Где народу поменьше… — повторяя за мной, тянет Евгений Евграфович. Остро оглядывается по сторонам и согласно кивает. — Да, давайте в машину.

Когда мы подходим к моему корыту и я, всунув ключ в замок, принимаюсь открывать дверцу, на лице его возникает гримаса недоумения.

— Это что, ваше средство передвижения?

— Мое, мое, — подтверждаю я.

Перед тем как нырнуть в машину, Евгений Евграфович исследует взглядом площадь вокруг нас еще раз. Ни дать ни взять Джеймс Бонд. Хотя кто знает, может быть, он из них и есть, только не английской породы, а нашей.

— Не ожидал, что ездите на таком изделии, — произносит он, сев наконец в машину и захлопнув дверцу. — Хотя бы уж на каком-нибудь «Фольксвагене».

— Чувство патриотизма, — говорю я.

Евгений Евграфович смотрит на меня с таким выражением лица, словно слышит бред умалишенного.

— Ладно, — произносит он потом, и я слышу в его голосе: ну, умалишенный, и Бог с тобой. — Поехали. Проедемся. У вас все нормально? Хвоста не заметили?

— Да я-то ничего не заметил, — говорю я, трогая машину с места.

Евгений Евграфович напряженно глядит в зеркало заднего вида, стреляет глазами по сторонам, и так продолжается все время, пока мы, следуя его указаниям, крутимся вокруг станции метро, едем по Богородскому шоссе вдоль парка, разворачиваемся, катим обратно, — чтобы, свернув на Сокольнический вал, в конце концов остановиться на его обочине.

— Давайте, — говорит Евгений Евграфович.

Он принимает у меня пачки, что я достаю из рюкзака, и быстрыми движениями рассовывает их по карманам — пиджака, пальто, брюк. Он делает это даже не быстро, а *молниеносно*, только ворочается на сиденье, чтоб было удобнее втолкнуть в карман очередную пачку.

— Все? — как-то недовольно спрашивает Евгений Евграфович, когда я перестаю выуживать из рюкзака перетянутые аптечной резинкой оливковые кирпичики.

— Все, — подтверждаю я, затягивая шнурком горловину рюкзака.

— Подбросьте до дома, — распоряжается он. — И обратно на работу не откажетесь?

Исчезнув в подъезде, он появляется из него не более чем через пять минут. И когда садится обратно ко мне в машину, в нем нет уже и следа той тревожности, что совсем только что буквально раздирала его.

— Спасибо, что подвозите, Леонид Михайлыч, — говорит он, устроившись на сиденье, — сама благодушная учтивость и вежливость. — А то метро… ох, не люблю метро! Какие лица, ай, какие лица! Сердце не выдерживает смотреть на эти лица.

Я не сразу понимаю его, и он объясняет:

— Печать несчастной жизни. Такая неизгладимая, такая суровая печать!

Мы едем довольно долго, раза два затыкаясь в пробках, но Евгений Евграфович не проявляет ни малейшего нетерпения, ведет светский треп, мне, к моему удовольствию, только время от времени приходится вставлять реплики.

— А откуда вы, Леонид Михайлыч, знакомы с Дмитрием Константиновичем? — все в той же манере трепа неожиданно спрашивает он.

«Дмитрий Константинович», вычисляю я, — это не кто другой, как Жёлудев.

— В армии вместе служили, — говорю я.

Евгений Евграфович присвистывает:

— Тю-ю! Дмитрий Константинович служил срочную! — После чего умолкает. И молчит едва не минуту. — Я надеюсь, вы ничего не говорили ему о наших отношениях? — прерывает он затем свое молчание. — Не вообще об отношениях, а о тонкостях.

«Тонкостях» он произносит совсем по-другому, чем все предыдущее, — он словно бы истончает слово, лишает веса, делает его едва *заметным*.

— Помилуй Бог! — отзываюсь я, делая одновременно для себя вывод, что Жёлудев о гешефте Евгения Евграфовича, вероятней всего, — ни сном ни духом.

— Правильно. — Голос Евгения Евграфовича обретает силу и полнозвучность. — Это дело только между нами.

Уже когда мы подъезжаем к Манежной площади и я приглядываюсь к забитым машинами обочинам, Евгений Евграфович говорит:

— Да, Леонид Михайлыч, и вот еще что. Гремучина вам позвонит. Ну, Маргарита. Надо будет ей заплатить. — Безоговорочная твердость, с которой он произносит это, свидетельствует, что мне делается предложение, от которого нельзя отказаться. — Она одну работу для нас делала… в общем, вы поняли, да?

— Сколько? — с солдатской исполнительностью спрашиваю я.

— Ну-у… — Он явно не знает, какую сумму назвать. — Да сколько получится.

— Тысячу? — называю я цифру, опуститься ниже которой, вероятней всего, непозволительно.

— Да, тысячу, — соглашается Евгений Евграфович.

Делает он это с такой откровенной барственной снисходительностью, словно прямодушно и без стеснения признается: не делала она для них никакой работы. Как, почти наверняка, не делала и в прошлый раз. Ни реальной, ни показушной.

— Договорились, — говорю я Евгению Евграфовичу.

Подъехать к тротуару невозможно — все занято припаркованными машинами, — я высаживаю Евгения Евграфовича едва не на ходу, он захлопывает дверцу, и я тут же даю газ. Ну вот, все, теперь, наконец, на два дня я принадлежу себе. Домой, домой! Осидеться, отлежаться, отоспаться, почитать книжки с журналами — и заняться своими делами. Нужно встретиться с записанной мною в подруги Евдокии дочкой, подкинуть ей несколько франклинов на ее молодую жизнь, нужно прорваться через жену — повидаться с сыном. Нужно выкупить путевки в турфирме и предстать наконец перед Балеруньей героем.

Дома между тем меня уже поджидает Гремучина. Ну, не натурально — сидит на кухне и пьет с Костей Пенязем мой кофе, — а всего лишь в виде Костиного сообщения, что звонила мне уже несколько раз, будет звонить еще и просит встречно позвонить меня.

Я заканчиваю разоблачаться, переобуваюсь в тапочки, и он отправляется на кухню — вскипятить мне воду для чая. Квартира еще полна недавнего присутствия женщины — это в подметенных полах, особом порядке в комнате и на кухне, который я мгновенно засекаю из прихожей в раскрытые двери, а самая прихожая наполнена запахом духов, которыми она, должно быть, пользовалась перед уходом. Судя по запаху духов, женщина у Кости новая. Он в нынешний приезд ведет себя так, будто собрался жить здесь у меня и жить, забыв о своем новом отечестве на Западе. А мне так тепло от его присутствия рядом, что я готов терпеливо сносить любые неудобства.

Я не успеваю, говоря языком ушедших времен, откушать и чашки чая, телефон звонит, — и это оказывается она, госпожа феминистка.

— Ну наконец-то! — восклицает Гремучина. — Где тебя носит? И мог бы мне перезвонить. Нам с тобой нужно встретиться. Я знаю, у тебя для меня новость.

Кошка не намерена разводить церемонии с пойманной птичкой, не для того она охотилась, чтобы птичке остаться живой-невредимой.

— Да, действительно, есть новость. — Я, однако, вполне готов к кошачьим когтям, они мне не страшны, я знаю, как вывернуться. — Давай встретимся.

— Давай прямо сегодня. — Кошке не терпится схряпать свою добычу. — Что откладывать? Час еще не поздний. Где ты хочешь встретиться?

Но это она уже слишком. Для того я продирался свозь пробки в свое Ясенево, чтобы снова затыкаться в них. Мы договариваемся с нею на завтра. Скажи дивану, взодранным кверху ногам и книжке в руках адью.

Впрочем, Гремучина отнюдь не жаворонок, свою утреннюю чашку кофе она пьет около полудня, и начало наступившего дня мне удается провести так, как мечталось.

Мы встречаемся на Сухаревке; район предложил я, заведение — она.

Официантка появляется около нас — мы еще не успеваем толком устроиться за столом.

— Пожалуйста! Пожалуйста! — кладет она перед нами толстенные складни меню. — Что будем пить? Текилу, водку, коньяк? Богатый выбор вин — пожалуйста, винная карта.

Не переношу, когда на меня налегают с такой силой. Я что, захожу в ресторан непременно для того, чтобы выпить?

— А капучино у вас есть? — спрашиваю я официантку.

— Капучино у нас есть, — с едва прикрытой лютостью кидает мне официантка. И с этой же лютостью смотрит на Гремучину: — Вам тоже капучино?

— Мне коктейль «Красная Луна», — журчит Гремучина, наставив палец на строчку в меню.

Официантка расцветает.

— Один капучино и один коктейль «Красная Луна». — В голосе ее ни следа лютости. Теперь это снова официантка из образцовой капиталистической ресторации, а не подавальщица из советской стекляшки. Должно быть, цена коктейля вполне компенсирует ей усилия по нашему обслуживанию.

— Ничего, ты не против, что я заказала коктейль? — спрашивает меня Гремучина, когда официантка оставляет нас за столом одних. — Мне нужно расслабиться. — Я так устала. Этот твой Савёл меня просто выпотрошил.

— Он теперь не мой.

— Твой, твой, — ответствует Гремучина. — От тебя же он мне достался. И они там все время тебя поминают: вот с Лёнчиком, вот когда Поспелыч… Главное, не поймешь, что им надо. Это сегодня годится, а завтра уже не хиляет… Извели! Просто извели!

Она не поминает о деньгах, что я привез ей, и я тоже не поминаю. Пусть сама.

Гремучина заговаривает о деньгах, когда от ее коктейля почти ничего не остается.

— Так что о новостях для меня, — произносит она. — Они с тобой?

— Эти новости тебя занимают? — отдаю я ей конверт с франклинами.

— Почему всего тысяча? — пересчитав деньги, недоуменно смотрит она на меня.

— Сколько мне было сказано, столько и есть.

Что, конечно, не совсем так, сумму назвал я. Но она была мне подтверждена.

— Этого не может быть! — восклицает Гремучина. — Должно быть пять тысяч! Как в прошлый раз.

— Сколько мне было сказано, столько и даю, — повторяю я.

Она смотрит на меня разъяренным, полным враждебности взглядом — кошка, у которой вырвали из пасти добычу, когда она уже готова была насладиться ею.

— Хорошо. — Гремучина вытаскивает из бокала соломинку, бросает ее на стол, делает глоток прямо из бокала, убирает конверт в сумочку и встает из-за стола. — Ты меня оскорбил. Ты пожалеешь об этом. Я тебе обещаю: ты пожалеешь.

У меня хватает выдержки промолчать. Я, в общем, и готов отдать ей эти пять тысяч — и урчи над ними в своем углу, но вскидываться сейчас: на, бери! — это признаваться в том, что врал, *кидал*, когда ничего подобного и в помине!

А впрочем, что она там такое особенное может устроить, говорю я себе, уже оказавшись на улице. Ну, скажет Берминову о Евдокии. Ну, скажет он Балерунье. И что? Все происки врагов, милая моя Лиз, просто я не захотел платить шантажистке…

Так, успокоив себя, я добираюсь до своего корыта, оставленного в одном из сретенских переулков, и качу на Мясницкую в турфирму. Май уже совсем на носу, до нашего путешествия с Балеруньей — месяц, и пора наконец выкупить путевку. Лиз, мы с тобой едем в Бразилию!

Выйдя из агентства, я звоню Балерунье и сообщаю ей, где был и что сделал. Дело в шляпе, повторяю я почему-то это пыльное выражение несколько раз.

— Все? В шляпе? — ликующе переспрашивает меня Балерунья. — Приезжай тогда. Хочу посмотреть. Никогда еще не держала в руках билет до Бразилии.

Она принимает меня в гостиной. Как в тот дождливый зимний день в конце прошлого года, когда я приехал к ней после разрыва с Савёлом. Чем дольше длится наше встреча, тем отчетливее я осознаю, что Али-баба сегодня будет допущен до сокровищ волшебной пещеры. Ему даже не нужно говорить «сезам» — входной камень и без того отвален.

А когда карманы мои уже отягощены сокровищами до того — больше не влезет и жемчужинки, она, как обычно, принимается меня выпроваживать.

— Я люблю просыпаться одна, — говорит она. — Ты же знаешь. — И сдобривает свою жестокость легким смешком: — Девушка привыкла начинать утро без свидетелей.

— Надеюсь, ничего не помешает нашему путешествию, — говорю я, уже одетый, стоя на пороге ее квартиры — как бы итожа нашу нынешнюю встречу.

— Что нам может помешать?! — восклицает она. — Ничего не может. — И, сжав перед собой руки в кулаки, несколько раз быстро ударяет ими один о другой. — Хочу скорее быть с тобою в Бразилии! Прямо изнемогаю, как хочу!

18

Лёнчик возвращался из магазина, и в мозгу стучало: зачем он его позвал домой, зачем позвал! Но как было не пригласить домой Вику? Не познакомить с Ветой, не показать сына… Невозможно!

Вернуться домой до появления Вики он не успел — Вика был уже там. «Привет! — обнялись они. — Привет!» — словно были необыкновенно рады друг другу; впрочем, и в самом деле рады, но разве так, как прежде? «Не бойсь, ноги из-за Жанки вырывать не буду, — хохотнул Вика, когда позвонил по телефону и сообщил, что в Москве. — У нее сейчас такой жених — отпад парнишка, партработник, в гору идет, как на лифте!»

Вета приняла у Лёнчика авоську, оценила взглядом ее содержимое и одобрительно щелкнула пальцем по кувшинообразной бутылке-фьяске болгарского вина «Гамза».

— Вот это хорошо. А то твой товарищ, знаешь что принес?

— Что? — принимаясь раздеваться, спросил Лёнчик.

— Спирт медицинский, — опередив Вету, горделиво отозвался Вика. — Что может быть лучше? Как нам завещал Сережка Есенин?

— Положим, Есенин завещал нам не это, — сказал Лёнчик.

— И не надо называть его «Сережка», — добавила Вета. — Есенин — большой русский поэт, а никто из нас на брудершафт с ним не пил.

— Больше Мандельштама? — с такой интонацией, как бы Вета была за него особо ответственна, вопросил Вика.

Лёнчик, нагнувшись, расшнуровывал ботинки. Вика произнес «Мандельштама», и пальцы у Лёнчика замерли, его всего внутри сотрясло — будто ударило током.

— Ты читал Мандельштама? — не выпрямляясь, снизу вверх воззрился он на Вику.

По лицу Вики пробежала улыбка. Словно бы некоего тайного довольства.

— А вот, — указал он на Вету. — Просвещает. «Мы живем, под собою не чуя страны».

— Да, — кивнула Вета. — Я тут, пока ты гуляешь, Вику развлекаю. Вика, только ты ушел, почти сразу и объявился.

То, чего Лёнчик боялся, не решаясь признаться самому себе, произошло. Если бы он был дома, он бы не позволил Вете вытаскивать Мандельштама. Оставалось надеяться, что Вета не раскинула перед Викой веером остальной самиздат.

Однако едва они вошли к себе в комнату, Лёнчик увидел: его упование на Ветину трезвость было напрасным. На венском стуле, стоявшем перед тахтой, лежала целая горка самиздата. Здесь был и Гроссман, отрывок из его арестованного романа, и «Хроника текущих событий» на папиросной бумаге, и Гумилев, и много чего еще.

За стеной, в соседней комнате, раздался плач сына.

— Я сейчас, — бросила Вета, стремительно направляясь в соседнюю комнату.

Сыну скоро должен был исполниться год, с ним там в другой комнате была Ветина мать, и бросаться туда не было никакой необходимости, но Лёнчик и сам едва удержался, чтобы не рвануть вместе с Ветой.

— С пацаном вашим я тоже уже познакомился, — сообщил Вика.

Лёнчик не понимал, что ответить, — в голове была пустота.

— Да, маловата квартирка, — нелепо ответил он в конце концов.

Они жили в квартире Викиных родителей. Дом был недавней постройки, удобно расположен неподалеку от метро «Бауманская», но квартира крохотная, две комнатки, тесно и четверым, а когда родился сын, стало вообще не повернуться. Родители Лёнчика собрали ему денег на первый взнос в кооператив, с рождением сына удалось встать в райисполкоме на очередь, точно на такую же квартирку, и уже ездили смотрели на стройплощадку, где копер с грохотом вбивал в землю сваи под фундамент…

Сын в другой комнате словно поперхнулся своим криком и смолк, — это Вета дала ему грудь. Она все порывалась отнять его от груди, но сын протестовал, требуя материнского молока, и Вета никак не могла решиться лишить сына его младенческой радости.

— О! — вскинул палец Вика. — Успокоился.

— Успокоился, — подтвердил Лёнчик. И спросил: — Так ты что в Москве? Что за дела?

— А с батей еду встречаться! — с восклицанием отозвался Вика.

— В Израиль? — уточнил Лёнчик, помня прежние Викины заявления.

Вика со значением отрицательно покачал головой:

— В Израиль — не так просто. У нас же с Израилем дипломатические отношения разорваны. В Италии встретимся. Поеду туда с делегацией, и батя туда приедет.

Обеденного стола у Лёнчика с Ветой в комнате не имелось, единственная плоскость, на которой можно устроить застолье, — письменный стол. Для этого его нужно было расчистить, и, распихивая то, что лежало на нем, туда и сюда, Лёнчик как бы естественным образом снял со стула горку компромата по семидесятой статье Уголовного кодекса РСФСР, попытался засунуть ее в ящик тумбы. Вика, однако, не позволил ему сделать этого.

— Ты что? — вскинулся он, забирая у Лёнчика из рук всю кучу . — Я еще не посмотрел хорошенько. — Огляделся и поместил кучу на тахту, в дальний ее угол. — Мешает здесь? Никому.

Вета вернулась, помогла устроить стол, расселись вокруг, взяли стаканы в руки. Но разговор не шел. Каждое слово звучало вымороченно, только о «Гамзе» — как

пьется, как действует — и получалось говорить ненатужно, только эта двухлитровая, похожая на кувшин бутылка и объединяла, а больше ничего.

— Ну и чего, диплом защитишь — кем будешь, — нашел наконец тему для разговора Вика. В Союз писателей работать пойдешь?

Лёнчик объяснял, что Союз писателей — не завод, не учреждение, там никто не работает — в привычном смысле слова, — туда нужно специально вступать…

— Так а в этом Союзе, вот ты вступишь, зарплату платят, — интересовался Вика.

— Какая зарплата, никакой зарплаты, — отвечал Лёнчик.

— Заливаешь, — не верил Вика.

— Нет, почему «заливаешь», — вступала в разговор Вета. Книгу издал — получил гонорар. А между гонорарами — подрабатывай, как сумеешь.

Она как раз, закончив зимой институт, этим и занималась: брала в издательстве «Юридическая литература» корректуру и, таская с собой длинные серые листы по всей квартире, каждую свободную минуту вычитывала ее. Сам Лёнчик тоже, уже второй год, подрабатывал в разных редакциях внутренними рецензиями, заработок получался ничтожный, но вместе с Ветиным, да стипендия, которая ему пока полагалась, выходило если и не достаточно, то терпимо.

— Нет, так если без зарплаты, так как, — не мог понять и не мог остановиться в своих расспросах Вика. — Так тогда на кой это нужно — быть поэтом?

Из прихожей донеслись звуки открывшейся входной двери, громкие голоса, — вернулся из своего кабэ тесть, теща встречала его. Слышно было, как сын вплетает свои агуканья в их разговор. Лёнчик с тоской посмотрел на фьяску с «Гамзой». Рубина в ней весьма убавилось, но и оставалось изрядно.

Однако вскоре, как тесть зашел познакомиться, побыл с ними для приличия несколько минут, подержал в руках стакан с вином, чокнулся, отпил и ушел к себе, Вика поднялся и стал собираться. Бутылку со спиртом Вика взял с собой. Чего вам оставлять, все равно без смысла, бросил он со смешком. И кое-что из этого я бы тоже взял, указал он на груду самиздата. «Нет, пора возвращать», тут же вырвалось у Лёнчика. Вета его прервала. «Бери, бери», воскликнула она, обращаясь к Вике.

Следовало стоять на своем, быть категоричным, «нет» — и все? Но эти три года, что прожили мужем и женой, приучили его не спорить с Ветой. Во всяком их споре она непременно брала верх. Она не умела уступать. Да кроме того, Лёнчик не сомневался, что Вика не станет сообщать куда-то о попавшем к нему в руки самиздате. Конечно же, то, что Вика был связан с «ними», заставляло как бы поеживаться, но чтобы он донес на них? Нет, Лёнчик даже не допускал такой мысли.

Вика взял с собой Гроссмана и два выпуска «Хроники». Вета уговаривала его взять еще и Гумилева, он отказался: «Ну! Хватит мне. Куда стихи. Посмотрел — и достаточно».

Лёнчик пошел провожать Вику до метро. Вика жил в гостинице «Центральная» на Горького, Лёнчику послезавтра как раз нужно было ехать в институт на встречу с руководителем семинара — обсуждать последний вариант диплома, — идею встретиться в кафе-мороженое «Космос» на той же Горького, чтобы вернуть самиздат, Вика встретил вполне благосклонно.

Когда Лёнчик вернулся домой, следов застолья в комнате уже не осталось, посередине комнаты расставлен манеж, и сын, перехватываясь руками, бегал по его периметру. Увидев Лёнчика, сын тут же запросился к нему на руки, и Лёнчик не устоял, нагнулся и взял его из манежа.

— Балуешь? — с укоризной произнесла Вета. — Вообще я страшно удивлена, как вы с этим Викой дружили! Вы такие разные. У вас же никаких общих интересов!

— Раньше были. — Все это время, возвращаясь от метро, Лёнчик думал: сказать ей о Вике и «органах» — не сказать. Как-нибудь потом, позднее, решил он, подходя к дому. Однако тут, когда заговорила о Вике, Лёнчик не смог удержаться от упрека. — Зачем ты дала ему самиздат? Ты же видела, что я не хотел давать.

— Подумаешь, не хотел, — отозвалась Вета. — Человеку больше негде взять такую литературу, как не дать? А почему ты, кстати, не хотел давать?

— Да потому. — Нет, Лёнчик не собирался открываться ей сейчас. — Я его, нынешнего, не знаю, — нашелся он.

— Что значит, «не знаю»? — От Веты так просто было не отделаться. — В смысле, ты не можешь за него поручиться? Но тогда нужно было меня заранее предупредить!

Наверное, было нужно, отозвалось в Лёнчике. Но на этот раз он промолчал. Зря он выпустил из себя свой упрек. Не должен был.

— Я думала — почему же не дать, — не дождавшись его ответа, продолжила Вета. — Раз он твой друг… Ты же говорил, у него отец еврей. Тем более в Израиле. А евреи сейчас все критически настроены, кого ни возьми. Если еврей — то безопасно.

— Да конечно. Безопасно, — сказал он. Не оставалось ничего другого, как согласиться с ней. Иначе их разговору не было бы конца. — Я просто хотел, чтобы на будущее… В будущем ты все же со мной советуйся.

— Договорились, — с видом покорной жены ответила ему Вета.

Она закончила приводить комнату в порядок, и сын был ее материнской властью взят из рук Лёнчика и отправлен обратно в манеж.

— Делу — время, потехе — час, — посмеиваясь, возгласила она. — Будем мыться-стричься-бриться.

Лёнчик обнял Вету и тесно прижал к себе. О, он жутко любил ее, жутко, жутко, он теперь точно знал это.

— Рано ему еще стричься-бриться! — произнес он, вдыхая ее ясный молочный запах и чувствуя, как стискиваются зубы.

— Рано? — пропела-просмеялась Вета, с ловкостью выворачиваясь из его рук. — Тогда только мыться. Иди готовь ванночку, будем купать, пора уже спать твоему сыну.

* * *

Перед тем как уйти из института, Лёнчик остановился в коридоре возле доски, на которой вывешивались публикации студентов и сотрудников института. Пробежался глазами по газетно-журнальным вырезкам — и, наверно, впервые не испытал ощущения уязвленности, что за все время учебы в институте ему не довелось появиться на этой доске ни разу. Руководитель семинара, несколько месяцев подряд беспощадно заворачивавший ему диплом на переработку, сегодня наконец утвердил последний вариант, теперь оставалось только заново все перепечатать, переплести, а уж чтобы оппоненты зарубили — о таком Лёнчик не слышал. Не диссертация все-таки, обычный диплом.

Выйдя на крыльцо, Лёнчик снова остановился. День стоял пронзительно солнечный, небо слепило сияющей синевой, напоенный истаивающей снежной влагой жарко-прохладный воздух, казалось, имел крепость спирта. В Лёнчике все пело. Было ощущение — стоял не на институтском крыльце, а в преддверии новой, полной свободы бесподобной жизни, осталось лишь распахнуть эту дверь.

Таксофонная будка сразу за воротами на углу желтого флигеля, где размещалась приемная комиссия и Высшие литературные курсы, была свободна. Лёнчик достал из кармана пальто приготовленную двухкопеечную монету, зашел в будку и, опустив двушку в прорезь автомата, набрал номер Викиного телефона.

Вика ждал его звонка. Привет, спускаюсь на улицу, встречаемся у входа в гостиницу, объявил он. В руках он, когда встретились, держал свернутые в тугую трубку самиздатовские машинописи.

В Лёнчике тотчас все воспротестовало против такого варварства. Обращаться так с тонкой папиросной бумагой!

— Ты даешь! — с досадой воскликнул он вместо приветствия, забирая у Вики машинописи. Развернул их, разгладил, проверил, все ли здесь, и, развязав папку с дипломом, вложил машинописи внутрь. — Осторожней надо.

— Ладно, что с ними сделалось, — отозвался Вика.

До «Космоса», где договаривались посидеть, нужно было пройти метров триста, они двинулись, и Лёнчик спросил:

— Какие впечатления от прочитанного?

Вика неопределенно похмыкал.

— Что, — сказал он потом, — впечатляет.

Лёнчик ждал — Вика продолжит, но Вика молчал, шаг, другой, третий — ни звука, и внезапно остановился.

— Знаешь что, — проговорил он, — у меня со временем фигово. Дел еще… а уже вылетать, некогда мне мороженое сидеть есть. Давай попрощаемся.

То, как он вел себя, было неприятно, Лёнчика внутри так всего и прокарябало, но предложение расстаться вызвало у него облегчение.

— Что ж, — сказал Лёнчик. — Давай попрощаемся. Рад был повидаться.

— Ага, — ответил Вика. — Пока.

И, резко повернувшись, пошел обратно, в направлении гостиницы.

Где они попрощались? Лёнчику пришлось оглядеться, чтобы понять, где находится.

Он находился на углу здания с «Сотым» книжным магазином и магазином «Академкнига» с торца. Ехать домой, до «Бауманской», — следовало идти дальше там, рядом с входом в гостиницу «Москва», был вход в метро, «Площадь революции», — прямая ветка до его станции.

От площади 50-летия Октября, бывшей Манежной, на холм Советской площади стремительно вымахнул, звучно брузжжа шинами по асфальту, троллейбус. Стремительно перемахнул площадь и, тяжело качнувшись, остановился у тротуара. Створчатые двери, проскрипев, раскрылись. Лёнчик сообразил, что стоит практически на троллейбусной остановке. В следующее мгновение Лёнчик рванул с места, бросился к троллейбусу и заскочил в переднюю дверь. Он решил поехать домой по кольцевой линии метро. Через пять минут троллейбус должен был привезти его на «Белорусскую», от «Белорусской» по кольцу — до «Курской», пересадка — и один перегон до «Бауманской».

Сзади на Лёнчика надавили, подпихнули поживее всходить по ступеням. Лёнчик оглянулся. За ним входили еще двое; его сверстники, чуть постарше, и вроде прилично одетые, но с какими-то расхристанно-самоуверенными лицами.

— Что смотрим, падла?! — проговорил тот, что следовал первым. — Замер нарастопырку — другие оставайтесь!

Двери троллейбуса, снова страшно заскрипев, закрылись, троллейбус тронулся.

Тревожное чувство опасности опахнуло Лёнчика. Проглотить «падлу» — все в нем внутри противилось этому, но их было двое, ввязываться в ссору с двумя?

Проглоти, приказал он себе. Отвернулся от них, шагнул к металлической тумбе кассы с прозрачным пластмассовым колпаком сверху, достал кошелек, нашел четыре копейки и, зажимая папку с дипломом под мышкой, убирая одной рукой кошелек в карман, другой потянулся к отверстию в колпаке, чтобы бросить монеты. Руку его, однако, перехватили.

— А за нас? — держа Лёнчика за запястье, спросил тот из вошедших за ним, что до этого молчал.

Это уже было чересчур. Преодолевая удерживающий руку захват, но по-прежнему заставляя себя молчать, Лёнчик дотянулся до прорези и сбросил монеты внутрь. Вторая рука, которой убирал кошелек, освободилась, и ею, крутанув рифленую ручку механизма, подававшего билетную ленту, он оторвал билет.

— А за нас, падла? — произнес теперь и тот, что задирал Лёнчика при посадке.

Молчать дальше было нельзя.

— Отпусти, — пошевелил он взятой в захват рукой, посмотрел на того, что сжимал запястье. — Как заплачу, если держишь?

— А поможем, — с радостной, словно бы дружеской улыбкой воскликнул тот, что называл Лёнчика «падлой». — Денежку достать? Поможем!

Лёнчик почувствовал, как пальцы «падлы» зашарили по ляжке, отыскивая брючный карман, — и его сорвало с якоря. Крутящим движением он выдрал из захвата руку, схватил шарящую по ляжке чужую руку, заломил, освобождаясь от нее, «падле» палец. Папка с дипломом выпала из-под мышки. Лёнчик ринулся к задней двери, но тот, что держал за запястье, схватил за борта пальто, а «падла», оказавшийся за спиной, обхватил его сзади руками, сковав кольцом, и прогорланил:

— Дерется! Он дерется!

Троллейбус между тем промчал мимо памятника Пушкину, пересек узкий рукав Большого Путинковского переулка. Люди на ближайших сиденьях вскочили и ринулись в глубь салона. Лёнчик, пытаясь вырваться из объятий «падлы», толкнул грудью того, что держал за борта пальто, в надежде сбить его с ног, но толчок оказался слишком слаб.

Из глубины салона сквозь запрудившую проход толпу, навстречу ее течению, пробивался человек в милицейской форме.

— Держать буяна! Держать буяна! — кричал он. — Живо!.. Держите его!

Троллейбус подкатил к остановке и встал. Заскрипели, расходясь, створки дверей. Милиционер с погонами старшего лейтенанта на плечах пробился к Лёнчику и крепко схватил его за рукав.

— Пройдемте! — подтолкнул он Лёнчика к выходу. — Пройдемте.

— Вы что! — пытаясь высвободиться из его рук, и — безуспешно, воскликнул Лёнчик. — Это не я, это на меня!

— Разберемся! Сейчас разберемся! Выйдем, говорю! — снова подтолкнул его к выходу старлей-милиционер.

— А и выйдем! Что не выйти! Пожалуйста! — приговаривали «падла» со спутником, удивительным образом в один миг приобретшие вполне благопристойные манеры.

Они, только старлей-милиционер приблизился, отпустили Лёнчика, и его теперь держал лишь он один.

Уже сойдя на землю, Лёнчик вспомнил о папке с дипломом. А и не только с дипломом, ударило его.

— У меня там… — дернулся Лёнчик обратно — и остановился. Его папка была в руках у одного из этих типов, что пристали к нему в троллейбусе, — того, что «падла». Он держал ее с таким видом, словно папка принадлежала ему.

— Дай сюда, — потянулся свободной рукой Лёнчик за папкой, но «падла», вскинув папку вверх, не дал ему дотронуться до нее.

— А ну-ка отними! — проговорил он игривым тоном, откровенно намекая на известную картину из учебника «Родной речи».

— Разберемся! Разберемся! — повторил старлей-милиционер. — Сейчас пройдем в отделение — и разберемся!

Отделение милиции оказалось рядом, на другой стороне Горького, во дворе дома, где находилось кафе «Молодежное». Дальнейшее потом всегда представа-

ло в сознании Лёнчика как что-то ирреальное, бывшее не с ним. Его допрашивали появившийся откуда-то лейтенант с голубым ромбиком МГУ на кителе и тот самый старший лейтенант из троллейбуса, но старший лейтенант при этом был еще кем-то вроде свидетеля, и по его показаниям выходило, что это Лёнчик приставал к тем двоим, и о том же говорили живо появившиеся рукописные заявления «пострадавших»: лез к ним, не давал заплатить за проезд, задирался. Часы, кошелек, паспорт, ключи — все из карманов у Лёнчика было выложено на стол, а рядом лежала завязанная на тесемки папка с дипломом. С дипломом и рукописями на папиросной бумаге. Может быть, они ее не откроют, а откроют, так не поймут, что это, билась в Лёнчике надежда. Может, еще пронесет?

Что не пронесет, он понял, когда часа два спустя в комнате появилось новое лицо — в гражданском. Старлей с лейтенантом тотчас вскочили со своих мест, замерев в выжидательных позах. Вошедший молча кивнул им, и старлей с лейтенантом, также не произнеся ни слова, гуськом двинулись к выходу из комнаты. Это заберите, с пренебрежением поведя рукой над разложенными на столе Лёнчиковыми вещами, проговорил вошедший, беря, однако, со стола папку, — и тут Лёнчику стало ясно все. И почему в троллейбусе оказались эти «пострадавшие», и почему так себя вели. И почему там оказался милиционер в форме. И почему старлей с лейтенантом, таская его в зубах целых два часа, даже не притронулись к папке. Папка была не их добычей.

— Что, допрыгался?! — с каким-то злорадным ликованием вопросил гражданский, когда они остались с Лёнчиком в комнате вдвоем. Опустил на стол перед собой папку и принялся развязывать схватывающие ее тесемки. Развязал, раскрыл, достал изнутри папиросные листы самиздата. — Ай-я-яй! Антисоветская агитация и пропаганда! Статья семидесятая УК РСФСР. Лишение свободы до семи лет, после чего — ссылка до пяти.

Он был старше Лёнчика совсем немного, лет на пять—шесть, но все в нем: холодно-насмешливый взгляд, повелительная мимика и даже двубортный костюм из темно-синего, в рубчатую полоску сукна — так и заявляло о его принадлежности к жизни, где все пронизано государственной важностью и за любую ошибку или промах — неминуемая расплата.

— Кого я агитировал. Никого я не агитировал, — произнес Лёнчик, отвечая своему визави. Жутко было — невероятно. Но вместе с тем жарко жгло огнем любопытства, смотрел на себя как со стороны, и хотелось увидеть у поднесенной к твоим губам чаши с цикутой дно — выпил Сократ, выпей и ты.

— Ладно дурака-то играть, — строжея, сказал визави Лёнчика. Он был в гражданском, но несомненно со званием, и какое оно у него было? Лёнчик почему-то решил — майор. — Будешь себя правильно вести, можно будет не только без ссылки, но и без лишения свободы. — Он покачал на руке стопку папиросных листов. — Откуда у тебя, советского студента, комсомольца, бывшего воина Советской армии, эта дрянь?

— Если я скажу, что нашел на подоконнике в институте, — сам поражаясь тому, что говорит, но не видя для себя другой возможности, произнес Лёнчик, — вы ведь не поверите?

— Естественно, — согласился «майор».

— Но это так на самом деле и было, — завершил свой ответ Лёнчик.

«Майор» понимающе кивнул.

— Шутки решил шутить? Шути, пока позволяют. Пока! — надавил он голосом. — Институт ведь, наверно, хочешь закончить? — спросил он затем.

Лёнчика заткнуло. Было ощущение, «майор» резким рывком подвел его к пропасти — адской бездной пахнуло оттуда — и указал, куда он должен сверзиться.

— Ну?! — потребовал между тем ответа «майор». — Хочешь? А ведь может и не получиться. И кому ты где нужен без диплома, когда с дипломом — как собак нерезаных!

— В дворники можно пойти, — неожиданно для него самого выскочило из Лёнчика.

— В дворники? — переспросил «майор». — Можно. Только для этого еще нужно быть на свободе. До семи лет и пять ссылки — забыл?

Было немного за полдень, около часу дня, когда Лёнчик вышел из института. Когда его выпустили из отделения милиции, время подходило к девяти вечера, совсем темно, — наверное, Вета дома уже сошла с ума, разыскивая его по всем знакомым и незнакомым. Трубку, когда он позвонил с таксофона на углу Горького и Большой Бронной, снял тесть.

— Ты где, мерзавец?! — заорал он, только услышав голос Лёнчика. — Гуляешь…

Он недоговорил — трубку у него отобрала Вета.

— С тобой все в порядке? — спросила она. Голос у нее был глухой, словно вспухший.

— В порядке. Извини, но не мог позвонить, приеду — расскажу. — Он решил ничего не высыпать на нее по телефону.

— А у нас нет, — произнесла Вета. — У нас дома был обыск. Четверти часа нет, как ушли. Пока ты там где-то шляешься, — добавила она, и теперь ее вспухший голос зазвенел.

Лёнчик понял: его специально держали в милиции, пока шел обыск, чтобы он не мешал в квартире. Обыск закончился — и можно его отпустить.

— Еду домой. Скоро буду, — сказал он Вете. Сразу после этого нажав на рычаг, чтобы Вета не успела ему ответить.

* * *

Они шли, спустившись по Малой Лубянке к Бульварному кольцу, Чистыми прудами. Наступивший апрель съел весь снег, еще недавно лежавший на газонах, посыпанная мелкими коричневым гравием центральная аллея бульвара была совершенно суха.

За все время, как Вета появилась из подъезда следственного отдела московского управления КГБ, сколько шли, она не произнесла ни слова. Лицо ее странно вспухло — не так, как от слез, это ее вспухшее лицо напоминало ему голос, каким она говорила по телефону, когда он, выйдя из отделения милиции, позвонил ей. Лёнчик пытался заговорить с нею — она не отвечала. Взглядывала на него в ответ — словно с враждебностью — и молчала. Его самого за минувшие с *того* дня две с половиной недели никуда не вызывали, ее — таскали и таскали.

Они уже прошли пруд, достигли кафе-стекляшки на его берегу со стороны Покровских Ворот, когда Вета внезапно остановилась, уткнулась лицом ему в грудь, взялась за борта его пальто и замерла так. Лёнчик обнял ее, похлопал по спине, погладил по плечу, по голове.

— Ну что ты, что ты, — приговаривал он. — Все будет нормально. Все ничего…

— Ничего не нормально, — глухо — первые слова за все время — уронила она, не отрывая головы от его груди. Помолчала — и как выдохнула: — Лёнчик! Я всех продала! Я продала!

Он механически гладил ее по спине, по плечу, по голове, — не в состоянии осознать по-настоящему, в чем она сейчас призналась.

— Что ты говоришь, Ветка, что ты говоришь, — пробормотал он. — Не наговаривай на себя, перестань, что ты…

Теперь наконец она отстранилась от него. И, не выпуская из рук бортов его пальто, взглянула ему в глаза. Впервые с того момента, как вышла от следователя.

— Я не наговариваю! — каким-то рыком, словно голос у нее родился где-то в *утробе*, выкрикнула она. — Я всех! Всех назвала. И Лёвчика. Всех!.. Я не поняла, как это получилось. Ты не представляешь… Я испугалась! Они стали мне… Они сказали, что меня… Уголовники меня... Ты понимаешь? Они так смеялись!.. Я продала!

Он снова обнял ее, прижал к себе, опять принявшись похлопывать ее, гладить, но все так же он не мог найти в себе слов, которые принесли бы ей облегчение. И однако же следовало что-то говорить, и он блеял, стыдясь и ужасаясь тому, что исходило с его языка:

— Ну что же… Ну если так… Все ведь готовы. Все будет ничего, все нормально...

— Дурак! Дурак! Что ты несешь! Какое нормально! Как мне теперь жить?! Как жить?! Я не смогу с этим жить! Я не смогу!

Она уперлась руками ему в грудь, изо всей силы, сколько в ней было. Он не отпускал ее, но такая неистовость была в ее желании вырваться из его рук, что он в конце концов уступил, отпустил ее.

— Перестань, — проговорил он, с отчаянием ощущая, что помимо его воли в нем поднимается то неприятие ее, которое всегда испытывал, когда она бывала такой. — Перестань. Ужасно, конечно. Но что же теперь. Придется теперь жить с этим. Куда деться.

— Но я же их всех продала! — снова закричала Вета. — Ты что, ничего не понимаешь? Осел?! Ты осел?! Нет, ты скажи, ты осел?! Я за осла вышла замуж, да?!

— При чем здесь я? — вырвалось у Лёнчика. Нужно было снести ее наскок, он знал, что надо, и не снес.

— Да, ты ни при чем! — воскликнула Вета. — Ты совершенно ни при чем! А чей это друг был? Не твой? Если бы не ты, то ничего бы! Ничего!

Нужно было снести все и сейчас, но Лёнчик опять не сумел этого.

— Меня-то уж не обвиняй, — сказал он.

— А кого?! — гневно ответила ему Вета. — Это мой друг детства? — Внезапно глаза ее налились гневом. — А! Ты хочешь сказать, это я во всем виновата? Что показала ему. Так?

— Перестань. — Все же Лёнчик еще держал себя в руках. — Ничего такого я не говорил, не выдумывай.

— Ты подумал! — Голос у Веты захрипел — она сорвала в крике связки, и перешла на шепот. Какой свирепый, какой раскаленно-кипящий это был шепот. — Ты подумал! Ты так думаешь! Уйди от меня! Оставь меня, не хочу тебя видеть! Оставь, оставь! — уловив намерение Лёнчика снова обнять ее, топнула она ногой. — Не подходи, оставь!

Как что-то оборвалось в нем, рухнуло, — он повернулся и пошел от нее обратно по бульвару, к Тургеневской площади. У них уже бывало так за эти годы: обвиняла его Бог знает в чем, гнала от себя, он срывался и уходил: требовалось время остыть самому и чтобы остыла она. Время проходило, встречались — и как ничего не было.

Пройдет пять, десять, пятнадцать лет — Лёнчик все будет спрашивать себя и винить, корчась от боли: почему он оставил ее, как он мог уйти?

Он остыл, дойдя до другого конца пруда. Постоял, глядя на красноватую крошку гравия под ногами, и что есть мочи понесся обратно к стекляшке кафе.

Веты, однако, на прежнем месте не было. Он добежал до пересечения бульвара с Богдана Хмельницкого, где Хмельницкого переходила в Чернышевского, — ее не было. Он перемахнул на Покровский бульвар, пробежал по нему метров сто — ее не было. Он помчался назад и рванул к Садовому кольцу, — Веты не было. Лёнчик

вернулся к Покровским воротам и еще полчаса кружил в их окрестностях, прочесывая дворы, — удача ему не улыбнулась.

Звонить и выяснять, не вернулась ли домой, он не стал. Подошел 25-й троллейбус, Лёнчик сел на него и через двадцать минут был около дома. Веты дома не оказалось. Скоро придет, пообещал он набросившейся на него с недоуменными расспросами теще, перенимая у нее сына. Он ее не успокаивал, он так и думал.

Вета не появилась ни через час, ни через пять часов. Давно вернулся с работы тесть, стемнело — ее не было. Позвонили уже всем, к кому она могла бы зайти, — ни у кого она не объявлялась. Лёвчик, когда Лёнчик позвонил ему, проявил страшную активность: ничего не говоря Лёнчику, обзвонил по справочнику все больницы и, вновь возникнув в трубке, радостно объявил, что ни в один московский морг Вета не поступала, а значит, самое плохое исключено. Какой морг, что ты несешь, заорал Лёнчик.

«Гражданка Поспелова Светлана Сергеевна здесь проживает?» — спросил его какой-то деревянный мужской голос наутро следующего дня, когда он сорвал трубку с зазвонившего телефона. И вот тут Лёнчика ударило. Это был такой голос, что в нем прозвучало *все*.

Звонили из отделения милиции в Новогирееве. Предлагая ему приехать к ним. «Что с ней?» — заставил себя спросить Лёнчик. Ему не ответили, и все полчаса дороги, пока, схватив такси, добирался до этого восемьдесят первого отделения, он тешил себя перемешанной с отчаянием надеждой: того, что имел в виду вчера Лёвчик, не произошло.

Но нет, Лёвчик всего лишь рано принялся обзванивать эти места последнего земного пристанища человека перед переправою через Стикс. Вету на рассвете увидели люди из проезжавших электричек. Вероятней всего, она слегка подалась вперед, и скорости пролетающего мимо поезда хватило, чтобы, отбросив ее в сторону, навсегда избавить от стыда за совершенное.

Диплом Лёнчик защищал последним на курсе, перед самыми государственными экзаменами. Никаких препон в допуске к защите ему не ставили, и защищался он: оппоненты поскорее-поскорее зачитали свои заключения, не сделав ни единого замечания, — и все, свободен. И *оттуда* не было больше ни звонков, ни повесток — ничего, как все примерещилось. И никого из тех, кого назвала Вета, не тронули. Ни к кому не пришли с обыском, не вызвали на допрос, не уволили с работы. Так, словно своей жизнью она выкупила всех. Заплатила с таким перебором, что платы достало с лихвой.

19

— Где Новодевичье это, знаешь? — дождавшись, когда я сяду на свое водительское место, спрашивает меня из-за спины бывший вице-мэр, у которого я уже пятый день служу извозчиком.

Он только что вышел из дверей того офиса на Большой Ордынке, куда я его привозил в первый день «работы», еще на своем корыте, и весь его вид свидетельствует, что все у него в этой конторе сложилось по его желанию и аппетиту.

— Знаю, где Новодевичье, — слегка повернувшись назад, отвечаю я.

— Давай съездим, — приказывает бывший вице-мэр. — Баяли тут сейчас с одним… Хочу посмотреть, где этого предателя отечества закопали.

— Почему «предателя»? — Пусть я и не поклонник бывшего первого секретаря Свердловского, а после Московского обкомов КПСС, а там и первого Президента России, но когда клеют такие ярлыки, мне не нравится.

— А кто он еще? — с беспощадностью вопрошает бывший вице-мэр. — Предатель. Отдал Россию на разграбление иностранщине. Я к нему только как к предателю отношусь.

Искать могилу Ельцина нам не приходится. Мы идем по широкой асфальтовой дороге, что ведет от ворот в глубь кладбища, и слева по ходу, на площадке для последнего прощания, выступая из общего ряда могил, прямо посреди асфальта, — буйно-хвойный холм из венков и цветов.

— Вот он где! Вот он как! — негромко приговаривает бывший вице-мэр, пока мы, в числе десятка таких же созерцателей, стоим около ельцинской могилы. — И после смерти устроился, чтобы у всех на виду быть.

Натоптавшись у Ельцина, мы пускаемся в экскурсию по кладбищу. Что особенно хочет увидеть бывший вице-мэр — это могилу Аллилуевой, жены Сталина. Ее могила — в другой, *старой* части кладбища. Где, между прочим, Чехов, Гоголь, Булгаков. Однако перед их могилами он даже не останавливается. Ищи борзей, нетерпеливо подгоняет он меня, пока я разыскиваю могилу Аллилуевой. Обнаруживает ее он сам. Да вот же: «Аллилуевой — от Сталина!» — восклицает он, указывая на квадратную стелу белого мрамора, в вершине которой высечена женская головка.

Он ходит вокруг ощетинившейся модным колючим кустарником могилы Аллилуевой и не может уйти от нее.

— А что думаешь, — остановившись наконец и подозвав меня, спрашивает он, указывая кивком головы на памятник, — как, по-твоему: сама она с собой или все же он ее?

Я в ответ лишь развожу руками. Меня это уже давно не волнует. Даже если и не сама. Что это теперь меняет. Когда им отнято столько других жизней.

— По моему мнению, — произносит бывший вице-мэр, — мог убить, вполне. Бабу иногда так и хочется убить. Вот знать бы, что ничего не будет, так и убил бы. Скажи, да?

— Нет, не хочется, — отрицательно качаю я головой.

К могиле Ельцина мы уже не возвращаемся, прямиком направляясь к выходу.

Теперь путь наш лежит на площадь Павелецкого вокзала. Вернее, к той офисной башне, что как-то незаметно для меня выросла на углу площади и Садового. Странно, какие у него могут быть тут дела — как равным образом и там, на Большой Ордынке, — когда вся страна, хотя 1 мая лишь завтра, согласно постановлению правительства уже второй день гуляет майские. Какие-то, судя по всему, весьма неординарные дела.

Ждать его я отъезжаю за угол, на Дубининскую. Выходя на улицу, он по своему обыкновению позвонит мне, и я подам ему машину. Сколько он будет отсутствовать — десять минут, полчаса, час? Я тянусь к бардачку, открываю и вытаскиваю оттуда свою книжку. Нет лучшего занятия во время таких ожиданий, как вдосталь полистать ее. Что говорить, строка, набитая на компьютере, и строка, набранная типографским шрифтом, — две разные вещи. Такое ощущение, это не ты сочинил, это кто-то за тебя. Я читаю строфу из одного стихотворения, читаю из другого, из третьего — и меня распирает столь сильным чувством восторга, что неизбежно вспоминается восторг бегающего кругами Пушкина: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!». Вот что-то подобное рвется и из меня, мне хочется тоже сорваться с места: «Ай да Лёнчик, ай да сукин сын!».

Что я и делаю. Вырываю из замка ключ зажигания, вываливаюсь из машины наружу и, захлопнув дверцу, совершаю вдоль машины променад. Погодные условия, правда, променаду не благоприятствуют: и до того было не слишком тепло, но откуда-то взялся ветер, принялся сеять дождь, — однако, чтоб остудить голову, погодка самая та.

Я уже собираюсь нырнуть обратно в машину, когда кто-то сзади резким движением выдергивает у меня книгу из-под мышки. Это бывший вице-мэр. Он крутит мою книжку перед собой в руках, безжалостно подставляя ее под дождь, и, когда поднимает на меня взгляд, тот горит радостью разоблачения.

— Лёник, так ты поэт?! — то ли неверяще, то ли насмешливо вопрошает он.

— Дождь, — говорю я. — Книга бумажная. Испортите книгу.

— О! — восклицает он. — Испорчу! — И протягивает мне книгу: — Бери. Поэт, оказывается. Надо же! А Дуська дома тоже с какой-то книжкой бегает, гляжу сейчас — вроде похожа, так это у нее не твоя ли?

Вот когда я возношу благодарение небу, что с такой тщательностью исполнял надпись на экземпляре для Евдокии — угадать из нее о наших отношениях невозможно.

— Возможно, моя, — коротко отвечаю я, с демонстративностью принимаясь вытирать мокрую обложку ладонью.

— Разговор у меня к тебе, Лёник, есть, — говорит бывший вице-мэр. — Тем более что ты поэт. Ты как поэт меня поймешь. Давай сядем в машину.

Я направляюсь к задней дверце правого борта, чтобы открыть ее, как он требовал все это время, но бывший вице-мэр машет мне рукой, чтобы я не делал этого. Ступает к передней дверце и, взявшись за ручку, самолично тянет дверь на себя. После чего принимается забираться внутрь. На переднее сиденье, рядом со мной!

Сев в машину, я прежде всего достаю из бардачка мягкую фланельку, снова с демонстративностью обтираю намокшую книгу, отправляю фланельку обратно, а книгу кладу на приборную доску над рулем. Прятать ее нет больше необходимости.

Бывший вице-мэр терпеливо сидит рядом, ждет, когда я успокоюсь.

— Девочек, Лёник, нужно организовать, — с тем же спокойствием, с каким ждал, когда я буду готов внимать ему, роняет бывший вице-мэр. — Первое мая завтра. Да и вообще. У меня ключик от одной дачки есть, воспользуемся.

Я продолжаю глядеть на него и чувствую, как меняется мой взгляд. Чего-чего, а такого я не ожидал. Никак не ожидал, никак!

— Что ты так на меня смотришь — как на новые ворота?! — Спокойствие, наконец, оставляет бывшего мэра, он взрывается — вот такой, брызжущий яростью, он более подобен себе. — Я, чтоб ты знал, три года за колючкой сидел, я по п.зде соскучился! Чтоб оторваться, по полной!.. С женой разве получишь что надо?! Девочки нужны.

— И вы, значит, считаете, я могу их вам обеспечить?

— А чего нет? — Он то ли удивляется, то ли возмущается, а может, все вместе. — У вас, у поэтов, там таких — пруд пруди. Нет, что ли? Я знаю! Да объявлений вокруг сколько! В любой газете. И тебе обломится, плачу за обоих.

Меня сносит с тормозов. Когда со мной это случается, возврата назад нет, я слетаю — и под откос.

— Ты, сука! — ору я. — Поганец! Нанял он меня! Не будет тебе девочек! И деньги мне от тебя не нужны! Спи со своими деньгами! Имей их!

По тому, как он отстраняется, я вижу, что он всерьез опасается получить в морду. Он несомненно крепче меня, и его ответный удар окажется ощутимее моего, но драка не входит в его планы, она может повредить ему, да хотя бы фингалом под глазом, с которым потом недели две не сунешься ни в какое присутствие.

Впрочем, я не намерен прикладывать к нему руки. Я бросаю ему ключ зажигания, сцапываю с приборной доски свою книгу и, открыв дверцу, вываливаюсь наружу. Извозчичья моя служба закончена. Прости, Евдокия! Я честно исполнял свое обещание. Исполнял бы и дальше, если бы твой папаша не преступил черту. Есть, Евдокия, всему предел.

* * *

Не все в гору, ино и под гору, крутится у меня в голове присловье, которое вовсе не в активе моего сознания и, попытайся его вспомнить по случаю, не вспомнил бы. Откуда оно во мне всплыло? Почему именно оно?

Я думаю об этом, ведя свое корыто сквозь расслабленно-пустоватую предпервомайскую Москву на Гончарную к Балерунье. Тебе звонила Лиза, объявил мне Костя, едва я переступил порог квартиры. Вот интересно, почему она не позвонила на мобильный? Это раньше у нее не было моего мобильного, а теперь-то есть, что заставило ее звонить мне на домашний, придав своему звонку оттенок как бы некой официальности? Что-нибудь еще просила передать, уточнил я у Кости. Ничего, пожал он плечами. Не стала даже разговаривать. Со мной Балерунья тоже не стала разговаривать. Приезжай, ты мне срочно нужен, — и все.

Первый же миг нашей встречи с Балеруньей свидетельствует о том, что беспокойство мое ненапрасно. Она одета так же, как тогда, когда приглашала меня на разговор с Берминовым, я тянусь поцеловать ее — мне это не позволяется. А в тот раз, с Берминовым, в щечку мне все же было разрешено. Я больше чем в немилости. Похоже, я на грани разрыва дипотношений. Подтверждением нерасположения и место, куда меня препровождает Балерунья. Это снова, как тогда с Берминовым, столовая.

— Садись, — указывает она мне на стул подле стола.

Я сажусь, она за моим плечом открывает створку буфета и достает изнутри… что она достает?.. о, да это фотографии.

— Собираешься меня чем-то поразить? — изображая полную безмятежность, говорю я.

— Лёнечка, ты негодяй! — отделив одну из фотографий от остальных и кидая ее на стол передо мной, говорит Балерунья. Она говорит это, не повышая голоса, с такой обыденно-житейской интонацией, как если б сообщала мне о засорившемся мусоропроводе или необходимости вызвать сантехника.

И теперь я уже держу язык на замке. Игра началась, теперь важна не стойка, которую принял, а собственно ответная подача.

На фотографии мы с Евдокией. Бокал в руках у нее, бокал в руках у меня — нет, ничего предосудительного, но то, как мы смотрим друг на друга… Это мы на Новом годе у Райского. Помню, кто-то ходил, бил по глазам вспышкой — можно, наверно, было договориться о снимках, но я и не подумал о том, зачем мне эти снимки?

— И вот еще, — кидает Балерунья на стол передо мной новую фотографию.

Я беру ее, по-прежнему не выпуская языка из-за зубов. Здесь тоже мы с Евдокией. И здесь наши отношения уже откровенней: она сидит у меня на коленях. На третьей, последней фотографии, которую Балерунья приберегла под занавес, мы с Евдокией целуемся. Наверное, и длился-то этот наш поцелуй две секунды, если не одну, а вот запечатлено — и обличительный документ, от которого не откреститься.

Молчать, однако, дальше невозможно. Я кидаю фотографии обратно на стол и, откинувшись на спинку стула, стараюсь изобразить смех:

— Лиз! Кто тебе это притащил?

Она не обращает на мой вопрос внимания.

— Ты мне изменял, негодяй! Я для тебя — чего ни для кого, а ты в это время!.. Открыто, у всех на глазах, при свидетелях!

Вот, это главное: шило вылезло из мешка и торчит наружу, являя всему миру ее позор.

— Лиз, Лиз, Лиз! — говорю я, поднимаясь и ступая к ней. — Это все не имеет значения, ты же понимаешь. Наши отношения с тобой…

— Не смей приближаться ко мне! — вскакивает Балерунья со своего стула. Нога ее неловко цепляется за его ножку, и стул, подпрыгнув, с грохотом опрокидывается. — Не смей! Не смей! — кричит она, топая ногой.

Я замираю на месте. С Балеруньей следует быть осторожным, она только с виду кошка, на самом деле она рысь, если она вышла на охоту — берегись. Я поднимаю стул, разворачиваю спинкой к себе и берусь за спинку обеими руками.

— Милая моя Лиз, — говорю я, ощущая стул у себя в руках чем-то вроде костылей. — Мы с тобой уже столько лет… Из-за чего мы будем сейчас разрушать наши отношения? Мы с тобой едем в Бразилию. Через три недели нам с тобой в Бразилию — давай думать об этом!

— Заткнись со своей Бразилией! — В ярости, что звучит в голосе Балеруньи, — такая непреклонность, что я понимаю: Бразилия стерта с карты земного шара. — Хотела доставить тебе удовольствие — побаловать путешествием в своем обществе. Теперь все. А ведь я с тобой, знаешь, еще что?

— Что? — пойманный на крючок подобно глупой рыбешке, вопрошаю я.

— Я думала встретить с тобой закат жизни! С тобой, негодяй, не с кем другим!

— Мы и встретим, — заглатываю я крючок еще глубже.

— Что ты говоришь? Нет, Лёнечка! Я тебе не прощу. Я тебе устрою веселую жизнь, Лёнечка. Ты очень повеселишься, я тебе обещаю. Я тебя урою, Ленечка!

Лагерное «урою» из ее уст — знак такого сильного чувства, что меня всего как встряхивает. Нашим отношениям конец, и думать иначе — понапрасну обольщаться.

Но все же я предпринимаю отчаянную попытку отстоять крепость.

— Милая Лиз, — говорю я, — давай не будем горячиться. На самом деле там ничего такого, из-за чего стоит жертвовать годами нашей с тобой дружбы.

— Ты с нею шляешься и по кабакам, — отчеканивает мне в ответ Балерунья. — Тратишь на нее деньги, которые получил благодаря мне. Светишься с нею где только можно!

Гремучина! — осеняет меня. Всему истоком — эта активная труженица феминистического фронта. Там, в ресторане ЦДЛа, она была в компании с Берминовым. И я взял с нее слово не говорить ему ничего о Евдокии…

— Лиз! — Я отпускаю костыли стула и вновь пытаюсь ступить к Балерунье. Но я не успеваю сделать и шага, — ступает навстречу она и награждает меня увесистой (откуда у нее такая сила в руке?), оглушительной оплеухой.

— Не приближайся ко мне! — слышу я сквозь звон, что стоит в голове. — Все! Выметайся. Как ты ко мне, так и я к тебе. Все! Я тебя предупредила!

Звонок от Евдокии раздается, когда я качу от Балеруньи домой.

— Да, моя радость, — говорю я, прикладывая трубку к уху.

— Что ты такое устроил с папой? — без разгона, гневливо вопрошает меня Евдокия. — Ты сбрендил? Как ты мог! Ведь я же тебя просила!

Удивительное дело: я не чувствую перед ней вины. Она просила, я согласился, но о том, чтобы устраивать ее папаше *девочек*, об этом речи не шло. И вообще, оказывается, несмотря на то что мой конфликт с отцом Евдокии, скажется, конечно, на наших с ней отношениях, я ощущаю его как царапину, в то время как разрыв с Балеруньей — это все равно что ножом под лопатку. У меня даже физическое ощущение боли в груди, и я еду по крайней правой полосе, чтобы, если вдруг что, свернуть к бордюру и затормозить.

— У нас несовместимость с твоим отцом, — говорю я. — Критическая масса, есть такое понятие, знаешь? Вот, набралась критическая масса.

— Но я, откровенно говоря, — сбавляет силу своего гнева Евдокия, — ждала, что ты мне позвонишь, объяснишься… Почему я должна была все узнавать от него?

— Ты бы хотела услышать, как я ругаюсь матом? — отвечаю я Евдокии. — Твой покорный слуга рос в заводском поселке и при нужде может быть виртуозом.

Евдокия в трубке молчит. Она не ожидала подобной беспощадности с моей стороны. А у меня между тем боль в груди словно расцветает — такая жаркая роза, усеянная колючками прямо по лепесткам. Я торопливо подруливаю к тротуару, торможу и выключаю мотор.

— Чтоб ты знал, это мой отец, — оживает наконец трубка. — И для меня он отец в любых обстоятельствах.

— Понимаю, — коротко отзываюсь я.

— Что-то ты слишком немногословен. — Гнева в ее голосе больше не звучит. Скорее растерянность. — Если у вас случился конфликт с папой, это не значит, что он должен затронуть и нас. Мы давно не виделись, ты не находишь?

По тону ее легко догадаться, что она имеет в виду отнюдь не встречу того типа, что при покупке машины.

— У тебя живет отец, — отвечаю я. — У меня живет Костя.

— Отец завтра уезжает за город к кому-то на дачу.

Ага, к «кому-то», звучит во мне. С «кем-то», так будет вернее. Ключик у него есть, ключик! Пришлось бедняге все устраивать самому.

— Нет, давай дождемся, когда он уедет совсем. — Впервые за все время я отказываюсь от свидания с ней. Она, было, отказывалась, я никогда.

— Ты не хочешь со мной встречаться? — Я слышу по ее голосу, что Евдокия потрясена. — Завтра Первое мая, праздник, я должна буду встречать его одна?

— Можно и не встречать, что за традиция — непременно встречать, — говорю я. — Полежи почитай учебники. У тебя сессия на носу. Ты собираешься быть журналисткой?

— Кто тебе сказал, что я собираюсь быть журналисткой? — парирует Евдокия. — Я наследница. Буду помогать папе вести дела. А потом буду сама.

Это новость. Никогда раньше она мне не говорила такого. Вот, значит, какой путь начертала себе моя радость. Она собирается быть *владелицей*, а не работать. Ей нужен диплом, не профессия.

— Ладно, — говорю я. — Наследница так наследница. Тогда просто полежи. И, не дожидаясь ее реакции, отсоединяюсь — чего никогда раньше не делал.

Некоторое время я сижу, ожидая, что она мне перезвонит, и невольно репетируя свои реплики на ее упреки. Но она не перезванивает. Мне это и досадно, и вместе с тем я рад. У меня ощущение, если б она перезвонила, роза, прокалывающая грудь своими шипами насквозь, разодрала бы меня в клочья. А так понемногу-понемногу роза сворачивает свои лепестки, шипы втягиваются в них, как когти в подушечки пальцев у кошки, боль отпускает.

Первое, что мне тут же хочется сделать, когда я оказываюсь дома, — это позвонить Гремучиной. Позвонить — и высказать ей все, что о ней думаю.

Однако мне удается обуздать себя. Что проку, что я выплесну на нее свои чувства?

И все же удержать в себе случившееся мне не удается. Мы уже лежим с Костей в постелях, свет погашен, только по потолку ползают желтые геометрические фигуры Пикассо от фар проезжающих по дороге машин, и тут меня прорывает: я окликаю Костю и рассказываю ему, из-за чего мне звонила Балерунья и зачем я к ней ездил.

— Елки зеленые, — сочувственно тянет Костя со своей раскладушки. — Какое паскудство. Эта Гремучка просто наглая гадина!

— Но если по высшему счету, — отзываюсь я, — то во всем виноват я сам. Не было бы греха — не было бы и воздаяния.

— Ты христиани-ин, — не то осуждающе и с иронией, не то одобрительно тянет Костя.

— Какой там христианин, — отвечаю я. — Так, крещеный. Просто если быть честным перед собой, то винить нужно прежде самого себя.

— Нет, христианин, христианин, — повторяет Костя, и мне опять непонятно, то ли он иронизирует, то ли всерьез. — Если буду креститься, согласишься быть моим крестным отцом? — через паузу неожиданно спрашивает он.

И вот это уже, чувствую я, совершенно всерьез.

— А ты вроде собирался обрезание делать? — напоминаю я ему о нашем разговоре в его прошлый приезд.

— Когда я тебе говорил, что собираюсь? Я говорил, что меня склоняют. — Костина простодушная серьезность, как обычно, грозит перейти в занудство. — Нет, вычеркнуть из своей жизни Христа — это я не могу. А годы наши… надо куда-то прибиваться.

— Что же, не боишься, что буду тебя пороть ремнем — я готов, — говорю я.

— Только в духовном плане, — понимает на этот раз и принимает мою шутку Костя.

— Да, не в физическом, — бросаю я.

Мы умолкаем, Костя засыпает, а я все не могу уснуть и смотрю, смотрю, как Пикассо гоняет по потолку туда-сюда свою Гернику. Но в конце концов сон овладевает и мной. О чем я, конечно, не знаю, но что понимаю, проснувшись утром. И это уже Первое мая, День международной солидарности трудящихся, если по-советски, День весны, труда и мира, если по-новому. А остальные дни что, сплошь безделья и войны? Но новое время не обременяет себя логикой.

20

Лёнчик играл в теннис с Тараскиным. Впрочем, «играл» — это громко сказано. Будь у Тараскина пара, он бы не разыграл с Лёнчиком и двух подач. «Ты никогда раньше не пробовал в теннис? — удивлялся Тараскин. — Теннис для писателя обязателен. Теннис укрепляет в писателе индивидуалистическое начало».

Костя Пенязь наблюдал за их игрой с судейского сиденья за краем корта. Дочь Лёнчика стояла около стула, на котором сидел Костя, и между подачами бегала к сетке, собирала и подавала Лёнчику с Тараскиным мячи. «Папа, победи его», — указующе говорила она, вкладывая упругие мохнатые шары Лёнчику в руку. «Непременно», — отвечал ей Лёнчик. Если ему и хотелось выиграть у Тараскина, то ради дочки. Ей исполнилось пять лет, она родилась, когда ему подходило сорок, и родительское его чувство оказалось совсем иным, чем тогда, когда родила сына Вета, — оно было жарким и жадным. «Твой папа непременно меня победит, непременно, — кричал через весь корт непонятно как услышавший ее Тараскин. — Но только когда я ему позволю».

Прежде Тараскин держался просто, но два года назад он опубликовал повесть, которая *прозвучала*, в нем появилась некая важность, он как бы *потяжелел*, и теперь в его поведении то и дело проскакивало высокомерие.

— Ну ты что, не мог хотя бы один гейм отдать мне? — раздосадованно спросил Лёнчик, когда покидали корт. Дочь, взяв за руку, вел сзади Костя. — Трудно было?

Тараскин фыркнул. Была у него такая привычка — предварять свои слова фырканьем.

— Отдашь один раз, потом отдавать всю жизнь. Как в игре, так и в остальном.

— Па-ап, — позвала дочь сзади. Лёнчик остановился, дочь с Костей поравнялись с ним, дочь высвободила свою руку из Костиной руки и подала ее Лёнчику. — Так ты победил? — шепотом спросила она, потянув Лёнчика к себе вниз.

— Просто разгромил, — наклоняясь к ней, тоже шепотом ответил он.

— Здорово! — не удержалась, привзвизгнула дочь. Ей хотелось видеть его героем.

Они с дочерью жили здесь, на Рижском взморье, в знаменитой Юрмале, уже третью неделю. Жена три месяца назад родила сына, нянчиться с новорожденным ей помогала мать, а вся забота о дочери, которая мгновенно отвечала на детский сад аллергией, легла на Лёнчика. Роль круглосуточной няньки оказалась чрезмерной, и вот придумалось: в компании с Костей — в дом творчества, жить на всем готовом, никаких забот о быте, только следи, чтобы дочь вовремя ложилась спать и ходила в чистом.

Жена, узнав о его решении, не воспротестовала. Лёнчик довольно часто уезжал из дома. Поездки давали возможность заработать. Случалось, он болтался по каким-нибудь нефтяным промыслам Башкирии, кочуя с одного на другой, неделями. Отношения с женой заскрипели и завизжали несмазанным тележным колесом в первый же год. Она ожидала, раз член Союза писателей — то деньги фонтаном, роскошная жизнь, а оказалось — ни фонтана, ни роскоши.

После обеда, уложив дочь в номере спать и дождавшись, когда уснет, Лёнчик снова спустился вниз на первый этаж — в бар около столовой. Тараскин с Костей уже были там. Пятьдесят граммов коньяка ждали его на столе, а кофе стоял только перед ними — на него не взяли, чтобы не остыл.

Лёнчик сходил к стойке, занял очередь заказать кофе и вернулся к их столу. Тараскин с Костей обсуждали сегодняшнее выступление академика Сахарова на съезде народных депутатов СССР. Съезд — что-то вроде Генеральных штатов во Франции восемнадцатого века, тех, с которых началась Великая французская революция, — шел уже второй месяц. От необычности происходящего кружилась голова. Было ощущение настающей на глазах новой жизни, и хотелось внести свою лепту, сделать что-то посильное. Сахаров — рупор интеллигенции, не народа, он выступает так, что народу непонятно, говорил Костя. А интеллигенция что, не народ, вопрошал Тараскин. Интеллигенция — не народ, отвечал Костя. Сахаров — это мы, вступил в их разговор Лёнчик. А мы — народ? Народ — это толща, а мы — пленочка на толще. Тараскин всфыркнул. Я не пленочка, проговорил он затем. Я народ!

Лёнчик сбегал к стойке, получил дымящуюся легким парком ароматную чашечку. Разговор у Тараскина с Костей, когда снова сел к ним, шел уже о другом.

Надо освежать жизнь Союза, с жаром, говорил Тараскин. Во всем обществе такое обновление, а у нас в Союзе писателей — ничего. Нужно начинать издание независимых журналов. Пока хотя бы одного. На первый номер деньги, кстати, уже есть.

— Журнал — это замечательно, — сказал Лёнчик. — Поддерживаю обеими руками.

— И я, — поводил перед собою крест-накрест руками Костя. Хотя по смыслу этот жест походил сейчас скорее на отрицание.

Тараскин возбудился. Он уже почти выпил свой коньяк, и, видимо, у него было не пятьдесят граммов, а больше, лицо его запылало, пепельные завитки волос упали на лоб.

— Давайте присоединяйтесь, входите в инициативную группу. Осенью все съедутся — будем свое движение внутри Союза учреждать. Готовьте, кстати, — вскинулся он, — для журнала подборки. Без всяких цензурных оглядок. И не по три—четыре стихотворения, а по десять—пятнадцать. Чтобы выступить так выступить.

Предложение было замечательное, странно отказываться. Никаких возражений, отозвался Лёнчик. Естественно, никаких возражений, подтвердил Костя.

— Прости, Боря, — проговорил он затем, — но мне хочется сделать одно замечание. По поводу инициативной группы, о которой ты говорил. Ты знаешь, я наполовину еврей. Причем по матери.

— И что? — Тараскин всфыркнул. — При чем тут, что наполовину еврей?

— При том, что у вас слишком много евреев. Так нельзя.

И без того раскрасневшееся от коньяка лицо Тараскина сделалось пунцовым.

— Что ж тут можно поделать. Еврейская активность. Еврей и один — все равно заметишь. А два еврея — считай, партия.

— Вот! — воскликнул Костя. — А я тебе о чем? Так это воспринимается. Мы все-таки не в Израиле живем. Здесь мина. Здесь может рвануть!

Тараскин гребанул пальцами волосы, убирая со лба упавшие кудрявые пряди.

— Костя, ты антисемит, ей-богу. — Он перевел взгляд на Лёнчика. — А ты что? За обновление Союза? Против? В какую тебя графу?

— В графу «за светлое будущее», — съехидничал Лёнчик. Он-то был привычен к Костиному *пунктику*, это для Тараскина было все неожиданно.

— Значит, за обновление, — сказал Тараскин. — И нечего язвить.

На лестнице, ведущей из холла в бар, возникла жена Тараскина. Она была моложе Тараскина на четверть века, с юной легкой фигурой, юным свежим лицом, и во всем ее поведении еще сохранялась лихая юная фанаберия. Поездка сюда, в Дом творчества, была чем-то вроде их медового месяца.

— Сидят классики, наливаются коньяком, а даме не взяли! — со своей молодой заносчивой улыбкой произнесла жена Тараскина, подходя к их столу. Взгляд ее упал на Лёнчика. — Ой, это же мне на стойке администрации сейчас для вас передали, — вскинула она руку с листком бумаги. — Телеграмма вам.

Лёнчик разорвал склеивающий телеграмму бумажный поясок. Телеграмма была с Урала, от сестры. Сестра извещала, что вчера после операции в больнице умерла мать. На послезавтра были назначены похороны.

* * *

— Вот я просто не знаю, что делать, подавать на них в суд? — спросила сестра.

Они сидели с Лёнчиком за столом на кухне родительской квартиры, и сестра рассказывала ему о смерти матери. Операция, которую делали матери, прошла благополучно, мать уже стала поправляться, сестра ушла от нее из палаты в восемь вечера, попрощавшись до завтра, а в десять, как ей сообщили наутро, мать уже была мертва. Ей после ухода сестры поставили капельницу, мать лежала и разговаривала с соседкой, раствор в баллоне стал заканчиваться, мать вызвала сигналом медсестру, но та все не появлялась. Раствор из баллона вытек до последней капли, мать жала и жала на сигнал, вызывая медсестру, и вдруг вскрикнула, рука ее, лежавшая на груди, взметнулась, упала, и больше мать не шевелилась и не произнесла ни звука. Только вы никому ничего, о чем я вам рассказала, попросила сестру соседка матери по палате. А то мне еще здесь лежать. Острая сердечная недостаточность, было написано в справке, которую получила сестра в больнице. О причине внезапной сердечной недостаточности в справке не сообщалось.

— Чтобы подавать в суд, нужны свидетели, — ответил на вопрос сестры Лёнчик. — Ты взяла у той соседки ее имя, адрес?

— Она мне не дала, — ответила ему сестра. — Имя, правда, я разузнала на посту, но… — сестра запнулась. — Раз она не захотела назвать мне даже свое имя, то ведь и выпишется — ни в каком суде ничего не подтвердит.

— Конечно, не подтвердит, — входя на кухню, проговорил муж сестры. Необходимые дела по устройству похорон были завершены, и он, терпеливо ожидая, когда жена с шурином наговорятся, бесцельно шатался по квартире. Не

получится ничего с судом. Уголовное дело открыть — нужны основания. Есть они? Свидетельских показаний нет. По истории болезни выходит — не ставили ей капельницы. О каком суде речь?

Муж сестры сказал то, в чем Лёнчик боялся и не хотел признаться самому себе. Как, видимо, и сестра. Они с нею взглянули друг на друга — и оба все друг про друга поняли.

— Давайте, пожалуй, отправляйтесь к себе, — сказал Лёнчик сестре с мужем. — Пока доедете… скоро дело к ночи.

Он чувствовал облегчение от принятого негласно решения. Потому что оно позволяло ему сразу после похорон возвращаться в Юрмалу, не задерживаясь ни на день. Он улетел на похороны, ни о чем не известив жену, оставив дочь на попечении Кости и жены Тараскина, но что из них были за няньки?

Брат появился, когда окна подступающей ночью все гуще заливались лиловым. В квартиру вместе с ним втекло оглушительное спиртовое облако.

— О, ты один! — воскликнул брат, словно из-за того, что с Лёнчиком тут были сестра с мужем, он и отсутствовал. Они прошли на кухню, где до того Лёнчик пил чай из большой отцовской чашки, и брат тяжело плюхнулся на табурет у стола. — Проводим мамочку завтра, — сказал он. Из глаз у него потекли слезы, он сложил руки перед собой на столе и уткнулся в них лицом. — Проводим! Проводим! — глухо вырывалось из него.

Лёнчик видел его лишь мельком — брат впустил в квартиру, дал ключи и ушел заливать с друзьями утрату водкой. Он уже несколько раз лежал в ЛТП — лечебно-трудовом профилактории для алкоголиков, — университета, в котором учился на химическом факультете, так и не закончил, работал на каких-то случайных работах, нигде не задерживаясь надолго, с женой давно не жил, содержали его мать с отцом на свои пенсии, после смерти отца пенсия осталась одна.

— Может быть, выпьешь чаю? — проговорил Лёнчик, изводясь от идиотизма своего положения: сидеть и созерцать плачущего брата.

Стоны, вырывавшиеся из брата, оборвались, какое-то время он продолжал лежать на руках, потом медленно поднял голову.

— Что мне чай, — сказал он сострадающе. — Что такое чай?

— А водка? Что, самое то? — не удержался Лёнчик.

— Водка-то? — переспросил брат. — Водка — о! Выпил — и полетела душа в рай.

— Не против, я возьму? — чтобы уйти от возникшей по его вине водочной темы, показал Лёнчик на чашку, из которой пил. — Как память о папе.

— Да и еще чего возьми. — Брат покрутил головой в поисках вещи, которая могла бы быть памятью. — У меня здесь, — повел он рукой вокруг, — вон какое наследство. Хаза двухкомнатная. На фиг мне одному столько метров? Был бы капитализм, частная собственность, эту загнал, однокомнатную купил, а на разницу бы!..

Такая мечтательность прозвучала в его голосе — словно бы он на эту разницу спутешествовал на Луну и вернулся обратно, отягощенный впечатлениями, каких на Земле нет ни у кого.

Стук молотка, вгоняющего гвозди в крышку гроба, раздался, казалось, *оттуда*, словно бы из-за некой стенки, невидимо разделяющей мир *этот* и мир *тот*. Лёнчик посмотрел на сестру — сестра плакала, муж поддерживал ее под руку. Лёнчик посмотрел на брата. У брата по щекам тоже текли слезы. У самого Лёнчика в глазах даже не защипало. Он знал, что слез у него не будет. Они у него были только на первых его похоронах — бабушки. После Веты этот родник пересох.

И потом, когда могильщики стали засыпать могилу, он стоял, глядя, как они шуруют лопатами, и думал лишь о том, какая удача, что удалось похоронить мать рядом с отцом. Три года назад, на другой день после похорон отца, они с братом вкопали около могилы отца, на некотором расстоянии от нее, скамейку — чтобы место не заняли, и вот мать с отцом теперь снова были вместе.

Поминки сестра заказала в столовой неподалеку от кладбища.

Брат после поминок, захватив пару нераспечатанных бутылок водки, прямо от столовой отправился к друзьям слушать хоры ангелов. Лёнчик сел следом за сестрой в задрипанный «москвичок» зятя — ехать к ним. Но когда машина уже подъезжала к границе поселка, он неожиданно почувствовал, что ему нужно пройтись по местам своего детства. Вдохнуть их воздух, освежить в памяти их образ, оживить голоса прошлого — и навсегда повернуться к ним спиной.

— Останови-ка, — попросил он зятя.

— Что, вот и все, и больше не увидимся? — расстроилась сестра.

— Это ты неправильно делаешь, — осудил его зять.

Но Лёнчик знал, что правильно. Самолет у него был завтра рано утром, и единственная возможность пройтись по поселку была только сейчас.

Что идет мимо дома-пилы, Лёнчик сообразил, лишь пройдя его почти до конца. Он остановился, окинул его взглядом — дом был отремонтирован, заново оштукатурен, сверкали цинком свежие водосточные трубы. Лёнчик стоял, смотрел, ожидая, что в груди защемит, колыхнется какое-то живое чувство, но нет, ничего в груди не колыхнулось. Все умерло, лежало в земле, истлело в прах.

— Они на море, — ответила дежурная администратор на стойке, когда Лёнчик ворвался в стеклянную дверь дома творчества.

— Как на море? Вы не ошиблись? — не поверил Лёнчик. — С кем?

— С этим вашим, как его… — фамилия Пенязь латышке почему-то не давалась. — С Константином. Прошли полчаса назад.

На море! И еще додумаются купаться! Дни тут в Юрмале стояли достаточно теплые, но ночью было прохладно, вода никак не могла прогреться, и, как дочь ни просила, он ее пока ни разу еще не пускал в море.

Дочь увидела его, только он сбежал по лестнице на пляж, и, увязая в песке, бросилась навстречу:

— Папа! Папа! Вернулся!

— Вернулся! Вернулся! — принял ее на руки, прижал к себе Лёнчик.

— Вернулся, вернулся, — повторяла дочь, обхватив его за шею.

По тому, как она затрудненно говорила, он сразу понял, что у нее насморк.

— Море холодное? — спросил он.

— У-ух! — ее даже передернуло, будто она сейчас, у него на руках, въяве ощутила кожей объявшую ее воду залива. — Холоднющее!

Лёнчик внутренне взъярился. Ну, Костя! Ведь получил все наставления!

Он опустил дочь на песок и, взяв за руку, пошел с нею к расположившимся на матерчатых подстилках Косте и Тараскину с женой.

— Привет, — сказал Лёнчик сразу всем, подходя. Хотел оставить разговор с Костей на потом, но тут же из него и вырвалось: — Ты, Костя, даешь! Когда это вы умудрились?

Костя все понял. Тем более что, задавая свой вопрос, Лёнчик кивнул в сторону набегающего на берег нешумной волной сизо-зеленого, даже на вид холодного моря.

— Да вчера, — проговорил Костя. Поглядев при этом почему-то на жену Тараскина.

— Ой, Лёнчик, ты ужасный родитель! — Молодая заносчивая улыбка жены Тараскина была исполнена возмущения. — Нельзя детям городить забор из запретов. Запрет — это прямой путь в рабство!

Было ясно, кто устроил его дочери морское купание. Должно быть, Костя оставил дочь на ее полное попечение, и она решила ковать свободную личность.

Но она была не Костя, и объяснять ей, что она сделала, было пустым делом.

Тараскин сидел, не включаясь в разговор, держа около уха маленький транзисторный приемничек «Sony» и поводя вокруг отсутствующим взглядом.

— Боря снова слушает репортажи со съезда, — решила просветить Лёнчика жена Тараскина. — Прямо как в первые дни.

— Слушаю! — воскликнул Тараскин. — Такое пошло!.. Сейчас Собчак выступал. Что за выступление! Под орех этих партийных чинуш, мокрого места не оставил!

— Да-да, я тоже обратил на него внимание, — оживился Костя. — У него приемчик есть: начинают его захлопывать — он: «И последнее!». Но и не думает останавливаться. Начинают снова захлопывать — он снова: «И последнее!». И так раз пять!

Лёнчик не имел возможности принять участие в этом обсуждении. Ему нужно было заниматься дочерью. Следовало померять температуру, промыть нос соленой водой.

— Мы в номер, — объявил он.

Они с дочерью собрали разбросанные по песку игрушки, Лёнчик взял ее за руку, и они пошли к лестнице. И тут, когда поднимались по ней, дочь спросила:

— А ты зачем ездил к бабушке, я не поняла?

— Бабушка болела, — сказал он. Что было правдой — болела.

— Ты приехал — и она выздоровела?

— Да, и она выздоровела, — подтвердил Лёнчик.

Он ждал очередного вопроса, но дочь молчала. Они поднялись по лестнице и пошли по узкой асфальтовой дорожке к бетонной скале дома творчества.

— И ты, значит, больше не оставишь меня здесь одну? — проговорила дочь срывающимся голосом, когда они уже почти дошли до здания.

Ах, Господи, у него сжало сердце. Какое же одиночество она испытала, оставшись тут без него, с чужими ей людьми, какую тоску!

— Не оставлю, — сказал он. — Ни за что. Даже не мечтай.

Она не приняла его шутки.

— Не оставляй, — все тем же тихим голосом сказала она серьезно. — Пожалуйста.

21

Моя дочь близорука, как и я, но очков она не носит, предпочитая линзы. Красавицей ее не назовешь, но в азартной жизнелюбивости, с которой смотрят ее глаза, во всем ее облике есть та энергетичная женская сила, скрытая женская страстность, что может валить мужиков косяками, и мне это приятно, я испытываю тайную отцовскую гордость.

«Кофе хаус» называется заведение, где мы с ней сидим, как в аквариуме, напротив большого, во всю стену, окна, за узким столом-стойкой, развернувшись друг к другу лицом. Дочь пьет капучино, я эспрессо. И хотя разбавляю его минеральной водой из стакана, я чувствую: оно крепковато для меня. Или тут что-то вроде посттравматического синдрома после той боли, что цвела во мне колючей розой несколько дней назад, когда возвращался от Балеруньи?

— Может быть, ты зря взял себе эспрессо? — заботливо спрашивает меня дочь.

Заботливость в ее голосе мне не нравится. Не просто, ох не просто пожелала она увидеться со мной.

— Так что ты со мною хотела пересечься? — спрашиваю я в ответ на ее заботу. — Выкладывай.

— Па-а, — глядит она на меня кающимся ясным взглядом. — Мне так неудобно… но мне нужно в институте, чтобы не вылететь. На трех кафедрах нужно…

Правду она говорит, врет?

— А если сделать все курсовые, лабораторные, все сдать, обрубить хвосты?

— Да, я так и хотела, — покорно ответствует дочь. — Но не получилось.

— Хотела или думала, обойдется?! — я вдруг, неожиданно для самого себя, взрываюсь — в один миг, как это со мной случается. — Третий институт, сколько можно! Чем ты занималась, что довела до такого?!

— Е.лась, — глядя с холодным вызовом мне прямо в глаза, отвечает дочь. — Такая наследственность. Хочешь знать, с кем?

Она хотела заткнуть меня, — ей это удалось. Если ваша дочь скажет вам такое в лицо, как поведете себя вы? Треснете ее по губам? Встанете и уйдете, оставив ее саму разбираться со своими проблемами? Хочу я посмотреть, как вы это сделаете, когда такое случится с вами.

— Меня не интересует, с кем, — говорю я наконец. — Вот когда будешь выходить замуж, тогда сообщишь, за кого.

— Пока не планирую, — отвечает мне дочь.

— А насчет наследственности — не мели попусту языком. Вы все, всё ваше поколение, свихнулись на сексе. Будто жизнь только из этого и состоит.

— Да? Наше поколение? — произносит дочь, голосом, полным подвоха. — А твоя любовница, она какого поколения?

— Какая моя любовница? Что ты несешь? — отзываюсь я с возмущением.

— А кто по истфудам шляется с младенцами? — все с тем же подвохом в голосе вопрошает моя дочь. — Скажешь, не было? «Ист буфет», на Новослободской, около станции метро «Менделеевская». Незадолго до Нового года. Погода еще была такая — мокро, как в октябре.

«Ист буфет» на Новослободской около «Менделеевской»! Я вспоминаю. Евдокия сдала на права, и мы отправились отмечать сие знаменательное событие не куда-нибудь, а туда, на «Менделеевскую». Неужели же в пятнадцатимиллионной Москве должно было случиться такому, чтобы в то же время в том самом «Ист буфете» был кто-то из знакомых моей дочери, да еще бы знал меня, или она сама сидела там?

— Сама, сама, — кивает дочь в ответ на мой вопрос. — Сидела там в уголке, наблюдала.

— И что? — говорю я. — Пообедал в обществе девушки — обязательно надо записывать ее в любовницы?

— О-ой, — укоряюще тянет дочь. — Мне не пятнадцать лет — не понять, что к чему.

Она права: определить отношения мужчины и женщины, понаблюдав за ними, для взрослого человека не составит труда. Но с какой стати она хочет судить меня?

— А раз не пятнадцать, — говорю я, — тогда давай не строить из себя эту пятнадцатилетнюю. В твоем возрасте рассчитывать на отцовский кошелек уже непристойно. Зарабатывай! Кто действительно сейчас нуждается в деньгах — твой младший брат. По лицу ее я вижу — она пропускает то, что я говорю, мимо ушей. На лице ее выражение терпеливой гордыни: ради достижения своей цели

она готова позволить мне высказаться. — Прося у меня, — решаю я вломить ей как следует, — ты отнимаешь у брата.

Тут ее гордыня взвивается вверх. Это уже слишком — то, что я сказал.

— У брата! Я! Отнимаю! — восклицает она, гневным толчком посылая в сторону свой капучино. — Ты всегда, всю жизнь предпочитал его мне. Ты, он родился, со мной в Юрмалу поехал, так и то куда-то сбежал, я с какими-то дядьками и дурой-теткой вынуждена была сидеть! До сих пор помню, как я рыдала.

— Побойся Бога, ты что! — прерываю я ее гневную тираду. — У меня мать умерла, твоя бабушка, я летал хоронить. Мне тебя нужно было тащить с собой?

Молчание, что разверзается за моей отповедью, исполнено напряжения, смысл которого мне не ясен, но оно явственно кусает меня током, будто я коснулся контактов аккумуляторной батареи.

— Я думала, — говорит наконец дочь, — ты не вернешься. Бросил меня — и мне теперь всегда быть с ними.

Во мне вмиг все переворачивается. Ах же ты, вон она что пережила! И это ведь так, она права: после того, как мы разошлись с ее матерью, я занимался ее младшим братом куда больше, чем ею. Исходя из того, что она от меня кое-что уже получила, а ее брат помнит меня только приходящим родителем.

— Как я мог к тебе не вернуться. Как такое могла себе нафантазировать, — бормочу я.

И все, я рухнул, она уже получила желаемое — во всяком случае, я знаю, что дам ей деньги, осталось лишь осуществить это чисто практически.

— Только давай, — говорю я, — сколько нужно — и ни копейки сверху. Я не Крез.

— Ой, ну я же знаю! — Она расцветает, она вновь вся обаяние и азартное жизнелюбие, капучино легко-властным движением руки придвигается обратно и возносится к губам, чтобы глоток его отметил одержанную победу. — В лицо, конечно, никто цифр не называет, но такса всем известна, вот исходя из этого…

Сказать, что я отдаю дочери выброшенные банкоматом тысячные с легким сердцем, будет неверным. И когда она с деловым и удовлетворенным видом прячет деньги в свою сумочку, из меня вырывается:

— Должен тебя предупредить: это в последний раз. Рассчитывай на себя. Зарабатывай.

— Да, пап, в последний, — легко соглашается со мной дочь. — Думаешь, мне самой приятно просить у тебя?

Она уходит по Никольской, бывшей 25-летия Октября, в сторону Лубянской площади — быстрым, исполненным молодой энергии шагом, — не оглядываясь, как *отрезая* меня. Я смотрю ей вслед едва не с полминуты — нет, не оглядывается. Я поворачиваюсь и медленным в отличие от нее, волочащимся шагом влеку себя в сторону Кремля. До места очередной встречи мне подать рукой — десять минут неспешного хода, но по времени до встречи — без малого час, и как мне убить этот час?

В этот момент я ловлю себя на том, что в ушах у меня звучит церковный хор. Еще несколько шагов — и все становится ясно.

У самой Красной площади, неопознанный мной с первого взгляда, стоит восстановленный в девяностые годы храм Казанской иконы Божьей Матери. И видимо, там идет служба, внутри стоят микрофоны, и звук подается на вынесенные наружу динамики.

Ноги сами собой несут меня вперед, и вот я уже поднимаюсь по широкому гранитному крыльцу. Вот где я проведу время, оставшееся до встречи.

Народу в храме для его тесного пространства довольно много. Хор смолк — будто специально завлек меня и теперь может передохнуть. Лишь где-то, неви-

димый мне, чтец ясной поющей скороговоркой читает на церковнославянском молитвы. Все, похоже, чего-то ждут, некоторые стоят со сложенными на груди крест-накрест руками. Царские врата затворены, завеса задернута. На амвоне перед вратами на высоком, в человеческий рост, витом, желтого металла подсвечнике горит свеча. Из заднего ряда мне плохо видна нижняя часть иконостаса, я принимаюсь протискиваться вперед — и неожиданно для себя оказываюсь в первом ряду. В нескольких шагах от меня, у восточного входа в алтарь, придерживаясь рукой за аналой, профессорского вида, с аккуратно подстриженной бородой седоватый священник принимает исповедь. Собственно, уже не принимает, а заканчивает. Исповедник, торжественно одетый в черный костюм с жилеткой молодой человек, склоняет голову, священник накрывает ее епитрахилью (кажется, так называется этот узорно расшитый длинный передник, надетый на шею), произносит над молодым человеком какие-то слова, крестит его через епитрахиль, снимает с его головы и, указав рукой на крест и черную книжицу Евангелия, лежащие на аналое, отводит от него взгляд, направляя его на людей в церкви. И тотчас, получается так, мы встречаемся с ним взглядами. Священник помоложе меня, хотя и ненамного, мне кажется, он что-то спрашивает меня своим взглядом, о чем он меня может спрашивать? — но я не успеваю даже выразить недоумение: священник отводит глаза. Исповедник поцеловал крест, поцеловал Евангелие, повернулся к священнику, сложив перед собой руки ладонь в ладонь, и тот крестит его руки, что-то говорит ему, отечески улыбаясь, молодой человек наклоняется, целует священнику руку и отходит от аналоя. Боже мой, что у него за лицо! Оно будто светится, его лицо, истинно так.

В следующее мгновение я снова встречаюсь взглядом со священником. Движением руки он показывает: подходите. Он приглашает меня на исповедь! Я развожу руками: нет, извините. После чего неожиданно для себя ступаю к нему. Нет, не исповедоваться, я просто хочу объяснить, что я не могу.

— Я не готовился. Не готов. И никогда в жизни раньше не исповедовался.

— Я вижу, — отвечает он. — Но ведь когда-то же нужно в первый раз. Вы не стесняйтесь, это просто. Вы ведь не мне будете исповедоваться. Я только свидетель.

— Но исповедоваться-то мне, — отзываюсь я.

— Да грехи наши что, у всех одинаковы. — В голосе священника ни осуждения, ни укоризны за мое сопротивление. — Имя Господа нашего всуе поминаем. Чужое берем и за воровство не считаем…

Его слова о воровстве задевают меня.

— Нет, вы знаете, вот чужое, во всяком случае, осознанно, не брал никогда, — говорю я. — Но последние полгода… да, мучает это меня, ситуация была безвыходная, я хотел… а получилось… обманом зарабатываю…

Я замечаю, что исповедуюсь, когда уже подобно слуге царя Мидаса торчу из покаянной ямы задом кверху и, заткнувшись в разверстое нутро земли по плечи, выкрикиваю туда свою тайну, будто выхаркиваю из себя некую болезнь. Краем глаза я вижу, что царские врата раскрыты, подсвечник со свечой убран от них, из алтаря вышел другой священник, в руках у него большой кубок, который он держит за ножку (чаша, всплывает во мне его церковное название), он достает что-то изнутри маленькой ложечкой с длинной ручкой, люди со скрещенными на груди руками один за другим подходят к нему, и он вкладывает им в раскрытый рот то, что извлек из чаши. Это, должно быть, и есть причащение, доходит до меня. До слуха моего прорывается пение. Но это теперь поет не хор, а вся церковь: «Тело Христово приимите, Источника бессмертного вкусите».

Наконец я заканчиваю перечислять свои прегрешения. От внутреннего напряжения, обнаруживаю я, у меня мелко и противно дрожит правая икра.

— Все, — говорю я и слышу, что биение мышцы проникло и в голос — он словно вибрирует. — То есть, конечно, не все, но вот то, что сейчас вспомнилось…

Священник рядом со мной молча кивает головой. Наши склоненные друг к другу головы едва не соприкасаются. Он стоит, молчит и только качает вверх-вниз головой. И так продолжается едва не полминуты. Наконец он поднимает голову, заставляя меня сделать то же, и глядит мне в глаза прямым суровым, совсем не милосердным взглядом.

— Да, — произносит он, — безжалостно относитесь к своей душе. А ведь мы не знаем, когда нас смертный час ждет. Мы каждый день к нему должны быть готовы.

Я не знаю, что ему ответить. Не таких слов я ожидал от него.

Но, может быть, мне и не нужно отвечать ему. По крайней мере, можно так предположить, потому что священник, выдержав недолгую паузу, продолжает:

— Видите, вы говорите, ни с того ни с сего зашли в храм и купили крестик. Это ведь вы не своей волей в него зашли. Христос ждет вас. Давно ждет. А вы зашли — и снова ушли. На четверть века. И сейчас что, думаете, случайно? Почаще вам в храме надо бывать. Да не свечу поставить: зашел — и вышел. Литургию отстоять. Причаститься.

Вот-вот, причаститься! Это то, чего я от него ждал.

— А что… можно причаститься? — спрашиваю.

Устремленный на меня суровый твердый взгляд священника словно бы исполняется тревоги. Тревоги и неуверенности. Я, очевидно, взваливаю на него ответственность, которая совсем не так легка, как мне кажется.

— Хотели бы причаститься сейчас? — произносит он потом, но так, что ясно — это вопрос не ко мне, а к самому себе.

Священник оглядывается. Я смотрю вслед его взгляду — и вижу, что священника с чашей на амвоне уже нет, царские врата закрыты, и церковь вновь заполнена голосом псаломщика, читающего молитвы.

Мгновение спустя наши взгляды со священником снова встречаются. И это снова тот прежний, понимающий, полный доброжелательства взгляд, которым он заставил меня ступить к нему и объясняться, почему я не готов к исповеди.

— Что же, — говорит он. — Все? Не хотите больше ничего добавить?

Я, не вполне понимая его вопрос, к чему он относится — к моей ли исповеди, к высказанному ли мной желанию, — тем не менее отрицательно пожимаю плечами. Мне нечего добавить ни в том случае, ни в другом.

— С утра не ели? — задает мне священник новый вопрос.

— Не ел. Я поздно проснулся, опаздывал на встречу с дочерью, и мне некогда было бросить в рот даже маковую росинку.

— Тогда молимся, — говорит священник, берясь обеими руками за епитрахиль. Я непонимающе гляжу на него — как молимся? — но он уже поднимает епитрахиль выше моей головы, возлагает ее на меня, и я понимаю, что он собирается произвести со мной то же действо, что с молодым человеком в торжественном костюме-тройке.

Опуститься на оба колена у меня почему-то не получается, я встаю на одно. Сквозь лежащую на голове плотную материю епитрахили я чувствую, как, произнося какие-то слова, священник твердо, нажимая, четыре раза прикасается к макушке, снимает с меня епитрахиль и, когда я поднимаюсь с колена, указывает на аналой с крестом и Евангелием. Не будь я свидетелем того, что делал молодой человек, мне бы не понять этого указующего жеста. Перекрестившись, я целую крест, крещусь и целую Евангелие, после чего складываю перед собой одна в другую ладони, готовясь склониться и поцеловать священническую руку,

но священник, перекрестив мне ладони, подается ко мне сам, и мы совершаем с ним троекратное целование, взаимно общекотывая друг друга своими бородами.

— Подождите, — бросает он мне, забирая с аналоя Евангелие с крестом, и быстрым шагом уходит через боковую дверь в алтарь. Оставив меня в растерянности: чего ждать?

Чего, я понимаю, когда минуту спустя царские врата снова раскрываются, оттуда выходит тот священник, что причащал, в руках у него снова чаша, откуда-то возникают те двое псаломщиков, становятся по бокам священника, а он, поводив глазами по сторонам, останавливается взглядом на мне и молчаливо вопрошает: ну? что ждем?

Царские врата открылись специально для меня!

Я стремительно направляюсь к священнику, приступаю к нему, раскрываю рот, но священник не торопится причастить меня.

— Руки, — слышу я горячий шепот псаломщика.

Я торопливо складываю на груди руки, священник уже достал из чаши кусочек просфоры, произносит какие-то слова, я разбираю только «причащается», и следом за тем он просит меня назвать свое имя.

— Леонид, — поспешно роняю я. И тут же чувствую языком, как его касается ложечка, и во рту у меня — вкус красного вина и малехонький кусочек хлеба. Которые вино и хлеб лишь физически.

Я входил в церковь одним человеком, выхожу, простите за тривиальность, другим. Я умиротворен, *прохладен*, но, вместе с тем, все во мне словно бы звенит от ликования.

Время, на которое у меня назначена встреча, уже прошло. Впрочем, я не вибрирую, что опаздываю на встречу. Это до церкви меня потрясывало. Конечно, у меня нет сомнения, что Евгений Евграфович вызвал меня не просто так. Балерунья пообещала меня «урыть», и она не успокоится, пока не почувствует, что отмщена. Но что может Евгений Евграфович теперь? Деньги, что были мне так нужны, получены. Ну, не удастся больше отщипнуть от их пирога. Что ж, я готов к тому.

Силуэт Евгения Евграфовича уже маячит на условленном месте — там же, где мы встречались впервые: около грота «Руины» под Средней Арсенальной. Он, как и в ту нашу встречу, снова в своем темно-синем длинном кашемировом пальто, анаконда вишневого шарфа обвита вокруг шеи и свисает до самых пол. А я сегодня снова в берете, который, как мне кажется, придает моему облику некоторую художественность.

— Запаздываете, — с неудовольствием говорит мне Евгений Евграфович.

— Да, задержался, — отвечаю я безмятежно.

— Я вас, Леонид Михайлович, вот зачем попросил встретиться…

— Да, Евгений Евграфович. Я весь внимание, — внутренне подбираясь, чтобы быть готовым к удару, с подчеркнутой почтительностью говорю я.

То, что я слышу, повергает меня в шок, по-другому не скажешь. Евгений Евграфович просит меня представить записку о реальных настроениях в обществе!

— Это к вам личная просьба Дмитрия Константиновича, — добавляет он. — На него произвела впечатление прошлая ваша работа. Нужна подлинная картина. Руководство позарез в ней нуждается. Позарез!

«Дмитрий Константинович» — это не кто другой, как Жёлудев. Занимающий в их властной иерархии какие-то такие высоты, что Евгений Евграфович, по выражению Гремучиной, по сравнению с ним — мальчик на побегушках.

Я внутренне подпрыгиваю от радости. Написать для них все, что думаешь! Да это такое счастье — можно отдать за него полцарства, да и все царство, в конце концов.

Однако я стараюсь не выдать своего ликования. Я прячусь за маской сквалыги.

— А условия? — спрашиваю я. — И договор?

Евгений Евграфович успокаивающе качает головой.

— Условия — как в прошлый раз. Фифти-фифти. Габариты груза, — произнеся это, Евгений Евграфович усмехается, как бы повязывая нас с ним сообщническим знанием, — такие же, как прежде, чуть больше, чуть меньше — непринципиально. И договор, конечно. Но немного погодя. Сейчас с этим делом некоторые временные сложности. А записка требуется срочно. И рекомендации, рекомендации! Что, вы полагаете, нужно сделать для улучшения ситуации. Остро требуются свежие идеи. Необычайно остро!

Слушая его, я неизбежно думаю о Балерунье. По всему получается, она не говорила с ним обо мне. Отлучив от себя, решила не вырывать у меня куска изо рта? Невероятно.

Эйфория моя столь велика, что, прощаясь, я позволяю себе поинтересоваться у Евгения Евграфовича его отчеством. Его «старорежимное» отчество преследует меня с самого момента нашего знакомства.

Вопрос мой, к моему удивлению, доставляет ему удовольствие.

— Да, вы знаете, мои дед с бабкой были такими верующими! — восклицает он. — Назвали, и всю жизнь отец мучился. Пришлось называться Граний. Отец в ЦК КПСС служил — его все так и знали: Граний Петрович. И еще говорили: у вас такое замечательное советское имя!

— Он в ЦК КПСС служил? — Я не могу скрыть изумления: какая наследственность! И все это — ростком от невероятно верующих бабушки с дедушкой.

— Да, папаша мой служил в ЦК КПСС, — с горделивостью подтверждает Евгений Евграфович.

Мы прощаемся и расходимся. Он — обратно к себе на государеву службу, как сам назвал ее тогда, в первую нашу встречу, я — назад в свою вольную жизнь человека свободной профессии, который, глядя со стороны, никому ничем не обязан, никому ничего не должен.

Путь мой лежит на Новую площадь, к Политехническому музею, где я, спеша на встречу с дочерью, оставил свое корыто. Эйфория, бушующая во мне, заполняет меня по самую макушку. Дверь на углу дома, к которому подхожу, пересекая Биржевую площадь (бывшую Куйбышева), с надписью над ней «Кофе хаус», вызывает во мне неясную ассоциацию. Впрочем, недоумение мое длится недолго, я вспоминаю: да мы же с дочерью тут и сидели. Надо же: чуть больше часа назад, а ощущение — минула вечность.

За длинным столом-стойкой, обратясь лицом к улице, сидят, как мы с дочерью чуть больше часа назад, несколько человек, курят, разговаривают, отрывают от стола чашку, подносят к губам. Я иду, смотрю, как они пьют кофе, — и внезапно меня пронзает: да я ведь тоже так пил! Ну да, не ел, а всего лишь пил, но какая разница: желудок у меня был не пустой, а значит, я не мог причащаться. Не мог — а причастился!..

22

Жена запаздывала. Лёнчику уже пора было выйти, а она все не появлялась. Если бы сыну было не полтора с хвостиком, побольше, можно бы оставить его на дочь и уйти, но сын все же был еще мал, чтобы доверять его девочке, которой лишь подходило к семи.

К зазвонившему телефону Лёнчик побежал с горшком в руках, только подняв с него сына и не успев дойти до туалета. Звонил Костя Пенязь. Из-за внезапно возникших обстоятельств он не мог пойти на представление журнала и про-

сил Лёнчика купить для него несколько экземпляров журнальной книжки. О чем разговор, конечно, пообещал Лёнчик.

Жена появилась, задержавшись на час, — ко времени, когда мероприятие как раз должно было начаться. Лёнчик попробовал было ее укорить — и получил по полной:

— Подумаешь, что там у тебя! — отмахнулась она в ответ на его упрек. — Начальство выговор влепит, премиальные снимут? Так, переливаете из пустого в порожнее, удовольствие получаете. Получишь своего удовольствия меньше на час!

Он проиграл ей бой за главенство в доме. Или нужно было совсем прогнуться под нее, или разрывать с ней, — на что он пока никак не решался.

В Доме литераторов, когда приехал туда, Лёнчик прежде всего бросился искать, где продают журнал. То, о чем говорили с Тараскиным летом в Юрмале, осуществилось. Журнал вышел. Без всякого решения ЦК КПСС, без вмешательства руководства Союза писателей в состав редколлегии, без цензурного надзора — без, без, без… От возможностей открывающейся свободы кружило голову.

Журнал продавали в Большом фойе перед входом в Пестрое кафе и ресторан. Лёнчик купил шестнадцать экземпляров — восемь для себя, восемь для Кости. Вкрутую набитая сумка повисла на плече тяжелой гирей. По пути в Большой зал его окликнули. Это была очеркистка и кинокритик Алла Вайсман. Она сидела за журнальным столом сбоку от лестницы, ведущей в зал, перед нею лежала стопка листов, расчерченных как ведомости, рядом — встопорщенно-ребристая дорожка из раскрытых коричневокорых книжиц.

— Членский билет будешь получать? — вопросила Алла.

Лёнчик вспомнил: да-да, Тараскин говорил — готовы удостоверения независимого писательского движения, будут выдавать.

Он заплатил вступительный взнос, расписался в ведомости и посмотрел на номер билета. Тот был уже едва не трехсотый.

— Однако! — радостно изумился он.

— А ты думал! — с ходу поняла, что значило его восклицание, Алла.

Отвечая Лёнчику, она вскинула на него глаза, но что-то следом привлекло ее внимание на лестнице, взгляд ее переместился вбок, за его спину, и по тому, что выразилось в ее взгляде, Лёнчик понял: произошло что-то чрезвычайное. Он обернулся.

По лестнице, выплеснувшись на нижний марш с межмаршевой площадки, катился людской поток. В то мгновение, когда Лёнчик обернулся, стали слышны голоса спускавшихся. Это был общий всполошенно-тревожный гул, ничего не разобрать, но одно слово, вычленяясь, так и стояло над текущей толпой. «Память!» — вырывалось из общего гула. — «Память!»

Засовывая на ходу полученную корочку в карман сумки, Лёнчик ринулся на лестницу навстречу потоку.

— Куда? — крикнула ему Алла. — Откуда ты знаешь, что там?!

Лёнчик остановился. Алла была права. Рваться в зал, когда все покидали его!

— Я пойду в комнату за сценой, — сказал он.

— Это другое дело, — согласилась Алла. — Потом приди, расскажешь.

«Комната за сценой» — так называлась комната на задах сцены Большого зала, куда был отдельный проход через фойе. В ней обычно собирались, коротали время кому предстояло выйти на сцену.

Комната за сценой была полна. Мелькнуло в дальнем конце растерянное лицо Тараскина. И редактор самого шумного последние годы журнала был тут. И несколько народных депутатов из демократического крыла. «Память», «Память», — звучало вокруг подобно тому, как реяло это слово над толпой на лестнице. «Память» было название таинственной организации, которая вдруг

объявилась в Москве, как только в стране зашевелилась политическая жизнь, о ней стали повсюду писать, но из всех этих статей, интервью, из передачи так ничего толком было и непонятно: что за организация, какие цели преследует. Говорили о ней как о защитнице прав русских на самобытность, охранительнице церковных памятников, однако же толком никто ничего не знал.

— Что случилось? — поинтересовался он у оказавшегося рядом знакомого критика с толстыми черными, закрывавшими верхнюю губу усами. — Я только что пришел.

Критик посмотрел на него взглядом, полным осуждающего изумления. Он был известен тем, что больше всего любил ругаться с другими критиками, и здесь у него появлялись и блеск, и стиль, которые во всех прочих случаях были ему не присущи.

— Как что случилось? «Память» в зале! — сказал критик.

— И что? — спросил Лёнчик.

— Ой, отстань, — не стал больше отвечать ему критик. — Хочешь узнать, пойди сам и посмотри.

Позднее, пытаясь воссоздать в памяти все дальнейшее, Лёнчик никогда не мог объяснить себе, почему не продолжил свои расспросы, а неожиданно вышел в коридор, ведущий к сцене, поднялся по грубым деревянным ступеням — и оказался в кулисах. Как бы это было не по его воле. Точно как тогда в армии, когда не поднял руки за исключение из комсомола Афанасьева и взметнул ее вверх, голосуя «против».

Просторный зал со своими шестьюстами пятьюдесятью креслами был пуст. Нет, не совсем пуст. Человек двадцать—тридцать в нем было. И все мужчины. Стояли по двое—трое у всех четырех дверей, прохаживались по боковым проходам, по проходу между партером и амфитеатром. Резко выделяясь среди них своей формой, в шинели и шапке на голове, точно так же прогуливался по центральному проходу милиционер. Сидел лишь один человек — в середине амфитеатра, круглоголовый, коротко стриженный, седовласый мужчина лет пятидесяти, в руках у него был металлический раструб мегафона, и, поднося его к губам, он время от времени принимался что-то говорить в него. Что — разобрать было невозможно, видимо, акустика зала не была приспособлена к железной речи мегафона, Лёнчик понимал только отдельные слова. «Россию», «жиды», «не допустим», «в Израиль» — что-то такое вырывалось из общего речевого шума.

Лёнчик спустился со сцены в зал и, придерживая рукой тяжело бьющуюся на бедре набитую журналами сумку, двинулся по боковому проходу к амфитеатру. Достиг ряда, на котором сидел человек с мегафоном, и пошел вдоль ряда к нему. Но он сделал лишь несколько шагов — перед ним вырос молодой человек студенческого вида, в аккуратных, тонкой серебристо-металлической оправы очках, в опрятном сером костюме с галстуком — ни дать ни взять такой отличник-ботаник с четвертого—пятого курса.

— Сюда нельзя, — загораживая Лёнчику путь, сказал он. — Взял Лёнчика за локоть и стал подталкивать к выходу из ряда. Несмотря на тщедушный вид, захват пальцев у него был крепкий — прямо тиски.

Выйдя в проход, Лёнчик поднялся на ступеньку выше и пошел в глубь амфитеатра вдоль другого ряда. Часового выставлено здесь не было, и Лёнчик беспрепятственно достиг середины зала, оказавшись над седовласым.

— Зачем вы это устроили? — наклонился над ним Лёнчик. — Хотите выступить? Я договорюсь, выступите перед микрофоном, со сцены.

Седовласый не отреагировал. Держал мегафон у губ — и продолжал говорить. Зато среагировал человек из нижнего ряда в растянутом, неопрятного вида джемпере диковатого для мужчины яркого-зеленого цвета.

— Уйти оттуда! — приказом закричал он Лёнчику. — Уйти! Немедленно!

Лёнчик выпрямился.

— Кто вы такой, чтобы приказывать? Что вы здесь делаете?

— Я кандидат в депутаты Луговой! — выкрикнул зеленый джемпер. — Уйти немедленно!

Лёнчик снова склонился к человеку с мегафоном. И теперь дотронулся до его плеча.

— Слушайте, вам не стыдно?

Седовласый не обратил на прикосновение Лёнчика внимания. Только отнял мегафон от губ, опустил его на колени — и, кажется, что-то проговорил. А может, и не проговорил, Лёнчик не мог бы утверждать этого в точности.

Но следом за тем раздался крик джемпера:

— Он дерется! — Так, словно отдавал команду.

«Я дерусь?» — недоуменно прозвучало в Лёнчике. Однако он даже не успел освоиться с этой мыслью: в следующий миг сверху на плечи ему прыгнули. Каменно-тяжелый удар в висок на какое-то время ослепил его, а придя в себя, он обнаружил, что погребен под грудой навалившихся на него тел — сколько их было: пять, шесть, семь? — неизвестно, и все били его — куда только могли достать. Потом, пытаясь понять, как получил в этой свалке лишь один по-настоящему ощутимый удар — тот, в висок, — Лёнчик пришел к заключению: его спасло то, что их было слишком много и они мешали друг другу. Навалившись на него, они пригибали его к земле, он сопротивлялся, но они пригибали его все ниже, ниже, и в какой-то миг он почувствовал: нет, ему не вырваться.

Сколько это длилось? Десять секунд? Двадцать? Тридцать? Едва ли больше полминуты, скорее всего, и меньше, но ему тогда показалось — вечность. Вдруг сплетшийся ком тел на нем стал распадаться, его неприятели один за другим оставляли его, и вот он смог разогнуться.

Лёнчик разогнулся, но оказалось, кто-то жестко держит его за локоть. Сквозь стоявшую в глазах туманную пелену он увидел, что это человек в милицейской форме. Одной рукой держит его, в другой у него — милицейская дубинка. Которой, похоже, его и спас.

— Кто такой? — жестко, как держал, вопросил милиционер. — Пройдем!

Он не шевельнул своей дубинкой, но Лёнчику показалось — милиционер ударил ею под дых. Схватить из всех именно его!

— Кто такой я? Это я — пройдем?! А эти? — обвел он вокруг рукой.

Лицо милиционера выразило колебание. Он размышлял. Так длилось несколько мгновений, потом он отпустил Лёнчика.

— Ваше? — перейдя на «вы», ткнул милиционер пальцем в пол.

Лёнчик посмотрел — под ногами валялась его втугую набитая сумка. Он наклонился, поднял ее и надел на плечо. И подумал, что раз слетела сумка, то должны были упасть и очки. Но нет, очков на полу не было. Он потянулся рукой к лицу и обнаружил, что очки на нем. Только почему-то он плохо видел — какая-то муть стояла перед глазами. Вернее, стояла она лишь перед правым, но мешала обоим. В дополнение к тому, ощутил он, правый глаз еще и слезоточит. Он снял очки. Правый висок, когда дужка проехала по нему, отозвался болью. Лёнчик дотронулся до виска — там уже взбухла вытянутой формы шишка, боль, остро отдававшую в кость, причиняло даже легкое прикосновение пальцев.

— Очки у вас разбиты, — со строгостью, словно уличая Лёнчика в неком проступке, счел необходимым просветить его милиционер.

Лёнчик взглянул на очки у себя в руках. Левое стекло было целое, правое тоже осталось в оправе, но раскололось на три части, иззмеившись посередине вертикальной и продольной трещинами. Трещины были сплошь в мелких щербинах, — казалось, стекло прошито двумя тонкими витыми бечевками.

Однако же муть в глазах оттого, что снял очки, не проходила. Из правого глаза, окончательно убедился Лёнчик, потрогав подглазье, текли слезы, под веком, когда моргал, резало. В глаз, судя по всему, попало крошево от разбитого стекла. Крепко он был зажат, если очки в отличие от сумки удержались на нем.

Следовало уходить отсюда. Его послали сюда увидеть все воочию — он увидел. Даже больше, чем все остальные.

— Спасибо за помощь, — поблагодарил он милиционера и, неся расколотые очки в руках, пошел по проходу вдоль рядов обратно к сцене.

— Жид пархатый! — с яростью крикнули ему вслед.

Лёнчик обернулся.

— Да нет, такой же русский, как ты. Если ты русский.

— Жид! Падла, жид! В Израиль! — ответило ему разом несколько голосов.

«Он дерется!», — прозвучали в Лёнчике слова того в зеленом растянутом джемпере выкликнутые им, словно команда. Те же слова, что прозвучали без малого двадцать лет назад из уст оперативника КГБ, косившего под хулигана, послужив сигналом милиционеру, ждавшему своего времени в глубине троллейбуса. Те же слова, слово в слово, и даже как бы с тою же интонацией!

В комнате за сценой за эти пять минут, что он отсутствовал, ничего не изменилось. Лёнчик вошел — на него никто не обратил внимания. Он увидел свободный стул и сел. Все в нем внутри сотрясалось. Вот кто, оказывается, пестовал и направлял эту «Память», вот кто!

Восстановленный недавно в Союзе писателей после десятилетия отлучения, блестя из-под купола высокого лба яркими молодыми глазами, яркость и свет которых, казалось, усиливала его могучая сивая борода, проталкиваясь сквозь толпу, мимо Лёнчика прошел поэт Владимир Корнеев. Прошел и остановился, повернулся к Лёнчику.

— Привет, — своим глуховатым, как бы сдавленным голосом проговорил он. — Кажется, не виделись. Что это у тебя с виском?

Рассказывать ни о чем не хотелось.

— «Память» память оставила, — сказал Лёнчик.

— Да нет, подожди же. — Володя ступил к нему. — Это ведь тебя не кулаком.

Он произнес то, в чем Лёнчик не хотел признаваться себе, гоня от себя страх, что мог начать плющить задним числом. Скорее всего, это был плоский кастет. Но, видимо, все же не свинцовый. Что можно считать удачей. И другая удача — часть кастета пришлась на дужку очков, и та самортизировала удар, не дав проломиться височной кости. Хрястнуло, не выдержав удара, всего лишь стекло.

— Да, вот, — не стал он отвечать на вопрос Володи впрямую, показывая ему очки. — Спасители.

— Так я же и говорю: не кулаком! — возбужденно воскликнул Володя. Его яркие выразительные глаза засверкали. Ему тотчас потребовалось поделиться новостью со всеми. — Слушай, смотри, что Поспелову сделали, — взял он за рукав своего соседа — того самого критика с толстыми черными усами, который и направил Лёнчика в зал.

Лёнчик, что с тобой, Леня, дай посмотрю, Леонид, как вы, — бросилась теперь к Лёнчику едва не половина комнаты, и черноусатый критик, присоединившись ко всем, недоуменно оглядывал Лёнчика и спрашивал: «Что у тебя такое с очками? Это как получилось? Так очки у тебя на глазах были?» Очки, очки, очки — слово звучало назойливым жужжанием некоего насекомого, неизвестно как залетевшего в середину зимы из лета. Тебе нужно срочно в клинику на Горького, там круглосуточный прием, сыпались на Лёнчика советы.

Он и сам понимал, что нужно. Если бы кто-то помог ему поднять себя на это. Будь сейчас здесь Костя — не о чем бы и говорить. Но Кости не было.

Лёнчик *поднимал* себя, наверное, полчаса. И когда *поднял*, спустился вниз, получил уже в гардеробе пальто, пронеслось новое известие: прибыл наряд милиции, все участники акции от «Памяти» задержаны, препровождаются в милицейский участок, и всем свидетелям их акции предлагается также пройти в участок, дать показания.

— Подожди меня, — остановил Лёнчика черноусатый критик, подлетая к гардеробной стойке и кидая гардеробщику номерок, — вместе пойдем.

— Я в глазную, — сказал Лёнчик.

— Пойдешь позднее, как можно куда-то, когда все в милицию! — возмутился критик. — Кому по очкам въехали? Больше никому не въехали, тебе одному.

Он был прав. Кроме Лёнчика, рассказать о происшедшем с ним в зале было некому. Лёнчик поколебался и — решил поставить общественное выше личного.

В милиции, как сквозь строй, пришлось идти по коридору, заполненному вольно гуляющими по нему *задержанными*. Весь вид их явствовал, что они скорее *приглашенные* — точно такие же, как и те, кто представляет *потерпевшую* сторону.

Комната, в которую было предложено пройти, представляла собой что-то вроде учебного класса. Милиционер в форме сержанта раздал всем по листку бумаги, наверху листка было написано «Протокол допроса». Почему «допроса», мы что, обвиняемые, зашумел «класс». Да зачеркните «Протокол» и напишите «Заявление», равнодушно сказал сержант.

Уже когда все жадно исписывали выданные листки «протоколов», в комнату стремительными метеорами влетели двое тридцатилетних мужчин в штатских костюмах. Где здесь, кому очки, кого кастетом? — напористо заспрашивали они. Поспелов вон, Поспелова, указали на Лёнчика разом несколько человек. Миг — и стремительные метеоры оказались около Лёнчика, и один, бесцеремонно оглядывая его, вопросил:

— Что очки? Какой кастет? Где следы? Где кровь?

— Вот, — вынужден был показать Лёнчик себе на висок.

С той же бесцеремонностью, что его спутник разглядывал Лёнчика, второй шагнул к Лёнчику, взял его голову, как это делают парикмахеры при стрижке, и наклонил.

— Чего там, — сказал он, обращаясь к своему спутнику, — не пробили же!

— Да это вообще кулаком, — ответил его спутник.

— Кулаком? Такой след? — невольно вырвалось из Лёнчика. Другой его висок, хотя минуло почти полные тридцать лет, до сих пор помнил боль, не проходившую после удара мордатого долгие месяцы. И такой же болью отдавала сейчас височная кость под синяком.

— Говорю — кулаком, значит, кулаком. — Теперь знаток следов, оставляемых кулаками, посмотрел на Лёнчика. — А очки чего?

— Что «чего очки»? — спросил Лёнчик. — Разбиты. Вы кто? — поинтересовался он.

Мужчины в штатском переглянулись. На лицах обоих возникла усмешка.

— Кто надо, — проговорил знаток следов.

Второй молча тронул знатока за плечо и энергичным движением кивнул головой в сторону двери: идем.

И в их бурном появлении, и столь же бурном уходе, и в расспросах, что вели, было что-то от фарса. Лёнчик почувствовал себя внутри срежиссированного кем-то водевиля, играть в котором не подряжался, но вот, однако, играл.

Из милиции уходили сразу все, всей группой, как пришли. Несколько человек из «Памяти», все так же — в ожидании неизвестно чего — вольно шатающиеся по коридору, вышли на улицу следом и двинулись за ними. Как неприятно,

тихо проговорила недавно принятая в Союз молодая поэтесса со странной фамилией Гремучина. Психическая атака, нервно откликнулся усатый критик. Впрочем, ко всем вернулось прежнее возбуждение, шли — поскорее, поскорее вновь оказаться на вечере, продолжить прерванное празднование.

Дворы, которыми возвращались из отделения, закончились, дорога вывела на улицу.

— Прощаюсь, — останавливаясь, сказал Лёнчик критику и молодой поэтессе, так и проделавши путь от милиции досюда бок о бок с ними.

— Ой, почему, Леонид Михайлович?! — сожалеюще воскликнула поэтесса. Она обычно при встречах выказывала ему подчеркнутое уважение младшей к старшему.

— Поеду в глазную клинику, — просветил ее Лёнчик.

— А, да-да, тебе в клинику, — скороговоркой проговорил критик. — Ну, счастливо, — сунул он руку Лёнчику попрощаться и, ни слова больше не проронив, зашагал дальше.

Счастливо, счастливо, счастливо, коротко бросали ему, пожимали руку следовавшие сзади, обтекали его и утягивались по улице вослед авангарду группы. Эскорт из членов «Памяти» сбился тесной кучкой в тени у выхода со двора. Последнее рукопожатие — и Лёнчик остался наедине с эскортом.

Он повернулся и тронулся в сторону Садового кольца — садиться на троллейбус. Было чувство — «памятники» идут за ним, и не обернуться стоило сил.

— Радуйтесь, что ударили сбоку, — исследовав ему глаз на каком-то оптическом аппарате, пройдясь под веками тончайшей нежной кистью и отправляя к медсестре закапывать капли и закладывать мазь, сказал врач-мужчина, смотревший его последним. Лёнчику пришлось его ждать, врач-девушка, что смотрела сначала, взять на себя всю ответственность не решилась. — Градусов на двадцать фронтальней, и глаз вам гарантированно бы выбили. А так — ну, травма роговицы. Полечитесь — пройдет.

Звонок от Кости Пенязя раздался — Лёнчик едва вернулся после больницы домой. Время подходило к двенадцати, дети спали, жена тоже спала, и Лёнчик, волоча за собой собравшийся петлями провод, прибежал на кухню с затрезвонившим аппаратом.

— Что случилось? — спросил он Костю.

— Это ты мне — что случилось? — вознегодовал в трубке Костя. — Мне тут сказали, ты без глаза остался.

— Успокойся, — осадил его Лёнчик. — Глаз на месте. Фингал на виске — это да.

— Фингал? О фингале мне не говорили, — стушевался Костя.

Когда уже заканчивали разговор, Костя неожиданно проговорил:

— Но ты понимаешь, что для тебя все только начинается? Что твое имя сейчас начнут трепать и склонять. Со всех сторон.

— Да перестань, — отмахнулся Лёнчик.

— Не «перестань», а так и будет. Можешь мне не верить, но будь готов.

Он был прав. Лёнчик услышал свое имя уже назавтра по радио в утренних новостях; главное в этом поминании были его очки. В вечерних новостях по телевизору прошел большой сюжет, с кадрами представления, устроенного «Памятью» в зале: оказывается, у кого-то из зрителей была любительская видеокамера, и он все снял. В конце сюжета журналист так же сказал об очках. На следующий день с утра у Лёнчика раздался звонок из газеты, и голос бывалой журналистки решительно потребовал у него подробного рассказа об инциденте. Я могу рассказать только о том, что произошло со мной, ответил ей Лёнчик. Журналистке, однако, категорически требовался рассказ о том, чему свидетелем Лёнчик не был. То, что вам разбили очки, это мне известно, с неудовольствием конста-

тировала она. Со следующими корреспондентами, звонившими ему, Лёнчик просто не разговаривал.

Он отказывался от всех рассказов и всяческих интервью — за него это делали другие. Странным образом о нем рассказывали в основном те, с кем в тот вечер он даже не виделся, а с некоторыми был даже и не знаком. Их оппоненты, защищая «Память», ездили по Лёнчику бульдозерами. Критик одного с ним поколения, чуть помладше, неоднократно говоривший Лёнчику, как высоко ценит его, написал, что Лёнчик специально организовал всю эту историю с очками, чтобы привлечь внимание к себе и к своей подборке в новом журнале. Удачливый прозаик из северных краев, тоже поколенчески близкий, описал вообще фантастическую сцену: будто бы Лёнчик подобрался к человеку с мегафоном, сбросил с себя очки на пол и принялся их топтать ногами, а потом, призвав милиционера, стал ему показывать очки как разбитые «Памятью». Очки, очки, очки, повторялось кругом на все лады. Об ударе кастетом никто даже не поминал. Похоже, сочетание «разбитые очки» создавало в воображении картину чего-то феерически яркого, «кастет» же, чтобы претендовать на подобное, требовал не просто шишки на виске, а крови.

Спустя месяц Лёнчик достал из почтового ящика открытку, отправленную с Главпочтамта. Содержание открытки было такое, что он даже не понес ее в дом, а разорвал тут же на лестнице и выбросил в мусоропровод. Открытки потом приходили еще несколько раз, и во всех одинаково ему обещали сделать секир-башку. Из-за шума, поднятого прессой, прокуратура открыла против «Памяти» уголовное дело, в один прекрасный день Лёнчик достал все из того же почтового ящика повестку с предписанием явиться на допрос. И неожиданным образом рассказ жене о том, как сходил к следователю, стал водоразделом в их отношениях. Жена слушала его, и выражение ее лица становилось все более презрительным и высокомерным. «Дурак, — с интонацией этого презрительного высокомерия сказала она, когда он закончил. — Это у тебя какой шанс был себя раскрутить! Ничего не использовал, дурак. Лёнчик смотрел на нее, и в нем была предельная, последняя ясность: она ему больше не жена.

По результатам следствия к суду привлекли одного человека — того лысоседоголового, что сидел в амфитеатре с мегафоном. Спустя несколько месяцев после приговора, когда отбыл в колонии уже чуть ли не половину срока, его обнаружили в раздевалке повешенным. Было это самоубийство или наказание той могущественной силы, которая использовала его в своей таинственной злой игре, за некую оплошку? Так оно и осталось загадкой. Примерно в это же время Тараскин позвонил Лёнчику с радостным известием, что нашлись деньги на издание книги о происшествии в ЦДЛе, нужно срочно писать, другие уже заряжены, пишут, через месяц — рукописи редактору на стол и в набор. Какая книга, ты что, изумился Лёнчик. Ты что, не хочешь, изумился, в свою очередь, Тараскин. Они же тебя чуть не убили! Его дела шли в гору, не было издательства, где бы его сейчас не издавали. Человек в могиле, за все заплатил, какие тут воспоминания, сказал Лёнчик. Тараскин возмутился. Причем здесь «в могиле», заорал он в трубке. Это борьба! За наше будущее! Наших детей! Ты от борьбы увиливаешь? Лёнчик не стал отвечать на его вопрос. Боря, я не участвую, отрезал он.

23

Мы выходим с Костей из храма под звон колоколов. Они звонят отнюдь не в честь только что завершившегося таинства крещения, совершенного над Костей, но у нас обоих такое ощущение, что этот звон неслучаен.

Вид у Кости, однако, совсем не праздничный и не торжественный.

— Я ведь, кажется, должен сейчас чувствовать что-то вроде просветления? — спрашивает меня Костя, когда мы уже подходим к храмовой ограде. — Но я — ничего такого.

— С чего ты взял, что ничего? — Я стараюсь говорить легко и небрежно, чтобы свернуть шею его пудовой серьезности и вытащить из него того солнечно-наивного, которого в нем и люблю. — Просто это у тебя внутри. Понемножку поднимется наверх. Не сразу.

— Но вот ты же говорил, — продолжает упорствовать Костя в своем самобичевании, — что когда исповедался и причастился…

Я прерываю его:

— У каждого по-своему. Всяк портной на свой покрой, помнишь еще, живя там в германиях, русские поговорки?

— Я в «германиях»! — возмущается Костя. — Меня скоро лишат там права на жительство: я живу в Москве, не там!

Это он намекает на то, что он сидит здесь, в Москве, из-за меня. Он уже наспался у меня на раскладушке, но я не справляюсь с заданием для Евгения Евграфовича, конец мая, а работы впереди не меньше, чем сделано, мне нужна помощь, и кому подать ее мне, как не Косте?

— Ладно, — говорю я, — жил бы там — так бы все и метался, не зная, куда пристать. А вот задержался — и созрел.

— Да, ты знаешь, — отвечает Костя через паузу, — ты прав. На меня твой рассказ, как ты причастился, сильное впечатление произвел. А то ведь столько слышишь вокруг о православных священниках, что они — как секретари райкомов КПСС: не готов! не допущу!..

— Есть, конечно, такие, — не соглашаюсь с ним я. — А мне, можно предположить, повезло. Хотя мое причащение — мед с горчицей…

За этим разговором мы доходим до задов метро «Новослободская», где оставлено мое корыто, Костя готов ехать обратно в Ясенево и вновь впрягаться в надетое мной на него ярмо — ворошить таблицы с анкетами, лазить по Интернету, прочесывать газеты, — но я не позволяю ему уклониться к моим «Жигулям» и влеку с Сущевки на Новослободскую. Костя крестился в храме Пимена Великого — той церкви, где когда-то я купил свой крестик, в двухстах метрах — «Ист буфет», и я полагаю, что мы с Костей должны отметить сегодняшнее событие. Я посещал этот «Ист буфет» с Евдокией, да во времена, когда в кармане у меня не звенело, что же мне не сводить сюда друга в такой день?

Наши тарелки уже основательно опустошены, когда мне что-то начинает мешать. Невероятно как хочется обернуться, — и я оборачиваюсь. Я оборачиваюсь — и, как на невидимую длинную шпагу, напарываюсь на взгляд. Взгляд Евдокии. Она смотрит на меня тем своим самоумаленно-ироничным взглядом *с кислинкой*, который делает ее такой, какой я ее, собственно, и люблю, за которой я готов в огонь и воду, а попадутся медные трубы — и в них. Она сидит за большим, сдвоенным столом в компании своих сверстников, и, увидевши ее в этом молодняковом *зверинце*, я тотчас испытываю острый и болезненный укол ревности. Я испытываю ревность, я готов за нею даже в медные трубы, но при том едва не за целый месяц не предпринял никакой попытки увидеться с ней!

Мгновение, что мы смотрим с ней через зал друг на друга, длится тысячелетие. Потом она поднимается и идет к нашему столу. Идет — и смотрит на меня, и идет, и вот она уже около нас.

— Привет, — говорю я, отодвигая для нее от стола свободный стул.

Но она не садится.

— Привет-привет, — говорит она, переводя взгляд с меня на Костю и обратно.

— Познакомься, — указываю я на Костю. — Константин Пенязь, ты о нем знаешь.

— О, очень приятно, — стреляет Евдокия в него глазами. — Много наслышана. А я, — она умолкает, подыскивая определение, которое в наибольшей степени удовлетворило бы ее, и находит: — Я его пассия, — кивает она на меня. — Тоже, наверно, слышали.

— А как же, а как же! — Костю подкидывает с его места, он бросается к Евдокии, изготовясь принять ее руку и запечатлеть на ней почтительно-приветственный поцелуй.

Но назвавшаяся моей пассией Евдокия подавать ему руку не собирается.

— Константин, у вас пустая тарелка, — говорит ему она. — Вам бы надо ее пополнить.

Костя в недоумении оглядывается на свою тарелку, и до него доходит, что от него требуется.

Мазнув по мне потрясенным взглядом, Костя улетает к раздаче со своей вовсе не пустой тарелкой, а Евдокия, проигнорировав выдвинутый мной стул, опускается на Костино место напротив меня. Я гляжу на нее не без восхищения: о, она будет достойной хозяйкой *дела*, когда настанет пора принять его на себя.

— Видишь, еще не уехал, — как оправдываясь, киваю я вслед улетевшему Косте.

— А у меня уехал, — тотчас отзывается Евдокия. И умолкает.

Отец уехал, и мы можем встретиться, но я первая тебя не позову, ты должен сам — это означают ее слова и молчание, что следует за ними.

— Безумно сейчас занят, — говорю я. — Делаем вместе, — очередной кивок в сторону раздачи, где сейчас Костя нагружается новой порцией съестного, поясняет, кого я имею в виду, — большую работу, не спим, не едим.

— Не едим? — указывая движением подбородка на тарелку передо мной, иронически вопрошает она.

— Вот потому и тут, — нахожусь я. — Чтобы отъесться вперед на неделю.

— Некогда есть, и позвонить тоже некогда? — смотрит она мне в глаза, и *кислинки* в ней нет уже и в помине.

— Вот, получается, что-то вроде того, — изрекаю я.

Это, конечно, неправда, я брался за трубку, чтобы набрать ее номер, тысячу и один раз. Но вот набрать до конца — нет, не набрал ни разу. Бывший вице-мэр стоит между ней и мною с *того* дня прочнее гранитной скалы. Хотя я и надеюсь, что это *пока*.

Молчание, разверзающееся после моего ответа ей, — как пропасть. Шагни — и сверзишься в бездну. Она поднимается, так ничего больше и не произнеся.

Удаляющиеся шаги Евдокии через десяток секунд сменяются приближающимися шагами Кости. Он там на раздаче не столько набирал новую еду, сколько наблюдал за нами.

— Ну, скажу я тебе! — обрушивается он на стул, только что принадлежавший Евдокии. — Я, конечно, предполагал, и все же… выше всяких предположений! Чудо как хороша!

— Без комментариев, Костя, без комментариев! — повышая голос, восклицаю я.

Мне теперь хочется одного: покинуть «Ист буфет» поскорее. И, оставляя зал, глянув напоследок на фигурку не оборачивающейся ко мне Евдокии, я испытываю что-то подобное тому физическому облегчению, что ощущаешь, скинув с плеч груз, который был непомерен для тебя, но избавиться от которого никак не мог.

Звонок в дверь раздается — мы с Костей в работе, от нас идет пар.

— Кто это еще? — отрываясь от компьютера, вопрошает Костя. День крещения запомнится ему не только знакомством с Евдокией, но и ударным трудом.

Мое намерение выдать на-гора бумагу, где будет вся правда-матка, обернулось воистину галерами: голое изложение своего взгляда и мнения — это для публицистического выступления в печати, документ требует конкретики, цифр и фактов, статистики и социологических данных — и пришлось все это добывать, а добывши, сопоставлять и анализировать. Без собственного исследования, оказалось, также не обойтись, и мы на моем корыте побывали с Костей в целом десятке подмосковных городов — провели там уличные опросы; тоже, кстати, работенка не для ленивых. Разве что еще один человек будет иметь право на частицу будущей славы: мой старший сын. Уже пару месяцев, как он покончил с личным предпринимательством, устроившись в какую-то, как сам говорит, серьезную *контору*, ездил вот от нее в командировку на Урал — мой родной Свердловск, ныне Екатеринбург, еще Челябинск, Магнитогорск, Курган, — и я, дав анкеты, обязал его провести нужные мне опросы там. Долг платежом красен.

— Скорее всего, мой старший, — говорю я Косте, направляясь к двери. — Будем надеяться, сделал, что требовалось.

— Особо не надейся, — кричит мне в спину Костя. Его собственный родительский опыт подсказывает ему ответ, не делающий чести нашим детям.

Я открываю дверь. Это он, сын. И, едва переступив порог, он, как обычно, погребает меня в своих объятих.

— Раздавишь, — говорю я. — Прямо уральский медведь.

— Нет, нет! — выпускает меня сын из своих объятий. — Настоящий уралец ты, я только сын уральца. Так там везде и представлялся: сын уральца.

В голосе его нет и следа депрессии, что пережимала ему горло годы и годы, это голос удачливого, крепко стоящего на ногах, сильного человека.

— Сын уральца привез с Урала что от него требовалось? — спрашиваю я.

— Все сделал, как ты просил, — отвечает сын. — Со временем было напряжно, но я все равно. Бегал по улицам, приставал к людям, будто какой-то студентишка.

Из комнаты между тем выползает Костя.

— Привет-привет! — подает он руку моему сыну. — Слышу-слышу ваш разговор. Молодец, что помог отцу. Я, видишь, тоже впряжен.

Мы все втроем перемещаемся из прихожей на кухню, Костя принимается хлопотать по хозяйству, а я, мешая ему, раскладываю перед собой стопку бумаг, принесенную сыном, лезу внутрь, просматриваю анкеты. Похоже, сын ничего не приукрасил — и в самом деле побегал по улицам студентишкой, попахал.

С полчаса мы сидим на кухне втроем, в нас с Костей после «Ист буфета» не лезет ничего, а сын ест и нахваливает, расспрашивает Костю о жизни в Германии. Потом Костя уходит в комнату грести галерными веслами дальше, и мы остаемся с сыном на кухне вдвоем. Меня безумно интересует, что представляет собой его работа, позволившая ему буквально переродиться, но ничего внятного услышать мне от него не удается. Из его ответов выходит, что, работая сейчас в своей *конторе*, он охраняет-оберегает страну от всякой нечисти. За что и получает хорошие деньги, для чего и нужно мотаться по всей стране. Единственно внятное, что мне удается вытащить из него, так это, что его *контора* по своему официальному статусу тоже фонд, как те «рога и копыта», которые учреждены по научению Евгения Евграфовича мной. Что ты, какие параллели, с усмешкой отзывается сын, когда я поминаю свой фонд. У нас все всерьез. Офис, техника, совещания. Не сравнивай.

Он уже стоит в прихожей, когда в кармане у меня звонит мобильный. Мы наскоро обнимаемся, он распахивает дверь, машет мне рукой и уходит к лифтам, а я захлопываю дверь и наконец извлекаю мобильный из кармана.

— Да, — бросаю я в трубку, не посмотрев, кто звонит.

Трубка отзывается голосом Евгения Евграфовича:

— Так где же вы, Леонид Михайлович? Почему ваша работа еще не у меня?

Я принимаюсь объясняться: вот как раз сегодня доставлены последние материалы, обработаю их — и все, записка готова, еще несколько дней, ну, неделя.

— Поторопитесь, Леонид Михайлович, поторопитесь, — с внушением произносит Евгений Евграфович. — Непомерно затянули. Через неделю — последний срок.

Я отсоединяюсь от линии, едва не плавясь от счастья.

— О договоре поговорил? — опускает меня с небес эйфории на землю Костя, когда я сообщаю ему, что за звонок был сейчас.

Елки-зеленые! Я хлопаю себя по лбу. Забыл! Опять.

Что-то Евгений Евграфович не торопится нынче заключать со мной договор. Меня это смущает. Все-таки, когда синица в руках, жить веселее и можно спокойно пялиться на журавля в небе.

— Полюбуемся пока на журавля в небе, — не очень, наверно, понятно для Кости отвечаю ему я. Возможность говорить сильным мира сего правду в лицо — превыше всего, вот что я имею в виду под этим.

* * *

Гремучина проходит мимо меня, как мимо невидимого духа.

— Здороваться надо, — говорю я вслед ей.

За что тут же и получаю:

— Интриган, скотина! Недобили тебя «памятники». А надо было.

— Не хило она вас, — слышу я иронический голос сбоку, и, повернув голову, вижу рядом светско-аристократическую улыбку Боровцева. Умеют критики, что литературные, что музыкальные, оказаться в нужное время в нужном месте, чтоб стать *свидетелями*. — За что так? Не иначе как наступили на любимую феминистскую мозоль.

Критики не только умеют быть *свидетелями*, но еще и свидетелями любопытными.

— Ошибаетесь, — говорю я, пожимая ему руку. — Феминизм — всего лишь мозоль, аз же грешный угодил ей по сердцу.

— Как это? — с изумлением поднимает бровь Боровцев.

— Не поделили найденный клад, — разъясняюще говорю я, и Боровцев после секундного недоумения принимается понимающе кивать головой. На лице его появляется выражение удовольствия, как от глотка вина, неожиданно оказавшегося более чем хорошим.

— Да, если он достался не целиком ей, то, конечно, по сердцу. А-я-яй, нехорошо! С феминистками опасно так поступать.

— Еще как, — соглашаюсь я. В памяти у меня мгновенно встает все происшедшее у нас с Балеруньей — и хоть бросайся вслед этой феминистке и тряхани так, чтобы душа из нее вон.

— Ну, поговорим еще, — отчаливает от меня Боровцев.

Мы тут все: и Боровцев, и я, и Гремучина тоже — по приглашению Райского. Райский поет везде, не брезгуя и ночными клубами, выступать в таких местах, как концертный зал гостиницы «Космос», — событие не частое, и ему хочется, чтобы в зале сидели не только зрители с билетами. Надо полагать, сегодня здесь будут многие, кто был у него на встрече Нового года.

Заменой Боровцеву около меня возникает Костя. После удаления аденомы у него, как он говорит, некоторые проблемы с водопроводом, он пользуется каж-

дым удобным случаем, чтобы устроить себе свидание с сантехническими достижениями современной цивилизации, и сейчас, только мы пришли, тотчас же закрутил головой в поисках указующих табличек. Пригласительный билет от Райского — на два лица, джентльмену, подразумевается, должно прийти с дамой, даме — с джентльменом, Костя при мне, выходит, в роли дамы.

— Приличный туалет, — произносит, подходя ко мне, Костя. — Чисто, все работает, ничего не подтекает. Не хуже, чем в Германии.

Я вижу в этот момент шествующего через фойе Евгения Евграфовича со своей стервой женой, держащей его под руку. Толстоплечая, широкогрудая, бесшеяя, вся в украшениях, как маршал Великой Отечественной в орденах, жена Евгения Евграфовича держит его под руку так, будто ведет добычу, а в движениях Евгения Евграфовича, в том, с какой предупредительностью выгнул кренделем руку, чтобы жена могла именно *вести* его, — затаенный страх оказаться не по вкусу подстрелившей его охотнице.

— Вот и мой работодатель, — говорю я Косте, незаметно указывая на Евгения Евграфовича движением подбородка.

Уже неделя, как я отдал Евгению Евграфовичу нашу с Костей работу. И с той поры от него ни слуху ни духу. И ладно бы, Бога ради, с какой стати он должен мне звонить и докладывать, как она у них там воспринята, но со мной до сих пор не заключено договора! И вот теперь наконец это начинает меня тревожить. Нет договора — нет оплаты, а мы с Костей, хотя и пахали на галерах не ради денег, все-таки рассчитываем и на гонорар.

Евгений Евграфович замечает меня. Я ступаю ему навстречу, оставив Костю, и мы сходимся.

— Где Райский, там все знакомые лица, — произношу я со сдержанно-тонкой светской улыбкой. — Рад видеть вас. Добрый вечер, — кланяюсь я его жене.

Руки Евгению Евграфовичу я не протягиваю. Что из того, что по возрасту он годится мне в сыновья, — старший в наших отношениях он, и право решать, здороваться нам за руку или нет, за ним. Евгений Евграфович полагает необходимым обойтись без рукопожатия.

— Да, здравствуйте, — говорит он мне, продолжая держать руку угодливым кренделем, чтобы его главнокомандующий продолжала опираться на нее. Его главнокомандующий на мое приветствие то ли отвечает мне, то ли не отвечает — не поймешь, взгляд ее устремлен куда-то мимо моего уха. — Э-э, — Тянет Евгений Евграфович, словно что-то припоминая. И припоминает: — Хорошо, что встретились. Есть новости. Давайте позвоните мне завтра, прямо с утра.

— Что-то не в порядке? — спрашивает меня Костя, когда я возвращаюсь.

Что-то не в порядке, это точно. Если бы Евгений Евграфович приглашал меня для подписания договора, он бы так и сказал. Во всяком случае, это были бы не просто «новости», а «приятные».

— Поживем — увидим, — с нарочитой небрежностью отвечаю я Косте.

Но внутри меня уже поселилось противное тревожное чувство и отравляет мне жизнь. И когда концерт заканчивается, вместо того чтобы пойти к Райскому за кулисы, как бы следовало, сказать ему хотя бы пару приятных слов, я с Костей вытекаю из зала в общей зрительской толпе на улицу.

И утром я встаю с этим же чувством отравляющей тревоги.

Евгений Евграфович, к моему удивлению, предлагает мне встретиться не у грота «Руины» под Средней Арсенальной, как то уже стало обычаем, а в «Брюхе Москвы», в этом подземном магазине на Манежной.

Я хочу приехать раньше него, чтобы поставить его, а не себя в положение *обязанного*, и мне это удается. Когда он появляется около загородки, внутри ко-

торой стоят столики, я уже за столом, и на столе — капучино в пластмассовых стаканчиках.

— Вот хорошо, что вы уже здесь, — говорит он, подходя и отодвигая от столика стул. — А то мне совсем некогда. Вырвался на минутку. Спасибо, что взяли кофе.

— Помилуй Бог, — произношу я дежурно.

— Ну да, Бог-то помилует, Бог-то милостив, — приговаривает Евгений Евграфович, устраиваясь за столом. — Бог милостив, а государева служба… государева служба таких понятий не знает, чуть что — и на плаху, чекрык по белой шее…

— Я весь внимание, Евгений Евграфович, — говорю я, снимая пробу с кофе.

— Ух ты, горячий! — восклицает Евгений Евграфович, вслед за мной отпивая из своего стаканчика. — Перестарались, Леонид Михайлович, — исходит затем с его языка. — Увлеклись. Потеряли чувство меры. Революционного пафоса от вас не требовалось.

Он делает паузу, со всей очевидностью ожидая некоего моего вопроса, и я задаю его:

— И что из всего это следует?

— То, что договора с вами заключено не будет. Это первое.

— А второе? — спрашиваю я, заставляя себя не сжать свой стаканчик с капучино так, чтобы он хрустнул и все его кофейное содержимое — наружу.

— Второе, — тотчас и охотно подхватывает Евгений Евграфович, — вы вообще больше с нами не сотрудничаете.

— Не сотрудничаю, — эхом повторяю я. Что ж, это всего лишь возвращение к тому, к чему я уже был готов, — тогда, сразу после разрыва с Балеруньей.

— И более того, — произносит Евгений Евграфович. — Вы должны вернуть все деньги, которые были выплачены вам раньше.

Мне казалось, ему не оглоушить меня сильнее, чем он уже сделал, но, оказывается, можно.

— Как это вернуть? — спрашиваю я. — Та работа не только сделана, но и принята. Да у меня давно уже и нет тех денег. Потрачены. Где я их вам возьму?

— Где хотите, Леонид Михайлович, — глядя на меня спокойными холодными глазами, ответствует Евгений Евграфович. — Это уж ваше дело.

— Может быть, и те, что вы получили в качестве отката? — язвлю я.

Евгений Евграфович, не отрывая от меня своего ясного взгляда, снова берется за кофе и делает глоток.

— Те пусть вас не волнуют, — роняет он затем. — А то, что получили, возвращаете без рассуждений.

Сам он, явствует из его ответа, не собирается возвращать свою половину. И еще: он показывает своим ответом, что не может стребовать с меня этих денег официально. Что естественно: договор выполнен, работа принята, дело закрыто. Он элементарно хочет переложить в свой карман и ту половину, что досталась мне.

— Да нет, — говорю я. — Не буду я ничего возвращать. И были бы у меня эти деньги — все равно не вернул. Не должен я ничего возвращать.

— Мало ли что не должны. — Евгений Евграфович откидывается на спинку стула и принимается маленькими глоточками потягивать кофе. — Не должны — да должны. Нет денег? Ваше дело. Находите. — Он допивает кофе, ставит стаканчик на стол и поднимается. — Три дня вам срока, — добавляет он, уже возвышаясь надо мной.

Я остаюсь сидеть.

— Три дня? — произношу я саркастически. — Подумать только. А нет, так что? Наедете с паяльником и утюгом?

Евгений Евграфович морщится. Тонкие губы под «гвардейскими» усами, что делают его похожим на упитанного кота, кривятся в такой брезгливой гримасе, словно бы его эстетическое чувство аристократа оскорблено грубостью моих плебейских представлений.

— Ввязались в серьезные дела — по-серьезному придется и отвечать.

Говорит он мне что-то вроде «до свидания» или нет? Я не знаю. Он уходит — я не замечаю, как это происходит. Что за бред, думаю я, зачем ему, чтобы я возвращал деньги. Это скорее напоминает месть. В конце концов меня осеняет: это же Балерунья, это ее месть! Евгений Евграфович лишь приводной ремень, исполнитель. Долго она подкрадывалась ко мне. Только для чего понадобился такой кружной путь — через заказ новой работы? Участь которой, что несомненно, заранее была предрешена. А я, болван, купился.

Мне так и не удается разрешить эту загадку. Я поднимаюсь, иду по залитому ярким «дневным» светом коридору, сверкающему чисто отмытыми стеклами бутиков, поднимаюсь по лестнице, миную стеклянные двери — и вот я на улице.

Какая тут загадка, по-моему, все ясно, говорит Костя, когда мой рассказ о встрече с Евгением Евграфовичем закончен. Он в курсе всех нюансов, клетка, в пространстве которой я заперт, и не выбраться, — не его, он снаружи, и ему видно то, что для меня закрыто.

— Да? Объясни, — с жадностью требую я у Кости.

— Дело в твоем армейском приятеле, — говорит он. — Ну, этом, ты рассказывал, где-то вы там выступали, и он специально хотел тебя увидеть.

— А, ты о Жёлудеве? — соображаю я, о ком идет речь.

— Да-да, — подтверждает Костя. — Жёлудев, ты говорил, его имя. Этому Евграфычу нужно было дискредитировать тебя перед ним. Он после того, как твой армейский приятель благословил тебя на сотрудничество, сам по себе перекрыть тебе кислород не мог. Ему на то нужна была высшая воля. И он ее получил. Подставил тебя — и твой приятель рассвирепел. Вообще-то что ты, что я — оба хороши, попались: нужна им объективная картина!

«Подлинная картина», вспоминаю я дословно, о чем просил меня Евгений Евграфович. Так оно все, как объяснил Костя, примерно и есть. Чтобы его духу у нас больше тут не было, что-нибудь вроде такого сказал мой бывший армейский приятель. А после такого благословения составленный гетерой план мести может огненным конем скакать во весь опор. Ведь она же гетера, Балерунья. Бойтесь гетер, дары приносящих. Они их непременно востребуют обратно.

— С какой стати мне что-то ему отдавать! — восклицаю я, итожа мысли, на которые меня навел Костя. — Да даже имей я эти деньги — фиг бы я что ему отдал!

— Ты уверен? — осторожно произносит Костя. — Может, ну его, отдать? Я бы тебе одолжил сколько-то. Без всякого срока. Еще бы ты у кого-то взял…

— Обалдел? — вопрошаю я Костю. — С какой стати?! Да если бы и хотел отдать, мне таких денег нигде не назанимать! Я только на одну Бразилию сколько просадил! Мне ведь ни копья не вернули. Пошло оно все! — Я решительно поднимаюсь со своего рабочего кресла за компьютером, и, подойдя к дивану, на котором сидит Костя, хлопаю его по плечу. — Пойдем сварганим обед, поедим — станет веселее. Что этот кот усатый может мне сделать, если не верну? Ничего!

* * *

Лето наконец начинает отдавать долги, накопленные за дни осенней погоды, которой давило все начало июня, — снова жара, сушь, солнце оправдывает свое славянское имя Ярило. Жара в квартире — нечем дышать, и близость Битцевского парка не спасает. Мы с Костей разгуливаем в одних трусах. Костя ходит

по всей квартире, снося в один угол свои вещи. Билет на самолет у него через пять дней, но за три месяца московской жизни вещи его расползлись по моей берлоге, и не собрать заранее — при паковке чемодана и не отыщешь.

— Ты сегодня куда-нибудь собираешься выезжать? — в какой-то момент как бы между прочим интересуется он.

Стерильная невинность голоса выдает его с головой. Ему нужно, чтобы я хорошенько поотсутствовал. Последнее или предпоследнее свидание с московской подругой перед тем, как сесть на германский пост.

— Обязательно должен выехать, — говорю я, изображая с ответной невинностью, словно ничего не понял. Час-полтора. И часика на три-четыре. Не меньше.

На самом деле мне никуда не нужно. Мне некуда ехать — ни в какую редакцию, ни в какое издательство, ни в какую студию, — никто меня нигде не ждет.

К зазвонившему телефону мы кидаемся оба. Но я все же хозяин и трубку снимаю я.

Это сын. Не младший, на которого я горблюсь, у которого сейчас грядет очередной выпускной экзамен и которого я не видел уже тыщу лет, а все тот же старший, с которым виделись как раз совсем недавно.

— Отец! — говорит сын. — Отец, надо встретиться.

— Да, конечно, — отвечаю я. — И когда б ты хотел?

Раз он просит о встрече, что-то ему от меня нужно. Других причин я не знаю. Снова деньги? Но он же только что мне говорил, как у него все прекрасно в жизни, какая чудная контора, куда устроился.

— Можем мы встретиться прямо сейчас? — спрашивает сын.

— Давай прямо сейчас, — говорю я.

Ехать в такую жару в центр, тем более в моем корыте без всякого кондиционера, — довольно дико, и я предлагаю для встречи Битцевский парк рядом.

— О, то, что надо, — с ходу принимает мою идею сын. — Замечательное место для разговора.

Через полчаса, попрощавшись с Костей до вечера, я спускаюсь на улицу. На блистающую полировкой, словно только что сошедшую с конвейера «Тойоту», остановившуюся у тротуара неподалеку от меня, я не обращаю внимания. Но вышедший из нее человек направляется в мою сторону, и это оказывается мой сын. Я не верю своим глазам. Мой сын — и «Тойота»? И ведь не секонд хэнд, а новенькая, год-другой ей, в крайнем случае.

— В кредит взял? — киваю я на машину после того, как мы поздоровались и обнялись.

— В кредит, — подтверждает он.

— А не опасаешься… — начинаю я, собираясь спросить, как расплачиваться, если потеряет нынешнюю свою работу, он меня обрывает:

— До сегодняшнего дня не опасался.

Я молча смотрю на него. Ясно, что в его ответе намек на тот разговор, с которым он примчался, но расшифровать этот намек я не могу.

Мы пересекаем дорогу, оставляя за спиной шершавый свист машин по размягченному асфальту, и сразу попадаем в умиротворяющий лесной покой. Тропинка, ведущая в его глубину, безлюдна, воздух стоит, листья на деревьях не шелохнутся, птичий пересвист вокруг — единственные звуки, что нарушают объявшую нас тишину.

— Отец! — произносит сын, и я вновь слышу стиснутый голос Лаокоона, отсутствию которого так радовался при нашей последней встрече полторы недели назад. — Отец, я тебе должен передать, меня просили… отец, ты должен вернуть деньги. Я не знаю, что там у тебя… я только должен передать: верни,

отец. Тебе, я знаю, три дня давали, а ты лег на дно. Это неправильно, отец… Ты с серьезными людьми имеешь дело.

Я чувствую, как все во мне внутри встает дыбом, — так взъерошивается при чувстве опасности шерсть у зверя.

— Так ты вот такими делами занимаешься, да? — медленно произношу я. — Окучиваешь клиентов, чтобы родину любили?! — Почему-то у меня выскакивает такое слово — «клиентов».

— Отец, ты сошел с ума, наоборот, я как сын! — восклицает он. — Я тебя предупредить, чтобы не дай Бог… — он глядит на меня — и не глядит, взгляд его пытается остановиться на мне — и не получается, взгляд его словно срывается с меня. — Чтобы у тебя не было неприятностей. Ведь ты мне отец!

— А ты сын! — срываюсь, ору я. — Нет у меня этих денег, откуда я их возьму?! Нет! Все утекло. Как сквозь пальцы. На брата твоего. На сестру. И тебе в том числе досталось! — Тут меня осеняет провокационной мыслью, и я тотчас даю ей ход: — Давай помоги! Долг свой верни мне. «Тойоту» свою продай.

О, это удар под дых. Но он заслужил. Это же надо — чтобы собственный сын приходил и требовал от тебя сунуть голову в петлю! Для твоего же блага! Чтобы шея стала длиннее!

— Нет, как я ее продам? Она же в кредит… ее никак, — бормочет сын. И, сделав паузу, принимается за старое: — Ну, может быть, ты все же как-то… займешь…

Гнев и отчаяние владеют мной. Я больше не отвечаю сыну. Лишенного поддержки моих реплик, его хватает ненадолго. Он умолкает, — и вот мы стоим так молча напротив друг друга, неподвижный воздух наполнен солнечным жаром и расцвечен пением птиц, и мы стоим, стоим, и странное чувство посещает меня: отец ли я ему, сын ли он мне?

— Ладно, погуляли, — говорю я в конце концов. — Пошли обратно.

У его «Тойоты» мы останавливаемся.

— Отец… — произносит сын, беря поданную мной для прощания руку, я отрицательно мотаю головой: ни слова! — высвобождаю руку и, не оглядываясь, иду к своему дому.

Подойдя к нему, я все же оглядываюсь. «Тойота» сына продолжает стоять где стояла. Я прибегаю к обманному маневру — направляюсь к подъезду, захожу в него, но, зайдя и дав двери почти закрыться, не позволяю закрыться ей полностью и смотрю в щель: что «Тойота». Оттуда, с дороги, увидеть, что дверь не закрылась полностью, невозможно. Машина сына неподвижна минуту, другую, потом резко, как выстреленная, срывается с места и, вклинившись в поток, растворяется в нем.

Я открываю подъездную дверь и выступаю обратно на улицу. Подхожу к своему корыту, открываю его — изнутри меня обдает жаром мартеновской печи. Мне надо проотсутствовать дома еще часа четыре, а следовательно, не остается ничего другого, как ехать. Неизвестно только куда.

Я отсутствую не четыре часа, а все семь—восемь и возвращаюсь уже даже на исходе часа пик. Разговор с сыном торчит во мне саднящей занозой, никуда не девшись, но мир вокруг больше не сконцентрирован вокруг боли, что причиняет мне эта заноза. Я еду домой, отстояв вечернюю службу в храме Косьмы и Дамиана, что в начале Столешникова, неподалеку от здания мэрии. Признайся кому из нашего *цеха поэтов* — не поверят, но я провел день, кочуя из одной церкви в другую. Просто ехал, видел церковь — подъезжал к ней, выбирался из машины и шел внутрь. В скольких храмах я побывал! Больших, маленьких, богатых, бедных, устроенных и едва оклемывающихся после десятков лет своей светской жизни в облике складов и госучреждений. К шести вечера колеса привезли меня на Тверскую, я зашел в храм, собираясь походить по нему, ог-

лядеть, посмотреть на иконы, как делал то в остальных, — и остался. Начиналась служба, я решил постоять послушать сколько хватит сил, и вдруг, когда священник обходил церковь, совершая каждение, мне показалось, что это Георгий Чистяков, с которым нас сводила судьба, когда мы оба писали для издававшейся в Париже «Русской мысли». Он прошел мимо меня, позвякивая кадилом, странно изменившийся с той поры — все с так же *светящимся*, но странно оплывшим, словно бы распухшим лицом, — и мне вдруг помн*и*лось, что он *не жилец*. Это не отец Георгий Чистяков, тихо спросил я стоявшую рядом женщину. Он, он, так же тихо, но охотно отозвалась она. Болен очень, лежит в больнице, но наезжает, служит, исповедует даже. Отец Георгий, продолжая кадить, направился обратно к амвону, меня повело за ним, я протиснулся поближе к распахнутым царским вратам, и два часа службы пролетели — как их не было. Я жадно следил за каждым его действием, смысла которых не особо и понимал, — а вот ему все это было понятно и ясно, он занимался этим каждодневно, из года в год, он, доктор наук, эрудит, блестящий преподаватель и эссеист; почему *это* оказалось ему важнее мирской карьеры, всей мирской жизни, а вот для меня — нет?

Мне остается ехать до дома минут пять, когда раздается звонок мобильного.

— Леонид, да? — в ответ на мое «Алё» говорит в трубке женский голос.

— Леонид, — коротко, с недоумением отвечаю я. Голос незнакомый, и вообще он мне не нравится: какой-то глухой, придавленный — ненормальный голос.

— Меня зовут Марина, — произносит голос. — Я знакомая вашего друга Кости. Я вам должна сказать…. — Женщина прерывается, судорожно вздыхает — раз, другой, — переводит дыхание, и голос наконец возвращается к ней. — Костя в Первой градской, — говорит она.

Понятно. Примерно то, что я и ожидал.

— Что случилось, Марина? — спрашиваю я.

И слышу такое, о чем и думать не думал. Чего не мог и предположить.

— Костю избили. Очень сильно. Он не просто в больнице, он в реанимации. Может быть, придется операцию делать…

Я не могу произнести ей в ответ ни слова, должно быть, четверть минуты. Язык, гортань, голосовые связки — не действует ничего. Когда способность функционировать возвращается к ним, я спрашиваю:

— Вы где, в больнице?

— Я в больнице, — подтверждает она.

— Еду к вам, — говорю я этой неизвестной мне до нынешнего дня Марине.

У дальнего конца украшенного колоннами высокого крыльца Первой градской мотается взад-вперед женская фигура. Не ходит, именно мотается, и я прямо от ворот держу свой путь к ней. Кому еще так мотаться на условленном нами месте, как не Марине.

Ей сорок с небольшим, интеллигентна, неманерна, хотя и не без нервичности, не стройна, но и не полна, не красавица, но как-то очень мила, легкие узкие очки в «золотой» проволочной оправе ей к лицу, — такая женщина и должна была быть у Кости, что он ее так прятал от меня? Разве что ревность. Он в германиях, я здесь. Дурак. Женщина друга для меня — женщина, на которой лежит табу.

— Рассказывайте, Марина, — прошу я.

Она начинает рассказывать, и я почти сразу понимаю, что это били не его, а меня. В смысле, били, конечно, его, но избили, посчитав, что перед ними я. Марина с Костей уже собирались выходить из квартиры, и тут в дверь позвонили. Костя открыл дверь — и сразу получил удар в лицо, от которого отлетел к стене и, ударившись о нее затылком, упал. Марина даже не успела закричать — один из нападавших зажал ей рот, втащил на кухню, велел молчать и, оставив на кухне за зак-

рытой дверью, присоединился к другим налетчикам. А может быть, их было всего двое, а не трое и не четверо — Марина на самом деле даже не поняла. Ее словно парализовало. Как ее швырнули на пол, так она и сидела, не могла подняться, пока входная дверь не захлопнулась. Что-нибудь они говорили, требовали что-нибудь, задаю я вопрос. Они требовали, Марина слышала. Они требовали от него, чтобы он что-то отдал. Не отдашь деньги — отдашь квартиру, вот, вспоминает она, кажется, что-то такое они говорили.

Какие сомнения, никаких сомнений — на месте Кости должен был оказаться я. Что за счастливчик: подставил вместо себя друга.

Попасть в реанимацию к Косте невозможно, никакой информации о его состоянии сегодня больше не получить, и мы с Мариной отправляемся с больничного двора к моему оставшемуся на улице корыту.

— Завтра мне в милицию, будут, как они сказали, снимать с меня показания, — говорит Марина, когда мы уже стоим у ее подъезда и она собирается выходить из машины. — Вы не против, если я буду говорить все, как есть: чья квартира, почему мы там были?

— Естественно, как иначе!

— Они меня просили подумать, какие предположения — с чем может быть связано нападение? — задает она новый вопрос. — Вот то, что я слышала о деньгах… говорить?

О, она умная женщина. Она не обмолвилась о том ни словом, но ей абсолютно ясно, на кого нападали на самом деле.

— Нет, об этом не нужно говорить, — отвечаю я.

Об этом не нужно говорить ни в коем случае. Ничего не обосновать, не доказать. Да никто в милиции элементарно не станет связываться с тем Эверестом, откуда все изошло.

Мы обмениваемся с Мариной номерами всех наших телефонов, она скрывается в подъезде, я выезжаю с ее двора на улицу, но вместо того чтобы врубать скорость и жать домой, подворачиваю к бордюру, давлю на тормоз и останавливаюсь. Надо же было быть столь самоуверенным! Ничего не сделают! Думать о серьезных людях до такой степени плохо. Зарядить в ствол родного сына — и выстрелить по тебе им. Куда как серьезно. Но нет, ты посчитал это холостым выстрелом. Посчитал холостым? — получи настоящий! Только кто нажимал на спусковой крючок? Кто в действительности подносит фитиль к запалу? Этот похожий на обожравшегося сметаной кота Евгений Евграфович с его любовью к художественному стилю в одежде? Или же кто-то выше? Едва ли что кто-то выше. Выше там эти деньги, что Евгений Евграфович хочет востребовать с меня, просто смешны, это для меня они деньги, а там — так, медные пятаки. Но как бы там ни было, в любом случае фитиль могут затушить только *оттуда*. Мне нужно добраться до Жёлудева, делаю я для себя вывод. Только вот как?

Я складываю руки на баранке, ложусь на них головой и закрываю глаза. Что же делать, как же добраться, что предпринять?

Звонить этому коту Евгению Евграфовичу, конечно, бессмысленно, но и не позвонить ему — как не позвонить? Я не могу удержать себя от звонка.

— М-да? — произносит трубка мертвящим голосом василиска.

Голову мне от этого мертвящего голоса, хотя я собирался вести себя не роняющим своего высокого достоинства разгневанным лордом, сносит в одно мгновение.

— Ты что творишь, тварь! — ору я так, что мне самому закладывает уши. — Совесть у тебя есть, тварь?! Ты, тварь, соображаешь, что делаешь?! Тебе, тварь, мало того, что сожрал, тебе теперь обожраться хочется? Стейков с кровью из человечины, тварь?!

Евгений Евграфович не прерывает меня, пока я блажу, ни звуком. И лишь когда я срываюсь на сип и выдыхаюсь, он выдает:

— Что-то вы какой-то очень крепенький. Можно подумать, у вас избыток здоровья.

Красноречивая реплика. Он признается ею, что ушкуйники заявились ко мне в дом если и не по его инициативе, то, по крайней мере, он был отлично осведомлен об их визите, а кроме того, ему бы хотелось уяснить, почему я после урока, который должны были мне преподать, не ослабел до потери голоса.

— Меня перепутали. Досталось не мне, — высипливаю я. — И переусердствовали.

— Что вы такое имеете в виду? — спрашивает Евгений Евграфович.

— Уголовное дело имею в виду, — откашливаясь, надсадно воплю я. — Об избиении.

— Не понимаю вас, — с прежним хладнокровием отвечает Евгений Евграфович. — Что за избиение? При чем здесь ваш покорный слуга?

— При том, тварь! — снова не выдерживаю я. — При том, что это ты, тварь! Ты!

— Буйная какая у вас фантазия, — слышу я в трубке голос василиска. Сказочный змей убивал своим взглядом, но, умей он говорить, убивал бы, несомненно, и голосом, и был бы у него вот этот голос — Евгения Евграфовича. — Вижу, что с поэтом имею дело. Но не надо заменять фантазиями свои обязательства. Обязательств ваших с вас никто не снимал.

Срывающееся у меня с языка новое «Тварь!» звучит уже в пустоту. Евгений Евграфович отсоединяется. Сгоряча я перезваниваю, но василиск уже отключил телефон.

Я закрываю глаза, но теперь не ложусь на руль, а, наоборот, откидываюсь на подголовник. Мне нужен кто-то, кто может выйти на моего бывшего армейского сослуживца. В крайнем случае просто дать его координаты. И срочно!

Райский! — восклицательным знаком вспыхивает у меня в мозгу. Если даже мой армейский сослуживец для него недосягаем, Райский точно знает, через кого к нему подобраться. Где он только не пел, в каких только домах не бывал.

Я отрываю голову от подголовника и лихорадочно принимаюсь листать в мобильном записную книжку. Только окажись в Москве, молю я про себя.

Райский оказывается в Москве. И он сегодня свободен, свободен как птица, никому ничего не должен, сидит в своем загородном доме и бухает.

— Что такое, что за спешка, о чем тебе поговорить? — отвечает он плывущим голосом. — Подъезжай, конечно, но только бухать. Я сегодня как птица. Согласен со мной летать?

Я, естественно, соглашаюсь. Главное, встретиться. И незамедлительно.

Райский, выясняется, когда я наконец оказываюсь у него в доме, бухает не один, в чем я и не сомневался, а в компании не с кем другим, как с Савёлом. Приятная неожиданность.

— Ле-оня! — поднимается мне навстречу Савёл, когда я в сопровождении Райского появляюсь в гостиной, где они расположились. — Рад тебя видеть! Давно уж не видел! — Савёл доброжелателен, так весь и распахнут навстречу мне.

Но я не верю в его доброжелательность и распахнутость. Он и с Райским здесь не просто так. Какой-то у него интерес. Чему свидетельством его практически трезвый вид. Если Райский хорош, в каждом его движении — такая чугунная тяжесть, кажется, еще рюмка — и его опрокинет, как ваньку-встаньку, то Савёл, видно, махал в основном мимо рта за ворот. Впрочем, мне сейчас совершенно не до Савёла.

— И я тебя давно не видел, — довольно сухо отвечаю я ему, пожимая его руку. — Ровно столько, сколько и ты меня.

— Вот трое нас — как раз то, что надо, чтобы бухать, — чугунно опускаясь на стул, изрекает Райский. — А то мы с Савёлом вдвоем… хорошо, Лёнчик, что приехал. Молодец.

Пьют они водку — Райский, когда *бухает*, употребляет только ее, — и в мою рюмку, естественно, наливается она же. Протестовать, ссылаясь на то, что за рулем, бессмысленно, и мне не остается ничего другого, как понести рюмку ко рту. Хорошо, что Райский уже в той кондиции, когда не видит, что я лишь пригубливаю. Савёл же сам такой и хитро подмигивает мне.

— У меня к тебе разговор, — говорит он. — Очень хорошо, что приехал. Я тебе собирался днями звонить.

— Потом. Не сегодня, — отмахиваюсь я.

Мне приходится ждать момента, когда можно будет переговорить с Райским о Жёлудеве, чуть не час. Имя Жёлудева всплывает в нашем трепе не без моего усилия, однако в своем знакомстве с ним Райский признается собственной волей. По его словам получается, что они чуть ли не парятся вместе в бане и регулярно пьют водку — вот как мы сейчас.

— Кеша, мне нужен его телефон, — говорю я.

— Кого? — переспрашивает Райский. То ли в самом деле не поняв, чей телефон мне нужен, то ли делая вид, что не понял.

— Жёлудева, Кеша. Дмитрия Константиновича, — зачем-то уточняю я. — Очень нужно. И безотлагательно.

— Не дам, — ничуть не пьяно произносит Райский. — Он будет спрашивать, откуда у тебя номер, и ты расколешься. Нужно мне портить наши отношения?

— Не расколюсь, — заверяю я Райского. — Мы с ним армейские друзья. Он просто не станет у меня спрашивать.

— Раз он тебе не дал телефона, значит, не хотел, чтобы ты ему звонил, — отбивает мои слова, как волейбольный мяч, Райский. — Зачем же я буду давать?

Я пытаюсь настаивать на своей просьбе, говорю, что не выдам его, даже если меня станут четвертовать, — Райский неумолим в своем отказе. И наконец ударяет по столу обеими руками и вопит, выпустив все свои четыре октавы на волю:

— Все! Ты меня достал! Лёнчик, ты меня достал, твою мать и весь твой род! Я хочу расслабиться, мы с Савёлом тут релаксируем, не хочешь с нами — катись!

Оставаться у него в доме после такого невозможно. Да и нет смысла. Замысел мой провалился. Я молча поднимаюсь и, не прощаясь, направляюсь к выходу.

Около входной двери, позванивая связкой ключей, меня догоняет Савёл.

— Я тебя провожу. Тебе же надо открыть. Машина, полагаю, у тебя не летает.

Ворота у Райского в отличие от тех, что у Савёла, не компьютерные, но тоже — будто закрывают собой сейф, на засовах и зверских замках, и мне, подъехав к ним, пришлось бы возвращаться в дом, просить Райского выпустить меня.

— Спасибо, — без особой любезности благодарю я Савёла.

— Я тебя слушал, как ты с Райком, — говорит Савёл, сходя вместе со мной с крыльца, — и вспомнил: вы же друзья с Тараскиным?

— С Тараскиным? — неохотно отзываюсь я. — Ну да. Были.

Мы не виделись с Тараскиным уже уйму лет. Кажется, все эти годы, как кончился СССР. Кому как, а для него эта смерть стала началом новой жизни. Он попал на государеву службу, бросил писать, занимал крупные посты то здесь, то там и оказался очень умелым чиновником: кругом летели головы — его уцелела; и так до почетной отставки по возрасту. Все это, конечно, я знаю по слухам и газетным сообщениям — мы с ним не только не виделись минувшие годы, но, кажется, не разговаривали и по телефону.

— Спасибо за интересную мысль, — благодарю я Савёла.

Когда я приостанавливаюсь перед распахнутыми воротами, чтобы попрощаться, Савёл, склоняясь ко мне, говорит:

— Леня, ты понял, что у меня к тебе есть разговор? Давай разрешай свои проблемы — и звони мне, о'кей?

— О'кей, о'кей, — с торопливостью киваю я и давлю на газ.

А что же, думаю я, правя от Райского к Москве. Конечно, нужно обратиться к Тараскину. Ему-то в отличие от Райского ничего не стоит дать телефон Жёлудева, что ему Жёлудев. И ничего такого, что обращусь к Тараскину. Конечно, мы с ним не общались полтора десятилетия, — так и что из того. Мы не ссорились, не выясняли отношений. Просто разошлись в разных направлениях; как в море корабли — это про нас.

В мобильнике номера Тараскина у меня нет, мы разговаривали с ним по телефону в последний раз еще задолго до всяких мобильных, и мне приходится ехать домой.

Я не был дома почти с полудня — как вышел на встречу с сыном — и захожу в квартиру впервые после того, что здесь произошло. Я ожидаю увидеть все перевернутым вверх дном, но в квартире порядок, и нигде ни пятна крови, которую я почему-то ожидал увидеть повсюду. Сукины дети били бедного Костю так, чтобы сосуды рвались только внутри.

Рассыпающаяся записная книжка советских времен лежит в ящике письменного стола там, где я и надеялся ее найти. Фамилия Тараскина и номера напротив нее четки и ясны, тлен времен их не коснулся. Столько, однако, лет прошло, все эти телефоны могут быть недействительны. Я решаю набрать номер дачи. Он ее тогда, когда мы играли с ним в теннис в Юрмале, как раз достраивал, — может быть, этой дачей он продолжает пользоваться? И где его сейчас найти реальней всего, так там: лето, жара, духота.

И о чудо! — телефон действует: в трубке у меня раздаются длинные сигналы. А там сигналы прерываются, и далекий мужской голос, словно прилетевший с Марса, произносит: «Да? Алё?» Это он, Тараскин. Это его манера отвечать по телефону: сразу и «да», и «алё». А телефонная линия все тех, прежних времен, когда даже с одного края Москвы на другой слышимость порою была вот такая — как с Марса.

— Боря! — кричу я. — Это тебе Леня Поспелов звонит!

— А, Леня, — говорит Тараскин. Так обыденно, будто мы с ним разговариваем постоянно и мой звонок — ничуть не экстраординарен. — Привет. Ты чего звонишь? Ночь уже.

Я непроизвольно смотрю в окно. За окном темно. Я и возвращался от Райского — было уже темно, и я видел, что темно, но я даже не понял, что это означает ночь.

— Может быть, дашь мне свой мобильный, я тебе позвоню на мобильный? — кричу я.

— Какой мобильный, — отвечает он. — Ночь уже.

— Боря, у меня к тебе срочное дело! — срываю я и без того сорванные голосовые связки. Мне нужен номер телефона Жёлудева! Очень нужен и срочно! Вопрос жизни и смерти, прости за патетику. Боря, пожалуйста!

Наступившая пауза — свидетельство, что он обдумывает мою просьбу.

— Какого Жёлудева? — произносит затем Тараскин. — Не знаю я никакого Жёлудева.

Я теряюсь. Это катастрофа. Больше мне некому звонить, если не Тараскин — то никто. Я пускаюсь в объяснения, талдычу ему, что он и знаком, и у него, несомненно, есть этот телефон…

— Леня, что ты пристал! — выдает мне Тараскин. — Как банный лист, ей-богу! Я сижу смотрю телевизор, футбольный матч… о, ну вот пропустил из-за тебя… такой момент, да гол же! — вопит там у себя на Марсе Тараскин. — Пропустил из-за тебя, пропустил! Пока. Будь здоров.

Короткие сигналы вонзаются мне в барабанную перепонку жалом виртуальной шпаги. Вжить, вжить! — с азартным посвистыванием колет меня шпага.

О, как я в этот миг понимаю тех, кто раскалывает свои мобильники об пол. Мне стоит труда не сделать этого. Он смотрит футбол! Го-о-ол! — а он пропустил.

Потом я вспоминаю, что во рту у меня уже Бог знает сколько времени не было и маковой росинки. Вернее, не вспоминаю, а об этом напоминает мне урчащий живот. Я влеку себя на кухню, нахожу в холодильнике сваренную Костей сегодня утром гречневую кашу, кусок адыгейского сыра. Ужин есть.

Еда успокаивает меня. Сидя в кресле с опустевшей тарелкой в руках, я гляжу в угол, куда Костя сносил свои вещи, и чувствую, что не могу ждать завтрашнего дня. Как мне ложиться спать, когда Костя в реанимации, не отмщен и этот стервец Евгений Евграфович свищет в своей безнаказанности удалым Соловьем-разбойником?

Собираясь выходить, я не до конца понимаю, что буду делать. Меня словно выталкивает из дома некая сторонняя сила. И лишь оказавшись в машине, осознаю окончательно, куда собрался. Я еду на Гончарную. К Балерунье. Смысл моего появления у нее неявен мне. Но я должен увидеть ее, я должен взглянуть ей в глаза — так это говорится.

Я околачиваюсь неподалеку от подъезда Балеруньи четверть часа, другую, третью — мне не удается попасть в него. Это не мой дом, где даже в ночное время все время кто-то входит-выходит и можно беспрепятственно проскользнуть внутрь. Здесь, у Балеруньи, народ постоянно не шастает. Звонить Балерунье — исключено. Она меня не впустит. Я должен попасть в подъезд сам. Тогда звонок в квартирную дверь будет принят ею за звонок соседки, которая часто к ней так заходит, даже и заполночь. А глазок в двери, живя в таком доме, Балерунья полагает ненужным.

Когда мое пребывание в ее дворе исчисляется полными полутора часами, я понимаю, что сегодня к Балерунье мне уже не попасть. Однако у меня сейчас идиосинкразия на дом, я не могу возвращаться туда. Я сажусь в машину, выезжаю на Котельническую набережную, нахожу местечко в тени деревьев и глушу мотор.

Ночь я провожу, засыпая и просыпаясь от озноба, к семи утра сна во мне не остается совсем. Отправляться к Балерунье, впрочем, еще рано. Семь часов — в такое время она еще не встает. Я оставляю свое корыто на том же месте, где ночевал, дохожу пешком до Большого Краснохолмского моста, сворачиваю на Гончарный проезд, поднимаюсь по нему до Таганской площади и, проползая все ее хаотические закоулки, принимаюсь убивать время в знакомстве с располагающимися вокруг закусочными.

Пройти в подъезд у меня получается едва не сразу, как я подхожу к нему. И на мой звонок дверь Балеруньиной квартиры распахивается — как я и надеялся.

Я врываюсь к ней в квартиру, наверно, подобно тем громилам, что вломились ко мне, с ходу сбив с ног Костю. Я только не сбиваю ее с ног, а, наоборот, подхватываю под локти.

— Довольна, да?! — блажу я задушенным криком, волоча ее в глубь квартиры. — Чтоб ни клочка, ни мокрого места, в пыль растереть, в прах — да?! Костя в реанимации, не знаю, будет ли жив, не выживет — ты ответишь!

— Что? Ты что! В чем я… что Костя? — ошарашенно лепечет Балерунья. И начинает вырываться из моих рук: — Пусти! С ума сошел! Мне больно! У меня будут синяки! Пусти!

Но пусть она вопит что угодно — хрен я ее отпущу! Она больше не может крутить мной и вертеть, она для меня больше никто-ничто, ее сокровища больше не волнуют меня!

— Гадина! — хриплю я, продолжая тащить ее по квартире — подальше от распахнутой двери. — Урыть захотела? Чтоб я на рее с петлей на вые?! — Я распахиваю дверь, мы оказываемся в гостиной, и тут я швыряю ее на диван. — Что ты устроила, ты соображаешь? — наклоняясь над нею, реву я. — Что тебе от этих денег, что я получил? Где я их возьму? Ты их требуешь — вот ответь: где мне их взять?!

— Подожди, подожди, подожди, — покачивает выставленными перед собой руками Балерунья. — Давай спокойно. Ничего я не требовала, клянусь! Зачем мне твои деньги. Кто их от тебя требует?

Я смотрю на ее утреннее, не тронутое косметикой лицо, и моя затуманенная от скверной ночи в машине, войлочно-ватная от всего происшедшего вчера, тупая башка начинает медленно варить. Да, конечно же, она потребовала отлучить меня от кормушки — вот, вероятней всего, и все, а уж остальное — не ее инициатива. Что-то вроде понимания этого промелькивало во мне и до того, но вчера вечером меня так переклинило от желания увидеть ее и как следует встряхнуть, что я перестал соображать по-нормальному.

— Тогда вот что, — медленно произношу я, — можешь этому своему, — я не называю имени Евгения Евграфовича, — велеть отстать от меня?

Ответ ее следует не сразу. По выражению ее лица я вижу: она высчитывает. Высчитывает-рассчитывает: сыграть со мной честную игру или схитрить?

— Могу попробовать, — говорит она.

«Могу попробовать»! Такой вариант меня не устраивает.

— Дай мне телефон Жёлудева, — говорю я.

— Кто такой Жёлудев? — спрашивает Балерунья.

Она в самом деле не знает? Или начинает хитрить?

— Шеф твоего Евгения Евграфовича.

— А-а! — тянет она, проглотив «твоего Евгения Евграфовича», чего не простила бы мне в прежние времена. — Дмитрий Константиныч? Его координат у меня нет.

— Доставай. — Я киваю в сторону телефонного столика около двери в гостиную.

Но у Балеруньи возникает какая-то иная мысль.

— Позволь встать, — упирается она мне в грудь ладонями. — Мне нужно в спальню.

Возможно, она бы не хотела, чтобы я шел за ней. Но уж нет, куда она, туда и я, только вместе.

— Извини! — с ироническим пафосом говорит она, открывая ящик комода. Запускает руку в гущу лежащего там нижнего белья и вытаскивает сложенный в несколько раз большой, ватманской плотности лист. — Пожалуйста! Смотри! — передает она мне лист.

Я беру, разворачиваю — это список всех управлений, отделов и подотделов государевой службы, со всеми телефонами — городскими, внутренними, вертушечными. Такая вещь среди трусиков с лифчиками — забавно и символично.

Искать Жёлудева долго мне не приходится. Его должность и фамилия выделены отдельной строкой и набраны жирным шрифтом, — он не рисовался, когда говорил мне, что и сейчас востребован. Звонить ему надо по вертушечному номеру — тогда он сам снимет трубку, — но где взять вертушечный аппарат?

— Идем, — зову я Балерунью обратно в гостиную. Я не хочу оставлять ее без присмотра.

Звонить я решаю помощнику — у помощника большая степень свободы для принятия решений, чем у секретарши. Помощника зовут Игорь Витальевич. Хорошее русское имя. Никаких тебе намеков на Салтыкова-Щедрина. Разве что на оперного князя Игоря.

Помощник на месте, и он меня внимательно слушает. Нет, Леонид Михайлович, вежливо, но твердо говорит он мне, вас нет в списке, с кем Дмитрий Константинович просил сегодня соединять. Нет, он никогда не забывает, еще не было случая, чтобы забыл.

— Дай-ка, — поднявшись с дивана, подходит ко мне и протягивает руку Балерунья. — Во взгляде ее что-то такое, что я, затыкаясь на полуслове, покорно передаю ей трубку. — Игорюша, — тем своим глубоким, волнующим голосом, который предназначен у нее для обольщения мужчин, говорит Балерунья, поднеся трубку к уху. И смеется: — Конечно, конечно, я. Привет. — Помощник Жёлудева, должно быть, что-то говорит ей, она слушает с улыбкой, снова смеется, после чего произносит, с той же настоятельностью в голосе, с какой требовала у меня трубку: — Соедини человека, ему очень нужно. Придумай что-нибудь, ты же ас. Вывернешься как-нибудь. Человек должен поговорить. Держи, — передает она мне трубку некоторое время спустя.

— Слушаю, — с мягкой доброжелательной интонацией произносит Жёлудев. Я называюсь, и доброжелательная мягкость в его голосе сменяется возмущенным удивлением — видимо, Игорюша представил меня так, что Жёлудев рассчитывал услышать никак не меня. — Леонид Михайлович! — восклицает он. — Надо же! Чем обязан?

Он обкатанный, умелый чиновник, он не скажет мне ни единого резкого слова, он будет со мной, может быть, даже ласков, но мне нужна от него совсем не ласка.

— Я понимаю, последняя моя работа вас не устроила? — говорю я.

— Не устроила, — коротко отвечает мне он.

— Но предыдущая нормально?

— Предыдущая нормально.

— Почему же я должен вернуть деньги, которые мне выплачены? — У меня чувство — мы две собаки, стоящие друг перед другом. Я такая махонькая — едва разглядишь, он — громадная овчарка, и вот мы стоим, и в его воле то ли тяпнуть меня за глотку, то ли снисходительно оставить жить. — Не должен я ничего возвращать! Но с меня требуют.

— Кто с тебя требует?

— И не просто требует, — говорю я. — А один человек уже в реанимации.

— Ты вот что. — В голосе Жёлудева появляется та ироничная насмешливость, которую я помню с армейских лет. — Ты или прямее давай, или вообще не давай. Отвечай за базар.

Но я не уверен, что это правильно — назвать имя Евгения Евграфовича. Маленькая собачка должна знать свое место, жаловаться ей нельзя, не знающим своего места маленьким собачкам в родном отечестве мигом распарывают брюхо и там — до скелета.

— А то ты не понимаешь, о ком речь, — позволяет себе маленькая собачка тявкнуть на овчарку. — Раз я ничего не должен, то не должен. С какой стати ко мне претензии?

Жёлудев некоторое время молчит. Потом спрашивает, без всякой насмешливости:

— Ты из-за этого мне звонишь? Больше ничего?

Большая собака все поняла. И большой собаке понравилось, что маленькая не слишком скулила, жалуясь на ее стаю.

— Больше ничего, — говорю я.

— Живи спокойно, как жил, — роняет Жёлудев, на чем и полагает нужным положить трубку — считая слова прощания что со своей, что с моей стороны излишними.

Я отношу свою трубку от уха и смотрю на Балерунью. Она снова сидит на диване, смотрит на меня своим обольщающе-лукавым взглядом, и мне вдруг кажется, что она совсем не против восстановить наши отношения. Невольная благодарность, что она договорилась с «Игорюшей», побуждает меня облечь это чувство в слова, но я удерживаю себя от того. Бойтесь гетер, дары приносящих.

Коридор, прихожая… входная дверь все так же стоит открытой. Я переступаю порог, вышагивая на лестничную площадку, когда слышу сзади голос:

— И это все? Так и уйдешь?

Не оборачивайся, говорю я себе. Не оборачивайся, если не хочешь превратиться в соляной столп. Не уподобляйся жене Лота.

Удивительно, мне это удается. Не дожидаясь лифта, я лечу по лестнице вниз, как летал в школьную пору — сломя голову, кубарем. Даже странно, как я с такой скоростью умудряюсь перебирать ногами, — все же не школьник.

24

Ехать Косте в аэропорт Лёнчик вызывал такси. Его корыто, совсем недавно отремонтированное, снова стояло на приколе. За проведенные в больнице без малого три недели Костя стал другим человеком: это теперь был не тот физически крепкий, неопределенно-среднего возраста мужчина, каким Лёнчик знал его все годы их дружбы, он похудел, повисли брылами щеки, он весь, казалось, *завял* — это теперь был старик. Лёнчика при взгляде на него так и плющило.

Водитель, когда Лёнчик расплачивался с ним, предложил: «Может, подождать?». Ему было выгодно дождаться их с Мариной, чтобы не искать других пассажиров на обратную дорогу. Лёнчик отказался. Обратно можно было добраться и рейсовым автобусом. Лафа зажиточной жизни кончилась.

Он вез Костин чемодан, поставив на него сверху одну сумку, вторую неся на плече, Костя время от времени поглядывал на Лёнчика, на свой багаж, явно тяготясь тем, что все тащит Лёнчик, но попыток отобрать что-нибудь не предпринимал. Перехватив его взгляд, Марина заволновалась: «А как же ты будешь, когда после таможенного досмотра один останешься?» Лёнчик остановился и заоглядывался: требовалась тележка. Тележек нигде видно не было. Он вспомнил: все, кто ездил за границу, жаловались, что тележку можно взять у работников аэропорта лишь за деньги. Марина, попросил Лёнчик, доставая из кошелька две сотенные, походите поищите тележку. Ему хотелось хотя бы ненадолго остаться с Костей наедине. И Косте тоже хотелось того. И только Марина отошла, он поманил Лёнчика подступить поближе, положил руку Лёнчику на плечо и проговорил, корявя губы в непривычной скорбно-страдающей улыбке:

— Я, наверное, больше не приеду… Никогда. Ты на меня уж не обижайся, ладно?

— Ты о чем! — воскликнул Лёнчик. — Оклемаешься, долечишься там в германиях… и снова обратно, эх раз да еще раз!

Костя поморщился. Наигранное ухарство Лёнчика было ему неприятно.

— Куда! — сказал он, наклоняя голову и показывая взглядом себе на брючную ширинку.

Его водопровод реакцией на отбитые почки отозвался недержанием, и Костя сейчас был в памперсах, Лёнчик сам же и покупал ему те в аптеке.

— Так я же говорю: долечишься! — снова воскликнул Лёнчик.

Костя снял руку с его плеча.

— Дай Бог. Но даже если и получится… Давай теперь ты. Паспорт у тебя теперь есть. На билет как-нибудь наскребешь, там прокормимся. А сюда не жди, не уговаривай. Прошу!

Лёнчик с потрясением увидел — слезная пелена обдернула Косте глаза. Бравурные слова, что толклись в нем в готовности излиться на Костю, замерли на языке — не произнести.

— Что он вам сказал — вот вы оставались вдвоем? — спросила Марина, когда они с Лёнчиком уже сидели в автобусе.

Лёнчику невольно подумалось: какое у женщин чутье на запах секретов.

— Звал меня приехать к нему.

— Меня не позвал, — сказала Марина, снимая очки и взглядывая на Лёнчика.

— Даст Бог, все будет нормально — позовет, — коротко отозвался Лёнчик. Ему было жаль эту нервическую, видно — и тонкую, и умную, и, похоже, не злонравную женщину, но принимать участие в ее жизни, пусть даже простым сочувствием, у него не было сил. Ему хотелось скорее расстаться с ней.

Возможно, того же хотелось и ей. И когда автобус прибыл на «Речной вокзал», они сошли и двинулись было к метро, Марина вдруг остановилась и принялась прощаться.

— Мне, знаете, здесь нужно зайти кой-куда, я вспомнила.

Она повернулась и быстро застучала каблуками навстречу движению текущей к метро толпы, тут же растворившей в себе звук ее туфель, а Лёнчик стронул себя с места и влился в толпу одним из ее московских муравьев.

* * *

Московский муравей медленно влечет себя от метро домой.

Мобильный напоминает о своем существовании, когда я, отрешась от окружающего мира до полного выпадения из него, проползаю на автомате знакомой дорогой, которой обычно езжу на машине, уже половину пути.

— Да! — достав из кармана трубку, подключаюсь я к миру.

— Пап, это ты? — отвечает мне трубка звонким юношеским голосом.

Ах, Боже ты мой, это мой младший, Леонид Леонидович!

— Лёнчик! — говорю я, останавливаясь, — столь невероятен его голос в моей трубке. — Рад тебя слышать, мой милый. У тебя все в порядке?

Мы до того редко разговариваем, что я не могу не задать этого вопроса — первая моя мысль: что-то случилось, поэтому он и звонит.

— Да вообще да, в порядке, — слегка запнувшись, говорит сын. — А у тебя?

— Да и у меня, — тотчас отзываюсь я. Зачем ему знать о Косте, о своем старшем брате, о том, как я заработал деньги на его репетиторов и возможную взятку при поступлении в вуз.

— А почему ты не пришел ко мне на выпускной?

Он произносит «выпускной» — и я тотчас вспоминаю, что три дня назад, в минувшую субботу, у него был выпускной вечер в школе, вручение аттестатов зрелости, я знал об этом еще месяц назад, собирался прийти — и вот не появился. Не просто забыл, а выбило из памяти — как там ничего и не было. Костя, только он, и занимал голову весь этот месяц.

— Лёнчик!.. — повинно и потерянно бормочу я. — Но ты понимаешь, надеюсь, это не значит, будто меня не волнует твоя жизнь? — спрашиваю я.

— Понимаю, — говорит сын. — Не ты бы, у меня не было бы такого аттестата.

— А какой у тебя аттестат? — торопливо, радуясь возможности сбежать от чувства вины, спрашиваю я.

— Одна «четверка». По физкультуре. Все остальные «пять».

— Что ты?! — счастливо восклицаю я. Не зря были мои страдания. — Это как у меня было. Серебряная медаль, значит?

— Нет, не дали. — Сын смеется. — Сказали, у меня в течение года две тройки в журнале, а таким не положено. Кому-то, видимо, другому нужно было дать.

— Так это опять же почти как у меня! — снова восклицаю я.

— У тебя тоже «четверка» по физкультуре, и медаль не дали?

— Тоже по физкультуре, и медаль не дали, — подтверждаю я.

— Вот это да! — тянет сын. — А ты где сейчас? — спрашивает он затем.

— Иду от метро домой, — сообщаю я, не задумываясь, зачем он меня об этом спрашивает. — Машина сломана, вот одиннадцатым номером. А ты где?

Я задаю ему этот вопрос просто так, как в пинге-понге, отбивая удар и посылая шарик на другую половину стола, но его ответ оказывается совсем не похож на удар в пинг-понге:

— А я тут неподалеку от твоего дома, — говорит сын. — Пруды здесь какие-то, вот около них. Приехал, а тебя нет. Хожу гуляю. Решил тебе позвонить.

Он здесь, рядом! Приехал ко мне сюда, куда ему всю жизнь было строго-настрого запрещено матерью. Все во мне внутри взвивается от ликования.

— А что же ты не позвонил, что едешь? — говорю я с ворчливым порицанием.

— Да что звонить, — отзывается сын. — Приехал, посмотрел, как тут у тебя. Мне было интересно посмотреть, где ты живешь.

Ему было интересно, он не побоялся переступить через установленный матерью запрет, он хотел видеть меня на выпускном, сжигает меня в своем пламени ликование. Я уточняю, у какого из трех прудов, вытянувшихся в линию вдоль дороги, он сидит, и велю:

— Сиди, жди меня, где сидишь. Я через десять минут буду. Сиди жди!

Я сую мобильный в карман, срываюсь с места и рву бегом в «Копейку». Обычным шагом, даже быстрым, я не могу, меня разрывает нетерпением. «Копейка» здесь недалеко, как раз наискосок через дорогу от тех самых прудов, где сын, я влетаю в нее, хватаю тележку, проношусь вдоль стеллажей, кидая в тележку сам не понимая что, замираю около полок со спиртным и, взяв бутылку самого дорогого чилийского вина, какое здесь только есть, несусь к кассам. Дома у меня, конечно, после Костиных сборов тихий ужас, но все же я хочу, чтобы сын появился у меня, хочу накрыть ему стол и посидеть с ним как со взрослым. Аттестат зрелости всего с одной «четверкой» — это вам не хухры-мухры!

Сын ждет меня на дальнем берегу среднего пруда, сидя на траве у самой воды, с наушниками на голове. Я углядываю его еще издали, а он не знает, откуда я подойду, и я, пока он меня не заметил, успеваю всласть насмотреться на него. Удивительно, сколько в нем все же от меня: не знаю, насколько он похож чертами лица, но рост, сложение, повадки — это все я.

Наконец он замечает меня, вскакивает, сдергивая наушники с головы на шею, и бежит навстречу. Как бежал, поговорив с ним по телефону, я.

— Привет! — выпаливает он своим чистым юношеским голосом.

— Привет, — опуская пакеты на траву, отвечаю я.

Протягиваю ему руку, и мы здороваемся. Это мы обнимаемся при встречах со старшим сыном, а с младшим у меня до сих пор не было опыта отношений без присмотра, и я не решаюсь обняться — я не знаю, как он отнесется к этому.

Идти ко мне домой сын неожиданно отказывается.

— Здесь так красиво, я и не ожидал, что у тебя тут такое место есть, — говорит он. — Давай посидим здесь, если ты не против.

— А я собирался с тобой отметить твой аттестат, — щелкаю я по бутылке в пакете.

Страдальческая гримаса перекашивает сыну лицо.

— О-ой, — стонет он. — Нет! Так уже наотмечались. Еле ожил.

Меня это радует. Какому родителю хочется, чтоб его сын был поклонником Бахуса.

— У меня вот тут, — лезу я в пакет, — йогурты еще, яблоки, киви, бананы. Немытые, правда. Но бананы можно и так. Отметим бананами? — Я вытаскиваю из пакета связку бананов, отрываю два, мы взламываем их, спускаем желтую кожицу лоскутами, обнажая белое сахарное нутро, и ударяем один о другой — как чокаемся. — Куда собираешься поступать? На исторический? Не переменил решения? — спрашиваю я.

— На исторический, — подтверждает сын.

— Не особо денежная специальность будет по нынешним временам, — говорю я, хотя на самом деле мне невероятно приятно, что он избирает настоящую гуманитарную специальность, не запав на все эти модные сейчас финансы-юриспруденции.

— Это разве главное? — смотрит на меня сын. — Мне яхты не нужны. И гольф меня тоже не увлекает. А вот читаю Гумилева…

— Гумилева какого? — перебиваю я его. — Отца? Сына?

— Льва Гумилева. Это кто? Сын? Отец?

— Лев Гумилев — это сын, — говорю я. — А отец — Николай Гумилев. Он был поэт.

Сын почему-то не возвращается к прерванной моим уточнением мысли. Я жду — он молчит, я вопросительно взглядываю на него — что дальше? — и встречаюсь с его взглядом. Внимательным и каким-то словно бы затаенным.

— Пап, — говорит он. В голосе его та же затаенность, что и во взгляде. — Я тут твою книжку, которую ты дарил, вот у тебя вышла недавно… прочитал ее… так ведь ты, по-моему, хороший поэт. Я раньше не понимал, а теперь прочитал… мне очень понравилось.

Я хмыкаю и отвечаю поговоркой своей подростковой поры:

— Что ж, сойду за третий сорт за неимением лучшего.

На лице у сына возникает разоблачающе-ироническая улыбка.

— Па-ап, — неверяще-утвердительно тянет он. — Так ты скромный?!

— Еще чего не хватало. — Мне почему-то досадно слышать это от него.

— Да ладно, — говорит сын. — Скромность не порок. — И хмыкает — совершенно как я.

Так мы сидим, философствуя — впервые за все время, за всю его жизнь, доедаем по первому банану, приступаем ко второму, он совсем раскрепощается и в какой-то миг спрашивает:

— Слушай, пап, а я ведь о своих уральских корнях ничего не знаю. О дедушке, папе твоем, о бабушке…

Оно, конечно, не совсем так, что «ничего», но не слишком много — это правда, и я с удовольствием пускаюсь в рассказ о них, обнаруживая не без удивления, что не просто рассказываю, а чуть ли не токую — мне, оказывается, давно хотелось таких рассказов.

— А брат твой? Сестра? — спрашивает меня сын.

Ах, Боже мой, мой брат, моя сестра. Их обоих нет в живых, сын. Вернее, сестры-то точно нет, я ее хоронил, два года назад, а брата — почти наверняка; почему «почти»? — потому что его я не хоронил, и сестра, тогда еще живая, тоже не хоронила, он просто исчез, сын. Он, правда, и до этого пропадал на месяцы, ни слуху о нем ни духу, но потом вдруг звонок: я жив-здоров, все путем. А тут пропал и пропал, сестра забеспокоилась, стала разыскивать его, а знаешь ли ты, что значит найти бомжа? А он был бомжем, натуральным бомжем, сын: без

жилья, без паспорта, потому что вдруг оказалось, что его имени нет ни в одном жилконторовском документе — будто он и не жил в этой проданной им квартире. Получается, даже не рождался, сын! Так вот он продал эту доставшуюся ему от твоих дедушки-бабушки квартиру. Не получив за нее ни копейки. Только, должно быть, хорошо выпив и выкурив какую-то чудную сигарету, после которой очнулся лишь сутки спустя, и уже без паспорта, без дома, без имени…

Но все это я произношу лишь мысленно. Я не хочу сейчас нагружать сына знанием, которое может оказаться непомерным для его юных плеч. Всему свое время. Не минет и его печаль мира. Вслух я лишь говорю, что они уже в тех краях, где нет ни мужчин, ни женщин, ни старых, ни молодых — такая вот цветистая метафора.

С соседнего пруда, шумно протрепетав в воздухе крыльями, словно прохлопал под ветром брезент, прилетает и опускается перед нами на чистую до этого гладь стая уток.

— Дай-ка мне послушать, — указываю я на висящие у сына на шее наушники.

— Да тебе будет неинтересно. — Сын смущается. — Ты такое не сможешь. Не выдержишь. — Он хмыкает. Ну точно, как я.

— Хочешь что-нибудь из классики? У меня тут, — хлопает он по карману, где у него бугрится плеер, — и классики полно вогнано.

— «Полет шмеля» Римского-Корсакова есть? — спрашиваю я в уверенности, что, разумеется, нет.

— Есть и Римский твой Корсаков, — отвечает сын, вытаскивая плеер из кармана.

В плотно закрывших уши и наглухо отрезавших от звуков окружающего мира наушниках я ощущаю себя кем-то вроде космонавта, готовящегося к выходу в космос. Нажимаю указанную сыном кнопку — и люк открывается. Но Бог ты мой, что такое? Это что, полет шмеля? Я же помню тот басовитый, жгуче-тяжелый лет играющего всеми цветами радуги живого мохнатого снаряда, это был звук бомбардировщика, несущего в своем чреве грозный, убийственный груз. А тут — писк. Скрипки не ревут, они зудят. Это надоедливый, невыносимый звон комара, от которого хочется скорее избавиться, прихлопнув его.

Я торопливо стаскиваю с себя наушники и передаю их сыну.

— Послушай, — прошу я его. — Что это они так свербят? Скрипки. Или это такие наушники, срезают басы?

Сын надевает наушники, слушает немного и, сняв их, снова протягивает мне.

— Да нет, — говорит он. — Очень хороший звук идет. Это отличные наушники, у них адекватная передача. Все как есть в живом виде.

Не надевая наушников, я прикладываю к уху одно из слуховых блюдец. Рой скрипок исходит комариным зудящим звоном, если адекватная передача — какой это полет шмеля?

— Это какой-то полет комара, а не шмеля, — говорю я. — Писк, а не гуд.

Сын перенимает у меня наушники, слушает, и лицо его озаряется счастливой улыбкой открытия.

— Так ведь князь же Гвидон у Пушкина в комара превратился. Комар у Римского-Корсакова и летит. А название дали «Полет шмеля». «Полет комара» не звучало бы.

Налетевший ветер взъерошивает на пруду перед нами воду, по ней бежит мелкая плещущая рябь. Утки, будто по команде, снова дружно взлетают в воздух, вывесив в нем на десяток секунд хлопающий брезент, и перелетают на другой пруд. Потрясенным взглядом провожаю я их. Так то был полет комара! Не шмеля, как я полагал всю жизнь, — комара!

* * *

Автобус показался из-за поворота, и Лёнчик ступил к сыну прощаться:

— Дорога тобой ко мне проложена — жду в любое время дня и ночи. Только желательно все же перед этим созваниваться. Зачем телефон существует?

— А вот позвонил бы по телефону — ты в аэропорту, и не приехал бы, — с улыбкой каверзности сказал сын.

Ну, весь в меня, будто я произнес, подумалось Лёнчику.

— Это было бы неправильно, — ответил он.

Он потянулся к сыну и обнял. Теперь, при прощании, он полагал, в этом не будет никакого подобострастия. Теперь это будет истинно *по-отцовски*.

И сын ждал его объятия. Тотчас ответно подался к нему, и автобус уже подкатил, растворил двери, а он все стоял и не хотел отрываться от Лёнчика.

— Иди, — отстраняясь, понукнул его Лёнчик.

Сын вскочил в сходящиеся двери и, сколько потом Лёнчик мог видеть, стоял в автобусе у заднего окна и махал рукой. Лёнчик махал ему тоже.

Автобус превратился в почтовую марку, на которой уже нельзя было разобрать рисунка, Лёнчик опустил руку и двинулся наконец домой. Идти к дому можно было просто по дороге, можно через пруды, и он предпочел через них: отныне пруды были связаны со счастьем встречи с его младшим. Правда, и с тем потрясением, которым опять-таки обязан сыну: вон чей на самом деле полет описал смычками скрипок Римский-Корсаков — комара!

На скате берега неподалеку от их с сыном места лежали теперь трое бомжей. Лёнчик остановился около них, сунул руку в пакет и вытащил оттуда бутылку вина, которую купил отпраздновать с сыном его аттестат.

— Пьете? — спросил он.

— А че же. Почему нет? Как все! — проговорили вразнобой бомжи.

— Вот вам тогда. — Лёнчик наклонился, поставил бутылку на землю.

— Чтоб нам всегда так жить! — радостно воскликнул один из бомжей. Быстро прополз на коленках до бутылки и схватил ее. — С нами будешь? Поделим по-честному.

В кадык Лёнчику горячо и сильно ударило, обломило дыхание.

— Молиться умеете? — спросил он, подождав, когда горло отпустит.

— Молиться? — почти хором переспросили все трое. И заотвечали: — Христиане. Православные все. Конечно. «Отче наш, иже еси…» Всегда молимся.

— Помолитесь за упокой души раба Божьего Михаила, — сказал Лёнчик. — Брата моего. Тоже бомжа.

* * *

Я подарил бомжам бутылку красного чилийского вина, дошел до дома, постоял, печалясь, около своего бездвижного корыта во дворе, пнул в сердцах его в скат и отправился к подъезду подниматься к себе в квартиру.

Раковина на кухне была полна грязной посуды, на плите расплылось засохшее пятно от сбежавшего кофе. Под ногами хрустело. Комната выглядела не лучше. Незаправленная постель на диване, неубранная раскладушка — нам с Костей, когда мы выходили, чтобы ехать в аэропорт, было не до порядка.

Следовало наводить порядок сейчас. Руки мои, однако, не желали ничего делать. Полет комара, надо же! — стояло во мне. Я сел за рабочий стол и включил компьютер. Я хотел забыться. Компьютер выключает из действительности почище любого наркотика.

Эти новости, другие новости, от ссылки к ссылке, от ссылки к ссылке. Имя «Георгий Чистяков» промелькнуло в одном месте, в другом, но то, что речь идет

об отце Георгии, на службе которого был в тот злосчастный день, когда Костя попал в больницу, дошло до меня лишь тогда, когда «Георгий Чистяков» всплыло в очередной ссылке: «рак», «панихида» промелькнули слова, и я все понял. Вот сейчас, в эту минуту, когда я сидел за компьютером и читал чей-то блог, в храме Косьмы и Дамиана неподалеку от здания мэрии началось прощание с ним, и, оказывается, столько людей любило его, для столь многих его смерть была потерей — той самой, к которой применимо лишь одно, затертое от официозного понимания определение «невосполнимая».

Опасения мои, что не успею, были напрасны. Церковные двери стояли нараспашку, храм был полон. Около гроба с телом отца Георгия служили пожилой, невысокого роста священник с коротко подстриженной седой бородкой и средних лет дьякон с большой, настоящей поповской бородой.

Я простоял у гроба — насколько близко можно было к нему пробиться — минут пять. Священник с дьяконом служили, а я стоял и говорил, глядя на мертвое одутловатое лицо отца Георгия, все так же непохожее на то, каким оно было у него во времена, когда нам приходилось встречаться, про себя, естественно, говорил, не вслух: как я восхищался его статьями, и вот получилось, ни разу не сказал ему тогда, при жизни, что восхищаюсь…

Я уже пробирался через толпу к выходу, когда меня схватилиза руку. Не коснулись, не дотронулись, а *схватили*. Я повернулся. Боже, это была Гремучина!

— Тоже пришел попрощаться? — улыбаясь свойской, даже какою-то заговорщической улыбкой, спросила она. Как будто это не было очевидно.

Я мог не отвечать ей. Будь то другое место, так бы я, скорее всего, и сделал. Но это был храм. И еще панихида. И может быть, душа отца Георгия смотрела сейчас на нас.

— Тоже, — сказал я и двинулся прежним путем.

— Пожалуй, и я пойду. — Гремучина тронулась за мной. Она вела себя так, словно ничего между нами не произошло. — Видел здесь кого из знакомых?

Похоже, она воспринимала панихиду как род тусовки.

— Никого, — отозвался я.

— Да, просто удивительно, нашего брата литератора никого. Ты первый, кого увидела. Пашка-книжник только еще здесь. Он, оказывается, был духовным сыном покойного.

По тому, как она сказала — «покойного» вместо «отца Георгия», — сразу было понятно, что она духовной дочерью отца Георгия не была точно. Но что она тогда здесь делала? Я, положим, был знаком, неужели и она?

— Были знакомы с отцом Георгием? — В некотором роде это можно было считать подвигом с моей стороны — произнести столько слов.

Гремучина помедлила с ответом. Словно обдумывала, что ответить.

— От Паши слышала, — проговорила она затем.

Слышала от Паши — и пришла? Невероятно.

— Ты же феминистка? — повернул я к ней голову.

— Если феминистка, так что?

— Все феминистки атеисты.

Гремучина снова заставила ждать себя с ответом.

— Мало ли. Если такой человек умер, — изошло из нее в конце концов.

Она отнюдь не собиралась признаваться в причине, по которой оказалась здесь.

— А ты верующий, что ли? — спросила она, когда мы вышли в гулко-пустой притвор.

Все во мне внутри так и взвилось. После всего, что натворила, она еще хотела забраться ко мне в душу!

Гулкий коридор притвора отбивал эхом наши шаги — я все молчал. Распахнутая дверь выпустила нас на вечернюю, иссеченную чересполосицей тени и

света улицу — я продолжал молчать. И тут, когда мы выступили на улицу, как что-то перевернулось во мне. Это было физическое ощущение переворота. Кувырок через голову, кульбит, сальто-мортале. Я вдруг увидел: да разве это она виновата передо мной? Я искушал ее, и она искусилась. Не мой бы неправедный *заработок* у Евгения Евграфовича — не выпало бы впасть в искушение ей.

Я остановился и повернулся к Гремучиной.

— Рита! — проговорил я. Вернее, тот я, *перевернутый*. — Рита! Прости меня…

И своими *перевернутыми* глазами увидел ее глаза. О, что это были за глаза!

— Так это ты, — медленно выговорила она. Жгучая, невероятная ярость стояла в ее глазах. — Это ты! Это ты все устроил! Ах, сволочь!

— О чем ты? — Настала очередь недоумевать мне. Моя вина была неконкретной, она не была действием, направленным против нее, а Гремучина имела в виду что-то определенное.

— Не притворяйся! Ягненочком решил прикинуться! — Ярость в ее глазах сжигала, испепеляла меня, о, если бы Гремучина могла действительно превратить меня в горстку пепла, она бы это сделала. — Хочешь покаяться — и чтоб простили тебя? Фиг тебе! Везде, где встречу, — кнопку тебе под задницу! Обещаю, за мной не заржавеет!..

Я не понимал, что она несет. Что я понимал, так то, что нечего было любопытничать, вступать с ней в диалог. Пришла сюда и пришла, не все ли равно почему. Я не пожалел, что попросил у нее прощения, я пожалел, что полюбопытничал.

Темно вокруг сделалось в одно мгновение. Не по-ночному темно, а как если бы солнце зашло за суровую грозовую тучу. Но почему так резко?

В следующий миг я обнаружил, что меня держат под руки и поднимают.

— Что такое, что такое, — забормотал я, высвобождаясь. С какой стати меня держали под руки? Почему поднимали? Голову на макушке мне пекло, от макушки по всей голове разливалась тяжелая подташнивающая боль. Я поднял руку и потрогал, что у меня там такое. Пальцам стало мокро и липко. Я посмотрел на них — и удивился: пальцы были густо испачканы в крови. — Что такое? — заоглядывался я вокруг. Вокруг меня собралась небольшая толпа, рядом стояли двое мужчин — видимо, это из их рук я вырывался. Гремучиной видно не было. — Что случилось? В чем дело?

— Вы упали, — сказал мне один из мужчин рядом. Со всего размаха, разбили голову. Видите же, — указал он на мою руку.

— Потеряли, похоже, сознание, стали приходить в себя — мы вас подняли, — разъяснил второй мужчина.

Тут была женщина со мной, где она, хотел спросить я, но не успел. Из дверей церкви выскочил Паша-книжник, приостановился, оглядываясь, и увидел меня.

— Что произошло, Леонид Михайлович? — бросился он ко мне. — Маргарита принеслась как угорелая, говорит, разговаривала тут с вами, и вдруг вы грохнулись.

— Видишь, уже на ногах, — сказал я, стараясь изобразить улыбку.

— Сейчас ляжете. Или сядете. В моей машине, — тоном приказа оповестил меня Паша. — В Склиф сейчас поедем.

Я запротестовал:

— В какой Склиф, ты что! Домой только отвези.

— Повезу. Куда надо, — не споря со мной, заключил Паша, беря меня под руку.

Из дверей церкви появилась Гремучина.

— О, уже на ногах, — словно огорчилась, проговорила она, увидев нас с Пашей. — Ты, оказывается, Лёнчик, слабак. Не переносишь правды в глаза.

Трудно быть благодарным человеку, только что обещавшему тебе кнопку под задницу. Но я заставил себя чувствовать к ней благодарность: все же она сбегала за Пашей.

— Знать бы еще, что ты имеешь в виду, — сказал я.

— Сам же признался, что виноват передо мной. Не стерпел, что я на твое место. Выдавил меня из группы. И сам обратно.

Возможно, дело было в том, что я только что так долбанулся и голова у меня отказывалась работать, — я пытался понять, что она говорит, и не понимал.

— Маргарита! — рявкнул Паша-книжник. Он включил свой самый нижний регистр и пустил голос из глубины брюха — как иерихонская труба обрушилась на Гремучину. — Не надо никого обвинять! Не пошло у вас с нами. Ну, не пошло! Не для нас ваши тексты.

— А его, — указала Гремучина на меня, — ваши?

— Наши! — Паша дунул в иерихонскую трубу вновь.

— Мерзавцы! — вырвалось из Гремучиной. — Мерзавцы! — повторила она и, пройдя между нами, заколотила каблуками своих босоножек, похожих на древнегреческие сандалии, в сторону стоявшего на пьедестале с указующей рукой конного основателя Москвы.

— Что у вас с нею произошло? — спросил я Пашу. — Она собиралась мне жаловаться…

Я недоговорил — Паша прервал меня:

— До машины дойдете? Недалеко здесь стоит. — Он крепко взял меня под руку, и мы двинулись к Тверской. Паша заглянул мне в лицо удостовериться, что я порядке, и произнес: — Тут какое дело, Леонид Михайлович. Савёл хочет, чтоб вы вернулись. Не знает только, как к вам подъехать. Не звонил пока?

Оглушительную новость сообщал мне Паша. И так неожиданно.

— Нет, не звонил, — сказал я, вспоминая, что, тогда у Райского, Савёл вроде пытался завести со мной какой-то разговор, но я отмахнулся.

— Позвонит, — как подытожил Паша. — Будьте готовы. Ребята осознали, что вы такое для нас. Ромка две новые вещи на ваши слова написал. Недурственно, по-моему, получилось.

— Ясно, — проговорил я, дослушав Пашу. — Теперь наконец ясно. А то я никак не мог сообразить, в чем меня Маргарита обвиняет.

Странное дело, я не чувствовал в себе никакой радости от оглушительного известия Паши. Таким далеким все это казалось теперь от меня. Таким несущественным. Или все дело было в моем падении?

— А что Гремучина пришла на панихиду, имеешь представление? — только спросил я Пашу еще, когда мы уже садились к нему в машину.

— Это она меня подлавливала, — ответил Паша. — Все о том же хотела поговорить: как ей вернуться. С нею никто больше в группе не разговаривает. Вот она на меня и насела.

В Склифе мы провели часа три. Я вышел из него с белой, похожей на скуфейку, растягивающейся сеточкой на голове повязку на макушке.

Уже когда мы снова были в машине и Паша вез меня сквозь полную огней ночную Москву в мое далекое Ясенево, я неожиданно вспомнил сделанное мной сегодня открытие:

— Ты помнишь «Полет шмеля» Римского-Корсакова?

— Помню, что ж не помнить. — отозвался Паша. — Популярная вещь.

— Так вот, — сказал я. — Оказывается, это полет комара. У Пушкина князь Гвидон превращается в комара. Помнишь? Летит там над морем. И кусает потом. Кто кусает? Комар.

Паша помолчал. То ли вспоминал, то ли еще что.

— Да нет, — произнес он затем. — У Пушкина комар, а вещицу-то, о которой речь, «Полет шмеля», кто написал? Римский-Корсаков. У него «Полет шмеля».

Так лишь называется, «Полет шмеля», а написал Римский-Корсаков полет комара, прозвучало во мне, но вслух я больше ничего говорить не стал.

* * *

И куда я его мог затолкать. Ау, да вылезай же наконец на глаза! Так я бормочу — частью про себя, а частью и вслух, — разыскивая в своих бумагах тот договор с Савёлом на «Песенку стрельцов», из-за которого Паша-книжник переел мне всю плешь. Комната у меня в стопках папок, машинописей, тетрадей, блокнотов, гроссбухов, старых журналов. Ящики письменного стола вытряхнуты, антресоли книжных шкафов распахнуты. Разговор с Савёлом уже состоялся, но встречи еще не было, а к встрече нужно, чтобы договор этот лежал у меня в кармане.

Звонок в дверь заставляет меня прервать мой монолог и оторваться от своего занятия.

Иветта Альбертовна стоит в проеме распахнутой мной двери, сияя такой улыбкой, — ночное бы время, можно осветить целый район. В руках у нее — по пакету из «Копейки»: мои завтрак-обед-ужин на ближайшие пару дней.

— Иветта Альбертовна! — укоризненно тяну я. — Прямо в моем доме — тоже магазин, и мне вовсе не обязательно безвылазно сидеть у себя в квартире.

— Леонид Михайлович! — с ответной укоризной восклицает она, переступая порог. Взгляд ее направлен в комнату, которая в распахнутую дверь вся на виду, и увидеть, что в ней творится, не составляет труда.

— Нужно найти одну бумагу, — оправдывающимся тоном говорю я. — Безделье для моих мозгов губительнее любых усилий.

Она с выразительным осуждением смотрит на меня несколько мгновений и, не давая мне принять у нее пакеты, идет мимо меня на кухню. Она полагает, что с сотрясением мозга не следует носить и тяжести. Может быть, она права.

Я закрываю входную дверь, прохожу следом за нею на кухню, мы обмениваемся еще несколькими репликами, и я возвращаюсь в комнату. Я стараюсь, когда Иветта Альбертовна приходит ко мне, поменьше быть с нею рядом. Все между нами уже ясно, с первого ее появления у меня — быть друг другу Иветтой Альбертовной и Леонидом Михайловичем нам недолго. Еще пара дней — и это будет возможно.

Вернувшись в комнату, я едва успеваю приняться за свое прежнее занятие, как звонит городской телефон. Трубка его лежит на столе, я сижу на полу, и еще я не сразу оставляю бумаги, что перебираю, — получается, что телефон звонит и звонит, а я все не беру его, и в комнатных дверях появляется Иветта Альбертовна.

— А я уже думала… мало ли что! — говорит она.

— Все в порядке, — отзываюсь я нажимая кнопку соединения. — Алё-о! — произношу я в трубку.

— Привет! — произносит голос в трубке, и меня бросает в жар: это Евдокия. — Что такое с тобою? Звоню на мобильный — отключен и отключен.

О, женское чутье! Иветта Альбертовна стоит в дверях и настороженно смотрит на меня, едва теплясь своей мажорной улыбкой. Она не отвечала по телефону, она слышала лишь мое «привет!», но этого ей достаточно, чтобы понять, что мне звонит женщина.

Я не могу говорить с Евдокией под взглядом Иветты Альбертовны. Отняв трубку от уха, я прохожу к двери и, извиняясь перед Иветтой Альбертовной

глазами, молча закрываю дверь. О, это жестоко по отношению к ней. Но по отношению к Иветте Альбертовне у меня нет пока никаких обязательств, а перед Евдокией пока еще есть. Только, думая о ней, я уже не называю ее «моя радость».

— Да! — бросаю я в трубку.

И слышу:

— Что «да»? Куда ты пропал? Что с тобой? С тобой все нормально?

— Нормально, — говорю я.

— Потому что я прочитала сейчас в Интернете, что ты попал в больницу! Вот у меня открыто окно, читаю: известному поэту Леониду Поспелову, автору слов знаменитой «Песенки стрельцов»… вот: стало плохо, упал, потерял сознание… попал в больницу.

Надо же, я поражен. Обо мне в Интернете.

— Да, все правда, — подтверждаю я. — Но сейчас уже все хорошо. Видишь, я дома.

— Я к тебе сейчас выезжаю, — объявляет Евдокия.

Я не отвечаю. Я прохожу между разложенными на полу стопками моего архива к окну и гляжу в него. Битцевский парк, кипя зрелой июльской зеленью, уходит к горизонту, и что, зачем мне нужно смотреть на него, что он мне может подсказать своим кипением?

— Почему ты молчишь? — спрашивает меня в трубке Евдокия. — Ответь, почему ты молчишь? — Она замолкает и затем, через паузу, спрашивает, голосом, полным сознания невозможности того, о чем спрашивает: — Ты что, не хочешь, чтобы я приезжала?

Я должен ответить. Я чувствую: если не сейчас, то когда?

— Да, не надо тебе приезжать, — говорю я.

Молчание, что наступает в трубке, полно такого ошеломления — я чувствую его, как запах, внезапно вырвавшийся из закупоренного до того флакона духов.

— Сейчас? Или вообще? — исходит наконец из Евдокии.

— Вообще, — отвечаю я.

У ее нового молчания — новый запах. В нем есть что-то такое темное, тяжелое — немыслимо выдержать.

— Да ты меня что, бросаешь, что ли? — с дребезжащим смешком спрашивает затем Евдокия.

И что мне ответить ей? Что не нужно иметь такого отца? Родителей ведь не выбирают. Мои дети тоже не выбирали меня в отцы.

— Ты уже все сказала, — говорю я. Отношу трубку от уха и разъединяюсь.

Надо же! Надо же! Я все время боялся, что это она бросит меня, а бросил ее я.

Когда я выхожу на кухню, Иветта Альбертовна стоит возле мойки, повернувшись к входу спиной, глядит в стену перед собой и не поворачивается на мои шаги. Я подхожу к ней и обнимаю ее со спины, мне сейчас важно не потерять эту женщину, которая таким прихотливым путем залетела в мою жизнь и которую мне хотелось бы в моей жизни оставить.

— Иветта! — говорю я, впервые называя ее одним именем. — У мужчин, как и у женщин, бывают свои тайны. Не тайны даже, а просто вещи, которые не следует знать другим. — Я пробую развернуть ее к себе — и ощущаю сопротивление, но сопротивление длится короткое мгновение, она быстро поворачивается ко мне, встречается со мной взглядом и, пряча его, утыкается мне в плечо. Руки ее смыкаются у меня на спине.

— Леонид Михайлович, — шепчет она. — Леонид Михайлыч… Леня…

Сумасшедшей любви у нас не будет. И сумасшедшей постели не будет — достаточно сумасшествия в нашей жизни, его, я думаю, в ее жизни тоже было

немало. Радость спокойной нежности — вот что нам нужно, и мы, надеюсь, сумеем одеть ею друг друга.

Мы расстаемся, не преступив порога Венеры. Мы договариваемся о встрече через два дня. Со страстью, но без потери рассудка. Даже с некоторой деловитостью. Здесь, у меня. Мне хочется скорее поцеловать тебя в макушку, говорит Иветта. Через два дня, говорю я.

Едва ли мне будет легко с нею, я это вижу. Должно быть, это моя судьба, такие женщины. А у нее даже имя, убрать начальную «и» и одну «т» в середине, — как у моей первой жены. Вета. Света — Иветта — Вета. Начало и конец.

Мы обедаем, она уходит, я закрываю за ней дверь, возвращаюсь в комнату и в первой же папке, за которую берусь, на самом верху обнаруживаю конверт с договором, который ищу. Бог ты мой, отпечатанный еще на машинке! — читаю его строка за строкой — все правильно сказал мне Паша: Савёл обещает мне платить за «Песенку стрельцов» проценты, за каждое исполнение.

Убрать архив на место — не меньший труд, чем было переворошить его. Когда я наконец заканчиваю, у меня чувство — уже глубокая ночь. Хотя на улице еще белый день. Чувство ночи у меня от усталости. А может, и давление поднялось. У меня, оказывается, гипертония, в кардиограмме там что-то не слишком приятное, надо пить лекарства, какие-то конкор, лозап, небилет — в жизни прежде не слышал.

Пока, впрочем, я просто укладываюсь на диван и закрываю глаза. Надо, наверно, приучаться и к такому: взять и полежать в середине дня. У человека свободной профессии, конечно, нет возраста, но дурное тело ведь о том не знает.

— Ты вот это брось, что выдумал, какой ты комар! — услышал я голос, присмотрелся и увидел, что это сказал Окуджава — в своих неизменных синих джинсиках, весь похожий на гладко обструганную сухую палочку.

— Булат! — произнес я с восторгом. — Ты откуда?

— От верблюда, — не дал ответить Окуджаве Рубцов, с обиженной насупленностью глядя на меня из-под козырька кепки. — Ахинею несешь какую-то, тошно слушать!

— Комар, он пьет кровь. А ты пил разве чью-нибудь? — Это, оказывается, был Бродский, с которым мы никогда и нигде не пересекались. Он был в серой водолазке, курил сигарету и щурил от вьющегося дымка сигареты то один глаз, то другой. — Ты шмель!

— Типичный шмель, — подтвердил Окуджава.

— Не похож ни на кого, кроме шмеля, — заключил Рубцов.

Я смотрел на них и ничего не понимал. Как они оказались здесь, у меня в комнате?

— Ребята, — проговорил я, хотя странно было обращаться мне к ним «ребята», — я что, умер?

— Опять ахинею несет! — воскликнул Рубцов и сплюнул себе под ноги.

— Лёнчик, с этим нужно быть осторожней. — Окуджава покачал головой.

— Смерти нет. Ты до сих пор не знаешь? — Улыбка, которой улыбался щурившийся от сигаретного дымка Бродский, была полна заносчивой иронии.

— Пойдем, — кивнул, поманил Лёнчика рукой Окуджава.

Лёнчик увидел, что они все четверо вовсе не у него в комнате, а на Пушкинской площади, в устье Тверского бульвара, напротив памятника русскому Овидию, и площадь еще того, старого облика, какого была, когда приехал в Москву: и дом с башенкой, с входом в аптеку под ней, и рядом — длинный одноэтажный дом с большими окнами, над которыми крупными буквами написано: «Кафе-Молочная». Пойдем-пойдем, вслед Окуджаве поманили Лёнчика Рубцов с Бродским, и они все четверо тронулись к входу в «Кафе-Молочная», а там их уже жда-

ли: гардеробщики в расшитых золотым галуном пиджачках подскочили, изготовились снимать пальто, а не обнаружив ни на ком пальто, достали щетки и быстро обмахнули всем плечи, сметая невидимую пыль. Сюда, пожалуйста, распахнули они дверь в зал. Проходи, уступая Лёнчику путь, предложили Окуджава, Рубцов, Бродский.

Лёнчик вошел. И увидел, что привычных легких пластмассовых столиков с голубыми столешницами нет, нет стульев, что стояли около столов, зал свободен от них, — но не пуст. Полукругом, несколькими ярусами, поднимаясь верхним к самому потолку, в дальнем конце зала стоял хор — мужчины в черных фраках с сияющими белыми манишками, женщины в длинных черных платьях. Дирижер перед хором, так же, как все певцы, в черном фраке и ослепительной манишке, посмотрел через плечо, увидел, что в зал вошли, и вновь обратился лицом к хору, вскинул руки.

Какое произведение собирается исполнять хор — Лёнчику даже не пришло в голову задуматься об этом. А если бы задумался, то никак он не предположил бы, что это будет его «Песенка стрельцов». Никак, по его ощущению, она не подходила для исполнения хором. Вот небольшой группой, как у Савёла, — самое то, а таким хором, рождающим ощущение вселенской, порфироносной мощи, — куда таким хором. Но хор грянул его «Стрельцов»:

В глухой ночи ревут мечи.
Что есть в печи — на стол мечи.
Мы будем есть, мы будем пить
И злобно родине служить.
Сидит вельможа на печи,
Считает денежку в ночи.
Он мнет с изюмом калачи.
А ты молчи, молчи, молчи.
Продаст купец за деньги мать —
Чтоб осетра с севрюгой жрать.
Наел живот купец-подлец,
Трясется тот, как холодец.
С кадилом поп — молебном в лоб:
«Служивый, ты страны оплот».
Оплот ржаной сухарь грызет
И кипяток пустой он пьет.
Вельможа — вор, купчина — сор.
Крестьянин точит свой топор.
Забросит в поле он соху, —
Гулять в России петуху.
— Спаси, оплот, дьяку хребёт,
Спаси купцу его живот.
— Царь-государь, указом вдарь,
Открой с заветной правдой ларь.
Царь высоко, и далеко
До правды, скрытой глубоко.

Я слушал — и меня душило восторгом. О, еще как отменно звучала песня в исполнении хора! Как ярко. С этой мощью, с этими голосовыми раскатами, подобными громовым. Какими смыслами, неведомыми мне самому, наполнялась! И неужели же это написал я?

Но когда звучат слова «дьяку хребёт», я осознаю: нет, я написал. Это точно моя рифма: «хребёт — живот». Сейчас-то я знаю, что правильно произносить не «ё», а «е», но у нас на Урале говорили именно «хребёт», естественно, говорил так и я. Я еще был уральцем, не москвичом, я ведь сочинил эту песенку в двадцать три года, только приехав в Москву.

Мне делается неловко за неграмотную рифму, особенно перед Окуджавой с Бродским — Рубцов-то простит, — вместо восторга меня теперь душит стыд, надо бы извиниться, и я поворачиваюсь с этим намерением к своим спутникам.

Но Боже мой! Никого у меня за спиной нет. Ни Окуджавы, ни Рубцова, ни Бродского. Как странно. Куда они делись? Ведь они только что зашли со мной в зал.

Я вновь поворачиваюсь к хору. Меня вдруг пронзает чувством, что нет и хора, хотя последние звуки его пения еще замирают в воздухе.

Хора и в самом деле нет. И что такое? Я вовсе не в «Кафе-Молочная», я у себя в комнате, лежу на диване, вытянув, сцепив на груди перед собой руки, — что, мне все привиделось? Может быть, даже кто-то сочтет, что я, прилегши на диван, умер и все это было предсмертным видением? Перестаньте нести ахинею, господа. Я всего лишь устал, мне нужно отдохнуть. У нас, у шмелей, совсем не такая легкая жизнь, как вам кажется. Да, мы большие, тяжелые, мы гудим, как бомбардировщики, мы вас пугаем свом появлением, вы боитесь, что мы сейчас вас ужалим. Ничего подобного! Не собираемся мы вас жалить. Мы случайно залетели в ваш мир. Не надо гоняться за нами, придавливать к стеклу полотенцем, чтобы потом выбросить нас в мусорное ведро. Откройте окно. Просто откройте окно, и мы вылетим наружу. Нам, шмелям, нужен простор. Ничего, кроме простора. Мы летучие создания. Не мешайте нашему полёту. Откройте окна. Откройте! Выпустите нас на простор.

Наталья Николенкова

Чуйский тракт

Рождественский стишок

Ночное яблоко на кухне поедая,
Сижу, румяная и молодая.
А тот, кто ведает румянцем и тоской,
Подушку греет нежною щекой.
А та, что на него до слёз похожа,
Спит, становясь и старше, и моложе.
А тот, кто их оберегает сон,
Уже рождён.

* * *

Кончался декабрь. Последние торты пеклись,
Последние Деды Морозы на вызов неслись,
Последние дворники снег убирали последний,
И мокрые шапки, как звери, лежали в передней.
Кончался декабрь. Психиатр на дежурстве дремал,
И лёгкой метелью припугивала зима,
И лёгкая неврастения плела паутину:
Я здесь, мои милые, я вас вовек не покину.
Кончался декабрь. На ёлку навесив шаров,
Мы думали, что защищён и украшен наш кров
Духом лесным, духом святым,
Запахом детства, дождём золотым.

Зима

Мы не забыли тёплые дома.
Звучал Вивальди — кажется, «Зима» —
поджаривались хлебные кусочки,
душа не замечала оболочки,
в глинтвейне плавали головки мака.
Мы были все с истфака и филфака,
а если медик дикий забредал,
то он гармонии не нарушал.
Действительно, всегда была зима,

Об авторе | Наталья Михайловна Николенкова родилась в Барнауле в 1968 году, училась на филфаке Алтайского государственного университета. Публиковалась в краевой периодике, в литературном альманахе «Ликбез». Лауреат Демидовской премии (1997). Автор книжек «Чтобы встретиться» (1986), «Девятое марта» (1995), «Карманная психиатрия» (2001). Живет в Барнауле.

поскольку сразу бешено теплело,
и кто-то пел, и ты со всеми пела,
и золотились книжные тома,
а баловень Москвы и Амстердама,
картавый фаворит романских муз,
эстетствующий, ласковый, как мама,
читал свои стихи, француз.
Немного ведьма, юная хозяйка
заваривала якобы чаёк,
и девочка соседская, козявка,
училась у неё.
Кармен-сюита, люмпен-сигарета,
ку-ку-богема, караван-сарай,
Вивальди рыжий написал про это,
молчи-молчи, не смей, не повторяй.
Потом у всех детишки народились,
женился тот, кто не сошёл с ума,
и оглянулись мы, и прослезились,
и всё прошло, и кончилась зима.

Постскриптум

Постскриптумов и просто скриптумов давно эпоха миновала.
Но я пишу тебе, поскрипывая, издалека, из-за Урала.
В горах Алтая и Сванетии — уже не промысел для нас.
И только встречи в Интернете ещё случаются сейчас.
Мы встретимся (прости за смелость) на берегах большой реки.
Но мне бы большего хотелось: ты напиши мне от руки.

* * *

Мы были совами в древесной глубине. Теперь мы стали совами вдвойне.
И если не погибли на войне — наверное, проснулись не вполне.
Я знаю человеческие сны в похмелье подступающей весны,
Где символы мучительно ясны, как две навеки сросшихся сосны.
Ариведерчи, Фрейд, и Юнг, и Фромм! Забавно повстречать себя в другом.
Такое в небе пишется пером, а мы возьмём — и вслух произнесём.
Два голоса, и лиственное «ах!», и привкус никотина на губах.
Какие ведьмы водятся в лесах! Но мы — лишь совы в чьих-то волосах.
Два существа, немножечко зимы и сотни глаз невидимой тюрьмы.
Прости, я знаю, не бывает «мы», а только — небеса, леса, холмы.
Мы были глиной, воздухом, водой. Мы хищниками были и едой.
Мы будем сосняком и лебедой — и станет меньше хоть одной тюрьмой.

* * *

Город цветёт, как заросший пруд, пухом плюёт в лицо.
Эти букашки скоро умрут, станут песком и пыльцой.
Тонкие сущности выцвели в пыль, небо слепит сединой.
Гриновский серый автомобиль едет ещё за мной.

Женское такое

Не брильянты, не меха, слава Богу,— и не то чтобы я слишком горда —
Мне дарили пирожки на дорогу, компас, лупу и парфюм иногда.

Книги — лучшую мечту пионерки — плюс дракончик и Пегас по рублю,
Покупали сапоги без примерки, потому что я сама — не куплю.
И мобилы — я их много разбила — и уборы для дурной головы,
Фотографии, чтоб я не забыла, и бюстгальтеры, чтоб помнили вы.
Две пижамы, джинсы, свитер моднючий, ежедневники и фен для волос...
Может, просто не представился случай, чтоб брильянты подарить довелось?
Пусть не вечностью — но нежностью веет от мужских подарков, милых душе.
И пальто твоё по-прежнему греет, да и лупа пригодилась уже...

* * *

...Про галечный пляж в Кобулети, про тыщу прогулок с тобой,
Про то, как влюбляются дети, про эти стихи про любовь,
Про то, что Набоков в постели — снотворное круче иных,
Про лёгкое пламя истерик и графику звёзд голубых,
Про запахи книг и настурций, делённые пополам,
Про ересь английских инструкций к твоим непонятным делам,
Про кофе, про кофе, про кофе, сбегающий от греха, —
К разрыву и катастрофе, к трём выкрикам петуха,
Про музыку с чёрных пластинок — вернейшую из примет —
Про пепел ассоциативных рассветов и сигарет,
Про дождь, без ошибки разящий с размаху под левую грудь,
Про лезвие строчки, изящной, как серебро и ртуть,
Про существованье на ощупь, вне знанья добра и зла,
Про позу детёныша кошки, ищущего тепла,
Про сто поцелуев послушных, про тысячу тысяч ласк,
Доверчивость нежной простушки и стервы ревнивой лоск,
Про скорость изгнанья из рая и райских цветов кровать —
Затем лишь сейчас вспоминаю, чтоб больше не вспоминать.

* * *

Где наши собаки, любившие нас, как родных?
Кто наши любимые книги навек зачитал?
Где наши прекрасные лица в пейзажах цветных?
Мы все — богачи, промотавшие свой капитал.
Закончился август, последней звездой упадёт.
Закончатся слёзы, фантазии, весь этот джаз.
Планеты привычно пойдут на крутой поворот,
И новые люди с улыбкой забудут о нас.

* * *

Как полк, раскачавший мост над ледяной рекой,
Мы ходим от птиц до звёзд, раскачиваем покой.
Как маленький детский сад, как пленник и конвоир —
Куда глаза глядят, куда наклонился мир.

* * *

Пирогами, и блинами, и сушёными грибами,
Саксофоном, и органом, и весёлым ураганом,
Шоколадкой под подушкой, книжкой, письмецом, игрушкой,
Ливнем, хохотом, прибоем, нелюбовью и любовью —
Тушим, тушим, тушим, тушим, не потушим эту ночь.

* * *

Ещё не растаял снежный лев, ещё не растаял снежный ком
Внутри, где шелест и подогрев, где пахнет мёдом и молоком.
Ещё не растаял сахар зимы, малина и сливки, янтарь и воск.
Ещё не совсем потерялись мы среди обжигающих острых звёзд.

* * *

Весной пронзительно и пусто, как в коридорах универа.
Я не прислушиваюсь к чувству, я принимаю всё на веру.
Ещё трава не дотянулась до голубого кислорода —
А жизнь взяла и улыбнулась и отпустила на свободу.
Мы загорим, как абрикосы, мы отгорим, как зажигалки.
Прохожие посмотрят косо и растворятся в переулке.

* * *

Жить в словарях, в тетрадях ночевать, в собраньях сочинений просыпаться —
А на обратном адресе писать квартиру, город, дом номер шестнадцать.
Жить-петь, влюбляться-лгать, мечтать-летать, как тот, в тумане, одинокий парус.
Жить-быть и, знаешь что, — не умирать: ведь там теряет смысл домашний адрес.

* * *

Спокойно, коллега! Кровищу с ладоней стирай,
Рифмуй за Уильямом Ш., не страшась повторенья!
Мы в рай попадём, в орфоэпический рай,
Где нежно расставлены правильные ударенья.

* * *

Любовники уходят по утрам — и это, в общем, правильно и мудро.
Любовники — уходят, стыд и срам! Да, Винни-Пух, на то оно и утро.
Не надо, Боже, вечных величин, вот только душу сохрани живую.
Я проживу без маленьких мужчин — тем более, других не существует.

* * *

Скудеет речь, игра не стоит свеч, в Крещенье зябнет даже зимородок.
И Дмитрий Анатольич узкоплеч, и у второго скошен подбородок.
И Ринго стар, и Дитер занемог, и нет пророка, братья, в Интернете.
И сказочку про Синий коготок уже осуществили наши дети.
О вечности вещает идиот, эстеты умирают от поноса.
Одна отрада: снег ещё идёт, бог стряхивает пепел с папиросы.
Оргазм перерождается в маразм, и жить на свете — скука и наука.
Переложить бы как-то этот паззл, но это тоже пройденная штука.

Штирлиц

Он не курил натощак, как гой, водочку пил раз в год,
Деток любил, словно Лев Толстой, если Семёнов не врёт.
Зоологический пуст музей. Где чуваку потусить?
А у разведчика нет друзей, Путина можешь спросить.
Жил по секундам, как пел Кобзон, слушал Москву, грустил.
Вне эрогенных держался зон, Габи — и ту пропустил.
Кофе глотнув, хотя бы эрзац, ждал письмеца от жены.

Унтер ден Линден — это абзац в самом конце войны.
Наш не-Берлин от ненастья сер, гопники на углу.
Радиограмму примите, сэр: Штирлиц, я Вас люблю!

* * *

Ещё люблю чахоточные дни, ртуть октября, разлитую в природе,
Кафешантанов мёрзлые огни, стук каблуков в подземном переходе,
Слепой пунктир осеннего дождя, последнего в сезоне уходящем.
Так любят на прощанье. Ночь нежна. Не злите мёртвых, не будите спящих.

* * *

Я сложно — не могу, а просто — страшновато:
Как примитивна жизнь, и женщина, и стих!
Ты — белый человек, я — чукча, Гайавата,
Мне до утра плутать в метафорах твоих.
Есть ложь в моих глазах, и запах пепла — в розе.
От детских дежа вю я головой слаба.
Была бы я пьяна — я б написала в прозе,
И объяснила всё, и поняла сама.
И, видишь ли, больней моё непониманье
От близости к твоим мифическим местам.
Я сделаюсь равна твоим воспоминаньям,
Мы обретём язык, мы встретимся, но — там…

* * *

Телепатия, ты обостряешься после травы!
Проясняется суть, возникают внезапные смыслы.
Хохотать и любить — разве правила не таковы?
Мы — лихие, как ветер ночной, мы — простые, как числа.
Молодей, обольстительный ангел, лети, голубей,
Говори шелестящие звуки на фоне заката!
Как на площади венецианской, полно голубей,
И вибрирует сердце, невзорванная граната.

* * *

Давно-давно ни с кем не спала в обнимку. Давным-давно — такое было кино.
Надеюсь, ещё узнаешь по фотоснимку смешного мальчика в праздничном домино.
Опять замело Барнаул по самые крыши. Сто двадцать автомобилей столкнулись, летя.
Я ухом — к снеговику: тихонечко дышит.
А я? Приложите ухо ко мне! Хотя…

* * *

Заплачу за Интернет, выкуплю серёжки —
И пойду себе, пойду по правильной дорожке.

* * *

Добавьте выразительных средств, оставьте этот жалобный тон,
Довольно бить в пластмассовый рельс, садитесь есть какой-нибудь торт,
Считайте от двухсот до пяти, не убивайте мать и отца,
В конце концов, найдите мотив для продолженья или конца!

Александр Басманов

Возраст любви

рассказ

Тогда, наверное, он был уже влюблен в Марию. Но лик ее теперь, как капля детской акварели, с тонкой колонковой кисти павшая в стакан с водой, едва клубясь и ускользая, совсем растаял, лишь затуманив и подкрасив бледную прозрачность легкой мутной дымкой. Он помнил ее волосы, их самарийский отсвет созревшего плода каштана, — его ореховый оттенок, — они густой копной вились воздушно и упрямо, и даже, если были туго стянуты в пучок или в короткие две толстые косички (сплетенные с атласной черной лентой, приоткрывая маленькое розовое ухо), воздушною упрямостью сквозили, слагая над точеным смуглым лбом туманное сфумато, — прелестный и осенний ореол.

Разрез ее больших и волооких глаз (такие же, наверное, Иаков нечаянно увидев у Рахили, стоявшей у колодца, чтоб напоить овец, настолько оказался вдруг поражен любвью, что даже через годы, с содроганьем чресел, входил в свою Рахиль, сознание теряя от желанья), особенно их цвет в воспоминаньях Сорина теперь почти затерся: возможно карие, возможно серые глаза ее были почти всегда, когда он на нее смотрел украдкой, слегка потуплены, полуприкрыты сумраком ресниц, бросавших тень на матовую чайность кожи, на нежно-смуглое лицо с нежнейшей линией припухлых губ, такое впечатление, чуть скорбных. Тогда еще совсем почти не ощущалась ее будущая склонность к полноте, хотя под школьным фартуком в оборку уже упруго округлялись отчетливые холмики грудей. В уме он подсчитал, и вышел возраст: в тот год их принимали в пионеры (взвейтесь кострами, синие ночи), и эту маленькую грудь покрыл из шелка алый галстук, не только в торжественный тот день, но и потом всегда опрятный и отглаженный до блеска, и ясно представлял он позже ее милый жест: она на перемене пытается своей чудесною рукой его оправить, и за крахмальным кружевным манжетом белеет уголок от носового чистого платка.

Всегда у подоконника, всегда у тусклых стекол коридора, всегда напротив двери в класс (его был «А», ее был «Б»), с подругами всегда. Как он завидовал подругам этим, к ней подходящим чередой, их щебету, как он желал тогда их легкими и быстрыми руками коснуться рук ее. Сама она была, ему теперь казалось, — молчалива. Во всяком случае, он голоса ее совсем не помнил. Иногда после звонка, оповещавшего конец уроков, они из школы выходили вместе, с

Об авторе | Александр Басманов родился в 1946 году в Москве. Закончил МГУ. Работал в журнале «Огонек», с 1988 года — редактор отдела искусства и член редколлегии журнала «Наше наследие». Автор книг и статей по истории русского и западного искусства. Повесть «Летейские воды» — первое прозаическое произведение А. Басманова — вышла отдельной книжкой в издательстве «Парад» в 2006 году, журнальный вариант этой повести был напечатан в «Знамени», в № 4 за 2006 год. В 2009 году в № 3 журнала «Знамя» опубликован его рассказ «Ефим и Вера».

общей говорливой стаей, пересекая школьный двор, и в узковатой тесноте чугунной и распахнутой калитки оказывались рядом, близко, почти плечом к плечу. Но, миновав теснину, расходились резко, постепенно удаляясь друг от друга, и он так тосковал уже и снова ждал безмолвного свиданья, томясь в беспочвенной пустой надежде на случай завтрашнего дня, что познакомятся они негаданно и вдруг, и станут неразлучной парой. Но чуда не происходило. От времени до времени встречаясь в их общем переулке и направляясь теперь уже друг к другу, он замирал от сильного сердцебиенья, но они мимо проходили, как будто равнодушно, и, в глаза не глядя, не поздоровавшись, не будучи знакомы — она бесчувственно, а он угрюмо.

Из тех времен потом он помнил больше зимы (так связанные с ней!), и та из этих зим, которую даже теперь, под старость лет, в себе еще носил, была на редкость свежей, мягкой, когда возможно было полной грудью вдохнуть уханный влажным снегом воздух. Безветренно, чернильный вечер, и атмосфера той ласковой прохлады только приятно освежала белеющее горло, едва прикрытое расхристанным шарфом.

Как и всегда, в уныние учебников по-быстрому взглянув для скучных завтрашних уроков, после семи—восьми он встречу назначал в своем дворе с тогдашним лучшим другом, с которым в употевшем классе делил колодку твердой парты; и каждый вечер, выйдя из-под мрачной гулкой арки в свой тихий сонный переулок, они, как девушки, под руки взявшись, в приятной и медлительной беседе, шли влево, к улице широкой, главной в городе, мерцающей огнями (расплывчато и тускловато), уж изжелта разъезженной по снегу резиновыми скатами автомобилей, и поворачивали снова влево — к центру. Высокие фонарные столбы цвели молочными шарами на темном кобальте небес, под россыпью далеких мелких звезд, приятную прогулку высветляя, и тени мокрые на талом и исхоженном снегу то быстро отставали, то, удлинняясь, вновь бежали впереди, мешаясь, суетливо и скачкообразно, с тенями тех (конца пятидесятых послесталинских годов), других, прохожих в невзрачной и мышиной серости родного «москвошвея», уж в большинстве своем почивших с этими годами и тенями. Итак, два друга, Алик Каралюнец (довольно редковатая фамилия — и неизвестно ударенье) и Сорин, чуть ли не всякий день гуляя вечерами, во встречном курсе (то после Пушкинской, то до нее не доходя) встречались непременно и расходились тут же с племянником (откуда-то они узнали это) киноартиста старого, уже совсем седого Пирогова, — на толстых рубчатых подошвах высоким, молодым «стилягой» в свободном клетчатом пальто и узких, чуть коротковатых, брюках, набриолиненным, с пробором «ниточкой», который, так же пунктуально (как Алик с Сориным), по местному «Бродвею» свершал ежевечерний променад; встречался также кто-то пожилой и небольшого роста, в английском кепи-твид, в роскошном и с кистями шарфе, заброшенном через плечо, и в заграничной куртке цвета «брюн» — бордовой, тонко-кожаной (совсем загадочный, как настоящий иностранец, человек, скорей всего, вернувшийся в отечество из западных краев репатриант); и также мимо них всегда вальяжно проплывал другой пижон на том исхоженном пути — заметный, элегантный и дородный, с еврейским райкинским серебряным зачесом (как тоже было узнано случайно: орденоносец и борец за мир), один из драматургов братьев Тур, тех авторов бессмертной эпопеи о том, как встретились на Эльбе в сорок пятом победоносные наши войска с американскими коварными частями и где тогда (в те бочковые винные, в те рюмочные водочные дни провозглашенья тостов «за победу», и патефонных танцев с прижиманием заслуженных сверкающих медалей на груди геройской к другим, упругим, в бюстгальтер самошвейный остро запакованным медсестринским грудям под ладной гимнастеркой) забрезжила

уже холодная война, — тот Тур (один из братьев), свой глаз кладя развязно на поспешавших мимо, по снежному московскому Бродвею юных дам, и, оборачиваясь иногда им нагло вслед, действительно, не проходил, а гордо проплывал — осанистый, и руки заложив за полною спиной, в которых он держал свою боярку барскую и с бархатною тульей; пройдя же мимо приглянувшихся ему, особ приятных, и стройность оценив их ног, он снова аккуратно надевал боярку на райкинский серебряный зачес, — и все так шло ему: боярка с бархатною тульей и светлый габардиновый реглан с писательской широкой шалью из темного блестящего бобра, и даже похотливый взгляд на девушек прохожих, что были его младше вдвое.

У входа в Елисеевский кишела небольшая толчея, его витрины были украшены фальшивыми окороками, копченьями, архитектурой баночных консервов, курганом бутафорских и румяных яблок. За стеклами зеркальными, в чертоге пышном гастронома, свисала электрическая гроздь огромной люстры, отбрасывавшей свет на слякотный и вязкий тротуар, на лица пешеходов, среди которых Алик с Сориным шли тесно, соприкасаясь обшлагами и оживленно обсуждая то, как надо мастерить пугач (на тулово из деревяшки, которая ножом выстругивалась в форме пистолета, крепился изолентой ствол — ружейная пустая гильза, затем при помощи тугой резинки — принцип арбалета — боек взводился и, спусковым крючком срываясь, бил в капсюль, и, если все срабатывало, с эхом в гулких подворотнях производился хлесткий выстрел), или свои добычи детские, покупки и обмены вожделенные почтовых марок из далеких стран: в листах их кляссеров дешевеньких, проложенных полупрозрачно папиросною бумажкой, в те времена старательно копились разноцветными рядами Мадагаскар и Того, Судан и Сенегал (там сенегалка узкая, до пояса нагая, с приподнятыми грушевидными грудями, несла на голове тяжелый глиняный кувшин), и Ньясса «в серии», в зависимости от окраски, ценою в 5, 15, 20, и 500 старинных португальских «рейсов», с гербом и под короной, где были и верблюд, и зебра, и жираф, и пальма, и каравелла быстрая, на парусе которой вздувался ветром гордый символ — распяленный мальтийский крест, и, обязательно, британские колонии — от острова Святой Елены до Фиджи и Антигуа, Гренады и Уганды — с портретом, в небольшом овале, импозантного Георга: его венец алмазный, королевский, словно взлетал над аккуратно стриженною головой. Однако главное (ведь в них уже давно бродило), что обсуждалось в тех замедленных прогулках, — так это девочки, конечно же, из школы (и соринская память позже всегда удерживала имена: Боданская, Наташа Мухина, Раскова, чьи подростковые подмышки — он летом это углядел однажды — уже были оттенены штриховкой темной пуха), но никогда, ему потом казалось, в их разговоре имя не произносилось той, о ком он думал постоянно. Хотя, возможно, и произносилось все же, среди других имен, — но будто всуе, мельком, будто равнодушно: ведь он и другу близкому, Каралюнцу, себя не открывал, держа на привязи и сохраняя свою тайну.

Так, в этих ласковых и синих зимних вечерах уже давно не существующей зимы маршрут их пролегал мимо «Астории», гостиницы для редких интуристов (конечно же, «шпионов») в своей особенной одежде и с private печатью на холеных лицах; в «Астории» той, за прозрачными тяжелыми дверями, всегда стоял швейцар в фуражке с золоченым галуном и виден был из мрамора пролет с ковровою дорожкой широкой лестницы, исток которой украшали по бокам наяды шоколадной темной бронзы — чудесные останки эпохи ар-нуво; и это было только полдороги, поскольку за «Асторией» Филипповская булочная протянулась свечением нарядного нутра, припахивая аппетитно выпечкой свежайшей; потом, с шагами их, остался позади какой-то светло-серый крепкий дом, в котором жил

когда-то Демьян Бедный (мемориальная доска) и где теперь располагался книжный магазин; потом в порхающих снежинках возникла небольшая площадь с полутуманной конскою (чугунные под крупом крупно округлялись яйца) громадой, в седле которой восседал князь Юрий Долгорукий в кольчуге и с протянутой чугунной дланью; потом (уже наискосок от «Телеграфа», над портиком которого, как в лузу, закатан был в объятие ржаных колосьев огромный глобус из витражного стекла, повернутый наружу шестою частью мира) пошла тянуться снова кишка большого гастронома, в конце которого, уже поближе к проезду мхатовскому, войдя вовнутрь, они вставали в очередь того отдела, где продавщица в кружевном кокошнике готовила и тут же разливала в граненые и мутноватые (мытье секундное, фонтанчик скудный на прилавке) стаканы коктейль «молочный» (плодово-ягодный сироп, мороженое, молоко жужжащим миксером взбивалось до густого розоватого питья), и, в очереди отстояв, монеткою пятиалтынной, отдельно каждый, расплатившись, отойдя в сторонку, они с Каралюнцом вкушали это лакомство, не торопясь и понемногу, стараясь длить и длить ванильно-сладкую тягучую прохладу. Обратно возвращались опять, как барышни, под ручку, так же плавно, касаясь то локтем, то обшлагами, без пауз продолжая интересный разговор о том, о сем, по той же улице, живой, спешащей и текущей пешеходами, мерцающей, звучащей автомобильными гудками, и, в тихий переулок свой свернув, войдя в застывший сумрак своих родных дворов, — прощались, и, на какую-то минуту один оставшись, идя до своего подъезда (забыв о пугаче и марках, о брате-Тур, его боярской шапке, бобровом габардине), Сорин уже снова думал, с тонкой и височной болью, что завтра утром он ее увидит.

И правда, утром, после первого урока (теперь, на склоне лет, забыты те уроки и имена учителей забыты, и почему-то вспоминался лишь историк, чей образ несколько нелепый, голос какими-то клочками в Сорине всплывали иногда: Иван Иванович Блинов с лицом блинообразным, с топорными крестьянскими руками, негнущимися пальцами держа указку, стоял у карты, трепаной и глянцевитой, с изображеньем голубых морей и терракотовой Эллады, и в классе иззевавшемся и наглом, косноязычно, путаясь в словах, но с неподдельной страстью пытался говорить о Парфеноне, Фидии, Перикле и Алкивиаде, о тактике Пелопоннесских войн, афинянах и спартиатах, гоплитах и пелтастах, о лучниках, о пращниках, о дротиков метателях, о всадниках, мечах, сарисах, о шаркающих тыщах ног, о сбруи звяканье, о звяканье поножий о клинок, о щит, о растянувшемся в своем походе на сотни стадий войске, в пространстве извивающемся, как река, исток которой «норовит не отставать от устья», об осажденных стенах крепостей, как их пытались проломить осадные машины, о гимне боевом — пэане, о ритуале воздвижения трофея и о келевстах и наархах, Сицилии и древних Сиракузах, сраженьях на воде, о Лесбосе и Саламине, аттических эскадрах кораблей — триерах и пентеконтерах, их абордажных крючьях, веслах, медью кованных таранах — трезубцем или в виде кабана с клыками, — их именах, таких как «Саламиния», «Парал», когда они кильватерной колонной, под весел плеск и пение гребцов, в Пирейскую входили гавань, эй, подождите, вы куда, ведь я еще не досказал, звонок на перемену означал короткое свиданье с ней, и в блеклом школьном коридоре, издалека и сбоку, опять он видел будто озаренное лицо, щеки изящный очерк, и тающей, и нежной, под крупными ресницами потупленный продолговатый взгляд, который иногда вдруг отворялся улыбкой легкою в общении с щебечущей подругой, и, уж совсем нечасто, когда она в галдящем этом коридоре случайно проходила близко, мимо, он снова, отведя глаза и с замираньем сердца, смутно, на мгновенье, ощущал и впитывал ее фигуру, походку и чуял даже, еле-еле, телесный запах, который нес с собой чуть шелестящий платья ветерок.

Потом, на склоне лет, подсчитывал года: тогда уже исчез над аспидной доской со школьной стенки сталинский портрет; итак: 56-й, 57-й, 58-й, 59-й, пожалуй, и 60-й длилось это, переходящее от детства к отрочеству, к юности, с взрослением, от класса к классу, томление с той тонкой и височной сладковатой болью, когда казалось — все будто дышит только ею. Его уже, отчетливо он помнил это, хоть и с большим сомненьем заглянув в невинные глаза, старуха-билетерша, контроль срывая с голубой бумажки, пускала вечером на взрослое кино: так, в «Возрасте любви» услышал он чудесный маслянистый голос, оставшийся с тех пор совсем незабываемым, мелодии — той вечно молодой, и вечно тонкой, с осиной талией, неповторимой аргентинки со скулами раскосыми, и черными блиставшими очами — певицы изумительной Лолиты Торрес (она была там Соледад Реалес, потом играла дочь ее Анну-Марию), с манящей родинкой (пунцовой?) над линией обворожительной чудесных и неповторимых губ; такое впечатление, что цвет ее помады в черно-белом фильме действительно пунцово проявлялся под сереньким дождем на целлулоиде потертой ленты, «затасканной» в кинопроекторе от множества сеансов, в которых на экране она так весело и грациозно в Буэнос-Айресе спешила на свидание к Альберто, красивому, богатому и молодому (и Сорин помнил белый блеск его роскошного широкого паккарда), или входила в уже сверкавший голыми алмазными плечами женщин, атласом лацканов на смокингах мужчин театр, где ждал ее ошеломительный успех на сцене — овации, сплошной лавиной, за песни страстные о неземной любви.

Черты этой любви — томительной и иллюзорной — как будто обостряли одиночество, сиротство его щемящих потаенных чувств, и вновь, и вновь желая раствориться в них, он постепенно, почти ежевечерне, с приятелем, прогулки заменил на встречи с киноэкранными тенями: классической красавицы — тип тонконосой женщины, сошедшей с критской фрески Тесеевой эпохи, из Кносского дворца, изваянного гением Дедала, — Сильваны Пампанини и Массимо Джиротти (Де Сантиса «Утраченные грезы», где будто вправду грезя о чем-то сладостном, желанном, она к волнистым волосам своим, их, с увлажненным взором, поправляя, приподнимала руки и, соблазняя зрителей, показывала небольшие женственные флоры, бородки темные подмышек, которые мужчин, в те пуританские еще и наглухо застегутые времена, их половой инстинкт волнуя, их похотливый заволакивая глаз, тревожили и возбуждали не на шутку, и Соринмальчик, в созревании своем, на эти соблазнения был тоже уже падок) или (в «Соломенном мужчине» Пьетро Джерми) возлюбленной Андреа (греховные, запретные их поцелуи), пленительной, печальной, обреченной Риты (ее играла Франка… Франка…, затем, через полвека, он долго будет вспоминать фамилию чудесной итальянки и, как-то ночью, вспомнит наконец: фамилия ее была, ну, да, конечно же, Бетойя).

По вечерам теперь так часто, у мамы испросив полтинник, он отправлялся в близлежащие «Москву», или «Центральный» (в углу фойе, перед просмотром, маленький концертик эстрадников второго сорта — замызганные инструменты, престарелая певичка — напудренная, в блестках лиф), или — в особенно любимый им «Повторный», который повторял уже сошедшие с экранов фильмы и где, пройдя от Пушкинской заснеженным бульваром до Никитской, в окошке кассы (полуподвал, две-три ступеньки вниз) старался взять билет, что подешевле, ценой в двугривенный, на первые ряды, и в полутьме мерцающей, как заколдованный, бродил с Брассенсом (он был так «заграничен» и неподражаем в своих очаровательных усах, в своих богемных и свободных кордовых штанах и толстых башмаках из замши) в безлюдной темноте, по хмурому кварталу Порт де Лила; с Габеном кряжистым, широкоплечим дышал тяжелой влагой на набережной дымчатых туманов; или в «Фанфан-Тюльпане» был изумлен и любовался (совсем моло-

денькая Лоллобриджида) прекрасной Аделиной, лица ее неотразимыми чертами, ее миндалевидными глазами, ее божественной в батисте тонком, над талией в шнуровке, грудью — раздвоенной и грушевидной, взбухающей, атласной, дрожащей и танцующей на ветреном шагу, молочно-белой и слепящей, почти что обнаженной до сосцов в бесстыдно откровенном декольте. Еще был «Машинист» с его тоской, и «Рим в 11 часов», и Дина Дурбин — белокурый ангел в (сияния полярного) ночного цвета платье, — ей всякий раз в предновогодний вечер одаривал домашний телевизор «Луч» (из темного ореха корпус, тускнеющая полировка, экран размером чуть побольше двух ладоней), — «сестра его дворецкого», светящееся воплощение печали нежной, прелестная в рассеянье сфумато, в диффузии «рошара» (так назывался довоенный объектив когда-то, дающий матовость, размытость, мягкость очертаний), как будто лунно освещенная в «Луче» лучом косым софита — она цыганщину душещипательную пела с американским и прелестнейшим своим акцентом, просила с ней поговорить гитары семиструнные, и этот тембр грудной, альто́вый так волновал, когда у зеркала (ее туманный голубиный образ из телевизора голубовато отражался в амальгаме) он, Сорин, одевался в выходное, чтобы с родителями выйти в синь зимы московской, отправиться тот Новый год встречать к родне, на Якиманку, и снежная чистейшая рубаха, отглаженная маминой рукой, душистою прохладою ласкала плечи, и для фасона выданный отцом бордовый галстук (он навсегда запомнил скользящий шелк, узор из мелких ромбов и, на исподе, фирменный, латиницей, ярлык) — отец, с улыбкой объясняя правила узла, повязывал ему на детской шее.

Обычно, где-то к десяти, часа за два до праздничных курантов, они уж были там, на Якиманке (в подъезде тонкий сладковатый запах скипидара, как будто бы во всех квартирах сразу натерли в этот день полы; дом во дворе неподалеку от Ивана Воина — от времени до времени, так торжествующе и мелодично, он пробуждал свои колокола), в той незабвенной комнате, которую потом запомнил он во всех деталях: добротные, с тиснением, обои — теплый беж; еще из дооктябрьской жизни диван дубовый с высокой мягкой спинкой, с валиками, кабинетный, с узкой длинной полкой над сиденьем, где черно-золоченым фризом выстроились в ряд все восемьдесят два мерцавших тома Брокгауза—Ефрона — шеренгу их венчал на крышке полки, почти у потолка, чудесный желтоватый мрамор — головка женская, французская работа belle epoque; в углу, с диваном рядом, дубовая пузатая консоль с резьбой изящных перевитых лилий из той же декорации прекрасных, давным-давно уж отлетевших лет, — консоль эта обычно служила как подставка для лампы в палевом, с кистями, абажуре, но ныне (конец декабрьских дней, пол-января) там возвышалась лапчатая ель с рождественской звездой стеклянной на вершине, пахучая, в сверкающем обряде; с консолью в лилиях, бок о бок, делила стену весомая массивность — кофейная обивка с блеклыми цветами — вольтеровского кресла (в нем спать любил, размером в два кота, сибирский кот, кастрированный Барсик), и дальше стену занимал буфет — филенчатый фасад, люнеты и пилоны, граненое стекло на створках; за ним — мореный столик с патефоном, с альбомом в плотном и рифленом коленкоре (латунною застежкой в нем запирались семейственные, родовые снимки: вот кто-то в бороде и в сюртуке, купеческого званья, а вот его, на твердой карточке, жена), за столиком, направо, дверь в сумрачную спаленку хозяев, узкую, пеналом (там в изголовье ложа, в темнеющем углу, в серебряном окладе, почти под почернелою копченою олифой, своим ликом смуглым брезжил Николай Угодник в маленьком киоте над бликом огонька от тлеющей гранатовой лампады); из спаленки выходим снова туда, где ель, где запах хвои, — там, уж на другой стене, за толстою раздвинутою шторой, за светлым тюлем, окно, глядящее в морозный кобальт, и у окна стол письменный — опять же дуб мореный

и тяжелый — зеленое сукно по верху, огромный, с резными совами на тумбах (в одной из них хранилась великолепная филателия, коллекция почтовых марок, наверное, весь мир, все страны — предмет мечтаний соринских и зависти, его тех отроческих интересов, которые он сам пытался жалко воплощать) и с гарнитуром на столешнице суконной, расставленным в особенном порядке: из патинированной бронзы медведь-чернильница, из патинированной бронзы медведь на пресс-папье, из патинированной бронзы медведи «шишкинские» на стволе настольной лампы, чей изумрудный свет давал чудесный приглушенный тон. И, наконец, последняя стена: впритык к столу там помещался такой же, как и стол, с резными совами на дверцах, дубовый книжный шкаф, вместительный, глубокий, наверно, в три ряда уставленных томов (от красоты затылков их, солидности их разноцветных корешков, когда шкаф отворялся, взгляд восхищенно замирал, особенно от желто-золоченой кожи Грабаря). А над резным карнизом шкафа, на его широкой крыше пылился старый глобус, лоск времени поблескивал на буром тулове Китая, и бежевую стену рядом украшали две картины: та, что побольше, со взблеском, тусклым и червонным, старой рамы была восточного мотива: верблюдов караван под багровеющим закатным небом, среди песков, барханов тающей Сахары вели в бурнусах синих бедуины (типичная ориентальная викторианского разбора вещь, примерно 1870-х, подписана малоразборчиво, диагонально), и рядом с ней — другая: удачная, один в один по краскам репродукция «Письма» Вермеера: почти что бархатная тишь и, где-то в антикварном Дельфте, в опрятной горнице, у чистого голландского окна (розетками изящный переплет, струенье матового света) голландка молодая в душегрее вся погрузилась в чтение интимного листка.

И новогодний стол над всем царил. Скорей всего, лишь в соринских воспоминаньях о тощих тех летах: крахмальная утюженная скатерть заломами с него спадала, фарфор салатницы, чистейшей и умытой, где крабы розовели в «оливье», белел по центру, и рядом, в масле, золотились шпроты, чуть споря в красоте с серебряною тихоокеанской сельдью, укрытой луковыми кольцами, как кружевом бледно-лиловым; и рыба, фаршированная заливная, и рыба под морковью в маринаде; как будто благородной плесенью седея, благоухал чесночно толстый студень, поблескивала терракота ветчины тамбовской, нарезанной листами и оттеняясь светло-серой, присыпанной в краях чуть красным перцем, бужениной; и, чтобы сохранить свое румяное тепло, салфеткою были покрыты кулебяки — мясная и капустная с яйцом, что из духовки были вынуты совсем недавно (теперь в ней, заменив их, уже шкворчал немалый с яблоками гусь). Еще хрусталь бокалов, рюмок, отчищенный до блеска старинный мельхиор ножей и вилок, еще янтарность коньяка армянского, прозрачный, в графине, холод горькой, портвейн, краснеющий в графине тоже, фольга на темном изумруде бутыли полусладкого «Советского», и ожидание ударов Спасской башни, и торопливый, пенный, кому-то, из бокала перелив на скатерть, и торопливый пенный недолив кому-то, и обязательные поцелуи с поздравленьем, и легкий дым от папироски «Север», слоистым облачком витавший меж свежей хвои драгоценной ели, над этим изумительным столом, над этой гастрономией домашней, над смехом, громким разговором о том, как это все пеклось и доставалось (заранее и постепенно, предновогоднюю минуя толчею в очередях), о родичах, сородичах, свояченицах, свояках (один из них — Георгий, после войны застрял в полковниках, но спит и видит званье генерала), о повзрослевших детях (как все же в медицинский было трудно поступать; а наш-то мальчик, не успели охнуть, и уже в седьмом), о том, как с триколором на капоте, сверкая полировкой черной, роскошный лимузин французского посла вчера к парадному подъехал, с шиком, своего посольства (посольство это — псевдорусский «пряник», точь-в-

точь билибинская сказка — известный бывший дом Игумнова на Якиманке находилось рядом), и вышел из машины гордо сам посол в кашне кашмировом, великолепном, в лаковых ботинках; но иногда тот разговор сходил почти на шепот, таинственный и приглушенный, перст вертикально клался на уста, когда речь заходила о последних слухах, что снова времена суровеют, крепчают, что, тсс, мол, даже за простые анекдоты опять, де, начали сажать.

А за окном, в снегах, сугробах, под темно-синим звездным небом, Москва была убога и прекрасна, облуплена, еще жива, пленительна, наивна, еще старинна — ее, совсем не так уж и давно, доходные (сплошь коммуналки ныне) дома, теперь немытые, ее особнячки кривые и гнилые, ее полуподвальные квартиры с полунищими жильцами в шевиоте, сизом и немарком, перелицовке поддававшемся не раз, прощаясь, чуть поддато, с уходящим, откупорить готовясь тоже свое пенное, держа его уже за горло, затихнув, слушали из радио к ним обращенный глас торжественный о том, как много уже сделано в державе, что надо еще больше сделать, о доменных печах, об антраците, шахтах, урожае, о крепости границ, — и речь та доносилась до всех углов Калужской площади, Ордынки, Серпуховки, Голутвинского и Полянки, Ленивки, Знаменки, Волхонки, Моховой, Большой и Малой Дмитровки, Настасьинского и Дегтярного, в котором, если в двор войти, под арку гулкую, и голову поднять наверх, увидеть можно было два окна широких, зашторенных и темных, — ведь Сорин здесь теперь, на Якиманке, с отцом и матерью встречает Новый год, а комнаты родные их, с родными запахами и с родным уютом, погашены, пустуют, их ожидая возвращенья, и он еще не знал тогда, что это счастье, которое потом тоской в нем отзовется, проявится как эхо, смешается с составом крови навсегда, — и думал лишь о том, что начинаются каникулы и что теперь на целых две недели он остается без нее.

Однажды серым утром, свинцовыми набухшим облаками, рассветной хмарью перед пробужденьем, уже в сырой подтаявшей весне, она ему приснилась: как будто бы ее перевели к ним в «А», и, в класс войдя, она за парту села рядом с ним (по правой стороне). Он ощущал ее плечо, он чувствовал сквозь плиссированную форменную ткань упругость юную, к ноге его прижавшегося лядвия. Печально, молча, не поднимая глаз, она в свою открытую тетрадь внимательно смотрела, но левая рука ее под партой, чуть влажная, ему податливо и робко позволила прикосновенье и, словно бы того не ожидая, легла к нему в ладонь покорно, своими пальцами сплетясь с его, оцепеневшими от счастья, и так, невидимо от всех, едва-едва лаская маленькую руку, он сладко умирал, телесно сочетаясь с ней, и даже чувствовал чуть учащенный пульс на тонком шелковом запястье. Но тут к ним, почему-то посреди урока, встал из другого ряда и подошел Буньков, кося под эту парту ревнивым недовольным взглядом, и он отдернул руку и проснулся, в томлении еще неся в своей ладони ее чудесное тепло.

На деле же ему Буньков был очень симпатичен. В седьмом их отношения сложились даже в дружбу — скользящую и легкую, приятную, без лишних откровений. По приглашению, он приходил в буньковскую (отдельную!) квартиру, богатую, вблизи от «Маяковки», в великолепном сталинском гранитном доме с известным магазином «Грузия» (ах, «Грузии» нутро, ах, этот запах перца, запах бастурмы и лобио, ах, запах тех копчений!) на первом этаже. Вход в ту квартиру — со двора: в квартире — лоск: заметное благоухание духов, алмазный дождь тяжелой люстры, и чистота, натертые полы, укрытые ворсистыми коврами, сверкающий хрусталь даже зимой с цветами, и полированный орех увесистой мебелировки. Солидность эту отец Бунькова когда-то добывал в Германии поверженной, где занят был ответственной работой: он демонтировал заводы и вывозил вагонами станки. Его жена (Бунькова мама), приятная и миловидная,

лет сорока, миниатюрная, красивая холеная еврейка, чуть-чуть картавила, блистала в ушке розовом брильянтовой серьгой, брильянтовым кольцом на сухощавой кисти с кровавым острым маникюром, была всегда приветлива и предлагала часто на кухне белокафельной попить чайку со свежим тортом «Сказка».

Иногда, когда они в квартиру эту заходили, она уже, в своей каракульче душистой, у зеркала в прихожей помадой подводила губы, торопясь куда-то за порог, и, улыбнувшись им, о тортике напомнив и о чае, быстро исчезала, щелкнув дверью; иногда ж и вовсе дом буньковский днями встречал их пустотой и тишиной. Тогда, используя свободу, просил он показать ему «те» книги, и в кабинете у папаши, шкап застекленный и высокий на когтистых ножках-лапах (трофей, конечно же, немецкий) отворив ключом, они оттуда извлекали эти толстые заветные тома, тяжелые, с затылками из черной кожи, с чуть потускневшим золотым названием «Мужчина (потом он почему-то помнил, что на одном из них соединительный союз истерся, буква «и») Женщина», — из той уже таинственной эпохи, когда еще пестрили строки «ером» и точку ставили над палочкою «і», — Санкт-Петербург, одиннадцатый год, три грузных тома: в пространном списке авторов — Ахелис, Бельше, Блох, какие-то другие лица, старательно писавшие в те оны времена о тайнах человечьей плоти, чья собственная плоть уже давно истлела, в своих заброшенных могилах превратившись в пыль.

Страницы плотные лоснились и отливали желтизной, фотографические снимки обнаженных тел едва размыто, будто в, ныне модной, ретроспективной технике «жекле», чуть шоколадной сепией коричневели, и на одном из них, что «женщину» являл, — запечатлясь под вспышкой магния еще в далеком далеке девятисотых, каштановые чьи-то волосы густые, по той старинной и неповторимой моде зачесанные кверху, изгиб изящной шеи открывая, волнистую и пышную прическу составляли, закрепляясь на затылке в мягкий узел; с припухлыми вершинами сосцов, созревших, наглых, раздваивались полновесно чьи-то налитые груди; живот упругий, выпуклый, с продолговатой ямочкой глубокого пупка, как будто излучал свеченье, и удлиненный крупный мыс роскошного лобка под ним, царя богатой теменью над полнотой широких сильных бедер, был сумрачен, тенист в своей «тропической» священной роще, тогда еще не ведомой ему. Однако что-то их всегда пугало: то дверь входная начинала вдруг свербить родительским ключом, то, вздрогнув, телефон звенел, — и книга быстро закрывалась и ставилась опять на полку, но даже через час, идя уже домой, он млел еще и видел еще ясно внутри себя тот несравнимый женской плоти цвет под сенью смуглой сепии, коричневато-нежной, тот чуть заметный завиток на смутном острове темневшего лобка.

Угрюмый плотский зов, совсем, впрочем, не связанный ничем с неразделенною любовью Сорина, давно уже тревожил его чресла; его в те времена вообще томило что-то, как будто бы все радости, все счастье мира скользили мимо, совсем не для него, и он был посторонним здесь — вкус одиночества, которое с тех пор так верно дружить с ним будет, уже тогда коснулся его губ. На этот зов, протяжный и угрюмый, отзываясь, он, в предвкушении своих услад уединенных (к которым юно и постыдно пристрастился), теперь частенько отправлялся на Дзержинку и покупал у старика-еврея в киоске рядом с «Метрополем» (особенная точка от Союзпечати, что торговала дружественной иностранной прессой), то польский фильмовый журнальчик с улыбчивой Паскаль Пети или красавицей Николь Курсель на яркой красочной обложке, то, если повезет, тот дефицит, добычу свою главную — «Фоторевю» из ГДР, где в каждом номере почти увидеть можно было искусство светотени на снимках бланш-нуар: уже давно исчезнувшие откровенья тех грубоватых «ню» немецких голых нимф, бессовестно и напоказ закидывавших за голову руки, даря ему для паузников потаенных

богатства мрачные своих, не тронутых ни помазком, ни бритвой, великолепных девственных подмышек.

Еще, попутно, чтоб ощутить хоть как-то ветры желанных и чужих пространств, в киоске этом он спрашивал у старика-еврея, что «подвезли» в тот день — допустим, «Униту» из Рима или недельной давности парижскую «Юманите»: газетные шуршащие листы их источали сладковатый запах заграничной типографской краски и, уже дома, лаская взгляд латиницей, тогда ему малопонятной, рекламой броской дорогих хронометров швейцарских и дамского белья из кружевов, сверкающих автомобилей и отпечатками офсетными мгновений уличных слегка расплывчатой и серебристой жизни туманных городов, испытывал тончайшую сиротскую тоску по чудесам иного мира, который, дивный, там, за плоским блеклым горизонтом, был так далек, таинственен и недоступен.

Тогда, в те поры, к нему пришла впервые книга о любви, — наверно первая его «для взрослых» книга, которую потом, через сто лет, в щемящей ностальгии по детству своему, он перечитывал, опять тоскуя, пытаясь возвратить те ощущения давно ушедшего пространства, прохладного апреля и тревоги, оранжевого умиранья дня, несбыточных каких-то ожиданий, когда, открыв ее однажды, глотать запоем начал потрепанные жухлые страницы, не раз пролистанные кем-то до него, — и вновь переживал чудесное волнение и грусть, и вновь встречал любовь: конец двадцатых, пригород Берлина (апрель и там, и тоже вечереет), на небе (прозелень, латунь) застыли облака, как будто бы огромные фламинго, чуть дымкой тронутый высокий черный лес вплотную подступает к полупустынному шоссе, и «Карл» обшарпанный (такое дали прозвище автомобилю), рыча мощнейшим гоночным мотором, стремительно это шоссе одолевает, ведомый Отто Кестером, повизгивая в поворотах и унося куда-то за туманы троих друзей, чтоб одного из них судьба свела в тот час закатный с Патрицией, — когда совсем стемнеет (уже на синеве серп серебрился месяца и серебрились звезды), в каком-то тихом придорожном кабачке, где слышно было, как тикают напольные шварцвальдские часы; на той счастливой и случайной остановке они окажутся нежданно за одним столом, и голос ее будет глуховат и низок, скуп, драгоценен на слова, и будут ее большие серые глаза с какой-то тайной, висок как алебастр светящийся, прозрачный, тонкий, запястье — узко, и шелковистый блеск волос, отлив их гладкий под теплым светом абажура покажется ему морским и древним янтарем. Каким же было ее лицо, с каким лицом его сравнить? Возможно, молодая Гарбо, возможно, молодая Дитрих или Ли для той зачитанной и прежней книжки ей подарили свою редчайшую породу, свои прелестные черты.

Однако по утрам, на переменах, в школьном коридоре он вновь встречал свою Марию, и эти две, такие разные, субстанции (мерцающей меж строк, далекой грациозной женщины, волнующей и недоступной, и девочки — заветной, близкой подчас до расстояния руки, но тоже недоступной) не спорили друг с другом в его тревогах детских, но только дополнялись в них и составляли одну субстанцию и катилену его влюбленных несказанных чувств.

Когда и как ее свеченье стало постепенно исчезать, бледнеть и размываться? Скорей всего, тогда, когда, после восьмого класса, в шестнадцать лет, ей изменив, он перешел в другую школу — «рабочей молодежи», куда ходил теперь по вечерам, а для дневного времяпровожденья, чтобы начислить, в отныне заведенной «трудовой» и серой ксиве, стаж двухгодичный для поступленья будущего в институт (таким абитуриентам тогда давалось предпочтенье), устроен был отцом куда-то на простейшую и грубую работу, какие-то коробки погружать и разгружать, кому-то в чем-то помогать, и снова, бездумно, тупо посещая унылые занятья в новой школе, вдруг оказался страдальчески и бессловесно, нечаянно влюблен в девицу классом старше, с живым блестящим быстрым взгля-

дом, чуть полноватыми ногами и профилем точеным ореховой (как, собственно, и у Марии) изящной головы. Вокруг нее на переменках, под тусклым электричеством казенным (на улице давно темно, особенно зимой), всегда толпились молодые кобели, и раздавался смех, и он опять с волнением стоял в другом углу, в сторонке.

Но это увлечение его было достаточно коротким — размером только лишь в один учебный год: весной, сдав выпускные, ореховая «новенькая» вещь исчезла навсегда, и уже осенью, в том незабвенном сентябре, придя в десятый, он встретился совсем с другой (она откуда-то перевелась к ним в школу) своей неразделенной, теперь уж на полжизни (ведь эллин Гесиод еще сказал, что половина больше целого всегда) главною любовью, которую желал и целовал так до головокруженья страстно, нежно, как никого потом не целовал. Ее ж, ту первую неразделенную, лет через двадцать увидал однажды жарким потным летом, в час пик, из-за чужого неудобного плеча, на длинном перегоне под землей, когда вагон метро, набравши ветровой разгон, стуча железом о железо на стыках рельс, мчал с посвистом в туннеле от станции «Динамо» до станции «Аэропорт». Она была с авоськами, в сетях которых можно было рассмотреть батон, бутыль подсолнечного масла, какие-то кульки и свертки с каким-то провиантом. На скорости весьма шатало и, равновесие пытаясь удержать, та первая его любовь, перехватив свои авоськи в одну руку, другой, блеснув супружеским кольцом, взялась за поручень.

Она, и вправду, со временем чуть расплылась, и грудь ее уже была не девичьей — слегка поникшей, возможно, успевшей вскормить ребенка. Но, как и раньше, взгляд мимолетный под сенью милой полуопущенных ресниц едва темнел какою-то печалью. В предвосхищенье станции состав стал тормозить; сняв руку с поручня и покачнувшись, она, через негнущиеся чьи-то спины, стала пробираться к двери, подобралась, соприкоснувшись с Сориным вплотную, спросила у него: «Выходите?», впервые в жизни встретясь с ним глазами, и тут же отведя их и потупив, как будто в неожиданном испуге. «Нет-нет», — ответил он посторонившись, но все ж успев увидеть в них мгновенный узнаванья свет, подобие улыбки слабой, озаренья на вдруг зардевшемся лице. Сошла с толпой в попытке робкой обернуться, дверь затворилась, дернуло, платформа поплыла. Из-за чужого неудобного плеча он попытался увидать ее еще — через стекло, но там кишело все, толкалось и текло, спешило, смазывалось пестро в начавшемся движенье поезда, в его совокуплении, стремительном и шумном, безжалостном, с уже глотавшей черною дырой.

Мария Тиматкова

Разлука

Переезд

Я привезу тебе свой отъезд —
Не бойся, он никого не съест —
И положу возле двери на пол.

Будем его обходить стороной,
Будем его объезжать бороной,
Только бы он не плакал.

Хлеба отрежут и чаю нальют.
Не забывай, что стоишь на краю.
Чувствуй себя как дома.

Бойся, надейся, сжимайся, дыши —
В самой серёдке, в кромешной тиши
Снежного кома.

Любимому

Поспи под боком у меня — авось прилипнешь.
Не ешь меня; я, может, пригожусь:
Тебе, себе, нарциссам у дорожки,
Да мало ли кому — ещё не знаю.

Ты просто спи под боком у меня
И привыкай к соседке новой в клетке.
Авось, не съешь меня; авось, всё обойдётся.
Авось, прилипнешь.

Сахар

Не снег, а сахар, сахарный песок,
Просыпался под дверь, прилип в прихожей.

От автора | Я родилась в Москве в 1974 году. Закончила музыкальную школу и среднюю школу с углублённым изучением русской литературы, в 2005 году вышла замуж и переехала из Москвы в США, в Калифорнию. В 2009 году вышла моя первая (и пока единственная) книга стихов, «Настоящее имя», удостоившаяся первого приза «Русской премии 2009».

На завтрак сахар у меня и на обед.
Я в сахаре живу. А вы не знали?

Хотите — приходите, расскажу,
Как сахар набивается в ботинки,
За шиворот, в звонящий телефон,
В постельное бельё — спи на здоровье.

Не снег, а сахар, сахарный песок.
Кристаллы кулинарной панацеи.
Сверкающий чистейший рафинад;
Пустыня сахара.

* * *

Весёлым смехом прозвучало,
Водой певучей пролилось.
С три короба наобещало —
Четвёртым коробом сбылось.

Монеткой прыгало по лету,
Ложилось на пол к сентябрю.
Я подниму фальшивку эту —
Тебе на память подарю.

Но как поступим с белой птицей,
Что в рукаве моём была?
Она к свободе не стремится
И просит крошек и тепла.

* * *

Погасли —
А всё равно хороши
Берёзы в поле,
Где ни души.

Пришёл сентябрь.
Но воду пьёшь,
Глядишь в колодец
И писем ждёшь.

А писем нет.
Замерзай, вода.
Скорей настали бы
Холода.

Я буду докрасна
Печь топить,
Любить забуду
И вспомню жить.

Калифорния

Андрей Тавров

История не про нас

рассказ

Я бы так и не написал эту историю об отце и птице на берегу реки, если бы не одно обстоятельство. Когда, обдумывая, что именно писать на эту тему, я прогуливался по июньскому парку, погруженному в густую светотень, знаете, с этими кивающими одинокими листьями — один такой листок вдруг начинает кивать, как ладошка: кивает-кивает и никак не может успокоиться, хотя и ветра нет, и остальные не шевелятся — так вот, я шел тогда по парку, машинально отмечая взглядом то пролетевшую бабочку, то девочку на роликах, катящуюся по асфальтовой дорожке, то золотистый цвет ствола ореха, а потом свернул в боковую аллейку, где водились белки, и пошел вдоль осин и сосен, и все было как обычно, но вот тут-то, посреди аллейки, над мерцающей крошечными бликами земляной дорожкой зависла какая-то мошка. Под кронами деревьев была в основном густая тень, но мошка попала, наверное, в то место, где меж листьев шел невидимый луч света, и от этого сделалась яркой, заметной и даже обманчиво-нарядной. Она стояла в воздухе на одном месте, потому что была из породы той воздушной мелюзги, которая умеет это делать, и она так там и застыла, как заплавленная в стекло, стремительно и бесшумно мельтеша крылышками, которых я так не смог разглядеть. Ничего в этом необычного, конечно же, не было, — что я раньше не видал таких же точно мошек — но на этот раз, когда я пошел дальше, то, совсем того не желая, понес это крошечное тельце, раскаленное добела в солнечном луче, вместе с собой. И потом, в последующие несколько дней, когда я постепенно начинал забывать про идею написать об отце и птице на берегу Москва-реки, мошка опять появлялась в моем зрительном поле, словно жила внутри него сама по себе, накладываясь на остальное изображение, которое располагалась в этот миг перед моими глазами, и от этой ее надоедливости и неотвязности глаза мои начинали слезиться, словно в них попало по соринке. Это продолжалось до тех пор, пока я не понял, что существует только один способ избавиться от этой соринки — сесть и написать все, что я знаю про отца и птицу, а вернее, про то, как они в один из летних московских дней

От автора | Цикл рассказов о Стече для меня является подступом к большой книге, которую я надеюсь написать в ближайшее время — историю наподобие «Сиддхартхи» Г. Гессе. Речь идет о хлопотливом деле духовного развития и преодоления множества иллюзий и ловушек, на которые горазда любая цивилизация. До какой-то степени это продолжение темы двух моих романов и, менее явно, последних поэтических книг («Парусник Ахилл» и «Часослов Ахашвероша»).

Я веду авторскую программу на «Радио России», редактирую поэтическую серию издательского проекта «Русский Гулливер». Все это, вместе с писанием стихов и прозы, я рассматриваю как составляющие части одного простого дела-деланья.

взяли и соединились между собой без всякого видимого смысла или значения. Хотя, конечно, когда что-то пишешь, слова начинают сами по себе обрастать непредвиденным значением и смыслом, но мне бы не хотелось, чтобы и на этот раз такое произошло. Поэтому я просто опишу все подряд, не обобщая и не придавая словам и событиям излишней важности, от которой одни беды.

В тот летний день мы с Леной пошли в Парк культуры. Было холодно, но какие же чудесные июльские облака катились над знакомым с детства входом в Парк! Белые с серым, свежие, словно продернутые сквозь знобящий душ, они катились и закатывались сами в себя, переваливая через глубокую синеву солнечного дня с его трепещущей листьями зеленью. И было ясно, что река где-то здесь, где-то рядом, потому что там, где рядом река, облака — другие, менее сентиментальные, что ли, — более радостные, словно не плывут они там, в небе, сами по себе, а бегут под неслышную речную музыку, свежея с каждым мигом и оглядываясь на воду.

Мы свернули налево и пошли в сторону тира, расположенного тут же, рядом, под кленом, и напоминавшего десантника в маскировочной одежде, потому что по боку сезонной постройки, в которой он располагался, бежали солнечные пятна и скользили пепельные тени от листьев, забираясь с асфальта на стены и сбегая всей охапкой назад, нам под ноги, когда наверху, шумя и шурша, начинал раскачивать ветку особенно сильный порыв ветра. И тогда ларек рябил в глазах и исчезал, и казалось, что от этого и мы с Леной исчезали в мельтешенье света и тени, чтобы через миг, очнувшись от легкого приступа головокружения, снова найти себя на том же самом месте.

В тире девушка с белыми ресницами, из-за которых казалась подслеповатой, в розовой непромокаемой курточке, зарядила автомат, работающий от сжатого воздуха пластмассовыми пульками. Лена неумело прижала приклад к плечу и стала прицеливаться. В глубине тира в три ряда стояли банки из-под кока-колы и фанты, пустые, легкие — от удара пластмассового заряда они напряженно звенели и падали на землю. Лена начала стрелять, и банки, к моему удивлению, начали валиться одна за другой. Приза мы не выиграли только потому, что должны были сбить и пять верхних банок, но те падать не хотели, лишь зло позванивали, словно осы на вираже, потому что, как объяснила девушка в розовой курточке, чтобы сбить верхнюю банку, надо было попасть в самый край ободка. Но, когда я отобрал автомат у Лены и выстрелил в этот самый ободок, банка все равно не упала.

— Еще хочу, — сказала Лена. Щеки ее разрумянились, занятие взбудоражило ее, ей было хорошо.

— Ладно, — сказал я, — там дальше еще будут тиры. Может, сначала выпьем кофе?

Мы свернули и пошли к Летнему театру с накрытой огромной голубой ракушкой сценой, похожей на вертолетную площадку, на которой стоял маленький человечек с саксофоном. Полукруглая крыша нависала над ним, как ванты моста над одиноким бомжом.

Я купил два эспрессо в ларьке с хот-догами, и мы сели за столик под зонтиком, тень от которого падала мимо, раскинувшись неподалеку от наших ног неряшливым серым ковром с вырезными шевелящимися краями. Ветер дул порывами, и я придерживал свой пластмассовый стаканчик на столе, чтобы тот не перевернулся. Кофе был хотя и не настоящий, но крепкий и очень горячий, так что стаканчик обжигал пальцы.

Мы с Леной расположились за столиком рядом с компанией каких-то ребят, пьющих пиво. Напротив эстрады голубели, выстроившись в несколько рядов,

деревянные лавочки, и на них малочисленными группками сидело человек пятнадцать, не больше, но усилители работали на всю мощь, и музыку отсюда было хорошо слышно.

На музыканте были пиджак, темные брюки и белая бабочка, и я подумал, что ему, должно быть, нелегко будет играть перед пустыми рядами, и, скорее всего, он схалтурит и просто отыграет программу. Но маленький человек на сцене согнул ноги в коленях, словно ложась на ветер, налетевший сзади, откинулся всем корпусом назад и дунул в черный мундштук. Он играл, выкладываясь и вкалывая так, словно театр был набит битком, а в публике сидели по меньшей мере Джон Колтрейн или Джимми Паркер, не говоря уж о каком-то Яне Горбареке. И когда он выгибался, откидывая голову назад, то казалось, что не саксофон он поднимает сейчас на грудь, а все небо разом, как его было видно здесь над парком — с его ветром, синевой, прудами, лавочками и фонтанами и даже невидимыми звездами. Он ловил свой собственный, ему одному слышный ритм, не знающий поражения и набирающий с каждым тактом все больше силы и веселья, и ничего, кроме этого ритма, казалось, ему не надо было ни сейчас, ни потом, в остальной жизни, и он жил им, тащился, мучился и кайфовал, когда его фигурка сгибалась и разгибалась под внутренними порывами свингующей музыки так же сильно, как сгибались и разгибались в порывах ветра тополя и клены вокруг театра.

А когда кончилась первая мелодия, он сразу же заиграл вторую. Это была музыка 30—40-х годов, и Стеч заорал: Браво! — так, что с соседнего столика на него оглянулись, а Лена рассмеялась.

— Браво, — крикнул он еще раз, а потом откинулся в пластмассовом стуле с горячим стаканчиком кофе в руках и стал отбивать ритм ступней ноги.

А музыкант на сцене наяривал и давал прикурить Клиффорду Джордану и всем остальным людям с гнутой трубой в руках, рассыпая вокруг себя золотые свои выдохи и каденции, ни разу не сфальшивив, не лажанувшись и не сбившись с ритма. И вот, когда, скривившись и согнувшись в муке почти до пола с огненным и звонким инструментом своим у губ, маэстро заиграл «Кукарачу», Стеч притих и напрягся, и завертелась тогда у него в голове разноцветная чепуха и разные далекие события, что теперь начали сопоставляться и вращаться одно вокруг другого.

Не зря играл маэстро музыку тридцатых да сороковых, понял внезапно Стеч. И не зря они с Леной пришли не куда-нибудь, а сразу в тир и начали там стрелять по мишеням. И неслучайно сидит он тут за столиком в кафе и слушает «Кукарачу», потому что… да, потому что. Потому что история эта — не столько про него с Леной, но сначала, и по большей части, про его, Стеча, отца, умершего лет семь тому назад.

Стеч давно стал замечать, что вот идет себе жизнь или прогулка, и вроде бы совершается с тобой какая-нибудь история, приключение, сюжет, и подчас даже очень серьезный или, скажем, неприятный сюжет, и думаешь, как бы его развить дальше, чтобы вздымался фонтаном до неба, или, наоборот, про то, как бы из него поскорей выпутаться, но вдруг, начиная с какого-то места этой истории или сюжета, понимаешь, что он, оказывается, вовсе не про тебя, как ты думал сначала, а про кого-то совсем другого. И то, что ты исполняешь в этой истории главную роль, на самом деле ничего не значит, потому что в этот момент ты уже не главный персонаж и даже не второстепенный, а скорее наблюдатель, и понимаешь, что все с самого начала шло по-другому, вся эта история, и только по тупости и узости своей ты воспринял ее не так, как мир тебе рассказывал, а так, как ты сам захотел это услышать. И вот теперь ясно, что ты хотел услышать одну историю, а тебе рассказывают совсем другую, и от этого ты словно исчезаешь

таким человеком, каким ты только что в своей истории был, а вместе с тобой словно исчезают и лавочки, и фонтаны, и пластмассовые столики, и даже лодки на прудах, но ты исчезаешь не насовсем вместе с лавочками и лодками, а появляешься снова, но уже в другой истории, и от этого сначала не знаешь, кто ты на самом деле и что ты здесь делаешь с девушкой по имени Лена, хотя Лена — имя не ее, а твоего отца, потому что его звали почти что женским именем — Лен, Лен Андреевич, старший лейтенант Черненко.

То есть тут дело вот в чем — ты можешь всю жизнь думать, что жил и действовал своими мыслями и словами в одной истории, где был ты сам, твои родители, были твое рождение, твоя любовь, и еще одна любовь, а потом жена и дети, больницы и загсы, и, конечно же, беды и радости и, наконец, твои собственные приближающиеся смерть и старость. Но вот однажды возьмет да и окажется, что история эта была вовсе не твоей, и не про то, про что ты думал, а про совершенно другое, а значит, и тебя в ней нет, и сам-то ты, значит, теперь не то, что ты думал, а что-то совершенно иное. И если бы мы были более восприимчивы и менее консервативны, то принимали бы каждую такую перемену версии о себе и мире с благодарностью и любовью, но поскольку это страшно, то мы стараемся просто не замечать, что история сменилась и очень далеко ушла от своего первоначального замысла, и продолжаем долдонить все те же самые уроки, которые выучили двадцать лет тому назад, хотя в них больше нет ни смысла, ни толку, а только одна оборона от страха стать кем-то другим, потерять *себя*.

Это как если бы вам предложили, например, сыграть главную роль в боевике, ну, хоть бы и в «Великолепной семерке», что ли, и вот вы прикидываете, как вы там будете героически сражаться (и сражаетесь), обороняя бедных мексиканских крестьян от бандитов, как будете вы, щурясь на солнце (и вы щуритесь на солнце), произносить скупые слова, от которых мальчики в зале обмирают и застывают на креслах, как примороженные, а девочки неровно дышат; — как в конце истории, похоронив убитых товарищей, под героический блюз вы растворитесь в экранном полумраке, тихо сойдя, на манер небожителя, в заэкранную вечность, поселившись навеки в умах и воображении юных зрителей в качестве благородного и лысого борца за права мексиканских крестьян, наделенного сильными и скупыми чувствами, а оказывается — вот оно что. Оказывается, что это вам только казалось, что вы играете в «Великолепной семерке», а на самом-то деле вас пригласили сняться в короткой хохме о «неуловимом ковбое», который все скачет и скачет, скачет и скачет, и никто не может его поймать только по одной простой причине, что он ни на фиг никому не нужен. Конечно, вы можете однажды догадаться, и так оно пару раз в жизни бывает с каждым, что вы с вашей личной версией жизни отнюдь не Крис из «Семерки», а тот самый никому не нужный неприкаянный бедолага, который, по мне, существо куда более живое и милое, чем ваш идеальный стрелок по людям, но разве вы хоть раз осмелитесь себе в этом признаться? В том, что вы снялись совсем в другой истории, хоть и играли всю жизнь в ленте про ковбоя?

Пойдем дальше.

А что если этот он — вы не бедняга, и не неприкаянный, — а настоящий Ангел Сандальфон, жилец иных пространств и иных измерений, сияющий гость из Вечности, ожившая Библия — что тогда? Что если вы не ковбой Крис, а тот ковбой Крис, который на самом деле ангел, потому что фильм этот в самой-то основной, но неявной своей сути на самом деле не про ковбоя Криса и не про бедолагу и засранца, а про Ангела Огненных Сил, и вы в нем снимались всю вашу жизнь в главной роли, и он-то и есть вся ваша жизнь, как теперь это может оказаться. Что тогда?

Тогда тем более мы не будем менять свою придуманную версию жизни, с которой мы свыклись и смирились, на истинную, фальшивую — на взаправдаш-

нюю, — а почему, да потому что. И сделать это так, чтобы ничего не менять, вопреки явным фактам совсем не трудно, ибо видим мы не то, что есть, а то, во что верим. И если договориться с собой по поводу того, что ты там про себя видишь, то остальных уговаривать не придется, потому что они на все согласятся. Тут главное уговорить себя — окружение подстроится.

Короче говоря, история в парке не была про нас с Леной, потому что она была одновременно и историей про лейтенанта Лена Черненко. Конечно, Стеч мог этого и не заметить, или свести к некоторой игре ассоциаций, но Стеч заметил и сразу же понял, что это будет ошибкой. Что это не ассоциации, а реальность, и поэтому, когда они с Леной встали из-за столика и пошли дальше, углубляясь в парк, он видел уже не одну, а сразу две истории, а потом снова одну, но про нескольких человек, которые, как принято думать, не могли тут встретиться одновременно, хотя бы даже из-за глупого утверждения, что два предмета не могут одновременно занимать одно и то же место в пространстве, хотя про то, что это вранье, ведает любая матрешка.

Стеч шел и думал, что сначала старший лейтенант Черненко постучался в их с Леной версию жизни уже тогда, когда, вместо того чтобы идти прямо, они свернули в тир и начали там стрелять. История отца с детства была для Стеча связана с оружием, с трофейным пистолетом и выстрелами из него в ростовском дворике по томику Горького, о чем рассказывала маленькому Стечу мать.

Лейтенант Лен Черненко попал на фронт в восемнадцать лет и командовал расчетом «сорокопятки», крошечной пушки калибром 45 миллиметров, которую на фронте прозвали «Прощай, Родина!», потому что шансов выиграть дуэль у тогдашних немецких танков с ее помощью считай что и не было вовсе. Но лейтенант уцелел, должно быть, Ангел Сил охранял его по доброте своей неземной. Получив несерьезное ранение и контузию, он вернулся в Ростовский университет, где и познакомился с матерью Стеча на студенческом вечере с танцами. Вовсю пижоня, юный лейтенант заказал оркестру сыграть «Кукарачу», новомодный мотив, снятый с какой-то заграничной киноленты, но оркестр заиграл вальс. Тогда лейтенант Черненко достал трофейный парабеллум, навел на трубача, картинно щуря левый глаз, и повторил: «Кукарача!». Оркестр заиграл «Кукарачу», и правильно сделал, потому что пистолет был настоящий и заряжен, а Лен пригласил девушку своей мечты на танец.

Потом родился Стеч, и они, закончив обучение, уехали в город С., где мать стала преподавать в школе, а Лен Черненко работал в газете «Красная Звезда». Потом они развелись, но Стеч так и не узнал, из-за чего, хотя версий было предостаточно. В С. до сих пор оставалась в живых одна древняя старушка, вдова главного архитектора курорта, которая могла бы рассказать еще одну историю по поводу того, как поэта и журналиста Лена Черненко уволили с работы, а его пьеса, которую репетировали в местном театре с античными колоннами, была снята с репертуарного плана. Она могла бы, пожалуй, в подробностях рассказать также, почему Лена Черненко не посадили, когда он пришел в горком и выложил на стол свой паспорт, отказываясь от гражданства, потому что его повыгоняли со всех работ и теперь было не на что жить. И почему его даже восстановили после этого на работе и вернули документ. И, наверное, к тому же, она смогла бы поведать Стечу, каким образом и где мать познакомилась с отчимом — известным художником, молодым лауреатом Сталинской премии, и почему она так быстро уехала в Москву, где и поступила успешно в аспирантуру. Жена главного архитектора, помимо всего прочего, дружила тогда с директором школы по имени Римма, жгучей и невероятно красивой брюнеткой, у которой был тайный и ослепительный роман с Виктором Капитоновым, олипийским чемпионом по велогонкам, и Стеч помнил, как он с матерью и ее золотыми подругами

в белых одеждах стоял тогда на Театральном мосту, под которым проходил маршрут велогонки, и видел всех этих загорелых дочерна сверхлюдей, велосипедистов в цветных майках, которые длинной змеей стали скатываться по асфальтовой вьющейся из-под театра дороге вниз, к речке, к мостику, и, миновав его, потянулись в сторону набережной, к Зеленому театру. Загорелые ноги их работали, как маховики, застывая на спуске и снова включаясь после поворота с мостика, а подружка Риммы выкрикнула — вон он, вон он! — тыча пальцем куда-то вниз и показывая на лидера гонки, и Стеч запомнил, как сладко пахло от нее ванилью и как от этого почему-то замирало сердце.

Римма, кажется, умерла, но вот к вдове он мог бы сходить, но не пошел.

А Лен проснулся в сарайчике, потянулся к пачке папирос и закурил. Потом выбрался из постели и сел на стул, на спинке которого болтались брюки. Голова болела, и во рту было скверно. Он поискал бутылку с остатками вина, но не нашел. Залез в карман брюк на стуле, пошарил там и вытащил три рубля. Потом посмотрел на спящую. Ее русые волосы растрепались по подушке, лица не было видно. В ногах лежал томик Горького «Клим Самгин»

— Клава, — позвал Лен, — Клава!

Она повернулась и невидящим взглядом уставилась на него. — Что?

Лен не отвечал и смотрел на женщину, на которой еще вчера вечером собирался жениться, а теперь не понимал, что она делает здесь, в его сарае.

— Что? — повторила Клава.

Лен хотел что-то сказать, но слова не выговаривались, то ли из-за похмелья, то ли из-за странного состояния ума, сопутствующего похмелью. Поэтому он просто смотрел на Клаву и думал, лихорадочно подбирая начало следующей фразы. Но фраза никак не складывалась, а слова просто без толку носились в голове сами по себе, не связываясь и не выстраиваясь в сообщение. И от этой их неподатливости напряжение внутри Лена Черненко было столь велико, что он глядел на Клаву, не моргая и не сводя с нее сосредоточенного взгляда, словно собираясь сказать ей что-то совершенно невыразимое и задушевное. Клава с недоумением оглядела сарайчик, посмотрела на занавешенный цветной простыней вход, на растрепанный томик Горького в ногах, на черный телефонный аппарат, стоящий на табурете, и снова на Лена.

— Ну, что ты смотришь на меня как на категорический императив? — тихо спросила наконец Клава, и тогда Лен вдруг очнулся.

— Пошла отсюда, — взорвался он, — брысь! И чтобы я тебя больше не видел, поняла?

Клава заплакала. Потом она встала с постели и принялась искать белье. Лен Черненко сначала трясся, стоя в углу, отчасти из-за последствий контузии, но потом начал помогать, а когда она наконец ушла, натянул брюки, пиджак с университетским значком в петлице и пошел вниз, в магазин за вином. В магазине он взял портвейн «Три семерки» и папиросы «Ракета». Он вернулся в сарайчик, сел на табурет и вынул бутылку из внутреннего кармана. Пробка не хотела выбиваться, и он проткнул ее концом карандаша внутрь. Налил стакан и медленно выпил. Потом достал из кармана пиджака блокнот, раскрыл, и губы его начали шевелиться. *Не убили тебя пули прусские, так добьет эта степь неоглядная…* — бормотал он, чувствуя, как хорошо ему становится, оттого что вино горячей волной разливается в желудке.

Наверное, он тоже не понимал про свою историю, — подумал Стеч. — Может, и он был только частью, фрагментом в другой истории, которую не видел или так и не увидел. Скажем, он был фрагментом в ИСТОРИИ МАМЫ, но не сознавал этого и поэтому не понимал, кто он такой на самом деле, думая, что он просто порядочный человек, поэт и офицер. А на самом деле все могло быть и не

так, потому что, во-первых, со слов других он был подонком и пьяницей, который бросил мать и маленького Стеча в трудное для них время, а во-вторых, ведь и он, и каждый другой человек в жизни включены еще в десятки и сотни разнообразных историй, и где же, скажите на милость, искать среди них основную? Наверное, у каждого есть своя история, совсем не основная, но именно она будет считаться основной для простоты и чтобы можно было жить и не особенно страдать из-за этого.

— Конечно, — подумал Стеч, глядя на Лену, — половина народа решит, что я сумасшедший со всеми этими своими размышлениями про разные истории. Но ведь и у этой половины из них все равно есть такая же боль, или, например, отец, который исчез из твоей жизни, или мама, которую ты любил, а она умерла, и ты стоял и плакал, глядя, как она лежит в гробу, в углу церкви, маленькая и темная. Поэтому мы все — родные, что бы там ни думали про меня люди.

— Вот еще тир, — сказала Лена.

— Подожди, — сказал Стеч.

Он подошел к ларьку, где продавали воздушные шары и роджерсы — черные пиратские флаги с белыми черепами. Выбрал самый большой и попросил продавщицу, седовласую старушку, завернуть покупку.

— А палку брать будете? — спросила она.

— Палку?

— А то некоторые палку не берут, — сказала продавщица. — Покупают, как шарф чтоб носить, а палку не берут.

— Я возьму палку, — сказал Стеч, — возьму. И она протянула ему метровое пластмассмовое древко.

— Спасибо.

— Чья это история? — подумал Стеч. — Флаг с пиратского корабля — чья история?

Он взял палку, похожую на лыжную, и они пошли к тиру. Там они купили серию выстрелов вместе с призом, и хотя они с Леной на этот раз больше мазали, чем попадали в цель, в конце стрельбы им все равно вручили мягкого мишку. «Это хорошо, — подумал Стеч. — Надо бы научиться так проигрывать, чтобы к тебе все равно приходил приз. В той или иной форме. Можно заказывать его самому себе с самого начала. Например, дав себе установку: когда ты проиграл, ты выиграл. Вот твой мишка. Улыбайся. Даже если ты его и не видишь, и не можешь взять в руки. Не сомневайся — ты выиграл».

Когда они шли к набережной, зеленые тополя вокруг них шуршали и шумели, а Стеч все думал и гадал, каким образом сейчас еще раз увидит, что он участник другого сюжета, который на самом деле на этаж выше и сюжета Лена Черненко, лейтенанта, не расстрелянного танками и не дописавшего свои лучшие стихи, и сюжета Стеча, его сына. Разгадка, наверное, была в Роджерсе, потому что должна быть хоть одна вещая деталь, явно принадлежащая сразу двум или трем историям, как мать близнецам или тройняшкам, но он еще не мог понять, каким образом черный флаг к ним с Леном и Леной относится, а придумывать по поверхности и наспех не хотелось.

— Хочешь еще кофе?

— Нет.

— А я хочу, — сказал Стеч, но сворачивать к ресторанчику над прудом не стал.

Они по-прежнему шли к набережной, и сквозь листву уже маячили молочные столбы беседки возле пристани, пронизанные солнечными зайчиками, летящими от речки.

Они остановились у ограждения набережной, солнце зависло над домами на той стороне речки, и Стеч прищурился. Вода сияла множеством осколков, больших и маленьких, а из-под моста выдвигалась длинная низкая баржа.

— А может, этот Роджерс и вправду есть то место, где наша история общая? Может, тогда мы — одна и та же история, но так, наверное, не бывает, — подумал Стеч. — Может ли такое быть вообще, чтобы у людей существовала одна общая на всех история, или нет?

Последнюю фразу он произнес вслух, и Лена сказала:

— У нас с тобой может быть одна общая история.

Стеч улыбнулся, и ему показалось, что от этой улыбки губы у него словно треснули и с них, шурша, посыпалась штукатурка.

— Наверное, — сказал он. — Но все равно ты — это ты, а я — это я.

— Что такое «я»?

Стеч снова улыбнулся.

— Однажды, — сказал он, — потерявший голову от любви нетипичный такой человек узнал, что его любимая куда-то уехала. Пропала, исчезла. Он заплакал от горя, обзвонил всех общих знакомых — никто не знал, куда она подевалась. Тогда он стал ходить по улицам днем и ночью, надеясь встретить ее в тех местах, где они когда-то гуляли. День и ночь он ходил по площадям и ночным клубам, по дождливым улицам и солнечным платформам, но все было напрасно. Так прошел год, в течение которого этот нехарактерный герой умирал день за днем не в воображении, а на самом деле, но вот однажды ему позвонила подружка его возлюбленной и сказала точный адрес той, которую он так любил. Она теперь жила в соседнем городе, — и номер дома, и номер квартиры. И он поехал и нашел этот дом и эту дверь. И вот он звонит в нее, и голос его любимой за дверью спрашивает: «Кто это?». И он отвечает, дрожа от волнения при звуке знакомого голоса: «Это я». За дверью тишина. Через какое-то время голос спрашивает снова: «Кто это?» И он опять говорит, едва выговаривая от волнения слова: «Это я». И называет свое имя. Но дверь по-прежнему, заперта, и никто не выходит ему навстречу. И тогда он лихорадочно соображает, что так ему никогда не откроют. Никогда не откроют, потому что если он — это я, то она — это она, и это два разных человека, которые могут встретиться только на поверхности жизни и так и не узнать друг друга. И когда он слышит в третий раз голос за дверью: «Кто это?» — то, собрав все свое отчаяние и всю свою накопленную за эти месяцы смерть воедино и вложив их себе в горло и сердце, он отвечает — «Ты. Это ты». И дверь открывается.

— Я понимаю, — сказала Лена, — про что это. Я понимаю.

— Говорят, что это история про Бога и человека, — сказал Стеч и уставился вниз, на полоску берега, на которой валялись самые разные предметы, вынесенные к набережной волнами. В основном это были пластиковые бутылки, ветки, мокрые и высохшие на солнце до белизны, какая-то тряпка и пара пустых пачек из-под сигарет, блестящих тусклым целлофаном на солнце. Посреди мусора, на мокрой земле сидела чайка и смотрела в сторону речки.

— Конечно, — сказала Лена, и Стеч увидел, что она волнуется, — конечно, есть одна общая для всех история.

— Про Господа Бога? — спросил Стеч.

— Нет, потому что Бог у каждого — это что-то свое, тоже своя, как ты говоришь, история. Но общая точка, про которую ты думаешь, что это Роджерс, все равно есть, только это не Рождерс. Роджерс может быть общим для тебя с тем, с кем вы в детстве в него играли. Или для тебя и этой продавщицы, хотя нет, с продавщицей, наверное, у вас разные истории.

— У меня в детстве не было Роджерса, — сказал Стеч. — И у Лена, наверное, тоже его не было.

— Неважно, все равно вы вместе могли читать книжку про пиратов, и в ней стали одним и тем же.

— Вряд ли, — сказал Стеч. — Все равно каждый читает не книжку, а самого себя.

Он смотрел на чайку и поймал себя на том, что не мог оторвать от нее глаз.

Птица сидела среди мусора и никуда не собиралась улетать. Она была белая с серыми перьями, слегка подсвеченными солнцем и дающими от этого слабый розовый рефлекс. «Может, это в чайке истории перекрещиваются? — подумал Стеч. — Может, дело в Чехове? Лен ведь читал Чехова, и вдруг он вычитал там то, что на какой-то момент сделало его мной, а меня им? И мы с того чтения сразу поняли и полюбили друг друга без слов. Потому-то мы потом и встретились с ним снова и подружились. А может, не в Чехове, а в Бахе, том, который Ричард? В летчике. В 1952 году бригада десантников, в которую входил лейтенант Черненко, готовилась выкрасть Иосипа Броз Тито, главу тогдашней Югославии, при помощи планера и тайно доставить его на территорию Советского Союза, повторив таким образом виртуозную операцию под руководством Отто Скорцени, выкравшего из итальянского отеля «Кампо Императоре» сверженного Бенито Муссолини и переправившего его в Германию в 1943 году. Тито тогда сильно поссорился со Сталиным, в связи с чем и была разработана операция по его похищению.

Лен, даже пьяный, только один раз проговорился про то, как он летел в планере над границей с парашютом за спиной. Но что-то у них тогда не сработало, и операцию отменили. Вряд ли Стеч когда-нибудь узнает подробности этой истории. А через год Сталин умер. Может, Лен — это чайка?

И Стеч снова начал пристально разглядывать птицу, сидящую у воды, словно она должна была вот-вот приоткрыть ему главный секрет его жизни. Чем больше он углублялся взглядом и сливался воедино с птицей, с этими тонкими ногами, а главное, с бело-розовыми перьями, тем сильнее отходило все остальное в сторону, и это продолжалось до тех пор, пока Стеч не понял две вещи сразу. Первая была о том, что у него, Стеча, никогда не было своей личной истории и биографии. Всех этих событий, про то, как его оставила мать, и он жил с бабушкой, и они топили котельную в школе и пахло гарью и углем, а Лен был пьяницей, а потом через много лет они подружились, а потом Стеча бросила любимая женщина, и он от этого чуть не умер — *всего этого никогда не существовало.*

Когда он это понял, мир, казалось, бесшумно взорвался вокруг, и огромная тяжесть скатилась с его спины и упала вниз, к ногам птицы, а в животе словно зажглись веселые неистовые огоньки. — *Он все придумал, или поверил в то, что придумали ему про его жизнь другие люди, пусть даже и самые близкие.* Ничего этого не было. Существовали отдельные события, которые можно было связать не только так, но и совсем другой интерпретацией, совсем иной цветной ниткой. А можно было ничего не связывать, а просто стоять здесь на набережной, рядом с птицей и девушкой, и чуять огромную живую пустоту внутри себя, из которой все и рождается. Все. Потому что он теперь видел, как птица на берегу рождалась из этой пустоты, живущей внутри него, Стеча, и Лена тоже рождалась из этой его пустоты, и деревья набережной, и сама речка вытекала из нее тоже.

И второе, что увидел тогда Стеч, — птица внизу не была взрослой чайкой. Это был птенец, который, видимо, не знал, что ему делать дальше — то ли лететь в небо, то ли плыть по речке, а то ли сидеть тут дальше и ждать родителей. И поэтому романтический сюжет по поводу похищения Тито при помощи планера, который только что крутился в его памяти, здесь не проходил, и если он и

соотнес отца с чайкой, то теперь приходилось признать, что соотнес он его не со взрослой чайкой, а с детенышем, с птенцом, который, может, и летать-то как следует не умел. Конечно, тогда может выйти так, что и сам Лен так и не стал никакой чайкой, а, скорее всего, прожив свою недолгую жизнь, так и умер несмышленым птенцом, напрасно прождавшим на берегу довольно-таки захламленной реки своих мудрых родителей.

Но теперь это не имело большого значения, хотя и радовало, и волновало, и даже восхищало, но не так, как прежде, а совсем по-другому. Не имело значения и то, что его подруга Лена оказалась права и что действительно было, как он видел сейчас, одно общее для всех разных людских историй место, где они, эти истории, перестают быть выдумками одиноких и запутавшихся людей, которые боятся умирать и не хотят знать правды. И это — одно и то же, общее для всех слов, событий и историй — место имеют все люди в глубокой глубине своей груди — и теперь он ясно его видел. Но и это сейчас было не важно, потому что, когда ты оказываешься в нем, в этом перекрестке историй, само событие тоже не имеет никакого значения. Потому что теперь достаточно просто дышать и, словно в первый раз в жизни, видеть речку и как чайка сидит на берегу среди мусора, а на той стороне, над домами, заходит солнце, и знать, что ты неотделим от них, а они от тебя.

Павел Лукьянов

Запомни, как выглядит жизнь

* * *

на топор комары сели тощие и мясо не трогают,
черношёрстые псы тупоносыми чешутся мордами,
стая ос приседает и всё не присядет
на холодные щи и на жира холодную наледь,
муравьи лезут в хлеб, чёрный жук в капле масле шевелится,
куропатки убиты и свалены в кучу — на солнышке греются,
мухи вьются, и липнут, и ходят по птицам, влезают под перья,
вырван клок из земли и корнями отброшен к деревьям,
жестяное ведро застучало запрыгнувшей жабою,
нож по пояс в бревне, пауки заползают и падают,
золотые часы возле хлеба прожорливо тикают,
за кустами — река, и слышно, как в воду заходят и прыгают

28—29 декабря 2009, Барселона

Честное слово

запомни, как выглядит жизнь, захлопни за мной поплотнее:
какая худая спина и невыносимая шея.
я знаю, что нас миллион, я знаю, что нас не осталось,
такая внезапная смерть, такая с улыбкою жалость.
нащупай в отрубленных днях сустав указательный пальца,
останься на этом плацу, как слово должно оставаться.
скажи мне, что время прошло, скажи мне, что всё уже было,
глядят на меня пацаны и роют глазами могилы:
— ты — был, ты — пристреленный конь, твой подвиг уже не известен,
ты пал на последней войне, твоих не запомнили песен! —
но, нюхая потную кость, промолвят подросшие волки:
— какая прекрасная смерть! дай боже и нам путь недолгий! —
купание красных коней, с обрыва летящие пули,
и красные рты и круги, и ветры, которые дули.

Об авторе | Павел Лукьянов родился в Москве в 1977 году, окончил МГТУ им. Баумана, специалист в области техники низких температур, кандидат технических наук. Работал техником и бригадиром на заводах России, научным сотрудником в Европейском центре ядерных исследований (CERN, Женева). В настоящее время отвечает за криогенное обеспечение первого в Испании синхротрона. Стихи переведены на каталонский язык. Автор сборника стихов «Мальчик шел по тротуару, а потом его не стало» (М.: Б.С.Г.-Пресс, 2008). Один из основателей Русско-Каталонской ассоциации «ARCA» (Барселона, Испания). Живет в Барселоне.

исчезнувший заживо мир, утопленный в чане ребёнок,
и руки по локоть в воде, и запах раскрытых пелёнок.
проверь меня: вдруг — не погиб, потрогай холодную шею,
я молча открою глаза и молча промолвить сумею:
— зачем-то меня родила колхозная чёрная мама,
и я продолжаю рожать, и дети продолжат упрямо.
моё поколенье растёт — разорвано наполовину:
лицом на холодной земле, и сердце стучит через спину.
я помню о детской стране, о сдержанном мальчиком слове,
я выучен весь наизусть, я красный по виду и крови,
я знаю, что время прошло, но я продолжаю держаться:
стою под дождём на посту. один. в ожидании братства

март, 26 июня 2009, Барселона

* * *

но поздно. тихо. Киев вымер,
мир звёздно-полосат,
мы точно помним даты жизни,
вступая в этот ад:
солдаты с ясными глазами
шварцнеггерских детей
играют в карты на Анапу
и что-то там южней.
лети, младое поколенье,
по нашим городам,
неси нам всем освобожденье
с могилой пополам.
вложи в меня сознанье твари,
залёгшей под бревно,
роняй из гамбургера мясо:
я так не ел давно.
родной глагол английской мовы
вложи в мои уста,
перепиши моё пространство
с нечистого листа.
стоят иваны и миколы,
и снайпер вдалеке
глядит на их родные лица,
и все в его руке, –
как будто дети делят маму
под пулею отца.
дарю тебе, отчизна, счастье
дожить не до конца:
не видеть тёплого насилья
молочных губ гостей,
идущих с каменной улыбкой
по мясу площадей,
не слышать ангельский английский,
не быть в чужой горсти
и не сниматься перед смертью
в рекламе всей Руси

август 2008, Барселона, Москва

Ф.К.

Стихотворения В. Мааса

* * *

Сколько раз ни ночевал я в Москве, всегда это были
Убитые напрочь жилища, студенческие халупы,
За стёклами, рыжими от двадцатилетней пыли,
Будто бы перевёрнутого старинного телеприёмника огромные
многочисленные тусклые лампы,

Вздымавшиеся над долиной реки Сетунь, страшно мерцали
Всю долгую дождливую ночь, ни ответа, ни привета,
А люди, которые меня у себя принимали,
Всегда платили кому-то какую-то бешеную квартплату

За холодильник с изображением олимпийского мишки,
В котором не было ничего, кроме пакетика засохшего лавра,
За белым огнём горящие бессонные высотки и многоэтажки.
Однажды я ночевал даже в келье Троице-Сергиевой лавры,

Но в пустыне московской гораздо больше монахов,
Тусклые металлические колбы церквей в ясный день, бронзы обшарпанной
листья,
Лица моих новых виртуальных друзей я помню плохо,
Но зато хорошо — их бессонные обречённые подъезды, все похожие на тот
подъезд, где убили Влада Листьева.

С экрана старого телевизора со снятой задней крышкой,
Стоявшего в доме моего деда на две тысячи сто втором километре,
Смотрел этот мертвец в красивых подтяжках,
И вот по лицу его пробегала рябь, как от свежего ветра.

Как свежего ветра свист, осин облетевших шорох,
И вот уже тебе ни Явлинского, ни Гайдара
За две тысячи километров в доме без шторок,
Когда изображение пропадало,

Предпринимался магический ритуал телевизионного вуду —
Шевелишь отвёрткой пыльную электронную колбу,

Об авторе | Ф.К., предпочитающий скрыться за этими инициалами, лицо вполне реальное, родился 7 февраля 1980 года. Историк по образованию, читает на истфаке Тюменского государственного университета историческую географию и библиографию, работает в тамошней университетской библиотеке в отделе редкой книги. Стихи воображаемого подростка В. Мааса были написаны во второй половине нулевых годов. Некоторая часть их опубликована в сборнике «Тюменские ночи» (Тюмень: П.П.Ш., 2009). Живет в Тюмени.

И где-то в Москве медленно загораются вечерние башни МГУ и МИДа.
Трогается остановившийся в тоннеле поезд, с облегчением выдыхают
полупрозрачные толпы.

А ночью проснёшься на полу, на пыльном паласе,
Охваченный смутным восторгом покатавшегося на метро,
В столице этой бездомности, у потёртых золотых ананасов
Падает мокрый снег в банном свете прожекторов.

* * *

Тюменский свет школьный, банный,
В кукольном домике мутно окошко,
А в нём кто-то лохматенький, после ванны
причёсывается, глядя в ложку.

И спать ложится, трещат лестницы, рамы,
По стёклам ползают мохнатые мотыльки,
Гостиный двор, городская Дума,
Пять церквушек по высокому берегу стальной блестящей реки.

И соловьи здесь не поют, а сидят молча,
Такие толстые серые птицы, освещённые неровной луной,
Завёрнутый в пыльную фланель серебряный колокольчик,
Только иногда звякнет, пойдём, поедем со мной,

В тёмном воздухе на секунду вспыхнет как бы ацетиленовая горелка,
Как бы Юдифь, подкрадывающаяся к спящему великану, на секунду обнажившая меч,
И запрыгают тюбики на заставленных хламом полках,
И посыплются вниз, как десантники, падающие в глухую мёртвую ночь.

* * *

Раньше мы все часто видели неопознанные объекты,
Синий свет будил по ночам, и внезапно озарялись сады,
На столе голубела белая чашка, сияли вчерашние объедки,
О, эти лунные тени оставленной с вечера на столе зачерствевшей еды!

Хотелось жить этой жизнью микроскопического героя,
Быть Сильноруким Нилом, вышагивающим по кладбищу с дохлой кошкой,
На белом пути каждую ночь вытягивалась большая,
Как от могилы, длинная тень от маленькой крошки.

А в небе сияла Земля, космический телевизор,
В золотой и серебряный век таинственных сериалов,
Когда каждый кусочек сыра был египетским обелиском
В лунные ночи, и заснувшей Англией — серое одеяло.

Дома, двухэтажные чёрные сундуки, карты, лампы,
Спящие люди среди снежного, запорошенного барахла,
И каждый лист, оторвавшийся от полночной ноябрьской липы,
Летит, вращаясь, как заброшенная космическая станция, полная зла.

Русалки

Все были в тёмных странах,
Каждому случалось вечером идти,
И призрачные бараны
Переходили призрачные пути.

В те годы, отгоняя комарика,
К дому направлялся неверным шагом молодой дед,
В зелёных душных суконных сумерках,
Сливающихся в единое неразборчивое лет.

В этот час, когда темно и глаза слипаются,
Среди этих, так сказать, родимых полей.
Светят только голые задницы,
Большей частью невидимых каких-то людей.

Что они там делали в кустах у реки, купались голыми,
Или что они там делали, в кустах у тихой реки,
Никто никогда и не вспомнит, спустя долгое время,
Скрылись давно в могилу их эти грехи.

Рваные калоши выкопает огородник, копая картошку,
Кусок мотоциклетного карбюратора, битый стакан,
Но не выкопает самого нежного прошлого,
И только за огородами вечером призрачный баран

Блеснёт, как сломанное стёклышко от фонарика,
Или ржавый, в песке похороненный, велосипед,
В зелёных душных суконных сумерках,
Сливающихся в единое неразборчивое лет.

* * *

Ночи бархатные, широколиственные, с огонёчками в детских спальных,
С колыханием папоротниковым или лопуховым,
Голова оленя в лунном свете, в кустах от лунного света пыльных,
Гобелен из магазина «Сияние», поблизости расположенного, плохого.

Розы рдеют, старая герань алеет,
За решётками в магазинчике запертом, как в тюрьме,
Когда мне говорят, что в мире нет лёгкости, я свирепею,
А голова оленя поворачивается и смотрит во тьме.

* * *

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день,
Вот тебе, дедушка, и подшивки журнала «Радио» за семидесятые-восьмидесятые годы,
Больше уже не поеду туда, где
Курица высиживает яйца на старом комоде.

В котором сын ваш до армии хранил фотопринадлежности
Проявитель, фиксаж и прочие нежности.
Когда его провожали, он всё бегал смотреть на только что родившихся котят в кочегарку,

А через два года вернулся и выбросил всё на свалку.
Остались только пыжи из войлока, порох бездымный,

Да медных гильз тусклые цилиндрики по полу всему рассыпались,
Выстрел грохает в небе весеннем бездонном,
Разгружают доски, или кто-то *выхлапывает палас*.

* * *

Строители совсем и не думали,
Когда подвозили брус и паклю,
Что этому построенному наспех дому
Выпадет простоять такое количество лет.

Что, пальчиками отколупывая замазку,
Не отражаясь в замаранном пылью стекле,
В нём будет стоять и пялиться во двор самый мерзкий
Маленький мальчик на земле.

На двери печной выбитая звезда,
За нею огни обширного города Содом и Гоморра,
Мальчик иногда заглядывает туда,
И его бледное лицо озаряется пожаром.

Когда-то в будущем веке, лёжа у себя на втором, он
Уронит сигарету между досок в едва заметный просвет,
Строители и не думали, что этому выстроенному наспех дому
Выпадет простоять такое количество лет.

* * *

Люди здесь были как пламя,
Гудящее за чугунной дверцей,
Выйдет просто пописать на улицу,
А обратно уже приносит целого зайца

Показать ребятишкам, тащит из шапки,
Пахнущее, серенькое, дикошарое существо,
Где же я совершил ошибку,
Написано как будто в этих вежливых влажных покорных детдомовских глазах
у него.

Да нигде ты не прокололся, смеётся хозяин, точно,
Просто не повезло тебе сегодня, серая тля,
Ты не бойся меня, я выписываю журнал «Юный натуралист» и очень
Люблю повести В. Солоухина и Юрия Коваля.

Щас попьём чаю, со смородиновым листом, дети на тебя посмотрят,
И пойдём, отпущу тебя в тёмные, мокрые, под фонарём блестящие, родные кусты,
Да ты не бойся, чего ты, сопли-то вытри,
Мы же с тобой (изображая Маугли из мультфильма) одной крови, я и ты.

Потом уже расслабился, и, правда, уже не страшно,
Зайчик вместе со всеми на краешек дивана присел,
Синий свет телевизора, останкинская башня,
А вокруг на тысячи километров ужасные ночи, одни лагеря и медведи, Коми АССР.

И правда, одной крови, на фотографии, сделанной в прошлом веке,
Под самым подбородком застёгнут замок,

С заячьими глазами девятиклассник в олимпийке
Держит в руках дрожащий меха серый комок.

* * *

В школе убили учительницу пения, и теперь по ночам она играет на пианино.
Сидишь внизу в вестибюле, а из лестничного колодца доносится её жуткое «К Элизе».
Школа похожа на пачку сигарет, потерянную среди коробок микрорайона,
В ней светятся два окна — одно у вахтёра, а другое на четвёртом этаже, в запертом классе.

В гардеробе пустом осталось одно пальто, но не моё,
С какой-то дурацкой собачкой на груди, а я никогда не носил собачку,
Так что это я сижу в вестибюле, слушаю, как она поёт,
Жду, когда кто-нибудь из взрослых придёт за своим сыночком.

Аккорд за аккордом, унылые школьные звуки в запертом кабинете музыки,
Ещё неизвестно, кто тут большая жертва, Бетховен или учительница, убитая неизвестным изувером,
Запирая за нами двери, вахтёр не выглядит одиноким,
Ведь скоро начнётся новое интересное кино «Рабыня Изаура».

И вот мы идём, и вот тогда-то я и замечаю впервые на проводах эти парашютики,
Словно десант гномов их там оставил, и в снег попрыгал, порезав тонкие нити,
Папа, там парашютики, что это за парашютики, спрашиваю я шёпотом,
Но отец не может меня понять, взрослые их не видят.

Крым

Я еду, мне четырнадцать лет,
Возле каменных утёсов, поросших лесом, и между арок,
Эй, обезьяны, у меня есть билет,
Я не какой-то придурок.
Степь да степь кругом, в ней девушка смотрит из-под руки,
У неё плуг, у неё чашки и ложки, у неё холодильник,
А мне ещё далеко до тёмных станиц, до тускнеющей в камышах реки,
Я в Гусь-Хрустальном покупаю хрустальный светильник.
Я в городе Кирове покупаю плюшевую игрушку для никого,
Просто есть ощущение, что всё должно измениться в конце дороги, занудной и длинной.
Восходящее солнце освещает на столике ядовито-жёлтого льва,
И бескрайнее поле подсолнухов, и Сашу, заболевшего от холодного пива фолликулярной ангиной.
А ночью в купейном вагоне идут по коврам рэкетиры,
В туалете железном звякает заслонка, крутится сам по себе рулон,
Тёплые слёзы струятся сквозь нежные поры,
Свистящий дождь прилетает со всех космически нереальных сторон.
Я еду, мне четырнадцать лет,
Звёзды становятся больше, и вот уже не помещаются между грязных оконных шторок,
Эй, обезьяны, у меня есть билет,
Я не какой-то придурок.

* * *

Как подросток, которому не отвечают взаимностью,
Как студент Ансельм, в эфемерную золотую змейку влюблённый,
Я стою на улице, окутанный снежной туманностью,
Улице Ямской, на которой фонари, как светящиеся лимоны.
Это было время, когда я покупал два лимона и клал их в карман,
А в другой карман — пачку чая «Принцесса Канди» или «Принцесса Нури»,
И шёл домой, а там, на углу Казанской, стоял наркоман,
Который хотел, чтобы в его кармане оказалось немножечко дури.
Разделённые всего лишь несколькими пыльными классами,
Мы с ним учились в одной, похожей на дом с привидениями, двадцать второй средней школе.
Юноша-Фосфор, его судьба была тесно связана с химическими процессами,
Хоть они были не столь изящны, как раскрашенные аллегории.
Я назвал его Фосфор, потому что вся его жизнь
Была пронизана желанием не очень светиться.
Тихо стоять, курить в темноте на этаже,
На снегопад смотреть, возвращаться домой бояться.
В окна моей комнаты ночью влетали камни,
И, пока они висели в воздухе, а стекло ещё не успевало коснуться пола,
Я отбрасывал одеяло, садился на край дивана и говорил себе: «Помни,
Ведь это когда-то будет казаться тебе даже милым».
Юноша — Фосфор, мой брат, Ян Фазылов,
Все, кому в жизни не подал вовремя руку,
Проходят в этот час по улице, не имея тела,
В виде воспоминаний, изнутри светящихся духов.

* * *

У щербатого ларька «Улыбка», где две буквы не светятся,
На стеклянной остановке, но с выбитыми стёклами, и до самого моста,
Будешь тихо идти, и никто тебе в этот час обычно не встретится,
Кроме одинокого гопника, который однажды пристал.
Говорит, дружище, тебе куда идти, я говорю — на Ямскую,
А мне — говорит — на Бабарынку надо идти,
А тот, кто идёт ночью один, сильно рискует,
Так что давай пойдём вместе, поскольку нам по пути.
Как жемчуга на чистом блюдце, у него не блестели,
У него блестела бутылка знаменитого вонючего джина в руке,
И так мы пошли в покачивающихся призраках метели,
Там, где Заречье тысячей тусклых фонарей спускается к реке.
Это было безумное радио с бутылкой вонючего джина,
Самое главное не молчать, иначе подумают, что ты не мужчина,
Он говорил про то, как он много пьёт, хвастался кастетом,
Что в день города переспал с кем-то в кустах возле университета.
Было ясно, что он тоже никого не сможет ударить,
Когда мы по улице Республики продолжили свой путь,
Заинтересованно вглядываясь, кто там дальше на тротуаре,
потому что с улицы Республики некуда свернуть.
И, несмотря на внутреннюю подозрительность, олицетворяемую Яном Фазыловым,
Мы дошли до Ямской с ним вместе через усиливающийся снегопад,
И своеобразная его улыбка долго ещё в светящем небе висела,
Которой иногда улыбается город Тюмень, как Чеширский кот.

г. Тюмень

Екатерина Завершнева

Бабушка

рассказ

Читая повести, номинированные в 2009 году на премию имени Ивана Петровича Белкина, я обратила внимание на книгу, представленную издательством «Лимбус». В ней были три произведения неизвестной мне Екатерины Завершневой: две повести и цикл рассказов. На премию номинировалось одно, настолько интересное по задаче, которую поставил себе автор, что я прочитала все. Все были радикально разные, и все меня восхитили изобретательностью автора, умением ставить непростые задачи и решать их элегантно, без видимой натуги.

Повесть Завершневой как удачу отметил еще один член жюри — режиссер МХАТа Марина Брусникина. Она даже поставила фрагмент из нее на своей Малой сцене. Но на премиальных дебатах ввести эту повесть в пятерку лауреатов не удалось. Дело, думаю, в том, что большинство в жюри составляли мужчины, а повесть — о любви. Хотя тема повернута так интересно, а прием изложения выбран столь неожиданный — доказательств, что это не «сопли», я подобрать не смогла. Как и сейчас, наверно, не смогу объяснить, чем традиционная автобиографическая повесть о детстве, представленная здесь, отличается от многих ей подобных, увлекающих читателя свидетельствами конкретной судьбы. С такими повестями большинство прозаиков входит в литературу — они очень часто бывают удачны, — поэтому проблема написать вторую вещь — уже не о себе — становится особенно острой…

Катина повесть отличается тем, что это не первое произведение, и даже не второе и не третье. Что простота изложения ей, склонной к артистической игре со словом и сюжетом, владеющей массой прихотливых приемов, — дается непросто, но тема требует именно этого. То, что Завершнева умеет писать без стилистических изысков, для меня снова открытие.

Полную неизвестность мастерски владеющего словом писателя в наших литературных кругах я объяснила себе тем, что автор очень молод и вроде бы из Питера, поскольку книгу издала в питерском издательстве, — а это город с самодостаточной культурой, многие не рвутся за его границы… Но нет, Екатерину Завершневу девочкой не назовешь, и она москвичка — преподаватель факультета клинической психологии МГМСУ, кандидат психологических наук,

Об авторе | Екатерина Завершнева родилась в 1971 году, живет в Москве. Автор книг «Сомнамбула» (М.: Лимбус Пресс, 2009) и «Над морем» (М.: Р. Элинина, 2009), участник литературного объединения «Полутона». Стихи, проза и аналитические эссе публиковались в журналах «Новое литературное обозрение», «TextOnly», «РЕЦ», «Reflect» и др. Окончила факультет психологии МГУ, кандидат психологических наук, автор тридцати научных работ на стыке философии, методологии и психологии. Преподает в высшей школе, руководит исследованием архива Л.С. Выготского.

специалист по истории психологии и конкретно по Выготскому. Прозу пишет действительно недавно, но в последнее время это занятие, как она признается, забирает ее полностью. Поэтому мы ждем от нее многого и желаем ей как прозаику вполне состояться.

Анна Кузнецова

С яростным сознанием собственной правоты она дожила до преклонных лет и никогда ни в чем не раскаивалась. До последнего дня она все делала сама — мыла полы, ходила в магазин, готовила еду, и никого, кроме меня, в свою комнату не пускала. Я была связным, которому доставалось с двух сторон — от матери (за то, что я пропадаю у бабушки) и от бабушки (за предательство). Особых моральных мучений я не испытывала. Ведь в ссоре были они, а не я.

Бабушка умерла, когда ей исполнилось девяносто, через неделю после дня рождения, во сне. Мелкая рябь дыхания, камень падает в воду, ложится на дно, круги достигают берега, и она уже далеко. Меня не было рядом, когда это произошло. Я уехала на каникулы, путешествовала по Крыму автостопом, домой звонила раз в неделю — и то только потому, что звонили остальные и приходилось торчать в очереди на переговорной. По телефону новость прозвучала глухо, обыденно, и я как-то сразу в нее поверила. Похороны позавчера. Я поцеловала ее за тебя.

Мама, вы помирились? Нет, конечно. Но она умерла легко, значит, у нее на душе было легко, понимаешь? А это все равно что помириться.

Потом мама рассказывала, что после смерти ее лицо помолодело до неузнаваемости. Я никогда ее такой не видела, добавила она удивленно. Даже в детстве.

Мамино детство прошло на хуторе под Ставрополем. Трудное и горькое, мама не любит о нем вспоминать, поэтому семейных историй у нас немного. Ее лучшим другом был поросенок Борька, которого бабушка выиграла в лотерею. Им несказанно повезло — поросенок в те годы ценился не ниже автомобиля. Борька жил в доме и ел то же, что и остальные члены семьи, — картошку, картошку и снова картошку. Даже когда сделался неповоротливым и шумным хряком, его все равно не выгоняли на улицу. А потом, голодной послевоенной весной, бабушка зарезала Борьку своими руками. Она вообще была решительной. Соломенная вдова, директор советской школы. На руках двое детей и еще полшколы в придачу, потому что многие тогда остались без родителей. Тут уж не до сантиментов.

Впрочем, люди ее мало интересовали. Именно поэтому, наверное, ей удавалось успешно ими руководить. Если нужно было организовать апрельский субботник или День пионерии — всегда обращались к ней. До выхода на пенсию она держала в кулаке нашу десятую школу, которая при ней всегда была первой в городе. Правительство наградило ее орденом Трудового Красного Знамени и еще какими-то медалями; она хранила их в секретере вместе с документами и фотографиями, по-видимому, не особенно ими дорожа. Для оформления бумаг на орден ей пришлось сфотографироваться. На обороте она твердым учительским почерком написала: «Это мой последний снимок. Больше сниматься не буду». Так я поняла, что ей неприятна собственная старость. Но я-то никакой старости не замечала. Высокая прическа, снежно-белые волосы, кружевной воротничок, гранатовая брошь. Нет, старушкой она так и не стала.

Еще я помню, как она тайком давала сахар нашей собаке Каштанке, несмотря на строгий запрет ветеринара («я вас предупредил — ей нужна строгая дие-

та, иначе долго не протянет»), жарила ей котлеты (почему не скормить просто сырой фарш?), варила кулеш (супчик — для собаки?). Три кошки, обитавшие в нашей квартире, постоянно толклись в бабушкиной комнате, а ночью спали у нее в ногах, однако на собраниях домового комитета бабушка всегда голосовала за то, чтобы в очередной раз извести кошек в подвале. По утрам она разбрасывала во дворе отравленные кости, чтобы их сгрызли бродячие собаки. Бездомные животные, в отличие от домашних, не имели права на существование, потому что портили ее цветник.

Цветы были не просто смыслом ее жизни. Они были оправданием мира.

Бабушка вставала рано, потому что земля требовала ее к себе. Не могу вспомнить, что она делала зимой, когда цветник становился отстраненно-белой поляной и не нуждался в ней, забывал о ней, отрекался от нее, как она, бывало, отрекалась от своих детей, когда они своевольничали. Для нее новый год начинался в конце марта, как у огнепоклонников или мусульман; трудолюбивая ярость, просыпавшаяся в ней весной, тоже напоминала о Коране, как и те орнаменты, которые она составляла, высаживая лентами, квадратиками и кружками разноцветные маргаритки. Потом, когда она умерла, мы пытались какое-то время ухаживать за садом, но земля уже успела привыкнуть к ее рукам, и сад быстро зачах, а бесхозные остатки разграбили соседи.

Все мои атеистические представления о рае произросли оттуда. Стрекозы в сирени наблюдали за мной глазами ангелов. Ирисы, распускавшиеся ко дню рождения, наводили на размышления о реке, которую ты пересекаешь только один раз, лежа на дне лодки без весел. Цветов было столько, что хватало чуть ли не на весь город. Бабушка никогда не отказывала просителям. Без всякой жалости она срезала лилии, нарциссы, розы и на их месте как по волшебству вырастали новые. Это был, согласно справочнику растениеводства (Сельхозгиз, 1949), *сад непрерывного цветения*. Крепкие тогда делали справочники — семьсот пятнадцать страниц, и ни одна не выпала до сих пор.

Сварливый слесарь из домоуправления, смастеривший из обрезков трубы настоящий фонтан для цветника, очевидно, тоже был не от мира сего, хотя, как и полагалось слесарю из домоуправления, никогда не просыхал. По вечерам они с бабушкой сидели в саду на скамеечке и смотрели на радужные брызги, стоявшие над сытой, сонной землей, на темно-зеленую листву и белые звездочки дикого табака, светящиеся в сумерках.

И все же недоброжелателей было больше, чем сочувствующих. Граждане, не привыкшие работать с удовольствием, воспринимали садоводческий фанатизм моей бабушки как признак старческого слабоумия. Они не знали, что бабушка всегда была такой. Даже в трудные годы, когда у детей выпадали зубы от недоедания, она разводила цветы. С приходом весны под окнами школы появлялись крокусы, а потом гиацинты, распространявшие невозможный аромат, который заставлял забыть о голоде. Люди смотрели на них, как на чудо, и им в голову не приходило, что чудо можно сорвать, растоптать, присвоить, говорила мама. Но теперь все иначе. Воры потеряли всякий стыд. Украсть, а с утречка продать на рынке. Почему так получается? Теперь, когда можно есть досыта и жить в тепле, люди стали расчетливыми. В наши времена тоже было много подлости, но она была какая-то более искренняя, что ли…

Я в дискуссии не вступала, потому что тема «о том, как раньше было хорошо, а теперь стало плохо» — это не моя тема. За прошедшие семь тысяч лет люди мало изменились, говорила я, и все они разные. Есть молодцы, есть подлецы, что до процентного соотношения между ними, то оно точно такое же, как раньше. Конечно, кивала мама, конечно. Я просто устала. Надоело гонять воров, сле-

дить, чтобы не выкапывали, не бегали под окнами, не топтали. Днем-то ладно, а вот ночью… Иногда по два-три раза за ночь поднимут, накричишь на них, потом трудно заснуть. Удивительно, как ты крепко спишь, ничего не слышишь, и бабушка тоже. Два сапога пара. А мы с отцом по ночам чаи гоняем, о смысле жизни говорим, что еще остается, если заснуть не можешь.

Бабушке много раз предлагали заняться разведением цветов на продажу, но она даже слушать не хотела. У меня все есть, говорила она, на что мне ваши деньги? под матрасом держать? Настоящим оскорблением, которое она всегда сносила молча, было зрелище вытоптанных клумб; растения, вырванные с корнем ради забавы, лежали на дорожках и сохли, она подбирала их, складывала в кучку, сжигала, и так каждый день. Ее утро начиналось с уборки органического и неорганического мусора. Жильцы нашего подъезда бросали с балконов стеклянные банки, пакеты с водой, помидоры, тухлые яйца, горящие сигареты. Целили, как правило, прямо в голову. Покурив на балконе и посозерцав райские кущи внизу, они чувствовали себя обязанными поставить жирную точку в затянувшемся процессе катарсиса. Эти граждане небезнадежны, говорил папа. Красота не оставляет их равнодушными. Они выражают свои чувства как умеют, как их научили.

Однако перевоспитать никого не удалось, мичуринская технология не работала. Черенки благородной культуры не прививались, торжествовали дички. Бабушка дважды попадала в больницу с черепно-мозговыми травмами, виновники были известны, но никто и не думал их наказывать.

Я была права, мама. Люди не меняются. Разве не так?

Детство, отравленное цветами. Нет, никто не заставлял меня полоть грядки, опрыскивать кусты или поливать деревья. Хотя чего там поливать — положил шланг под дерево и сиди, отдыхай. Такую помощь я иногда предлагала сама, когда подружки разъезжались по дачам и гулять в одиночку было скучно. Очень рано я поняла, сколько жизненной силы вытянула из нас эта земля, сколько дней, месяцев и лет ушло в нее, одеревенело, вздулось корневищами, рассыпалось семенами. Земля под окнами нашего дома была переполнена материнской нежностью, отнятой у меня и у мамы. Туда ухнула, как в колодец, бабушкина жизнь, вся, без остатка.

К покупным букетам мы испытывали законное презрение. Я слишком хорошо знала, что такое настоящие цветы, чтобы восхищаться голландскими розами, которые тогда начали появляться в продаже. Они сиротливо стояли в витринах, дожидаясь, пока кто-нибудь подойдет и купит, — одинаковые, на длинных голых палках, перекормленные химией, подкрашенные чернилами. Когда мне дарили такие розы, я испытывала смешанные чувства; благодарила, конечно, но без особого энтузиазма. Другое дело — цветы общественные, ничьи. Пыльные ноготки, космеи на тоненьких ножках, тюльпаны с дырявыми листочками, проеденными улитками, вездесущие анютины глазки… Каждый раз, разглядывая городские клумбы с их нехитрой орнаменталистикой, цветочные бордюры, школьные палисаднички, самодельные альпийские горки, я ощущала себя десятилетней девочкой, которой сейчас дадут лейку или *царапку* для рыхления земли (бабушкино словечко). В памяти мгновенно оживал запах ухоженной, хорошо пролитой земли, пропитанной коллективным трудом. Юбилеи, годовщины, парадные линейки. Моя бабушка в неизменном коричневом костюме с белым кружевным воротничком. Первое сентября, охапки цветов. Срезанные головки, аккуратно подстриженные дети, все сыты, одеты, обуты. Все живы. Все спасены.

В тридцать седьмом году бабушка отреклась от мужа ради детей. Мой дедушка, которого ни я, ни мама никогда не видели, был учителем немецкого язы-

ка и занимал пост директора средней школы, и это почти все, что мне о нем известно. Как было принято в те времена, за ним пришли прямо на урок. Деда осудили на десять лет исправительно-трудовых работ и сослали куда-то в Сибирь, во всяком случае, так сообщалось в официальном извещении, которое пришло по почте. Моя мама тогда еще не родилась, а ее старшему брату Павлику было три года. Бабушка прочла извещение, и на следующий же день без колебаний выступила на партсобрании. Она произнесла все необходимые слова, что помогло ей сохранить не только семью, но и работу — бабушку назначили директором вместо деда. Она уничтожила его фотографии, письма, тетрадки с упражнениями по немецкой грамматике, сказала Павлику, что у него нет отца, вернула себе девичью фамилию и поставила в этом деле точку.

Для мамы никакой точки и быть не могло. Стремление узнать что-то об отце жгло ее с раннего детства, это был своего рода инстинкт, который гнал ее вон из дома. По окончании пединститута она сразу же уехала в Сибирь. Комиссия по распределению была удивлена ее выбором: мама отвергла сравнительно благополучный Ставрополь и сама попросилась в Иркутск. Она шла против течения, из шестидесятых в тридцатые, упорно, к верховьям реки, к первопричине; переезжая с места на место, от зоны к зоне, искала отца.

Географию Сибири мама изучила досконально. В Ленске она прожила целый год — много спецобъектов, пока все обойдешь — и даже успела обрасти друзьями и подругами, которые потом приезжали к нам в гости. Под Иркутском она преподавала заключенным естественные науки, разговаривала с убийцами о любви, почему-то ей многие доверяли. Среди маминых учеников был, например, невероятно способный к математике юноша лет двадцати, который из ревности зарезал свою невесту. Восемнадцать ножевых ранений. Новый Лобачевский, говорила она. Красивый, высокий, с тонкими чертами лица, очень любил стихи. Или еще один, полуграмотный детина, который ради нее дошел до квадратных уравнений и только потом сорвался. Мама рассказывала, как к ней в комнату влетел перепуганный сотрудник СИЗО, сунул ей в руки билет на поезд. Никаких уроков больше не будет. Возвращайтесь домой. Вас проиграли в карты.

Что? Что это значит?

А вы не понимаете? Быстро пакуйте вещи — и на станцию. Я подвезу.

Мама собирала слухи, справки, страхи. Но только спустя пятьдесят лет после того, как мой дед ушел со своего последнего урока в никуда, она узнала, что он не был ни в какой Сибири. Его расстреляли сразу же, через неделю после ареста. А потом в течение нескольких лет по почте приходили извещения, в которых семью информировали о его перемещениях по стране — этапирован туда-то, переведен на другой режим, и так далее. Мы верили, что он жив, говорила мама. Я верила, что найду его. А бабушка? Она и слушать не желала. Впрочем, никто не знает, что она делала там, за закрытой дверью своего директорского кабинета. Плакала ли она когда-нибудь, отчаивалась, просила помощи? При мне — никогда.

Что бы это значило, мама, спрашивала я недоуменно. Кому понадобилось вести многолетнюю казенную переписку с семьей врага народа? Шутка хороша, когда она доходит, но ведь в те времена и предположить было невозможно, что тайное сделается явным — рядовой учитель, рядовая судьба… Ты потратила пять лет жизни, а узнала только дату смерти и номер статьи, остальное восстановлению не подлежит. Был человек — и нету, стерли. А эти извещения, издевательство какое-то… Я не понимаю, чего добивался тот чиновник, который их посылал! Может быть, он хотел дать надежду?

Какие у тебя романтические представления об этой системе. *Чиновник, надежда*. Сидит человек на рабочем месте, выполняет служебные обязанности…

Знаешь, после того, что мы пережили, эти наши ночные воры такая ерунда. Вот, посмотри хотя бы на меня. Ведь я могла и не родиться. Или родиться в зоне... Полгода мы жили под оккупацией, нас таскали в гестапо, потом бомбили, свои и чужие. Потом партийные собрания, надо было снова доказывать… Потом голод. Да что там говорить…

И вот теперь у меня есть дом, и твой папа, и ты. Отца реабилитировали. Никто не стучит ночью в дверь. Может быть, я просто встаю по привычке.

Все образуется, Катя, вот увидишь. Иди спать.

За все эти шестьдесят лет бабушка не сказала о своем муже ни слова. Она вообще умела расставаться. Когда сын женился против ее воли, она аккуратно отрезала его со всех фотографий. Брак оказался счастливым, дядя очень любил свою жену, десять лет они мыкались по общежитиям, сначала вдвоем, потом с тремя дочками, много болели, много работали и наконец получили крохотную квартирку в центре города, с видом на памятник Ленину и городской розарий. Дядя сразу же написал бабушке, чтобы она приезжала к ним жить. Бабушка даже не ответила. Голодранец, сын голодранца, говорила она. Письмо я нашла в секретере после ее смерти. Бабушка его сохранила.

Отправляясь на поиски своего отца, мама получила в спину самую настоящую анафему. Обратно можешь не возвращаться. И попомни мое слово — счастья тебе не видать. Привычка проклинать, унаследованная от польских предков, никогда не подводила. Я выслушала от мамы много версий относительно ее загубленной молодости, и все они были связаны с идеей проклятия. Меня страшно злило, что она, взрослая женщина с двумя высшими образованиями (кандидат наук! завсектором конструкторского бюро!), до сих пор верит в эти бабушкины сказки. И при чем тут загубленная молодость, спрашивается? Муж, семья, отдельная квартира, работа по специальности — чего ж ей не хватает до полного счастья?

Маме было уже за тридцать, когда она встретила папу. По образованию он тоже был физик и потому не верил ни в какие проклятия. Он единственный умел разговаривать с бабушкой, когда обстановка в семье раскалялась до предела. Она слушала его, насупившись, и молчала. Давно изжитые представления о том, что такое мужчина в семье, все-таки просыпались в ней. Она не снисходила до развернутого ответа, но, что называется, принимала к сведению. Разговор со стороны выглядел как пустяковая беседа, хи-хи, ха-ха, шуточки и больше ничего. Папа не отличался внушительным видом, не стучал кулаком и не сверкал очами, но почему-то доходило. После его визитов в бабушкину комнату (правда, она его дальше порога никогда не пускала) в семье воцарялся покой. Не мир, конечно, но все лучше доброй ссоры.

Пока бабушка работала в саду, я хозяйничала в ее комнате, рылась в *безвкусных* безделушках (мамин комментарий, а у мамы действительно был превосходный вкус, развившийся в советском эстетическом вакууме, еще одно ботаническое чудо). Перламутровые пуговицы, стеклянные бусы, брошки в виде пальмовых и оливковых веточек, фальшивые драгоценности размером с куриное яйцо, фигурки балерин с отбитыми конечностями, старые кошельки (бабушка говорила «портмоне», а мне было смешно, такое неуклюжее толстокожее слово). Я уносила сокровища к себе в комнату. Я знала, что к воровству это не имеет никакого отношения, но взрослые думали иначе.

Бабушка, обнаружив очередную пропажу, жаловалась на меня родителям. Посмотрите, кого вы вырастили! Воровка и лгунья, а ко всему прочему еще и трусиха, потому что не признается. Чего, собственно говоря, ожидать, если мать целыми днями на работе!..

Мама работала во вторую смену, а в первую садилась в электричку и ехала в Москву — за продуктами. Или стояла в очередях, если что-то давали у нас. Я ее видела только по выходным, за стиркой, уборкой или готовкой — никогда без дела. Даже если она смотрела телевизор, ее руки были заняты — глажкой, вязанием, шитьем. Я была непроходимо глупа и думала, что мама должна проклинать свою беспросветную, как мне тогда казалось, жизнь. Я не хотела стать такой же, всеми силами стремилась вон из дому, и только потом поняла, как мы были счастливы в нашей маленькой квартирке со скрипучими полами и сквозняками изо всех окон.

В общем, бабушка не упускала возможности настучать на меня родителям. Им приходилось педагогически реагировать — с переменным успехом и по большей части путем словесной обструкции, хотя бабушка требовала выдрать меня сей же час, не сходя с места. Иногда ради смеха папа доставал ремень и, сложив его вдвое, страшно щелкал им в воздухе. Это символизировало неотвратимость наказания. Но гораздо страшней были другие санкции, например, неделя без конфет. К счастью, она никогда не длилась столько, сколько ей положено. Через два-три дня конфеты возвращались на стол, и я наверстывала упущенное, а окружающие делали вид, что так оно и должно быть.

Наверное, ко мне был прикреплен какой-то ангел из нашего сада, потому что ссоры и их последствия скатывались с меня как с гуся вода. Я точно знала, что правы и те и другие. Когда бабушка доносила на меня, а потом потихоньку совала мне барбариски и свистящим шепотом ругала родителей (изверги, наказывать маленького ребенка!), я конфеты брала, а ее слова отшелушивала вместе с фантиками. Детская любовь на части не делится. Мне нужны были все трое, и ради этого я была готова жить на пограничной территории, тем более что такое положение обеспечивало двойную порцию сладкого.

Любимая внучка, единственное растение, которое прижилось в тени старого дерева, бледный бесхлорофильный цветок. Думаю, что мое детство оказалось счастливым, потому что у меня была такая бабушка, и что яблочко недалеко упало от яблони, как неоднократно в сердцах говорила моя мама, поражаясь невиданному упрямству, которое, по ее мнению, было генетически обусловлено и коррекции не поддавалось. *Бабушка родимая*, восклицала она, сталкиваясь с проявлениями моей подростковой строптивости. В переводе на человеческий язык — ты не моя дочь, ты ее дочь, копия, один к одному, такая же твердолобая. Это восклицание означало мою победу и мамино бессилие. После *бабушки родимой* ей оставалось только махнуть на меня рукой и уйти. Живи как знаешь, но потом не жалуйся. Смешно, ей-богу. В нашей семье никто не жаловался, не было такой привычки.

Помню, как бабушка водила меня по саду и объясняла, что надо с ним делать, когда она умрет. Мне тогда было лет десять, и прошло еще столько же, прежде чем пришлось применять знания на практике. Было скучно. Дельфиниум я выучила только потому, что синие цветочки действительно походили на дельфинов. Гладиолусы, их монструозные бутоны на жирных болотных стеблях, возненавидела сразу же — учительские цветочки. Я ходила за бабушкой по саду из вежливости и слушала ее вполуха. Не могу избавиться от этой привычки, которая явно досталась мне от отца — от привычки слушать собеседника. Теперь я понимаю, как ему трудно было сохранять здравый смысл в рассаднике женской гордыни. *Бабушкой родимой* была не только я, но и мама. Мы обе точно знали, что и в каком порядке надо делать, вот только порядок у нас редко совпадал. Папа постоянно сглаживал острые углы, сводил концы с концами, находил

формулировки, искал компромиссы. Но и его уступчивость была оборотной стороной твердости. Он просто никогда не обсуждал второстепенных вопросов всерьез. А дошло ли у нас до первостепенных, не знаю.

В возрасте пяти лет меня начали учить играть на скрипке. Отец нашел старого скрипичного мастера и выторговал у него прекрасный инструмент, который стоил гораздо дороже, чем мог заплатить средний инженер, но мастер уступил, и уступил прилично. Не знаю, что его так проняло. Возможно, он понял, что мы собираемся отдать последнюю рубашку. Мама поддержала отца, и на покупку скрипки ушли все наши сбережения. Она была приобретена на вырост и до поры до времени жила в платяном шкафу, но никто не сомневался, что когда-нибудь она зазвучит не только на сцене нашего городского ДК.

Да, я была способным ребенком. Когда шла по улицам города, неся наперевес тяжелый футляр, за спиной шептали — да, та самая девочка. Это было приятно, а гаммы и этюды — не очень. Меня постигла обычная судьба всех вундеркиндов-переростков — как только родители перестали наседать и оставили меня в покое, — большая девочка, сама разберется, — я пустилась во все тяжкие. Ставила на пюпитр ноты, сверху интересную книжку и пилила что бог на душу положит, в до мажоре, а мама думала, что дите занимается. На уроках выкручивалась за счет хорошей памяти и чтения с листа. Постепенно сдавая позиции, скатилась до уровня своих же десяти лет, кое-как окончила музыкалку и похоронила скрипку в шкафу. Сейчас мне ее жалко, а тогда было не жалко. Зачем она теперь, не знаю, но продать рука не поднялась.

Короче говоря, я бросила музыку ради неизвестно чего, то есть ради жучков и паучков. Я энтомолог. Но мама предпочитает говорить, что я микробиолог. Для нее «микро» означает «все-таки немножко меньше», не так досадно. Тогда она постоянно пилила меня — не бросай, потом будешь локти кусать. И этим сильно облегчила мою задачу расставания с музыкой. Папа не сказал ничего.

Год смерти бабушки был первым из череды голодных лет. Земля снова пошла под картошку. Мама и предположить не могла, что нам когда-нибудь пригодятся ее послевоенные навыки. Мы получили кусочек земли возле аэродрома и теперь уже всей семьей пололи сорняки и таскали ведрами воду из речки. Бабушка этого уже не застала.

На повестке дня по-прежнему стоял райский сад, однако после смены на огороде мне казалось абсурдным часами копаться в земле ради того, что нельзя съесть. Мы кое-как поливали клумбы и старались срезать цветы до того, как их сорвут другие. Какое-то время наш дом был похож на оранжерею, в которой доживали свой век бабушкины ирисы и розы, такие же несчастные, как их голландские сестры в магазине.

Когда мы разбирали вещи в бабушкиной комнате, под кроватью обнаружился старый чемодан с разбитыми замками, без ремней, перетянутый веревками. Бабушка не раз говорила, что собирает мне приданое. В моем представлении приданым было белое атласное платье, перчатки до локтя, кружева, ленты и, наверное, какие-то драгоценности. Мама открыла чемодан, и ее передернуло. Она сказала — кажется, тебе перепало наследство. Я заглянула под крышку и первым делом увидела конверт, на котором было написано: «Все это принадлежит Кате».

Мне достались все ее сокровища, ничего не нужно было воровать — несколько новых полотенец, белые простыни с вышивкой, куча старых, застиранных ночных рубашек и шелковых блузок, битых молью. Конверт оказался пуст.

Мы так и не узнали, кому бабушка отдала старые фотографии. Родители, братья, сестры, каллиграфические подписи, искусственный румянец. Фотографии были с ней, когда она с детьми дважды переходила линию фронта под Воронежем, я видела их в одной из *безвкусных* шкатулок. Однажды бабушка достала их для меня и принялась рассказывать о своей семье, тяжело дыша и перемежая рассказ одним и тем же словечком «вот» (она говорила — «мот»), но я думала о чем-то своем, ерзала, чертыхалась про себя, очень хотелось поскорее сбежать. Смутно помню какую-то женщину в гробу, с вуалью на лице, девочку, похожую на мальчика, в платье с рукавами фонариком, людей, стоящих вокруг пожилого господина с седыми усами. Смешные имена — Эмма, Казимир, Паулина. Это была пыльная и малоинтересная древность, да и фотографии так себе, ничего не разглядишь.

Мама расстроилась, перерыла весь дом — безрезультатно. Не могла же она их выбросить, в самом деле?

Долгое время у меня не приживались комнатные растения. Я освоила бабушкин справочник сорок девятого года, обзавелась кучей книжек по цветоводству, но фикусы и кактусы погибали даже в идеальных условиях, от них оставались новенькие, слегка запачканные землей горшки и чувство полной неукорененности. Потом мне пришлось часто переезжать с места на место, и каждый раз я бросала растения еще живыми в квартире, которая мне уже не принадлежала. Я старалась не думать о том, в чьи руки они попадут.

Мама пережила голод, но дальше сил не хватило. Болезнь сердца, приглушенная во времена относительно сытой жизни, снова дала о себе знать. Один приступ, другой. И никто не верил. Все произошло очень быстро, в считаные дни. Меня снова не оказалось в городе.

Это ничего, что вы не помирились, сказал папа. Знаю я эти ваши штучки. Она просила передать тебе...

Связь оборвалась, но я не стала перезванивать. Все было ясно и так.

Мы остались вдвоем с папой, потом я вышла замуж и переселилась в Москву, изредка наезжала в гости, в основном в связи с очередной годовщиной, чтобы побывать на кладбище. Еще через пару лет мы с отцом стали встречаться только там — добраться до родительского дома не было ни времени, ни сил. Учеба, работа, дети. Как у всех.

На маминой могиле росли только колючки. Нам достался участок возле песчаного карьера; песок плыл, памятник оседал, растения горели на солнце, вода подавалась по расписанию, два часа утром, два часа вечером, не успеешь к поливу — таскай из речки, а это полкилометра пешком. Отец привозил чернозем, покупал у бабулек цветочную рассаду, каждый день поливал, но все без толку. Однажды мы приехали на кладбище и обнаружили, что в ногах у мамы сквозь песок пробились какие-то странные цветы, которые никто из нас не сажал. И тут внезапно бабушкины уроки всплыли в моей памяти, и я вспомнила, что это называется *иван-чай*.

Иногда я вижу во сне, как сквозь деревянные доски пола в моей детской режутся сильные, гладкие ростки и раскрываются красноватые бутоны. Ничего, что мы не помирились. Потому что мы никогда и не ссорились, папа. Я — это она, а она — это бабушка, а бабушка — это я. Нет, не сходство — скорее тождество. Мне ли не знать.

В тот день я все-таки решила заночевать в нашем доме. Я получила водительские права и стала чувствовать себя свободней. Ни тебе электричек, ни мет-

ро, туда и обратно можно управиться за пару-тройку часов вместо обычных пяти-шести. Интересно посмотреть, как живет папа, как он устроился один, чем питается, во что одет. Раньше и в голову не приходило, ведь это он всегда обо мне заботился.

Я ехала по шоссе, справа начался Ильинский лес. На обочине через каждые сто метров стояли мальчишки и тыкали пучками ландышей в проезжающие машины. Оборотистые ребята. По идее, я должна была подумать о Красной книге, как нас учили в школе, но я вспомнила о бабушке.

Двадцать лет назад бабушка посадила в дальнем углу сада ландыши и землянику, что, вообще говоря, противоречило законам природы: мы часто ходили за ягодами, и я знала, что ландышевый лес бесплоден. Но на наш сад такие формальности не распространялись. Мое летнее утро начиналось с горсточки свежей земляники. Я еще спала, когда бабушка собирала ее для меня.

Я припарковала машину у подъезда, вошла в дом, собака завиляла хвостом и заскулила. Папа еще не вернулся с работы. Не пойду, сказала я сердито, терпи. Ненавижу слоняться с ней по двору, потому что отец приучил ее к беспорядочной беготне. Приучил — пусть сам и гуляет. Он покорно лазил за ней по заборам и газонам, другого стиля она уже не понимала. Особенно ей нравились помойки, но по какой-то причине она категорически отказывалась гулять в бывшем саду.

Бывший сад. Какие-то мальчишки пронеслись под окном, я по старой привычке высунулась наружу и крикнула им, что здесь нельзя. Один из них удивился — почему это нельзя? И тогда я поняла, что он, конечно же, никакого сада не видит. На месте цветника давно образовался пустырь, заросший крапивой и снытью, заплеванный семечками, усеянный окурками, очистками и битым стеклом.

Каштанка тявкала, не переставая, вертелась под ногами, заглядывала в глаза. Я сжалилась, надела на нее ошейник и повела на улицу. Дряхлая, облезлая Каштанка потащила меня за собой, некоторое время мы описывали сложные кривые во дворе, а затем ее заинтересовал забор, который окружал сад-помойку. Она остановилась на углу и принюхалась, невидящими глазами глядя куда-то в траву. Я дернула за поводок, но Каштанка стояла как вкопанная. Сквозь проволочные ромбики мне показалось, что по траве разбросаны мелкие клочки бумаги. Семейка ландышей так гордилась своим появлением на свет, что оставалось только удивляться, почему их до сих пор не ободрали.

Конечно, не полотенца и простыни, как же я сразу не догадалась!

Сад, который не отнимут ни воры, ни время. Цветущий, спасенный мир вокруг голодного дома, сад по ту сторону колючей проволоки, на безымянной могиле деда. Цветы у моего окна, белые лилии, дельфиниум, шиповник. Давным-давно прощенные и реабилитированные гладиолусы. Ландыши и земляника, сердечный яд моего детства. Шелковые крылья тюльпанов под Воронежем. Маки у соленых озер. Иван-чай и крымские сосны.

Все это принадлежит Кате.

Евгений Сидоров

Записки из-под полы

(Из новой книги)

Не фи́га в кармане, не записки из подполья, а именно *из-под полы*.

Как мелочь сыплется наружу из нечаянно продырявленного кармана плаща.

Возвращаю известному словесному обороту буквальный смысл, вопреки переносному, общепринятому. Это не отрывки из дневника, не эссеистские размышления, а именно записки. Что вспомнилось, то и записалось на отдельную бумажку, чтобы не пропасть. Без сюжета и композиции. Вразброс, как карта ляжет.

Слегка отошел от жанра и сегодня публикую два своих письма двум президентам России. К тому же чувствую, что все больше впадаю в мемуарную колею, что и понятно, ведь, как было сказано, только память уничтожает время.

* * *

Старый русский поэт посетовал: «Ну что вы всё какие-то обрывки печатаете, надо сесть за книгу воспоминаний, ведь немало видели за последние годы: правительство, Дума, ЮНЕСКО; видели близко и по-своему. Именно книгу писать, а не пробавляться какими-то записками».

Похоже, осудил за лень и, возможно, за осторожность. Ведь многие люди живы и могут быть опасны. Последний (невысказанный) упрек решительно отметаю, ибо бояться мне нечего, да и поздно. Скорее власть «робка», вот что внушает опасность. Вдруг испугается и вздрогнет насилием. Все может быть.

Другое дело — этические пределы. Они, конечно, существуют и необходимы.

Мои листки шуршат, требуют выхода, там реальные факты и мысли, а не литература. Как хочу, так и умею. О жанре еще надо поспорить.

Но вот беда, то, что интересно моему старшему товарищу (и, наверное, другим читателям) — правительственная и думская закулиса — мне неинтересно. Я как пришел туда, так и ушел *чужим*.

Так что *мое* можно назвать — «Записки чужого».

* * *

В начале девяностых в руководство Министерства культуры пришли новые люди, которые вместе с художественной общественностью и единомышленниками из российской провинции стремились защитить отечественную культуру от бюджетной нищеты и натиска «дикого» рынка.

От редакции | Предыдущие публикации «Записок из-под полы» известного критика, министра культуры России (1992—1997), Посла России в ЮНЕСКО (1998—2002) Евгения Сидорова см.: «Знамя», 2008, № 2; 2010, № 3.

За шесть лет (1992—1997) нам, может быть, немногое удалось развить, зато почти все удалось сохранить — театры, вузы искусств, музеи, библиотеки, международное культурное сотрудничество. Избавить наши учреждения от приватизационных налетов. И вернуть на белый свет замурованное в запасниках так называемое «трофейное» искусство.

Нелишне также напомнить, что мы в свое время не допустили разрушения памятников культуры под видом реставрации и модернизации столичных площадей и улиц.

Несколько раз правительство предлагало взять и Госкино под опеку министерства, но я постоянно, и, надеюсь, благоразумно от этого отказывался.

* * *

Леонид Максимович Леонов сказал: «Не пейте водку, молодой человек. Платонов — какой талант был, да и тот с трещинкой. Его не советская власть, его водка сгубила».

Позже стало понятным, что Леонову до Платонова все же не дотянуться. А тогда, в шестьдесят пятом, я этого не понимал. Еще не было для меня «Чевенгура» и «Котлована» и многого другого. Леонов не пил водки, выращивал кактусы, и однажды я привез ему с острова Маврикий эндемический цветок с корнями и землей, название которого он проверял по своей британской ботанической энциклопедии. Цветок прижился, и Леонов радостно сообщил мне об этом по телефону.

В глубине души (в отличие от Андрея Платонова) он всегда не любил советскую власть. После «Метели» и «Нашествия» ему сломали художественный хребет, и он затаился, стал осторожным и неискренним. «Вор» специально переписывался им, как «Молодая гвардия» Фадеевым. Но талант национального художника с неповторимым слегка вычурным литературным стилем был всегда с ним. В «Русском лесе» есть великолепные страницы, не говоря уж о ранних вещах. Последний, так и неоконченный роман «Пирамида» — запоздалая попытка диалога с мирозданием, Богом, на которую не было ни сил, ни подлинной веры, только энергия мысли, бьющейся в тисках истории.

* * *

Когда я читаю Владимира Шарова, то всегда вспоминаю его отца, Шеру Израилевича Шарова.

Шера был похож на большую раненую птицу. Костлявую высокую фигуру венчала нахохлившаяся голова с легкими летящими перьями последних волос и с классически грустными, умными глазами, как бы приготовившимися к слезам.

Он прошел всю войну, работал военным корреспондентом и стал хорошим детским писателем, сказочником, которого несправедливо забыли. Большая разница в возрасте для нас почти ничего не значила. Работая в «Литературке» и в «Юности», я встречался с ним и любил это мимолетное общение и разговоры. Шаров неподражаемо шутил, не улыбаясь и не вбирая внутрь свою печаль.

Из примечательных постоянных посетителей ЦДЛа он внешне чем-то напоминал только одного — бывшего зека Юрия Иосифовича Домбровского, автора знаменитых романов «Факультет ненужных вещей» и «Хранитель древностей». Тот, правда, в отличие от Шарова, выглядел совсем импозантно, ибо решительно отвергал такие условности, как рубашка, и надевал пиджак прямо на майку.

С Шерой Израилевичем мы встретились в конце шестидесятых в Гагре, в писательском Доме творчества. Стоял теплый ноябрь, седьмого числа Дмитрий Благой в своей неизменной тюбетейке поднял бокал шампанского за праздничным столом и вскричал Тютчевым: «Блажен, кто посетил сей мир!..». К Шере Шарову это явно не относилось, роковые минуты эпохи никак не были связаны для него с блаженством… В Гагре мы здорово поиздержались и купили на последние непропитые копейки пятнадцать красивых мандаринов, чтобы хоть что-то привезти в зимнюю Москву. Надо было делить добычу. «В какой руке?» — спросил Шера, — и я угадал, получив восьмой по счету плод. Многое забылось, а вот этот Шерин мандарин почему-то до сих пор благодарно светится в моей памяти.

* * *

Андрей Битов слегка задушен объятиями непонимания.

Для серьезного писателя это все равно что перестать быть. Он временно и перестал им быть, ибо стал всерьез прислушиваться не к себе, а к тому, что говорят вокруг. Критики вокруг него не было, он выбыл из нее слишком рано, ну, может, в узком кругу толковали, но больше полюбливали и восхищались, а затем все это трансформировалось дальней заграницей, пушкинским зайцем, «Метро́полем». Россия, правда, дышала водкой и драмой, заставляла оборачиваться, задумываться, креститься. Живому классику всегда трудно, ибо он каждый день старается сделать еще что-нибудь, хотя бы перформанс, дабы не разочаровать человечество, не замечая того, что это пресловутое человечество читает уже совершенно других авторов.

Отсюда стиль в стиле Битова вместо Битова. Вчитайтесь в его последние, посвященные Андрею Платонову штудии, чего тут больше — да всего больше, кроме человека. Артистизм и мастерство — это да. То ли Пруст гуляет по переделкинским лесным опушкам, усыпанным пустыми бутылками, то ли Битов мечтательно бредет с книжкой по Елисейским Полям. Что и говорить, Платонов велик и непрост, но как же при этом непрост и велик Битов, настолько, что весьма затруднительно добраться до понимания, что же такое для русской души платоновская проза и его неповторимый язык.

Это произошло потому, что два стиля пустились в кружевное соревнование, причем Платонов стоял молча, ибо, естественно, не мог ничего возразить обволакивающим приемам своего интерпретатора.

Тем же вечером, 3 октября 2009 года, включил телевизор — и тут в рифму старый фильм «В четверг и больше никогда» по сценарию А. Битова. Каюсь, я недооценил эту картину в свое время, и как же хорошо она смотрелась сегодня, как чудно и просто соединились в ней А. Эфрос, Л. Добржанская, О. Даль. И. Смоктуновский с ручным вороном на плече. И все благодаря Битову.

Когда он поэт, когда внутри дышит любовь, тогда и слова сбрасывают с себя все лишнее, а к нам возвращается не просто умный и утонченный, но прежде всего человечный художник.

* * *

Станислав Юрьевич Куняев с молодости не брезговал доносами в партийные органы, которые, будучи секретарем правления Московской писательской организации, оформлял как «сигналы» и «докладные записки». После известной дискуссии семьдесят седьмого года «Классики и мы» одну из таких бумаг я держал в руках и внимательно читал, ибо речь в ней шла именно обо мне как орга-

низаторе вышеупомянутого зловредного диспута и потворщике еврейского влияния в литературной среде. Да и в театральной тоже, имея в виду чеховские постановки А.В. Эфроса и его выступление на дискуссии. Время как бы поворачивалось вспять, в эпоху борьбы с космополитизмом. Спасибо Леониду Матвееву, секретарю горкома партии, чья жена была актрисой театра Эфроса, и он, Матвеев, фактически нарушая партийную конфиденциальность, показал мне куняевское сочинение.

Я не верю в истовость Куняева, в его русофильские экстазы. Настоящий благородный русский человек совестливо поостерегся бы действовать подобными методами против своих оппонентов. Не с Мамаем же, не с польской интервенцией тысяча шестьсот двенадцатого года… Любовь к России носят у сердца, а не разбрасывают сомнительными сочинениями в стихах и прозе, отрицая чужелюбие во имя патриотизма.

Впрочем, православной складки в нем никогда не ощущалось. Куняев был и остается поэтом комплекса неполноценности. Ему было как бы недодано в свое время признания и почета, и его направление приняло отрицательный и узкий характер.

Еврейский вопрос погубил русского поэта Станислава Куняева.

* * *

Юрий Федорович Карякин — один из редких людей, которые повлияли на мою жизнь и убеждения.

Он старше, и долгие годы я время от времени чувствовал на себе его невидимый взгляд и старался не слишком разочаровывать Карякина. Шло это от понимания его значения как человека гражданской и политической чести, талантливого литератора, прошедшего сложный духовный путь от пламенного коммуниста до свободного мыслителя, впрочем, по-прежнему пламенного, но уже в стиле своего главного героя — Достоевского.

Карякин водит дружбу только с умными людьми, с которыми можно говорить о смысле жизни и истории. Он любит и умеет спорить, его дерзкая ироническая рапира всегда наготове, он не боится пафоса, он умеет страстно заблуждаться, но всегда бывает обаятелен в абсолютном бескорыстии своей мысли. Его застольные разговоры с Э. Неизвестным, В. Страда, Н. Коржавиным, Ю.В. Давыдовым помню хорошо и надолго. Это была школа мысли, где праздничная утопия мешалась с естественным пессимизмом.

Для меня Карякин — личность с трагической подкладкой. Отсюда и Гойя, отсюда и его взгляд, запечатленный Светланой Ивановой на замечательном фотопортрете.

В пору «перестройки» я приглашал его в Литературный институт. Зал ломился от восторженных слушателей.

Ему всегда не хватало дела, овеществления идеи, отсюда и общественно-политические страницы его жизни.

* * *

Анатолий Васильев ставил «Маскарад» Лермонтова в «Комеди Франсез» и поручил роль Арбенина замечательному актеру Жан-Люку Бутте, у которого, к несчастью, была ампутирована нога. Арбенин приближался к гибели на инвалидной коляске. Это, несомненно, путало карты. Впрочем, реальные игральные карты летали по сцене, как бабочки. Было очень красиво, кружились маски, тень и свет вступали в роковой поединок.

Героя было по-человечески жалко с самого начала. Критики писали: «Жан-Люк Бутте, то с трудом держась на ногах, то опускаясь в инвалидное кресло, с необыкновенным достоинством воплощает истину смерти, возмутительную и непереносимую для человека». Через несколько месяцев после премьеры актер ушел из жизни вместе со спектаклем.

«Серсо» Виктора Славкина Васильев репетировал на Таганке года три, не меньше. Помню только Петренку, остальное скрылось в тумане, но Петренко, куда его ни поставь, везде будет хорош.

«Маскарад» был наполнен паузами. Они казались вечными. Не могу судить, насколько хороши были лермонтовские стихи во французском переводе, вкрапленные между молчаниями. Честно говоря, хотелось Мейерхольда или, на худой конец, Хачатуряна.

Гениальность, в сущности, недоказуема. И одноногий Арбенин далеко не крайний случай современного сценического «прочтения». Некоторые парижские театралы постепенно покидали партер, не выдержав трех с половиной часов без антракта. Но кто сказал, что правы были они, а не художник?

«Взрослая дочь молодого человека», «Васса» — эти страницы васильевской режиссуры остались в памяти целиком, не фрагментарно, как в волшебной булгаковской коробочке из «Театрального романа». (Запись 1992 года).

* * *

На прощание с Александром Исаевичем Солженицыным писателей набралось едва ли десятка три, не больше. И в Академии наук, и на кладбище Донского монастыря, и на поминальной трапезе помню только некоторых: В. Распутина, Л. Сараскину, С. Бочарова, В. Глоцера, А. Варламова, Э. Лимонова, Аллу и Леню Латыниных, Н. Кондакову, А. Курчаткина, Ренэ Герра, Никиту Струве, В. Непомнящего, Е. Попова, Б. Ахмадулину, Р. Гальцеву, И. Роднянскую, Е. Чуковскую. Мелькнул желтой кожаной курткой В. Бондаренко. Простите, кого не узрел, не заметил.

Конечно, нет пророка в своем Отечестве. Но хотя бы чувство исторического масштаба и личности, и события должно присутствовать в литературной среде? Куда там!

Зато шли бывшие зеки, в дождь, крестясь, некоторые, прощаясь, произносили слова краткой молитвы.

* * *

Пишем некрологи, уходят друзья, один за одним скрываются в темноте, оставляя нас на последнем свету. Отар Чиладзе — поэт и прозаик мощной силы — похоронен в Тбилисском пантеоне неподалеку от нашего Грибоедова.

Сейчас можно сказать: ушел классик грузинской литературы XX века.

Я люблю его книги и писал о них. Они составили гряду, протянувшуюся от берегов древней Колхиды до нынешней израненной земли. «Шел по дороге человек» — уже в названии первой вещи этого цикла дышали вечность и современность, история народа и судьба личности. Отар Чиладзе шел по дороге постижения судьбы Грузии, следуя урокам не столько истории (но и истории тоже), сколько человека, впаянного в ее смысл и движение. Ветвистая фраза его романов стремилась завладеть глубиной сознания персонажа, заставить его раскрыться до конца в слове и мысли.

Вижу его сдержанный облик, достоинство, немногословие и врожденную элегантность. Вижу его глаза, вмещающие многое из того, чего сегодня не хотелось бы видеть.

* * *

Мир до тебя, в тебе, после тебя — вот о чем стоит задумываться.

Твое физическое существование есть маленький случайный взрыв солнца посреди вечного ночного безмолвия. Поэтому жизнь не сама по себе, а частный случай смерти, распростертой до и после твоего сознания.

Совершенно неисповедимо, не под силу уму, только вере.

* * *

Удачная идея — учредить, вслед за «знаменской» премией, институтский кружок и альманах, назвав их именем Белкина. Белкин как бы есть, и как бы его нет и не бывало вовсе. Это суть русского. Мерцающее, не побежденное рассудком, странно любимое.

Но все-таки Иван Петрович Белкин был всегда, задолго до Пушкина. Пушкин нашел Белкина в траве, нагнувшись, гуляя. Так же, как Пастернак в той же траве вдруг обнаружил свои якобы простые стихи позднего периода.

Лучший литинститутский сборник, изящно оформленный, — славное детище Алексея Константиновича Антонова. Он читает хорошие лекции и пишет хорошие стихи, не похожие на свои лекции.

Думаю, что он учит свободе, как основе творческого поведения. Но эта свобода только тогда имеет смысл, когда в ее основе не поведение, а творчество. Антонов — поэт без эпитетов, по сути — включая, наверное, и стиль жизни, а не только стихи.

Иван Петрович Белкин никогда не видел Черного моря. Он поручил увидеть море севастопольцу по рождению Антонову и не прогадал.

Рад, что в число белкинской компании затесались и мои воспитанники с Высших литературных курсов. Да и студентам моим путь туда не заказан.

* * *

Мои безответные письма двум президентам России

Президенту Российской Федерации
Б.Н. Ельцину

Глубокоуважаемый Борис Николаевич!

Пройдет совсем немного времени, и человечество вступит в третье тысячелетие. Такие вехи в истории культуры и цивилизации неизменно обостряют раздумья и обсуждения фундаментальных проблем человеческого бытия, заставляют с новой силой размышлять о будущем, о смысле существования мира и Отечества.

Для новой демократической России эти годы могут — и должны стать временем обсуждения коренных вопросов исторического предназначения нашей страны, формирования обновленной системы ценностей, опирающейся на все лучшее, что существует в российской традиции, мировой культуре, и одновременно устремленной в будущее. То есть становление общенациональной российской идеологии, о необходимости создания которой Вы неоднократно говорили, может стать поистине общероссийским процессом, сопряженным с подготовкой к встрече третьего тысячелетия.

Этот процесс должен охватывать различные сферы политической и социальной жизни, науки, культуры, образования, средств массовой информации.

Какое общество мы строим? С каким гимном мы войдем в третье тысячелетие? Каково место новой России в мировой истории? Каковы взаимоотношения религиозного и светского в нашей государственной жизни? Каковы пути строительства гражданского общества в нашей стране?

Главное, что несет Россия в третье тысячелетие, — это трагический опыт борьбы с фашизмом и тоталитарным режимом. Это гуманитарные ценности культуры, искусства и науки, безусловно обогатившие уходящий век.

Было бы целесообразным по примеру некоторых других держав создать российский комитет, который координировал бы все мероприятия, связанные с этим историческим событием у нас в стране и за ее пределами, — во главе с Вами, уважаемый Борис Николаевич, или — по Вашему поручению — во главе с Председателем Правительства РФ.

Как мне представляется, это нужно сделать без промедлений, — подготовка к празднованию всемирно-исторического события помогла бы консолидировать под флагом государственной власти все лучшие силы России, которые объединились бы во имя процветания нашего Отечества.

14 мая 1997 года
Евгений Сидоров,
член Президентского Совета по культуре

* * *

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Некоторый опыт, полученный мною в качестве Министра культуры России (1992—1997), депутата Госдумы (1993—1995), Посла при ЮНЕСКО (1998—2002), а также ректора Литературного института им. А.М. Горького (1987—1992), склоняет меня к написанию этой записки в надежде, что она достигнет Вашего внимания.

Полагая, что работа с соотечественниками за рубежом, всемерная охрана и продвижение русского языка за порогом России есть важные внешнеполитические задачи, о чем неоднократно говорилось в Ваших программных выступлениям, рискну предложить на президентское рассмотрение два крупных проекта.

Первый касается защиты культурной идентичности русской диаспоры, ее научного, архивного, художественного достояния. Признаем, что в настоящее время довольно редко удается возвратить на Родину произведения искусства или документы отечественной истории.

Причины — как в юридических правилах, так и в пожеланиях владельцев. К глубочайшему сожалению, этот культурный материк с естественной сменой поколений все дальше удаляется от России. Последние красноречивые примеры только во Франции: архив Добужинских, художественное наследие Серебряковой, дом Тургенева в Буживале, выставленный муниципалитетом на торги.

А надо ли всякий раз добиваться возвращения культурных ценностей в Россию? Может быть, стоит попытаться сделать их предметом собирания, охраны и научной обработки в месте пребывания? И конечно, доступными для российской и зарубежной публики. (Сказанное, разумеется, не означает, что процесс возращения культурного наследия на Родину тем самым приостанавливается).

Делу может помощь *Фонд (Центр) российского культурно-исторического наследия за рубежом*, который мог бы заниматься исследовательской, собирательской, музейной, выставочной и просветительской деятельностью.

Такой центр (фонд) под патронатом Президента России и Президента Франции (г-н Ширак, как известно, изучал русский язык и даже пытался переводить Пушкина) можно основать в Париже или его окрестностях.

Именно Франция, где сконцентрированы большие духовные и материальные российские ценности, где диаспора продолжает в меру своих сил хранить и язык, и традиции, больше всего подходит для осуществления подобного проекта. В Париже, кроме того, расположена штаб-квартира ЮНЕСКО, руководство которой в последние годы, как Вам известно, явно демонстрирует понимание и поддержку российских инициатив. Не случайно 31-я Генеральная конференция этой международной организации (в октябре 2001 года) единодушно одобрила впервые созданную русскоговорящую группу государств — членов ЮНЕСКО (21 страна) и принятие Декларации о культурном разнообразии, соавторами которой стали Россия и Франция, где нашли свое отражение некоторые идеи и формулировки Д.С. Лихачева.

Мне известно, что наш Национальный Резервный Банк (А. Лебедев) намерен купить здание и парк близ Ле Бурже для создания делового российского центра (с весьма туманной, покамест, программой). Так что возможности приобретения собственности во Франции для благих российских целей имеются. Важно политическое решение, и тогда можно начать серьезную проработку всего плана. Несомненно, подобная программа должна работать на упрочение позитивного облика нашего государства.

Вторым весьма важным и перспективным проектом является создание большой *Русской европейской газеты*. Конечно, здесь тоже требуется серьезная подготовка, мониторинг, бизнес-разведка и т.п. Но дело явно стоящее и вполне реальное. Ю.М. Лужков и АФК «Система» под руководством В.П. Евтушенкова недаром делают попытки в этом направлении, но попытки эти достаточно локальны, лишены размаха и глобальной стратегии. (К примеру, выпуск в Лондоне небольшой русскоязычной газетки, идея покупки гибнущей парижской «Русской мысли» — ко мне от В. Евтушенкова прилетал во Францию советоваться по этому поводу его заместитель В. Копьев). Между тем, большую газету для соотечественников надо создавать не на развалинах эмигрантского антисоветизма (в пользу московского бизнеса), а на совершенно новой основе, например, в Германии, во Франкфурте-на-Майне или в Берлине, где меньше издательские издержки. Причем это должно быть свободное, нелицеприятное и очень профессиональное издание, не несущее на себе печать явно пропрезидентского или какого-либо иного партийного влияния. Русскоязычная читательская аудитория при умелом и талантливом подходе к делу будет достаточно репрезентативной, как качественно, так и количественно. Пока еще есть русскоговорящая Восточная Европа, Балтия, эмиграция в Германии и Франции, осуществление этого проекта может иметь успех. Да и в СНГ Русская европейская газета, если ее правильно поставить, найдет своих читателей, а стало быть, будет объединять и готовить друзей русского слова и государства.

Откуда взять средства? Да все оттуда же. Наши Ходорковские, Фридманы, Потанины, тот же Евтушенков. Как утверждают квалифицированные эксперты, «если г-н Ходорковский вложит примерно 100 млн. долларов в рекламу положительного образа России, то капитализация его детища может возрасти на миллиард» (И. Писарский, руководитель агентства «Рим»). Есть и западные инвесторы, не только традиционные: Сорос или Тернер, а другие, свежие силы.

Прошу рассмотреть, Владимир Владимирович. Это черновой набросок, но он рожден реальностью, а не миражами.

С уважением,
Е.Ю. Сидоров

Записка была передана через канцелярию Президента осенью 2002 года. Спустя почти три года я частично опубликовал ее как «открытое письмо» Путину в «МК» (22 июля 2005 года). Надо ли говорить, что эффект нулевой. Ни ответа, ни привета.

* * *

Не так давно директор популярной радиостанции на мое, может быть, и неуместное литературное замечание по поводу одной панихидной речи вдруг грубо, почти в крик, заявил, что у гроба Гайдара неуместно заниматься филологией. Перед этим у того же гроба он уместно и вслух, зорко следя за правительственными лицами, решал свои вопросы, — есть ли И. Шувалов, где А. Жуков и пр., и я его вполне понимаю, работает человек. У каждого своя работа. Лет пятнадцать тому назад он был интеллигентен и почтителен, а теперь путает окружающих с подчиненными и кричит. Мы, конечно, не поссорились. Из-за чего ссориться? Тем более что он признался, что «сорвался». Но он не сейчас сорвался. Он давно сорвался, ибо на своей станции привык лавировать и нервничать по любому кремлевскому поводу. А вы на его месте разве не нервничали бы?

* * *

Егор Гайдар был преждевременный человек, каких в истории России можно пересчитать по пальцам. Не пришло время и полно понять, и оценить его личность. Отвлекаясь от всякого рода деталей, можно сказать, что он все же был не столько прагматической (как Чубайс), сколько романтической фигурой. Его увлекал азарт нового, он поневоле уважал риск, и югославские отроческие годы сыграли здесь не последнюю роль. Я знал его отца, Тимура Аркадьевича, спецкора «Правды» в Белграде, дух «ревизионизма» исподволь накапливался в этой семье, а храбрость и авантюризм внука генетически исходили от писателя-деда. Сюда добавлялся идейно-философский и литературный шарм Стругацких: Аркадий был тестем Егора.

Егор Гайдар был отлично образован, он был экономическим мыслителем гораздо больше, нежели политическим деятелем. В тяжелейшие, роковые годы он попытался резко применить к российским просторам и ухабам передовые ученые схемы Запада. И там-то не все ладно, а у нас и подавно. Опыт провалился. Россия попыталась встать на дыбы, но затем резко сбросила седока и стала медленно увязать в трясине путинизма. Скорректировать ситуацию Гайдару и его сподвижникам не дали. Но первый шаг был сделан, и имя Гайдара навсегда будет связано с началом экономических преобразований России. Не будет забыто и его мужество в дни кризисов и политических противостояний.

* * *

Моя жена рвалась на баррикады к Гайдару. Мы находились в пансионате под Майкопом. Стоял душный вечер 3 октября 1993 года. Долететь от телевизора до Егора у Моссовета можно было только на крыльях. Вера явно осуждала мою нерешительность, сама уже встав на крыло. Мы смогли вылететь из Краснодара в Москву только на следующий день. Явившись вечером к В.Ф. Шумейко, тогда первому вице-премьеру, я спросил, что делать. Он усмехнулся и сказал в своей директорско-заводской манере (так «по-свойски» разговаривают с доверенными бригадирами, мастерами и профсоюзными активистами). «Ну вот,

опять ты! Культуры нет, а министр культуры есть». И сменил короткий смешок на более энергичный, будто рассказал хороший анекдот.

«— Возвращайся в отпуск. Здесь уже все нормально. Вот только Белый дом надо отремонтировать».

* * *

В.Ф. Шумейко отвечал за социальную сферу, в том числе и за культуру. Но ни он, ни другие вице-премьеры, которых сменилось на моем министерском веку шестеро, в наши дела не вмешивались, разве что иногда помогали нищенскими бюджетными вливаниями. Однажды, явно по неопытности, в начале своей работы, Шумейко задумал придать певице Надежде Бабкиной статус «национального достояния». Но тут уж воспротивился я, и идея благополучно заглохла, к вящему удовольствию Людмилы Георгиевны Зыкиной.

* * *

Такие дела, все нормально, немного постреляли, немножко поубивали. А. Собчак вместе с О. Румянцевым садятся за проект новой российской конституции, где вся полнота власти передается президенту и учреждается Государственная дума.

Вот только Белый дом надо отремонтировать.

* * *

Что это было — рассудит история. Я утверждаю только то, чему сам был свидетель. В начале октября правительство отправило меня во главе небольшой делегации на празднование 200-летия Краснодара. Думаю, что ранг федерального участия был демонстративно снижен Ельциным. На юге действительно назрел мятеж, и уже делились правительственные портфели. Когда я зачитывал приветствие президента, из зала кричали: «Вы от кого — от Ельцина или Руцкого?!» Местная власть демонстративно задвигала нашу делегацию на обочину. Имена Р. Хасбулатова и А.В. Руцкого звучали как признанные и легитимные. Белый дом постепенно становился не только центром сопротивления, но и новой властью, к которой чутко прислушивалась прокоммунистическая провинция.

* * *

Отпуск длился недолго. Сначала в Сочи позвонил все тот же Шумейко и сообщил, что совет движения «Выбор России» ставит меня в Рязани первым номером в федеральный список на думские выборы. Я никогда не был в Рязани, кто меня там знает? «Неважно, — весело парировал Шумейко, — культуры нет, а министр культуры есть!». Я не только возражал, но и был вынужден горько задуматься о своей дальнейшей политической судьбе. Через день звонит Егор Тимурович. «Мы передумали. Конечно, Вам не резон Рязань, хоть там и Есенин, лучше — Ясная Поляна, Толстой, Тула, согласны?». «Но я и в Туле, к своему стыду, никогда в жизни не был». — «Надо, — твердо ответил Гайдар. — Помогут наши активисты».

* * *

С неприличным черноморским загаром я предстал перед небольшой кучкой бледнолицых тульских демократов, которые, разумеется, имели свои виды

на думские кресла и встретили наглого варяга довольно мрачно. Но актив Бурбулиса и Гайдара работал на местах действительно на совесть. В течение четырех недель я объездил всю область с выступлениями. Моими доверенными лицами были Михаил Ульянов, Олег Ефремов, Мстислав Ростропович. Их имена и тексты украшали предвыборные листовки. В результате «Выбор России» провел в Думу от Тулы двух депутатов, слегка, впрочем, проиграв только что явившейся на политической арене партии Жириновского.

По думскому залу в причудливых, почти цирковых одеждах изящно двигался депутат ЛДПР Марычев, то ли шут, то ли полуюродивый. Его речёвки создавали атмосферу балагана. Это была несомненная антреприза Жириновского, его низовая народная тема, в отличие от собственного пылкого трибунного бреда. Жалко Марычева, он помер, сыграв свою партию, и театра в нашем бесцветном парламенте стало гораздо меньше.

Баллотируясь в Думу, я не вступал в партию «Демократический выбор России», да мне, честно говоря, это и не предлагали. Речь тогда шла о демократической парламентской фракции, а не о партийном строительстве.

Так или иначе, но мое депутатство оказалось полезным прежде всего «Ясной Поляне». Она наконец-то перешла из рук областных чиновников к Толстым, прямым наследникам Льва Николаевича. Молодой журналист Владимир Толстой, пройдя стажировку в музейном департаменте Минкультуры, стал отличным директором великой усадьбы.

Будучи выбран от Тулы и во второй состав Думы, я отказался по просьбе В.С. Черномырдина от депутатства, ибо по Конституции не мог совмещать с ним пост министра. В первом думском сроке такое совмещение разрешалось законом.

* * *

Виталий Третьяков в «Известиях» (03.07.08) решил вступиться за РПЦ, обороняя ее от вольтерьянцев. Вот что он пишет: «Сегодня церковь все чаще выступает как едва ли не единственный (кроме плохо справляющегося с этим образования) влиятельный институт защиты высокой культуры и классического искусства от массового невежества и пандемии масскультуры. Парадоксально то, что многие, а в последние два-три столетия едва ли не большинство произведений классического искусства было либо антирелигиозным либо антиклерикальным».

Стоит подумать, чего больше в этих словах — невежества или политики? И того, и другого хватает. Вопреки просвещенному автору многие высокие создания классического искусства (берем только русские примеры) в последние два столетия как раз и пронизаны христианским (православным) духом и отнюдь не враждебны церкви — Достоевский, Гоголь, Александр Иванов, Поленов, Лесков, Чайковский, Рахманинов, Свиридов, Пастернак, Ахматова, список можно длить и длить. Что же касается РПЦ, то ее сегодняшняя защита культуры и искусства то и дело выливается в повсеместное стремление вытеснить музейные собрания из храмов и палат, завладеть утраченной ранее собственностью, что было бы и справедливо и уместно, если бы благочестивая власть одновременно предоставляла вытесняемым сносные помещения для переезда. А до той поры по необходимости поощряла бы совместное договорное использование вышеупомянутых объектов церковного зодчества. К несчастью, этого почти не происходит. Собственность в России (как и квартирный вопрос) могут испортить и обратить в свою противоположность самые благие намерения.

К сказанному стоит добавить, что «пандемия масскультуры», по изящному выражению Третьякова, распространяется во многом благодаря отечественным средствам массовой информации, где не последняя роль принадлежит все тому же известному автору, воспитателю юной журналистской смены. И никакая церковь не в состоянии будет противостоять лавине распространения «массового невежества», если господин Третьяков-со-товарищи эту благородную миссию не разделят с ней.

* * *

Троекратное православное лобзание матерых безбожников.

* * *

У нас в обществе нет ни оформленного либерального сознания, ни либеральной партии. Да и националисты какие-то ненастоящие, без народа, с наклоном к нацизму.

Что же касается литературной критики, называющей себя либеральной, то в ней не слышен шелест новостей и истин. Она поет однообразную корпоративную песню, хорошо если лебединую.

* * *

Не выбирать, не примыкать, а следовать своей дорогой и «пусть люди говорят что угодно».

* * *

Итальянский город Пенне давно стал частью моей жизни.

Четверть века тому назад в ноябре шел мокрый снег. Оливковые деревья уже стряхнули свой урожай, и только плоды безлиственной хурмы пронзали тьму оранжевым светом, соперничая с туманным золотом редких фонарей. Так поздним вечером вы въехали в дивный маленький город, где итальянское средневековье представительствовало от имени романской истории, а новые кварталы и современные жители, особенно дети и молодежь, олицетворяли настоящее и будущее Италии.

Утром я вышел из гостиничного номера на террасу. Передо мной открылись тронутые охрой холмы Абруццо, раннее солнце озарило окрестности, справа Гран-Сассо обнажил снежную вершину, впереди виднелась церковь Санта Мария дель Кармине. Этот прозрачный пейзаж навсегда врезался в память, как и поразительно свежий воздух, который, казалось, можно было разливать страждущим в бутылки, подобно знаменитому красному вину Монтепульчано.

С тех пор каждый год приезжаю сюда. Литературная премия Пенне, а затем и «Москва—Пенне», президентом которой я являюсь, международные конгрессы, посвященные нобелиатам и другим крупнейшим писателям прошлого и современности, сделали этот город важным местом на культурной карте Италии. Здесь я познакомился с Марио Луцци, Умберто Эко, Клаудио Магрисом, другими выдающимися итальянскими литераторами. Здесь выступали перед читателями Валентин Распутин, Юрий Карякин, Евгений Солонович, Фазиль Искандер, Борис Екимов, Людмила Петрушевская, Сергей Есин, Людмила Улицкая, Юрий Поляков, Анатолий Ким, Анатолий Королев, Алексей Слаповский, Миха-

ил Семерников. Душой премии был и остается профессор Иджино Креати, поэт и блестящий организатор местной литературной жизни.

* * *

Державно-милитаристический пафос с проклятиями Запада — есть инфантильное и отчасти опасное занятие. Россия погружалась в этот речевой политический поток неоднократно и всегда выходила не с прибытком, а с очередным поражением — даже от своих, казалось бы, уже поверженных врагов. Непереваренный Данилевский до сих пор тревожит сознание некоторых наших доморощенных политологов и писателей. Столь же непродуктивен евразийский проект. Несравненный Константин Леонтьев грустно усмехнулся бы, глядя на нашу полуобразованную консервативную мысль о России: нет, не таких учеников и последователей мечталось ему увидеть в будущем! К тому же вовсе не либерально-демократическая идея губит Россию, как мнилось Леонтьеву, а как раз тот вожделенный византизм и спайка православия с властью светской, которые представлялись замечательному мыслителю пусть слабой, но гарантией сохранения страны в ряду великих мировых держав. Леонтьев ошибся, но эта страстная и великая ошибка достойна быть выше любых плоских правильных суждений и прогнозов, отдающих *пошлостью середины*, всего того, что составляет сегодня и западный и российский общественный фон.

Как бы то ни было, бесспорно одно: русский путь при всех (естественных) восточноазиатских вкраплениях был и остается частью европейской истории, частью европейской мысли и культуры.

* * *

Ничего, кроме демократического развития, история России предложить не в состоянии. Стало быть, политической элите, образованию, науке и бизнесу надо делать решительные шаги навстречу друг другу. Необходима идеология развития, принятая обществом, артикулируемая публично, во всенародных дискуссиях, в свободных СМИ, а не рожденная келейно за зубчатыми итальяно-русскими стенами багрового кирпича.

Светлана Шишкова-Шипунова

Жизнь и смерть интеллигента

Новый сборник прозы Владимира Кантора, озаглавленный «Смерть пенсионера»[1], затеян был, конечно, ради одноименного рассказа, опубликованного до этого только в журнальном варианте («Звезда», 2008). Два других произведения написаны давно (роман «Крокодил» в 1986-м, а повесть «Два дома» и вовсе в 1975-м) и не раз издавались. Тем не менее многое объединяет их с гораздо более поздним «Пенсионером». Получился даже своеобразный триптих на тему жизни потомственного российского интеллигента: мальчик, мужчина, старик — от рождения до смерти.

Но главная особенность сборника не в этом. Внимание читателя не может не привлечь необычный раздел в конце книги. Вслед за 46-страничным рассказом «Смерть пенсионера» здесь помещена 50-страничная подборка «Отзывов в письмах на рассказ “Смерть пенсионера”».

Отзывы инициированы, понятно, самим автором (чего он не скрывает), разославшим свой рассказ друзьям и знакомым от Москвы до Нью-Йорка. Это в основном коллеги автора — философы (ведь он и сам профессор философии; как написано в первой же строке предисловия к сборнику, «включенный во Франции в число 25 крупнейших мыслителей мира»), филологи, слависты, культурологи, а также студенты одного из московских университетов, в котором автор преподает.

Отзывы исключительно положительные, до восторженных.

«Прочитала взахлеб...». «Рассказ продолжает линию Достоевского». «Да, дух русской классики живет!» «Я обнаруживаю здесь… отголоски “Смерти чиновника” или “Смерти Ивана Ильича”». «Сильный рассказ, щемящий, пронзительный». «Прочитала на одном дыхании…». «Гениальный рассказ!». «Он и с “Одним днем Ивана Денисовича” может потягаться». «Вспомнился Гаршин, а также Леонид Андреев». «Кафка отдыхает…».

Среди прочих попадаются дружеские отклики профессиональных литературоведов и критиков, из которых особо выделяется обширная, занявшая тринадцать книжных страниц, рецензия Марины Загидулиной, разумеется, положительная.

Это как если бы в кинотеатре в конце сеанса запустили полуторачасовой ролик, в котором зрители расхваливали бы только что просмотренный фильм. (Впрочем, на ТВ такая передача существует — «Закрытый показ», но там все-таки дискуссия, мнения за и против).

К коротким отзывам на задних обложках книг (здесь они тоже есть) все, кажется, уже привыкли, но чтобы вот так, прямо в книге, да еще в таком объеме… Смотрится необычно.

А что еще остается делать автору, не обласканному критикой, не избалованному издателями (тираж сборника всего тысяча экземпляров), да и широкому читателю, что греха таить, не слишком известному?

1 *М.: «Летний сад», 2010.*

Об авторе | Светлана Евгеньевна Шишкова-Шипунова — журналист, прозаик, критик, лауреат премии журнала «Знамя» за 2007 год. Предыдущие статьи автора см. «Знамя», 2010, №№ 5, 10.

И как после всего этого прикажете быть критику, которому попала в руки эта книга? Закрыть и положить на полку? Или все-таки попытаться, отвлекшись от многочисленных (и авторитетных) мнений друзей и коллег автора, дать свой, беспристрастный анализ прочитанного?

Итак, повесть, роман, рассказ.

На самом деле скорее все-таки три повести — большая, средняя и маленькая. Автобиографической сам автор признает только одну из них, дебютную, — «Два дома». На самом деле таковы все три, потому что Владимир Кантор принадлежит к тем авторам, которые что бы ни писали, а все выходит автобиографическая повесть. У него герой — всегда москвич, всегда интеллигент не в первом поколении, всегда профессорский сын или сам профессор, всегда философ или филолог, чрезвычайно дорожащий своим происхождением, «своим кругом», своей принадлежностью к интеллигенции и имеющий сложные отношения с «простым народом»; всегда дважды разведен и вот-вот женится или уже женился в третий раз. А главное, всегда мучается одним и тем же — поиском смысла жизни, не вообще, а конкретно своей собственной жизни.

Как не угадать в таком герое (героях) самого автора!

Если читать рассказ «Смерть пенсионера» в отрыве от прежних произведений В. Кантора и не знать, что всегдашняя его тема — судьба и участь российского интеллигента, то рассказ этот можно счесть за социально ориентированную критику современной российской жизни.

«Видел по телевизору министра здравоохранения Михаила З., который сообщил, что по планам правительства деньги на социальное обеспечение рассчитаны таким образом, что мужчина в России должен умирать в возрасте пятидесяти семи — пятидесяти девяти лет, не доживая до пенсионного возраста».

Герой рассказа, бывший профессор, преподаватель университета, автор двадцати книг Павел Вениаминович Галахов до пенсии дожил, но… «Неохота было на эту пенсию смотреть. Из четырех с половиной тысяч у него две уходило на квартиру, тысячу он по-прежнему отдавал восьмидесятидевятилетнему отцу, а на остальные полторы тысячи живи как хочешь. На американские деньги это получается около пятидесяти долларов. Если при этом учесть, что Москва считалась одним из самых дорогих городов в мире, то лучше было ничего не жрать».

Обличительный пафос автора простирается, правда, не дальше упомянутого министра «Михаила З.» да безымянной чиновницы в пенсионном фонде, с которой у героя происходит такой диалог: «Срок дожития вам определен в восемнадцать лет». — «Мне?» — «Ну, всем пенсионерам с момента получения пенсии». — «А если я вас обману и прихвачу пару годков?» — «Не обманете, умные люди считали. Обычно гораздо раньше умирают».

Профессор Галахов умирает в шестьдесят семь.

Надо бы пожалеть и полюбить такого героя. Но что-то не получается.

От чего он умирает? От нищеты, социальной незащищенности, плохого отношения государства к старикам? Ну, вообще-то реальное положение российских стариков много хуже, чем то, что описано В. Кантором.

У нашего героя трехкомнатная квартира в Москве. Он прогоняет с лестничной площадки бомжа по имени Александр Сергеевич, который «угнездился» там с позапрошлой зимы (три пальца на руке у него черные, отмороженные, а самому шестьдесят шесть, бывший учитель математики). Потом, правда, жалеет об этом и, готовясь помирать, думает: «Это мне наказание, что другого старика стряхнул с ветки».

Может, все дело в одиночестве? У него полно родственников: кроме 89-летнего отца, есть брат, преуспевающий бизнесмен, «типичный русский миллионер» (живет в Лондоне), сын — директор крупной московской пиар-компании, дочь и внучка, благополучно живущие в Швеции. Но Павел Вениаминович ни с кем из них не общается, он, оказывается, сильно на всех обижен. Припоминает, кому он чего доб-

рого сделал в свое время. Сына от армии отмазал, башмаки ему покупал… «Теперь сын знать его не знает, разбогател». Дочку устроил в зарубежную аспирантуру, а она лишь «иногда телефонировала» из своей заграницы. Особенно почему-то обижен он на младшего брата своего, Цезариуса. В детстве, во дворе защищал его от обидчиков, потом в институт устраивал, возил к влиятельным знакомым… «Разница у них была в пятнадцать лет, молодость Цезариуса пришлась на перестройку, он сумел в новую жизнь вписаться. И не желал думать, что брат уже больной старик». Даже отец никогда сам ему не звонил, всегда ждал его звонков.

В том, что со всей родней у героя плохие отношения, виновато, наверное, не государство. Хорошо бы читателю узнать мнение самих родственников, но автор нам такой возможности не предоставляет. Приходится верить на слово, что все плохие, один он, Павел Галахов, — хороший.

До недавнего времени была у него и любимая женщина, третья жена.

«Даша преподавала в двух областных вузах, переводила с английского какие-то научно-популярные книги, да еще в НИИ имела полставки. И все равно денег хватало от зарплаты до зарплаты… Даша бегала по всем этим работам, хотя ее мучило давление и, что хуже, какие-то женские неполадки. Иногда головы поднять не могла, но вставала и говорила: “Пока человек ходит, он должен работать. Мне же деньги за это платят. Откуда мы их еще возьмем”». Действительно, откуда, если она работает, а он дома сидит?

«Павлу оставалось беспокоиться за нее, ходить в аптеку, тихо выгуливать ее в выходные дни». Даша была на тридцать лет моложе, но умерла первой, оставив героя в полном недоумении: как жить дальше?

«Никто не зайдет, не навестит…» Коллеги, некогда дружная компания интеллигентов, где они все? Как водится, к этому возрасту иных уж нет, а те далече (в эмиграции), но кое-кто из старых друзей все же остался, ему даже звонят иногда, анекдоты рассказывают. Что им мешает встретиться, пообщаться, как бывало, остается неясным.

Болен он, что ли? Да вроде нет. Во всяком случае, ни об одной из тех страшных болезней, что косят беспощадно и молодых, и старых, автор не сообщает. Ну, упал неудачно, когда дорогу перебегал (именно перебегал!) перед движущимся транспортом, спину ушиб. «Было больно, но, похоже, обошлось без перелома… Дотронуться можно, хотя синяк, конечно, будет». От синяка же не умирают? А он умрет. Пойдет в туалет (про туалет в рассказе много натуралистических подробностей), там упадет на кафельный пол и… все.

В романе «Крепость» у Кантора есть, как ни странно, похожий персонаж — умирающая старуха Роза Моисеевна, старая большевичка. Она жалуется почти теми же словами: «Не приходит никто ко мне, никто!.. Я всем чужая… Я всем помогала, а меня все забыли. Почему вы не ухаживаете за мной? Я заслужила заботу!» На самом деле за ней очень даже ухаживает племянница, но старики так капризны, и потом, Розе Моисеевне 90 лет.

А что такое 67 лет для мужчины, для ученого? Кажется, можно еще работать, писать… «Но он все же год назад ушел из университета на пенсию. Не стало сил говорить с кафедры, вчерашний любимец совсем потерял контакт с аудиторией. Неинтересно стало готовиться… Да и сил не было в переполненном метро ехать к первой паре… А тут еще дождь, значит, — раскрывать зонт и минут двадцать по лужам до здания универа, когда в голове еще туман от недосмотренного сна…»

Как-то не возникает к такому герою ни симпатии, ни сочувствия.

Что он за человек вообще, этот Галахов? Из самого рассказа понять сложно, читатель знакомится с героем накануне его смерти.

Но прежде чем стать 67-летним пенсионером, этот персонаж состоял главным героем другой повести В. Кантора — «Соседи», где ему было всего 46 лет, и был он не немощным, умирающим стариком, а вполне себе здоровым и крепким (трамвайного хулигана скрутил) мужчиной. Действие той повести происходит «за три года

до наступления нового века», то есть в 1997 году. Галахов только собирается жениться на своей студентке Даше. (Ей, следовательно, 16 лет?) А в «Смерти пенсионера» говорится, что вместе они успели прожить 10 лет. Выходит, Галахову, когда умирает Даша, должно быть 56. Но через год после ее смерти он и сам умирает в возрасте… 67 лет.

Когда ж он успел так состариться?

Одна из особенностей письма В. Кантора: разные, внешне никак не связанные между собой произведения он населяет одними и теми же персонажами, словно на протяжении лет пишет историю одной и той же компании, беря в главные герои по очереди то одного, то другого, то третьего. Так, проходной персонаж повести «Два дома» становится главным героем романа «Крокодил». А второстепенный персонаж романа «Крокодил» становится одним из главных героев романа «Крепость», и т.д.

Набор одних и тех же фамилий кочует из книги в книгу. Все эти персонажи чрезвычайно похожи друг на друга. Работают в научном журнале, преподают, пишут статьи и книги, встречаются то в кафе-стекляшке, то в пивной, то у кого-нибудь на кухне, ведут философские споры, травят анекдоты (с анекдотами в книгах Кантора явный перебор). И пьют, пьют, пьют — до чертиков, до крокодильчиков. «Московские интеллектуальные алкоголики» — говорит о себе и своих товарищах один из столпов компании историк и философ Илья Тимашев.

«— Зачем вы так пьете? Какой смысл?» — спрашивает его мальчик Петя.

«— Либералии, — отвечает Илья, — …в Древнем Риме был праздник — либералии, в честь Бахуса. Тысячелетиями тянущаяся попытка приобщиться таким образом к свободе».

Да, они хотят свободы, но дальше застольно-ритуальных насмешек над своим полуграмотным начальником не идут. Они умны, образованны, от природы талантливы, фонтанируют идеями, но им лень додумывать их до конца, тем более реализовывать во что-то осязаемое. Так, Лева Помадов («Крокодил») не в силах додумать до конца свою «теорию калейдоскопа». И в то же время представляет, что «вот он умирает, его хоронят, начинают говорить, а что же он сделал, и никто не может вспомнить ничего, кроме того, что он редактировал хорошо статьи, будут говорить, что он был талантливый исследователь, но тут же прикусят себе языки, потому что в опубликованных им статьях ничего, кроме ситуативной правоты, найти нельзя, их даже в книжку не собрать, реального предмета исследования нет…»

Таков же и Павел Галахов. «Студенты ждали от него какого-нибудь решающего слова… А своего слова, которое требовало бы развития, у него не было...».

А ведь это не маргиналы какие-то, напротив, эти люди от рождения запрограммированы были на что-то большое, значительное, высокое. Так, по крайней мере, им внушали с детства.

Десятилетний Боря Кузьмин («Два дома»), подслушивая разговор взрослых, узнает, что интеллигенция и простой народ — это два «коренным образом различных, противоположных и враждующих по своей сути слоя… Слоя людей творческого горения, общественной жизни, с жаждой духовной пищи и слоя обывателей, мещан, интересы которых не поднимаются выше устройства на хорошую работу, то есть легкую и высокооплачиваемую, а также разговоров о жратве и выпивке. И эти два слоя навеки непримиримы!»

Другой мальчик — Петя Востриков («Крепость») живет с ощущением своего высокого предназначения, нарочно изучает жизнь великих людей (Эйнштейна), чтобы понять, как «у них», великих, все было, «когда их посещали первые откровения, проявлялись первые проблески *гениальности*, и не опоздал, не опаздывает ли он, Петя?» При этом «книжный мальчик из хорошей семьи» панически боится всякого соприкосновения с улицей, со своими сверстниками из простых семей, «вроде тех…что толклись вечерами у школы, жили в бараках, в хрущобах заводских районов, ходили, вооруженные кастетами, палками…»

Отношения интеллигенции и простого народа — одна из центральных тем в книгах В. Кантора. Всюду его герои открыто противопоставляют себя этому самому

«простому народу», к которому их, однако, неизменно если и не тянет, то прибивает обстоятельствами.

Лева Помадов (а именно ему принадлежали рассуждения о «двух слоях»), став главным героем романа «Крокодил», еще продолжает философствовать на эту тему, но уже легко откликается на приглашение незнакомого бомжа выпить в скверике у гастронома. Уже после того, как Леву «съел крокодил», в квартире на окраине Москвы происходит очередное интеллигентское застолье, ведутся умные разговоры — «псевдовыяснение псевдовопросов, на которые всем на самом деле наплевать и только все интересничают своим глубокомыслием», — а с улицы доносятся в это время похабные частушки (повесть «Соседи»). К этой компании принадлежит еще молодой и крепкий Павел Галахов — единственный, кого «дворянин и бретер» Нарумов признает за своего. («Конечно же, фамилия Галахов происходит от Галахеда, рыцаря Круглого стола!»).

В эту компанию Павел приводит свою невесту Дашу, но все кончается безобразной сценой, почти как у дворовой компании частушечников:

«— Бросай курить, старичок! Там дворянин этот твою Дашу насилует».

Скандал, драка, уход и встреча на темной улице с местной шпаной, от которой парочку спасает не кто-то из своих, а сосед-маргинал.

— Что, Павел? Ума прибавил?

…И вот он уже и впрямь старичок. После «отъезда» Даши (а Галахов не хочет слышать, знать, что она умерла, придумывает себе, что уехала далеко, в Америку) он стал присматриваться… к жизни бомжей. Как собирают жестяные банки… куда сдают, сколько стоит. Круг замкнулся.

«Павел лежал, из глаз катились слезы. Похоже, что на этот раз он и в самом деле плакал. Плакал о совершенно непонятно зачем прожитой жизни».

«Самая страшная смерть» — назвала М. Загидулина свою рецензию, помещенную, как уже было сказано, среди отзывов на рассказ В. Кантора, в конце его нового сборника. Нет, эта смерть — не самая страшная, бывают пострашнее. Скорее — странная. Надо было жить и работать, а человек лег и умер. Потому что не хотел жить, не хотел сопротивляться, не хотел ничего.

«Упаду — так упаду, — отрешенно подумал он. — Значит, я на этом свете не нужен». Это не Галахов. Это Илья Тимашев перед тем, как упасть с балкона и разбиться («Крепость»). С той же обреченностью Лева Помадов отдает себя на съедение своему «крокодилу».

Все они умерли странной смертью, которой не должно было быть. Будто, и правда, такие умные, талантливые, запрограммированные на что-то большое и высокое, оказались не нужны никому, даже самим себе… (Каждый из них в какой-то момент и о самоубийстве подумывал).

Лишние, слабые люди. Скольких таких мы знали и знаем! Скольких из них уже нет на свете. По тем же самым причинам. Жалеть ли их? Осуждать?

Или принять как данность: теперь не их время. Теперь, к сожалению, время таких, как Цезариус.

Владимир Березин

Соглядатаи, клоуны и сценаристы

Довольно давно воздух наполнился мрачными предсказаниями литераторов и журналистов о конце времен, который предстает как «конец книги». Нет, даже «Книги» — предмета с большой буквы, того сакрального предмета, что «лучший подарок» и «которому мы обязаны за все лучшее в себе». Плач по Книге — это крик на «Титанике», волна перехлестывает через палубу, и писатели, ратующие о книге, кажутся музыкантами на погибающем корабле, что выказывают мужество при конце времен.

Меж тем есть несколько обстоятельств, не отменяющих страшных пророчеств, а довольно сильно меняющих акценты.

Во-первых, этот самый конец времен уже произошел. Все уже случилось — и мужественные писатели только думают, что пророчествуют, а на самом деле они находятся внутри затопленных помещений корабля и из их ртов поднимаются вверх пузыри воздуха. И вот почему: мир давно уже читает с экрана, у каждого в кармане уже есть мобильный телефон (не со всякого современного телефона удобно читать текст, но с каждого — можно), и продажи электронных книг уже перекрыли продажи бумажных. Аудиокниги уже победили — потому что их удобнее использовать в автомобиле, который стоит в пробке, а также на грядке и в прочей домашней работе. Мир уже другой, и люди, по стечению обстоятельств оказавшиеся в воздушном мешке, просто не задумывались о реальном положении корабля.

Во-вторых, почти все возбужденные люди, говорящие об изменениях в культуре, смешивают судьбу литературы с судьбой бумажных книг. На нашем этапе тут много сходства, но предметы эти и их судьбы различны.

Электронные книги побеждают, потому что они удобны, потому что они уже доступны (а именно бумажные издания раньше козыряли дешевизной и доступностью). Во многих случаях — как интерактивные учебники, как справочники и словари — электронные книги никакой конкуренции с бумажными не ощущают. Только мазохист скажет, что приятнее шелестеть страницами многотомного словаря, а не ввести слово для перевода в окошечко на экране.

В-третьих, в спорах о будущем книги иногда возникает надежда, что с электронной и сетевой литературой все будет как сейчас, только бумага заменится на экран. Примерно так же в конце восьмидесятых многие люди полагали, что светлое будущее будет как в СССР, только Мандельштама с Пастернаком будут продавать на каждом углу. Пастернак и Мандельштам действительно сейчас обнаруживаются на каждом углу и даже в ларьках уцененных книг. Однако это не единственные изменения, что произошли в стране за четверть века.

Поэтому очень важно понять, куда, собственно, движется наш корабль, тонет ли, или все идет нормально. Или же он тонет, и мы способны залатать брешь, или, наоборот, мы должны бросить ржавое железо и с гиканьем и свистом помчаться по льдинам на собачьих упряжках, получая от этого даже некоторое удовольствие.

Об авторе | Владимир Березин родился в 1966 году. Окончил физический факультет МГУ и Литературный институт. Автор нескольких книг прозы и биографических исследований. Постоянный автор «Знамени». Живет в Москве.

Для начала нужно заметить, что разговоры об электронных книгах в оппозиции к бумажным надо прекратить. Эта тема уже лишена смысла, это Plusquamperfekt. На прошедшем недавно — в июне 2010 года — V Московском книжном фестивале зал был поровну поделен между лотками с книгами и лотками с виниловыми пластинками.

Винил, виниловые пластинки — это тот образ, к которому взывают равно часто и апологеты электронных книг, и люди, отстаивающие права книг бумажных. Я слышу о них почти так же часто, как и про ламповую технику и «ее теплый звук™». Это важная часть репертуара, что играется на нашем «Титанике». Понятно, что многим людям спокойнее сосредоточиться на этой проблеме, чем вдуматься в более широкую — гибель, собственно, художественной литературы старого типа. Но обо всем по порядку.

Такое впечатление, что эти реплики заранее раздали размышляющим на эту тему. Кто-то обязательно говорит: «А запах?! Как можно расстаться с этим запахом книги?!», а другой сразу же подхватывает: «А шелест страниц? А?! Ну невозможно же расстаться с шелестом страниц!».

Когда говорят о гибели бумажной книги, часто добавляют: «Ну, посмотрите, вот все предрекали смерть театру, то, что его убьет кинематограф, но вот смотрите — никто не убил театр». Говорят, что кинематограф отнял у театра ту аудиторию, которая к нему тут же добавилась в результате всеобщей грамотности и отмены сословий.

В дискуссиях этот вопрос всплывает в тот момент, когда надо сказать, что, дескать, в жизнь пришло что-то новое и, хоть все боялись, старое не умерло. Но с этим тоже не все просто: хорошо бы посмотреть статистику — вдруг кинематограф отнял от театра к нынешнему веку много? Каковы, собственно говоря, тенденции — сколько смотрят там и здесь, каковы численность трупп и количество спектаклей, какова аудитория? Вдруг окажется, что театр весь двадцатый век сдавал позиции, сдавал и теперь потихоньку перерождается во что-то иное? Не говоря уж о том, что другие люди утверждают, что в провинции выросла уже пара поколений без театра в жизни вообще. И ничего, живут, не тужат, смотрят кино на DVD. Немногие рвут рубахи на груди, а ведь это население целых областей. С провинциальными театрами просто более показательно — им надо платить за газ, за свет, вот их и выкашивает куда эффективнее бездельников-литераторов, или тех, кто может встать в переходе со скрипочкой.

Одним словом — и это спорно. В качестве защиты литературы от вызовов времени это как-то проходит, но в области защиты бумажной книги — уже никак.

Этот стандартный набор аргументов в спорах — ужасные глупости. Книги давно делают (за редким исключением) на отвратительной кислотной бумаге, что распадается, как и сама книга, на глазах. Большинство электронных книг умеет имитировать звук переворачиваемой страницы, а если возникнет устойчивый спрос, рынок тут же явит спрей с запахом свеженапечатанной книги. Стихотворение Пушкина ничуть не хуже выглядит на жидкокристаллическом экране, чем на бумаге.

Но главное — рынок жесток, как хищник на охоте. Если будет много людей, готовых платить за бумагу, будет и бумага. А людей, готовых платить, не будет. Их и сейчас нет.

Поэтому заявления «Вернется мода на бумажные книги в их привычном виде» похожи на заклинание. То есть люди уповают на то, что появится какой-то абстрактный человек, которому нужна ручная сборка давно серийного товара. Кстати, этот разговор давно велся у филофонистов — у них благополучно умерло несколько поколений носителей, и никакой надежды на возрождение, к примеру, магнитофонных кассет и оперного видео на VHS нет.

Надо относиться к этим разговорам с юмором, потому что они предсказуемы. Вот, например, в этом месте кто-нибудь обязательно говорит, что лет пятнадцать назад считали, что CD убили винил, и его теперь негде взять, а теперь им везде торгуют, как и проигрывателями. «Винил», дескать, выжил, и сейчас в любом западном городе есть несколько специализированных магазинчиков, где-нибудь в подвале, торгующих исключительно винилом. Он, дескать, не перестал быть фактором вообще, он просто сделался фрондой. Спасительный ответ в том, что серьезное чтение станет такой же фрондой.

Как ни крути, производство винила почти на нуле, а доля его продаж там же. И конечно, мы, находясь в районе нуля, можем видеть больцмановы флуктуации (это

ученое слово введено в текст для пущей наукообразности), но это как с табакерками — был раньше художественный рынок табакерок для нюхательного табаку, была индустрия — а вот теперь нету оной. А табакерки — что ж, продают. Кто спорит?

И тут мы приходим к самому интересному: как только разрушится система материального вспомоществования авторам, что существует ныне (она разрушается, но еще не разрушилась), появление новых станет проблематичным.

Некоторые сравнивают это с пирамидой воспроизводства олимпийских чемпионов, той самой знаменитой пирамидой Кубертена. Основатель Олимпийского движения говорил: «Для того, чтобы сотня занималась физическим воспитанием, пятьдесят должны заниматься спортом. Для того, чтобы пятьдесят занимались спортом, двадцать должны специализироваться. Для того, чтобы двадцать специализировались, пять должны проявить себя в способности к выдающимся достижениям». С другой стороны, с этим спорит известное стихотворение Давида Самойлова:

В этот час гений садится писать стихи.
В этот час сто талантов садятся писать стихи.
В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи.
В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи.
В этот час миллион одиноких девиц садятся писать стихи.
В этот час десять миллионов влюбленных юнцов садятся писать стихи.

В результате этого грандиозного мероприятия
Рождается одно стихотворение.
Или гений, зачеркнув написанное,
Отправляется в гости.

Понятно, что даже если перестать платить за литературу (это по большей части свершилось — оплаченного спроса она не имеет), то пирамиду разрушишь не сразу. Гении и графоманы будут писать по инерции. Понадобится еще два поколения, чтобы графоманы переквалифицировались в сумасшедших саморежиссеров.

Но сейчас легонько толкни систему — и посыплется вся цепочка: роман, что приносит создателю месячный оклад младшего менеджера, чудовищно неэффективные издательства, что оставляют писателю 15% от отпускной стоимости книги, не менее неэффективная торговая сеть, что увеличивает цену вдвое от отпускной. Свободное копирование сольет эту архаичную неэффективную систему вместе с жалкими младенцами в ее корытах.

То есть не система материального вспомоществования авторам окончательно разрушится — уже сейчас русский писатель средних лет, как, впрочем, и европейский, обязательно где-то работает: журналистом, менеджером, сочиняет рекламные тексты, ведет собственный бизнес.

Разрушится система заработка на книгах — сейчас автор не получает почти ничего, но издатель может на нем заработать. А вот как издатель увидит убыточность своего ремесла, он тут же начнет заниматься чем-то иным. Он купец, а не благотворитель — и осиротевшие писатели превратятся в стада посетителей Интернета.

Мы нормальным образом возвращаемся в систему до Пушкина. Вполне возможно, что нелегальные (или легальные — не важно) копии будут распространяться стремительно, но автор не получит ничего. То есть у него будет, если повезет, профессия «для прокорма», но индустрии, позволяющей получить хоть что-то за это занятие, не будет вовсе.

Не только отечественные, но и западные опросы говорят о том, что, будь воля потребителей, они бы ничего не платили за электронные копии — и этому удивляться не надо.

«Писать надо лучше» — это заклинание, известное нам еще от Хлебникова. Но для той литературы была применима надежда Цветаевой, что, дескать «моим стихам как драгоценным винам» — и все такое.

Однако сейчас мы находимся в переломной точке, когда неясно, «настанет ли черед». История иногда поворачивается так, что черед не настает, некое искусство превращается в забытое или маргинальное — как какая-нибудь шаманическая пляска. Раньше была первым занятием в мире, а теперь нужна как старый ламповый приемник: для экзотики. Была раньше особая культура танцев, чуть не язык движений, а сейчас это искусство немногих. Да что там — вот футурологи чуть более века назад боялись, что увеличивающееся количество лошадей завалит навозом весь Лондон до второго этажа — ан нет, как-то по-другому обернулось.

Поэтому оптимисты стараются обнадежить нас заклинаниями, сродни заклинаниям экономистов конца восьмидесятых: «невидимая рука рынка расставит все по своим местам». На самом деле все происходит точь-в-точь как в истории про цыгана, что отучал лошадь есть — и уж было совсем отучил, как она сдохла.

Пустоты не всегда заполняются — то и дело на Земле вымирают целые экосистемы (вовсе не обязательно по вине человека или метеорита), отчего пустоту, оставшуюся от литературы, не заполнить пивом или ролевыми играми? Решительно непонятно, почему. Если рынок расставит все по своим местам, разумеется.

И сейчас стоит вопрос об исчезновении чтения как времяпровождения. Это вовсе не означает, что люди отложатся от грамоты и будут общаться только знаками. Никто не призывает заместить буквы иконками на экране (хотя многие уже делают это добровольно). Это означает только то, что уже почти исчезла традиция долгого чтения — неважно какого, текста: Гоголя или милорда глупого. Очевидно, что люди читают меньше — меньше читают не только книги в бумажном виде, но и со светящегося экрана компьютера, с е-бука.

Кстати, чтение стало по-настоящему массовым только полтора века назад — отчего бы ему не вернуться обратно в прежнее немассовое состояние? Увы, самое естественное для нашей цивилизации при этих словах — объявить какую-нибудь программу поддержки чтения, *освоить бюджеты* и бодро отрапортовать, что уровень чтения повысился на десять процентов.

Причем меняется само понятие чтения. Директор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин говорит: «Мы имеем сейчас, уже сейчас, эпоху не буквы, а условной цифры, эпоху, когда единицей информации является не текст, не книга, не смысловое единство, а поток. Есть информационные потоки, с которыми абсолютно все мы наверняка сталкиваемся. У кого-то это френд-лента, у кого-то это лента в фейсбуке или любой другой RSS-фид, который настроен в компьютере. В общем, это какая-то штука, которую вы с утра включаете; дальше она у вас течет перед глазами и ни на секунду не останавливается. Это не значит, что люди перестали читать книги или смотреть фильмы; это значит, что базовый способ потребления информации стал таким. Ты уже не едешь по железной дороге от станции к станции, ты скорее залезаешь по пояс в реку, и она течет мимо тебя. Ты успел что-то на мгновение ухватить, успел что-то заметить, и оно утекло дальше. Если опять же уподоблять сознание некоторому лучу, то теперь это уже не луч прожектора, а скорее луч кинопроектора — то есть некоторый источник света, через который проходит лента, непонятно кем сочиненная и написанная. Наверное, можно вернуться, отмотать ее немножко назад и посмотреть, что было в предыдущем эпизоде, но в принципе она постоянно крутится». Дальше Сапрыкин замечает: «Еще одна отделяющая нас от гутенберговской эпохи штука — это невозможность охватить и усвоить любую длинную историю целиком»[1].

Не так давно много шумели о запрете — неважно, подлинном или мнимом — использования презентационной программы PowerPoint в штабах США. Одни заголовки чего стоили: «We Have Met the Enemy and He Is PowerPoint»[2]. Речь шла о том, что такие способы рассказа о задачах манипулировали сознанием, вытесняли сомнения, апеллировали к эмоциям — а это, понятно, не всегда хорошо в штабной работе. То есть — убедить получается лучше, чем обсудить, загипнотизировать про-

1 *Юрий Сапрыкин: «Кого возьмут в будущее?». OpenSpace.ru, 26.04.2010.*

2 *New York Times, 27.04.2010.*

ще, чем объяснить. И такая замена способов коммуникации — не свойство будущего, а нормальная сегодняшняя реальность.

Особенность долгого, медленного чтения художественной литературы в том, что читатель на каждом шагу, может быть, сам того не замечая, конструирует в голове новую для себя реальность. Он как бы экранизирует книгу в голове, создает образы, используя художественный текст как повод. Это своего рода тренировка мозга. Но отчего не предположить, что судьба уже трясет у нас перед носом новыми тренажерами?

Причем умирает само умение читать и писать длинные тексты, что длиннее подписей в PowerPoint[3]. Противостоит этому только общественная инерция и человеческое упрямство — примерно такое же, что заставляло русских эмигрантов соблюдать правила употребления «ятей» в частной переписке. Но вряд ли это будет продолжаться долго.

Может статься так, что литература не ограничится утратой звания главного искусства (это уже произошло давно), а может вообще перестать существовать как целостное искусство.

Не рынок убивает литературу, а читатель. Литература очень похожа на цветы на балконе: читатели перестали поливать их — и растения стремительно засохли. Необязательно исчезает все — как мы знаем, есть грибы, что растут и на людях, есть неистребимая плесень, но все же георгины и грибы под ванной для нас явления разного порядка.

Кончилась популярность литературы, то есть литература как институт еще живет, а вот ее важность для общества исчезла. (В этом месте кто-нибудь из хороших людей старой формации обычно говорит: «Ну что за глупости! Мы только что провели читательскую конференцию в городе Н. Какие глаза были там у читателей в библиотеках! Жива еще литература!». К этим словам нужно отнестись вежливо — это форма анестезии.)

Сейчас успешный писатель не тот, что написал фиксированную книгу, а тот, кто постоянно состоит в диалоге с публикой — как колумнист или телеведущий.

Вернемся к теме создания текста — великая русская литература возникла не только благодаря Божественному промыслу, но и оттого, что за печатное слово стали платить. То есть ею стали заниматься, в ней стали упражняться, потому что это перестало быть утренней забавой помещика.

Пиратство, которое не могло не возникнуть в силу изобретения компьютеров, а теперь и их чудесных портативных разновидностей, добьет эту конструкцию. Не сказать чтобы я порицал пиратство — ругать его вроде как ругать погоду. Запрещать — все равно что запрещать на корню порнографию.

Но и предсказывать гибель литературы глупо и неосмотрительно — понятно, что-то на ее месте прорастет, но ясно, что это будет выглядеть совершенно непохоже ни на что. Можно ли представить себе реакцию даже не древнего грека-театрала, а посетителя мольеровского театра, перемещенного в театр нынешний?

Уже через несколько лет писатели должны свестись к трем типам: соглядатаям, клоунам и сценаристам.

Соглядатаи — это честные люди, обладающие даром связного высказывания (это чрезвычайно много — и не только в наши времена). Соглядатаи — это создатели текстов в своих публичных дневниках, очевидцы жизни на улице, на службе и в семье.

Куда интереснее читать дневник путешественника, чем печальный интеллигентский роман. Часто соглядатай находит точное слово, подслушивает разговор в кофейне, приносит нам в пригоршне подсмотренный сюжет. Он может его и выдумать — ценность не уменьшится. Это такое же изменение в литературе, какое в свое время случилось в журналистике, когда все граждане поголовно оказались оснащены карманными видеокамерами, а теперь — умными телефонами. Да, среди

3 *Об этом подробно в статье Константина Фрумкина «Откуда исходит угроза книге» — «Знамя», 2010, № 9.*

литературы соглядатаев много мусора, но никто с соглядатаями и не заключает пожизненного контракта, как с писателями в старой системе.

Литература *клоунов* — это литература рассказчиков, которые вовсе не обязательно стоят на фоне краснокирпичной стены stand-up comedy. Просто они сочиняют короткие истории, похожие на пьесы для моноспектаклей. Те, кто хорошо смотрится на сцене, не гнушаются читать свои тексты вслух. Литература клоунов отличается от литературы соглядатаев профессионализмом и сценичностью. Это почти поэзия (кстати, поэты-чтецы в новые времена оказались наименее уязвимыми), и традиция литературы клоунов на самом деле сложилась давно. Она идет от Сергея Довлатова, она присутствовала у Михаила Жванецкого, она есть у недавно умершего Дмитрия Горчева и ныне здравствующего Дениса Драгунского. Набор имен не намекает на идентичность, а говорит о том, что ничего удивительного в этой традиции нет. Тексты, к примеру, Горчева имели и имеют куда больше шансов на прочтение, чем тексты современных романистов — именно потому, что так они устроены. И так же устроен современный читатель — иначе говоря, тексты эти устроены так же, как и способы коммуникации современного читателя.

Можно подумать, что литература клоунов выродится в самодеятельность, похожую на некогда знаменитые клубы самодеятельной (авторской) песни. Писатели будут читать свои произведения у ночных костров в лесу. Эти встречи могут стать романтичными, а в связи с техническим прогрессом куда более комфортабельными, чем слеты авторской песни лет тридцать назад. Картина таких ночных чтений, впрочем, уже довольно давно и хорошо описана в одном романе Бредбери.

Сценаристы, наоборот, работают для гигантских зрелищных корпораций. Ничего позорного в работе на крупные корпорации под надзором заказчиков нет — множество великих произведений во всех видах искусства было так создано, и никто не бросит в их творцов камень. Из факта дезертирства солдат писательской армии в армии сценаристов и клоунов, а равно как из увеличения рядов писателей-соглядатаев вовсе не следует, что человечеству будет хуже жить. Пока я это пишу, погибли три, что ли, вида живых существ — козявок и мошек. Заплачем ли мы о них?

Профессионалам остается непростой выбор между сценаристом и клоуном. Мне и самому страшно, я и сам напряженно думаю, куда в этом раскладе податься и, если что, где подработать. Нет ли, скажем, еще чего-нибудь, кроме как места клоуна или сценариста, а если уж точно нет, то куда пристроиться? Это вопросы важные, ответы на них часто печальны — но они более нужны, чем выдуманный рост интереса к чтению.

Общество сейчас не очень замечает филателистов (и раньше-то, когда я увлекался филателией, не очень замечало, но тогда вокруг них была аура таинственности: «Британская Гвиана», надпечатки, марки колчаковского правительства и прочие магические слова). Теперь филателистов стало меньше, но они есть. Время от времени они ругаются. Устраивают, может быть, жаркие перепалки с филокартистами за выставочные площади. Но главный сюжет в новостях, в котором филателистические критики будут кричать о том, что Сидоров получил премию «Золотое гашение», а ведь его подборка «Пионеры-герои» — жалкая пародия «Скаутов США», собранных Петровым, — такой сюжет невозможен. Можно сказать, что некоторый снобизм спасителен, спасительна отъединенность от мира — как в древних монастырях. С этим сложно — во-первых, экономика монастырей все же отлична от литературы, а с другой стороны — монахи культуру не только сохраняли и создавали, а и зачищали.

Итак, наш корабль еще плывет, но выбор надо делать уже сейчас — стопорить ход и вычерпывать воду, нырять в затопленные помещения, спасая любимых, начать драку у шлюпок, с хохотом пересесть на собачьи упряжки или вовсе застрелиться. Все *уже* изменилось.

В конце этого манифеста я с сожалением должен признаться, что тоже нахожусь на корабле. Как человек вовлеченный, я лишен возможности прикупить попкорн и спокойно наблюдать за происходящим из шезлонга.

А ведь хочется спешно найти какое-нибудь место, где сияние и слава, или, наоборот, где щей горшок и сам большой.

Виктор Коваль

Рождество на водах

Новый 2010 год я встретил в Элисте, а Рождество — в зоне Кавказских Минеральных Вод. Вернулся в Москву с фарфоровым бюветом и разного рода наблюдениями.

Например, в Элисте на улицах не курят. Не принято. Расстояния маленькие. Если человек в Элисте выйдет из дома, то он дойдет куда надо за пять минут, там и покурит. Это в Москве ему надо целый час мотаться туда-сюда, а дальше еще куда-то топать — конечно, закурит на ходу.

Если кто и курит на улицах Элисты, то только москвичи, по московской привычке. Или те местные, которым идти некуда.

Стоит в Элисте на улице Ленина памятник джангарчи — сказителю калмыцкого эпоса «джангар». Джангарчи играет на домбре. Выполненная в условной манере сидящая фигура джангарчи сливается с треугольным корпусом домбры. Оно же — сквозное треугольное отверстие внутри их общей композиции — пространство играет — так правильно понимает народ выдумку художника, но между собой называет статую «дотур уга» — «без кишок». Пример того, как монументальная условность уравновешивается фольклорным натурализмом. Столичный пример — «баобаб» — необъятная колонна, поддерживающая сочлененный свод в центре вестибюля на «Курской». — Встретимся у баобаба! — так когда-то мы говорили (конечно — не фольклор, но — местная особенность словоупотребления, центровая).

Пушкин — фигура в Калмыкии особо почитаемая: калмыки присутствуют как в его поэзии, так и в его прозе. Пушкиных тут двое: в рост и бюст.

Лермонтова — ни одного. Хотя однажды он и упомянул калмыков: «Тут (под Пятигорском) увидишь и грузина, и калмыка, и перса с крашеной хной бородою». Есть улица Лермонтова.

Имеется в Элисте и свой, как и в Пятигорске, Остап Бендер. Стоит в 9-м микрорайоне, держит шахматную фигуру коня.

В пяти минутах ходьбы от него, но уже в 8-м микрорайоне стоит фигура верблюда в натуральную величину, также из металла. Стоят они каждый сам по себе, но я нашел между ними связь — копытные! В 9-м (нечетном) микрорайоне — непарно, а в 8-м (четном) — парно.

Мой любимый памятник — парковая статуя Будды. Сидит в лотосе под ротондой, возле элистинского Белого дома, на площади Ленина. Суетное место — Просветленному там и быть, умиротворяя его. Я там тоже, стоя у Будды, умиротворяюсь. Но перекурить не осмеливаюсь, хоть памятник и светский.

Отдельно от всех элистинских памятников отстоит памятник Велимиру Хлебникову — на малой родине поэта, у села Малые Дербеты, без постамента. Издалека — просто стоит в степи высокий, три с лишним метра человек. Вокруг — пространство играет. Степь поет. Сюда, на крайний север Калмыкии, пограничный с Волгоградской областью, меня занесло воображение, а мой реальный путь, напоминаю, лежит на юг.

Об авторе | Виктор Станиславович Коваль родился в Москве в 1947 году, по образованию художник-график. Постоянно публикуется в «Знамени» как поэт. Последняя прозаическая публикация — «Разговор о понятиях» (Знамя, 2006, № 6).

— А вы почему едите мясное? У вас же — Рождественский пост! — сказала Байрта, моя соседка по новогоднему столу. — Виноват! А чем тогда закусывать? Тут все мясное. Кстати, а вы сами почему его едите? Будда — вегетарианец.

— А нам Его Святейшество Далай-лама разрешил. Такой уж у нас климат — резко континентальный, и уклад — животноводческий. «Калмык травы не ест» — знаете пословицу? Это в Индии возможно круглый год питаться растениями, а нам от такой диеты — карачун. — Я налил ей в рюмку то, что она предпочитает.

Байрта (Бая) как раз только что оттуда, из Индии, была в резиденции Его Святейшества Далай-ламы Четырнадцатого, где он живет в изгнании. Вот шнурок, освященный Его Святейшеством. Он свит из цветных шелковых нитей, с узелком, куда Его Святейшество вдунул свою мудрость: «Лучшие отношения — это те, когда любовь друг к другу превышает нужду друг в друге». Она повязала мне шнурок на левую руку. — На счастье! — сказала она, — с Новым годом!

Пели старые советские песни, танцевали.

Я всего лишь подумал и, как мне показалось, из деликатности не спросил: — Интересно, а есть ли у вас специальное разрешение от Его Святейшества на танцы? Будда-то их тоже запрещал. И выпивку.

— А где у животноводов праздник, там и танцы, — ответила Бая. — И выпивка! Но — по праздникам и в меру! Его Святейшество говорил: — Учи правила, чтобы знать, как их нарушать правильно.

Разумно. Шнурок свободно висел на запястье, но с руки не снимался. — А как этот шнурок развязать — перед душем, например?

— А зачем? Просто забудьте о нем.

Пели русские народные песни, в основном про казаков, калмыцкие народные. Оказывается, молодежь знает слова. Перед тем, как им разойтись по своим кампаниям, Темир по просьбе старших исполнил песню Криса Де Бурга «Lady in red». Под гитару.

Калмыки при встрече говорят: — Мендт! или просто: — Менд! — а прощаются: — Ну, пока! Или: — Чао!

Что еще я знаю по-калмыцки? Шар — желтый, хулсн — вода. Получается «Желтая вода»? — Нет, — говорят мне мои попутчики, — вода — усн, а хулсн — солома. Получается: «Желтая солома». Село с таким названием мы проехали только что. Живут там, оказывается, туркмены. Со времен Екатерины II.

Едем. Гляжу — вокруг трава зазеленела. Это в январе-то? Нет, это озимые, которые должны лежать под снегом. А где он теперь, снег-то? Южнее, на Северном Кавказе. Едем. Долго ли еще? — Ничего, обратно — будет быстрее — через Благодарное. В мое лобовое стекло хлестнул дождь — на полсекунды, как ветка встречного дерева. Едем. Пустая, слава Богу, трасса, голая степь, вереница коров, пастуха не видно, кажется, въезжаем в туман.

Я достал доску с зажимом, карандаш. Нашел нужное место: «Моя воинская специальность — мотострелок…»

Со временем из тумана стал выявляться хорошо знакомый мне облик высотного здания (какого? какого?), в облаках плывущего мне навстречу. Очнувшись, подумал: — Хорошо, что не я веду машину. Не умею. И нету.

— Хорошо, что не самолет ведешь, — уточнил бодрый водитель, Герман Дорджиев.

Хорошо, что тут сквозное слово — хорошо.

Радостная картина такая: — Вон Бештау! Пять гор. Или, как говорили Пушкин с Лермонтовым — Бешту! Казбек — здесь же, но отсюда не виден.

— А где двуглавый Эверест?

Когда я, случайно оговариваясь, произносил: — Эверест, все меня всегда понимали, как надо: — Эльбрус. Никто не слышал: — Эверест.

Так же, как и в Москве, где на мое умышленное: — Вы у «Отвратного» выходите? — равнодушно отвечали: — Выходим.

«Памятка постояльца» — книга формата А-3, в коленкоровом переплете с золотым тиснением. Оттуда узнаю, что здесь, в Ессентуках, наша высота над уровнем моря — 640 метров, что настоящая гостиница именуется гусоном и что в гусоне не курят.

Хорошо, буду тщательно проветривать, благо, потолки тут высокие, «старой закалки». Шторы — «из того же матерьяла». На полу — толстый красный ковер, увы, лежащий волнами. Я попытался его выправить, но бугры, раздавленные в одном месте, вспучивались в другом. Подумал: до меня многие так же: приедут — и давай топать по ковру.

Доска с зажимом. Под зажимом — писчие листы формата А4. Сверху — чистые — для черновых записей и рисунков, снизу — незаконченный рассказ про мою службу в армии в 66—69-м годах. Думал: здесь на досуге и закончу. Рассказ-то, по правде, давно уже закончен, но — очень уж много лет назад. С тех пор кое-что в рассказе сделалось лишним или требующим пояснений, например: «Малиновский заплатит!» — при каких обстоятельствах так говорили, чем рисковал говорящий и кто такой Малиновский (Родион, не Роман).

Первая запись на доске с зажимом: «усн-хулсн».

Вторая: «Гусон — государственное учреждение социального обслуживания населения. Гусон, закусон. Гусь рождественский».

Его мы привезли с собой уже приготовленным. Думали, разогреем здесь — что делать, оказывается, гусоном запрещено. Разберемся.

Третья: «Металлическая опора. Инв. № 011705961».

Это уличный фонарь. Здесь он — элемент садово-парковой архитектуры; испорченный тем, что к нему на уровне человеческого роста привинчен большой шрифтовой плакат вышеуказанного содержания. Как на груди у человека: «Ищу работу» или «Поджигатель».

Перед сном увидел двух мышек — выбежали из-под ковра. Хорошо, что не во сне увидел.

Разговоры в очереди к процедурам:

— Наш Буденновск собираются менять на прежний Святой Крест. Большинство — против: надо переписывать все паспорта и свидетельства: о рождении, браке — ужас! — ввиду затрат и безумных хлопот. С другой стороны — возражать против Святого Креста — как-то сами понимаете…

— А у нас в Пятигорске когда-то были волнения насчет Остапа Бендера у «Провала». Негоже быть мошеннику таким же бронзовым, как и пятигорский орел.

Всех, однако, удивило другое — зачем ему, пятигорцу, лечиться в Ессентуках? Своего Пятигорска мало? Нет, Пятигорск — нарзан, а ему показаны ессентуки. — Зажрались, — пошутил кто-то из старших. Я вспомнил про Трускавец и нафтусю. — А вы Карловы Вары помните? — был и такой вопрос, заставивший всех задуматься. У меня, лично, спросили насчет шнурка — не от бородавок ли?

И ни разу никто не сказал «боржом». Ну хотя бы случайно.

— Дайте нарзану! — требовал Берлиоз в бессмертном романе Булгакова «Мастер и Маргарита», — говорит экскурсовод в мегафон, собирая вокруг себя любопытную публику. — Хотите нарзану? — спрашивает он затем у случайного лица, выделенного им из толпы, — езжайте в Кисловодск и Пятигорск! Автобус отходит в 14.45. С заездами за каждым записавшимся!

Центральная площадь. Все желающие записываются на экскурсии. Мы — не желающие, но, забегая вперед, скажу, что не раз вольно или невольно пересекались с желающими и присоединялись к ним.

Похожий эпизод в Пятигорске — экскурсовод с мегафоном: «Вкусная вода — ессентуки № 17!» — так сказал поэт Серебряного века Осип Мандельштам еще в 1927 году, но вкус ессентуков с тех пор остался тем же!

Врать они, конечно, не будут — насчет первоисточников. В крайнем случае скажут «по словам» или «предположительно». Странно, что Мандельштам высказался так непоэтично.

Нет, поэтично, просто мы его недослушали: «Играет музыка, играет солнце, играют пузырьки в кружке — чуть-чуть пощипывает язык (оттого, вероятно, и хочется болтать, когда утром идешь в компании по парку и, не торопясь, отпиваешь свою воду!) — вкусная вода — в ней земная прохлада и утренняя свежесть».

Конечно, знания у них, экскурсоводов, — исключительно краеведческие, но память — глубокая, хранящая не только полезную информацию, но и тьму пустых, полуанекдотических сведений — для непринужденного общения с публикой, например: «Здесь, в Ессентуках, в микрорайоне Золотушка в 2008 году скосили поле дикой конопли выше человеческого роста».

Запись на доске с зажимом: «Прототип Воробьянинова — Гурджиев. Усы. Он же — прототип Воланда, без усов. Все экскурсоводы — женщины».

— В целом у нас публика хорошая, — говорили нам экскурсоводы, — но иногда — без правильного понимания. Одни равнодушно не внемлют, другие лезут со своим пониманием. Редко когда к месту. Например: «Здесь, возле Цветника, Воробьянинов сказал: “Господа, я не ел…”. Спрашивается: как он сказал дальше и как это будет по-французски? Ну, может быть, раз в полгода ответят как надо. А так в основном: “Лермонтова застрелил казак”».

В юности я знал, как надо: «Месье, же не сис…». Нет, годы не те.

Я в парикмахерские не хожу. Не люблю быть подстриженным. Дважды в год меня подравнивает моя сестра Аня — чтобы был похож на человека. И вдруг тут, в Ессентуках, в центре моего особого внимания оказывается именно парикмахерская! Называется «Алиби».

Располагалась она на улице Анджиевского, неподалеку от источника, куда со всех сторон города стекался народ со своей посудой. Почему — «Алиби»? На газосветовой рекламе парикмахерской был изображен волос, свисающий с расчески. Какая связь? Я сразу же вспомнил «Улику» — стихотворение Ходасевича про «волос тонкий, длинный, забытый на плече» поэта. Кем забытый? Мечтой, некогда «туманной и безвестной», но ныне — «воплощенной и телесной», о чем и свидетельствует этот волос-улика. Волос, уличающий поэта в связи с «нездешним счастьем». Я подумал: Волос, «Улика», «Алиби» — понятия одного смыслового ряда — и вошел в парикмахерскую.

Это — «Алиби»?

Мне ответил молодой человек в черном костюме и галстуке:

— А вам, собственно говоря, что нужно?

— «Алиби»! — повторил я внятно. У вас над головой висит реклама парикмахерской «Алиби». Это — вы?

Нет, к его «Салону парикмахерских услуг» эта реклама не относится.

— Если вам надо стричься, то это — здесь, — сказал он раздраженно, — а если не стричься, то — в другом месте. Там, сообразил я, где уместны эти идиотские расспросы насчет «Алиби».

Наверное, для ессентучан это «Алиби» — давно уже пустой звук и пустое место. Когда-то по какой-то причине его тут повесили, но теперь оно висит просто так — как привычный элемент уличного оформления. Другое дело — приезжие: увидят «Алиби» — сразу же врываются в «Салон», требуют объяснений: «Почему «Алиби»?» И — не связано ли оно как-то с «Уликой»? И — с нездешним счастьем?

Наш санаторский охранник сказал, что он не помнит, чтобы в расческе был волос. И вообще — местные жители не ходят в заведения для курортников, где помимо прочих услуг оказываются еще и «сомнительные».

Вот и думай: опроверг он мою догадку или — подтвердил?

А что такое, собственно, Ессентуки? Девятизнаменный.

По-калмыцки «йисн» — девять, «туг» — знамя. Это поселение было образовано девятью калмыцкими родами — на месте их победы над объединенными силами

горцев. Так на практике осуществлялся договор калмыков с московскими царями, согласно которому калмыки свободно расселялись на южных окраинах государства Российского, с тем чтобы оберегать его границы от вражеских набегов.

У горцев были свои версии.

— В Ессентуках по национальному составу второе место после русских занимают греки. Статистика права! — скажем и мы, глядя на античные статуи внутри галереи и за ее пределами.

Глядим: везде — девы и юноши с сосудами и чашами, амфоры в нишах.

Общая тема оздоровительного «источника» не допускает догадки, что многие кубки — с вином или, не дай Бог, с прахом.

У входа в античную избу с сероводородными и грязевыми ваннами стоит Дорифор, копьеносец, покрашенный серебряной краской. Возникает вопрос: а где брат твой — Апоксиомен, который соскребает с себя грязь специальным скребком? Серповидным? Он-то и должен стоять тут, при грязевых процедурах, а Дорифор — у военкомата.

Запись на доске с зажимом: «Разговоры со статуями — не к добру: все — проваливаются».

Перед Рождеством в Ессентуках. Мужчина в шубе поверх спортивного костюма вбегает в магазин «Подарки» за несколько минут до закрытия. Едва переведя дух: «Мне — женщине на шею, пятидесяти лет!»

Фарфоровый бювет. С изображениями Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков — на одной стороне, а на другой, — не желаете ли сделать надпись со смыслом? — спросил меня гравер, — прекрасный подарок получится. Я задумался. Зачем? Да и какую именно надпись?

Раньше я не знал, что такое бювет и что у него два значения. Первое — обустроенный источник, ключ, второе — высокая кружка с носиком и метрическими делениями. Ты подставляешь такой бювет под встроенный в галерею кран с нужным тебе значением, например: «Ессентуки № 4, теплая», набираешь воду до прописанной тебе риски и затем вдумчиво, опять же — со значением — потягиваешь воду из носика. Рядом — сотни коллег по питейному занятию значительно стоят и сидят в помещении галереи и за ее пределами — на площади.

Я-то всегда пользовался из экономии одним и тем же дешевым за два рубля пластиковым стаканом, мнущимся и не располагающим к вдумчивому питию. Хлопнул стакан, утерся и двинулся дальше.

Напомню, что лермонтовские франты, «принимавшие академические позы у колодца кислосерной воды», доставали оттуда воду с помощью оплетенного стакана. А ведь бывало, — вспоминает Пушкин, — «мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки». Конечно, современный дизайн галерей радует. «Ключи обделаны, — с удовольствием замечает Пушкин, — выложены камнем». С неудовольствием замечу, что «ключи обделаны» теперь звучат как «ключи обгажены». Раньше такого звучания не было, хотя мусорили так же, как и теперь. — Разбитая бутылка, — спрашивается, — откуда? Ключи обделаны…

Другое дело — «ключи даны!» Так, наверное, и запишем на бювете.

Рождество. Несмотря на то что распивать спиртные напитки гусон строго воспрещает, в его серванте стоят винные бокалы и стопки для водки. Значит, по праздникам — можно. Рождественского гуся нам разогрели девчата из столовой. В духовке. Плюс осетинские пироги из ближайшего «Эльдорадо». После 12 нам звонили с поздравлениями: «С Рождеством!» — из Москвы и: «Христос воскрес!» — из Элисты. «Так говорят на Пасху!» — вежливо поправил я Хонгра. «Ну и что? — оправдывался он. — Праздник его Рождения есть и праздник его Воскрешения!» Позже я сообразил, что никакой оговорки тут нет. Правильно сказал Хонгр, хоть и сказал, наверное, не подумав.

— Вы бросили курить? — спросила меня главный терапевт санатория.

— Нет. Почему — бросил?

— Потому что на вашем левом запястье — красная шерстяная нитка — против вредной зависимости.

«Красные камни» в Кисловодске. Здесь отдыхали советские вожди. Оттого они и оказались такими работоспособными и долгоживущими, что дышали тут целебным воздухом и пили живоносную воду. И принимали нарзановые ванны — подобно Печорину.

Тогда, после бессонной ночи перед дуэлью, именно нарзановая ванна взбодрила Печорина и привела его в боеспособное состояние. Говорит, чувствовал себя «как перед балом». Странно, конечно, называть наивысший подъем своих сил как предбальный. Естественно — для Наташи Ростовой, а для циника-то? Конечно, время было такое — балопочитания и балопоклонения. Поклонения Баалу — так я не скажу, потому что убери бал — здание русской литературы обвалится. Не целиком, но местами — основательно.

Однажды мне посчастливилось быть на таком балу — с княжной Мери и Печориным. Произошло это в 1955 году в павильоне Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, на съемках фильма «Княжна Мери» (режиссер — Исидор Анненский). Тогда я снимался в соседнем павильоне — в фильме «К новому берегу» по Вилису Лацису (режиссер — Леонид Луков), играл Айвара, героя в детстве. Мы бегали к ним посмотреть на их бал, а они приходили к нам — посмотреть на нашу рыбацкую избу, где моего отца жандармы арестовывали за революционную деятельность. Помню, тогда в студийном коридоре, где киношники пили чай с бутербродами и курили, преобладала исключительно бальная публика. Печорина я наблюдал только со стороны, а с княжной Мери был знаком близко. Она любила, взявши меня за руку, прогуливаться со мной по коридору и, к моему неудовольствию, сажать меня к себе на колени. Однажды она поцеловала меня в щеку. После этого я возненавидел княжну и старался на ее глаза больше не попадаться.

— Лермонтов пишет, что воздух Кисловодска располагает к любви, — сказал экскурсовод, введя нас в Долину роз. — И Чехов написал свою «Даму с собачкой» не в Ялте, а здесь.

Зимой эта долина сияла отраженным светом ее летнего величия. Нам предлагалось представить, какое тут возможно море — разноцветных цветов, и какая это бездна — одуряющего аромата. Я представил. Здесь действительно дышалось легко и радостно. Насыщенно. О, Кисловодск! О, Кислородск! О, «о» два!

Именно здесь, в Долине роз, я почувствовал, насколько уродлива моя вредная привычка! Сказав себе: «Бросаю!» — выкинул пачку «Парламента» в мощную урну с античным сюжетом. Других не было.

Возле долины, на аллеях санатория стояли фотографы со своим пернатым хозяйством: золотыми фазанами, павлинами (в том числе альбиносами) и крупными хищными птицами.

Хищники выглядели тут абсолютно уместно, поскольку на геральдических полях «минеральной» зоны» в основном обитали именно орлы — или попирающие змею как зло, или орлы, летящие над чашей, увитой целебной змеей. Иногда позирующая публика обнимала орлов или садилась на них верхом — на скульптурных орлов, разумеется, натуральные такого панибратства не допускали, хоть и выглядели вполне по-домашнему, под рукой. «Давайте скорее, пока он крылья не сложил», — сказал фотограф. Мы увидели, как белоголовый сип, привычно работая «на камеру», медленно расправил свои мощные, два метра в размахе крылья, а затем, взмахнув ими несколько раз, так и остался стоять с распростертыми крыльями и раскрытым клювом. Лысая голова с седым пухом… Кого-то напоминает, подумал я. И еще: наверное, раньше тут сипа не было. Вряд ли Советская власть поощряла снимки высоких особ в обществе стервятников.

Был тут и филин, по дневному времени — оранжевоглазый, и горный беркут. «Демократы здесь не отдыхают, — сказал фотограф, — уезжают в Куршавель». А кто

отдыхает? На выставочном стенде с лучшими фотографиями я увидел Зюганова с филином на плече и Жириновского — с беркутом.

Вспомнилось, как на предвыборных дебатах на ТВ Жириновский, заняв место очередного оратора, брезгливо указал на недопитую воду в стакане: «Кто пил? Зюганов? Убрать!» А ведь мог бы и выплеснуть.

В обычной реальности такое близкое соседство филина и беркута невозможно. Хотя бы — по причине несовместимости их образа жизни — ночного и дневного. Так же маловероятно и чудесно выглядели синие с изумрудными переливами павлины на снегу. И белоснежные павлины — так же чудесно! На том же снегу.

А ведь такая картина все-таки возможна, — сообразил я вдруг, — у них же на родине, в Индии, конкретно — в Гималаях, во дворце Великих Моголов.

Или в Кракове, в специальном питомнике, где павлинов разводят ради перьев — для краковских шляп «рогатывок», исключительно красных.

Были тут и красные камни, давшие название санаторию. Большие и малые. Самый большой камень был украшен барельефом Ленина работы скульптора Андреева. «Авторская работа» — об этом говорила мемориальная доска возле барельефа. Помню, как этот барельеф появился на новой десятирублевой банкноте в 1961 году, в январе. Позже, в октябре, я увидел его в газетах в качестве главной детали, украшающей сцену Кремлевского дворца съездов (22-й съезд КПСС). Впоследствии это изображение Ленина было снято, возможно — из-за слов поэта Вознесенского: «Уберите Ленина с денег!». С денег Ленина не убрали (опять дорогостоящая денежная реформа?), а вот с пышного задника КДС — убрали. Как намек на червонец. Конечно — с заменой на другого Ленина. Об этом я догадался только сейчас, глядя на камень.

В настоящее время «Красные камни» следует понимать как обломки красной империи. Я подумал: а не прихватить ли с собой какой-нибудь камешек — в качестве сувенира? Да только — зачем? Я и сам — обломок. Не очень красный, но и красные камни, как я заметил, были тут самых разных оттенков. Как и Синие камни, располагавшиеся тут же, в Кисловодске. И Серые.

А сип белоголовый — вылитый Петр Мамонов, замечательный артист, в прошлом — рок-звезда, в настоящем — затворник; публичности чурается, в редких интервью говорит: «Да ужритесь вы вашим творогом!».

Или — американский миллиардер Стивен Джобс. Его шаржированный портрет я рисовал пером в серьезный журнал по проблемам управления. Тогда я подумал: «Есть что-то общее. С кем? С кем?» Съездил в Долину роз — узнал.

Мне всегда казалось, что «лермонтовская площадка» — это та самая, по тексту «узенькая площадка», «изображавшая почти правильный треугольник» на скале, где стрелялись Печорин с Грушницким. Теперь знаю: Лермонтовская площадка — это двухъярусная постройка с двумя трехмаршевыми лестницами. На верхнем ярусе — бюст Лермонтова с цитатой из стихотворения «Кавказ», а на нижнем, в гроте, — статуя Демона, духа изгнанья. Действительно, сидит в заключении, в темнице сырой, придавленный известковым сводом, крылья перепончаты.

Я наблюдал его сквозь решетку грота — в полумраке, освещенном двумя зелеными лампочками, вставленными демону в глазницы, наверное, по случаю новогодних праздников. Дети — в восторге! Суют сквозь прутья решетки конфеты. — А он настоящий? «Нет, каменный», — говорят родители — и ошибаются! Из папье-маше! Покрашенный минеральными красками.

Но даже в таком, бутафорском виде лермонтовский Демон считается единственным в Европе памятником Демону — предмет гордости для одной части кисловодчан, а для другой — адская мука: все-таки, хоть и бумажный, а — Зверь!

Раньше на месте лермонтовской площадки стояла гостиница-ресторация, где кроме Лермонтова останавливался и Пушкин. Несмотря на то что в этих, «минеральных» местах бывали и другие знаменитости (Толстой, Чехов, Рахманинов), называются они преимущественно лермонтовскими местами: и площадка — его, лермонтовская, и скала — его скала, и водопад, где Лермонтов поил своего коня, — его,

лермонтовский водопад. Конечно, не Лермонтов там поил своего коня, а Печорин. Да только для нас всех, экскурсоводов и экскурсантов, тут особой разницы нет — где кончается плод его воображения и начинается сам автор. Кто из них, например, при ходьбе не размахивал руками? Оба конечно! А что, сам Лермонтов не поил коня? На Кавказе-то?

Что не его, Лермонтова, — так это пушкинские ванны (своих достаточно), «Дача Шаляпина» и «Провал» Ильфа и Петрова в Пятигорске. И то — по недоразумению. Ибо задолго до рождения юмористов туда, в провал, спускался именно Лермонтов — на веревке с привязанным для сидения поленом.

— Нет, в люльке! — возражали иные знатоки. Наверное, возникший по этому поводу спор, звучал здесь, на водах, точно так же и в XIX веке. В конце тридцатых.

Тогда над провалом навесили помост, на котором по праздникам плясала водяная публика. Самые дерзкие спускались с помоста вниз — на веревочных блоках, сначала — на бревне, а потом — в корзинах.

Печально: сыграй князь Трубецкой еще пару аккордов, никакой дуэли не было бы, и Лермонтов остался бы в живых. Известно, что в тот роковой день Лермонтов высмеивал Мартынова на фоне фортепьянной музыки князя, в окружении дам. Высмеивал он его и в непристойных рисунках, где наряду с карикатурными приятелями присутствовал и сам автор. Впоследствии этот «срамной» альбом был уничтожен князем Вяземским.

Музыка оборвалась, и до ушей водяного общества долетела заключительная часть лермонтовской шутки, скорее обидной для самого поэта, а не для Мартынова — как шутка тупая и, судя по словам очевидцев, однообразная. И все же Мартынову, как невольнику чести, пришлось реагировать — как же — при дамах! А ведь дамы, чье присутствие сыграло роль катализатора в этой трагедии, могли бы в корне эту трагедию пресечь. Загасить как ингибиторы, если они такие уж катализаторы! Ну, сказали бы они в один голос: Коля, у тебя нет причины горячиться, ибо мы, ей Богу, ничего не поняли из того, что тут Миша по пьяни сморозил, тем более — по-французски. И Мише сказали бы: Миша! Ты сгоряча неправильно понял слова Коли, сказанные так же — по-французски, таким же, как и ты, поддатым дураком! Понимаете, господа? Горячая кровь, шампанское, плюс дурная луна, плюс катализаторы, среди коих, кроме дам, может быть все что угодно, хоть Пушкин, пусть и Лев, плюс вариантность перевода и его неадекватность. Все вместе — досадный простор для непонимания, который мы и должны совместно преобороть. Нет, не преобороли.

Вспомним, как мы ненавидели гвардейцев кардинала, которые всего лишь добросовестно исполняли приказ своего короля о недопустимости дуэлей! Как мы обожали задиристых дуэлянтов! Вот и дообожались. Впрочем, виноваты мы тут задним числом: Дюма написал своих «Трех мушкетеров» три года спустя после гибели Лермонтова. Но ведь был же Ростан! Со своим бретером Сирано и культом амбициозных гасконцев: «Дорогу, дорогу гасконцам!». Расступись, народ, идут рабы чести!

Тогда даже самим дуэлянтам не было понятно, кто был фактическим зачинщиком дуэли. И секунданты сомневались на этот счет, и сейчас об этом никто не знает, только говорят: совместное творчество.

Некоторые свидетели показывали, что Лермонтов сказал на дуэли: «Я в этого дурака стрелять не буду!». А я — буду! — подумал в ответ взбешенный Мартынов. Потому что эти слова прозвучали как: «Мартынов такой дурак, в которого и стрелять-то глупо!». Конечно, услышав такое, любой дурак в ответ выстрелит, не подумав, автоматически.

— Нет! Эти слова звучали как приглашение к миру! Дескать, мы оба по глупости довели дело до роковой черты, поэтому: «Я в дурака не стреляю, и ты не стреляй в меня, дурака!».

Посыпались возражения: «Я в дурака не стреляю, и ты в меня не стреляй, дурак!». Тут обиженный дурак, конечно, опять выстрелит!

Или: «Я в дурака не стреляю, а ты, если не дурак — стреляй!» Совсем никуда!

— А скажи он это по-французски — все было бы иначе. Ибо французский — язык мировой дипломатии.

— Тьфу!

Много отчасти верных, но в целом поверхностных суждений выслушал я тогда в толпе экскурсантов и даже сам однажды таковое произнес: «Нам не дано по нашим меркам судить о чуждой жизни, господа!».

Так мы и не судим. Рассуждаем! А мысли не прикажешь: не проистекай! Да и так ли уж нам чужда эта жизнь? Мне, например, в деталях известны и дуэльные пистолеты «Лепаж», и боевые, армейские — Тульского завода, и как выглядел штырь, который вставлялся в косицу солдатского парика — против сабельного удара сзади по шее, и кто из них прапорщик (ну кто?) и кто поручик (ну кто?), и кто блондин (Печорин, Дантес), а кто брюнет (Лермонтов, Пушкин), и какое у дам было замысловатое белье, и как они подвязывали шелк, которым, по словам Пушкина, «сжимали» свои ноги — все это я когда-то проходил по истории материальной культуры в художественном вузе, а затем — изучал самостоятельно, чтобы профессионально иллюстрировать тексты, как художественные, так и научно-познавательные. Как выглядели интерьеры на светских мероприятиях и как — на дружеских попойках, кто какие очки носил и у кого в зубах могла торчать сигара?

Поэтому для меня вопрос, курил ли Пушкин, не является праздным. Или курил ли Лермонтов.

— Курил. Дурь курил. Вместе с Мартыновым, вот крыша у них и поехала.

— А остальные? Тоже курили?

«Любезная калмычка» курила. Не в стихах, но в прозе. Трубку. Сейчас калмыцкие девушки в ее возрасте (по тексту — восемнадцати лет) ни в коем случае не закурят в присутствии взрослых и тем более — незнакомых людей, таких, каким был пожилой, тридцатилетний Пушкин в 1829 году. Не принято. Я заметил, что даже за нашим новогодним, казалось бы, широко демократическим столом калмыцкая молодежь отодвигала от себя пепельницы и оставляла налитое им вино недопитым, едва пригубив. Вот и говори, что нравы всюду мельчают. Где-то со временем и крепчают. Как вино (к столу моралиста).

К слову, «Прощай, любезная калмычка» было сказано Пушкиным по пути из Ростовской области именно сюда, в Ставропольский край, на Северный Кавказ.

Еще к слову: гасконцы. «Гасконцы» — прозвище, имеющее широкое хождение в Калмыкии, где под гасконцем понимается тупой колхозник со вздорным характером, а под гасконством — провинциальный снобизм. Интересно, почему горделивое самоназвание превратилось в нелестное прозвище? Почему — не в лестное? И почему — именно в Калмыкии? Мои калмыцкие друзья сказали: региональная особенность словоупотребления. И — все? А своими словами? — Своими? Пожалуйста: «Үг олзлһна һазр бээрин өвэрц»

Следующая запись на доске с зажимом: «Je ne serai pas tirer sur ce idiot!».

Так по моей просьбе любезная калмычка Саглара Бадмаевна (преподаватель лицея) перевела на французский «Я в этого дурака стрелять не буду!» Наихудший вариант! Здесь вместо «дурака» — «idiot». Дурак — это все-таки немного «дурашка», фольклорный герой, а за идиота, конечно, надо отвечать. Согласно своему времени, додостоевскому.

Неудивительно, что все наши разговоры вертелись вокруг сочинителей и героев их произведений. Такая уж эта минеральная зона — литературоцентричная.

— Вот дом, похожий на тот, в котором во время революции жил в Ессентуках автор книги «Четвертый путь» Георгий Иванович Гурджиев, философ и мистик, — сказал экскурсовод. По виду — купеческий, с подпорками из трех бетонных балок и одной чугунной рельсой — по всему фасаду.

Георгий Иванович называл его «Институтом гармонического развития человека». В нем Гурджиев вместе со своими учениками практиковал танцы дервишей и разные «психические фокусы». Здесь же для особых ритмических упражнений Гурджиев и композитор де Гартман сочинили свою знаменитую фортепьянную пьесу «Молитва в Ессентуках», которая в адекватном виде до нас не дошла. Известно только, что исполнители пели эту молитву без слов, не разжимая губ. Вот так: — М…м…м…

Магия места. Кислород и водород. Серо. Горный воздух и хтоническая сила. Вулкан спит, но земные недра не дремлют. Проистекают наружу.

Однажды хилого от рождения ребенка случайно выкупали в минеральном источнике, после чего у него выросли кудри, ребенок ожил и сделался богатырем. Такова магическая версия возникновения Ессентуков — по-карачаевски «ессен тюк» — «живой волос».

Мне больше нравится адыгская версия — умиротворяющая: Ессентуки (сентук) — обжитой угол.

Запись на доске с зажимом: «**Yes**сентуки и **Kiss**ловодск».

Надо проверить, не сочинил ли кто-нибудь до меня такое. Один ли я такой умный или — наоборот.

Рисунки на доске с зажимом: медведь в кустах слушает, как князь Трубецкой играет на щепе от пня, обмениваются непристойными репликами; Лермонтов, Столыпин и князь Васильчиков в виде статуй дельфинов и тритонов смотрят на княжну N, выходящую из купальни.

Не исключено, что альбом был уничтожен не полностью, что-то осталось.

О магии повторно. В шнурке я обнаружил две ранее не замеченные мной переплетенные нитки — желтую и коричневую, кроме красной, оранжевой и белой. Означает ли это что-нибудь?

— Возможно, — ответили калмыцкие друзья. Потому что в этом шнурке имеется еще один неизвестный мне нюанс: девушка, повязавшая юноше шнурок, таким образом желает побрататься, сблизиться с ним, но — без интима и с этой целью — отвести от себя его ненужные ухаживания.

Нет, срывать или срезать такой шнурок нельзя. Тогда магия обретет обратную силу: безумного влечения к повязавшей. Тебе это нужно?

Ну как после сказанного носить такое? С руки он не снимается, а если его срезать — значит, удесятерить всю эту чертовщину?! Впрочем, почему — чертовщину? Девушка повязала мне шнурок из дружеских побуждений, и этого достаточно. А если — достаточно, так чего беспокоиться?

Да и мудрость Его Святейшества, который освятил шнурок, не перестает быть таковой только оттого, что к шнурку прицепились привнесенные обстоятельства. Главное, как мы сами к ним относимся — и к шнурку, и к обстоятельствам. Так что будем реалистами — пусть висит!

А если спросят: — А что это у тебя за шнурок на руке? — отвечу, как ответил бы сам далай-лама: — От давления! Привнесенных обстоятельств, тревожных дум, пустых хлопот.

Последняя запись на доске с зажимом: «По внутреннему распорядку я подчинялся музвзводу. Лира сверкала в моих петлицах!».

К этому рассказу я так и не притронулся. Правильное решение: не исправлять то, что было написано сорок лет назад. Другое, более правильное решение — оставить только вышеприведенный абзац. Или последнюю его строчку: «Лира сверкала в моих петлицах!»

Через Благодарное…

— Идем на посадку! — сказала стюардесса. — Пристегните стол! Мысль: не пристегнув, приземлюсь без стола.

Вернулся домой обновленным, без вредной привычки. Не знаю, надолго ли, ибо в Москве — своя магия места: на семи холмах, с речной петлей на карте и с подземной рекой — в уме.

Дома, в родном Отрадном, с опаской развернул упакованный в шерстяной свитер бювет. Не треснул ли? Нет, цел!

Надпись на бювете: «Если иссякнет источник, чем обысточишь его?».

Представляю, как терзали бы меня эти слова, если б — треснул!

Сразу же после моего возвращения в Москву Президент России издал указ об образовании нового, Северо-Кавказского федерального округа со столицей в городе Пятигорске, где я на Рождество кормил с руки его бронзового орла.

Несмотря на общую бодрость духа, укрепленного минводами, все время каким-то болезненным образом возвращаюсь в мыслях к ессентукийскому «Алиби». Его тайна до сих пор остается для меня нераскрытой, а моя догадка — недоразвитой и неподтвержденной. Ну что ж, остается ждать другого случая, возможно, такого же на вид нелепого, который и внесет ясность в эту темную историю.

«А что это у тебя за шнурок на руке?» — никто не спрашивает. Оказывается, тут много таких, похожих.

Мая Ульрих

Копелев в Германии

«Мы живем все под одним небом, однако не все мы имеем один и тот же горизонт»
Конрад Аденауэр

«Из Москвы на берега Рейна» («Von Moskau an den Rhein. Der Humanist Lew Kopelew in Nordrhein-Westfalen». — Herausgeber Lew Kopelew Forum. Köln, 2010) — так называется книга-альбом, которую выпустило общество «Форум имени Копелева» в Кельне с поддержкой Фонда графини Марион Денхоф и частных пожертвований. В подзаголовке этой книги очень точно определена ее суть: «Гуманист Лев Копелев».

Так случилось, что супруги Раиса Давыдовна Орлова и Лев Зиновьевич Копелев в начале 50-х годов прошлого века определили мою профессиональную судьбу. В ту пору я была студенткой Московского областного педагогического института им. Крупской, и Раиса Давыдовна читала у нас лекции по зарубежной литературе XVIII и XIX веков. Во время одной из бесед по курсовой работе о поэме Генриха Гейне «Германия. Зимняя сказка» я проронила фразу о неточности перевода каких-то строк, казавшихся мне очень важными. Орлова спросила: «Вы знаете немецкий?».

Что я могла ответить? Что это родной язык нашей семьи — мы выходцы из прибалтийских немцев? Что за моими плечами — унизительные годы депортации как «члена семьи немецкой национальности»? Что недавно я в течение месяца подвергалась допросам следователя КГБ из-за наивной реплики на политзанятиях: «А я слышала, что американские фермеры живут лучше советских колхозников»? Я боялась немецкого языка и всего немецкого. Очередную курсовую работу я писала о революционной лирике Шандора Петефи, позже самостоятельно выучила венгерский язык, и венгерская, а не немецкая литература стала моей специальностью...

В 1959 году Раиса Давыдовна Орлова, с которой после окончания института я поддерживала тесную связь, пригласила меня в журнал «Иностранная литература», там мне предложили опубликовать мой первый перевод с венгерского, а спустя некоторое время я стала референтом журнала по венгерской литературе. Однажды я шла по какому-то делу к Раисе Давыдовне домой в приподнятом настроении от только что прочитанной рецензии на книгу немецкого писателя Леонгарда Франка «Слева, где сердце». Высокий человек, галантно приподняв шляпу, пропустил меня в квартиру, а сам вышел. Я стала рассказывать Орловой о замечательной рецензии. Она смотрела на меня, слегка улыбаясь: «С автором вы только что столкнулись в дверях». Это был Лев Копелев. Позднее в Германии он стал лауреатом самых различных премий, которым несть числа, но одна из них особенная — это памятный перстень писателя Леонгарда Франка, с рецензии на книгу которого «Слева, где сердце» началась литературно-творческая жизнь Льва Копелева после ГУЛАГа…

Книгу Франка на немецком языке я тотчас купила в магазине «Стран народной демократии», берегла ее всю жизнь и привезла с собой в Германию. Сейчас, на скло-

Об авторе | Мая Петровна Ульрих живет в немецком городе Киль. Постоянно выступает с рецензиями в «Знамени».

не лет, понимаю, какую огромную роль сыграли эти люди в моей жизни: вовремя заданный вопрос, вовремя прочитанная книга, последующие встречи и беседы помогли мне преодолеть страх перед своим происхождением, не дать своим корням засохнуть. Но думал ли Лев Копелев в те годы, какой иронией судьбы обернется для него рецензия на книгу «Слева, где сердце», герой которой Михаэль Фиеркант был вынужден эмигрировать из нацистской Германии, но смог вернуться? Копелев не вернулся в «новую Россию», и книга рассказывает, почему.

Среди многих достоинств книги-альбома есть одно особенное: она соотносится и с прошлым, и с настоящим. Композиционно издатели выстроили книгу в хронологической последовательности: от приезда Копелева в Германию и лишения его гражданства до последних лет жизни в Германии. Все эти годы, несмотря ни на что, Копелев энергично и самоотверженно работал в сфере исследований российско-немецких культурных связей. В книге семь глав, каждая из них включает авторские статьи и документальный материал: фотографии, выдержки из газет — и посвящена какой-то из сфер его деятельности: «Ученый», «Писатель», «Правозащитник» — или какой-то из сторон его личности: дружбе с Генрихом Беллем, хозяину «дома открытых дверей» на Нойерхофферaллее, 41, Копелеву — гражданину Кельна. Все это — внутри магистральной темы исследования Копелевым взаимоотношений русского и немецкого народов. Занимать его эта тема начала в юности, когда он жил в многонациональном Киеве в одной квартире с немцами, а с годами она стала основным предметом его научных исследований. Но как случилось, что исследования Льва Копелева и его коллег вышли в свет не на родине, а в Германии?

Текстам книги-альбома предпослана биография Копелева, и есть в ней момент, объясняющий всю его жизнь после войны. В 1945 году, будучи офицером советской армии по пропаганде, он вступил с войсками на территорию Восточной Пруссии и поднял голос против бесчинств советских солдат в отношении гражданского населения, за что был арестован и приговорен к десяти годам лагерей «за сочувствие к врагу». А мне вспоминаются годы депортации, проведенные в Уфе. Около школы, где я училась, пленные немцы рыли траншеи. Изможденные лица, голодные глаза, скрюченные от мороза руки. И я была свидетелем тому, как горожане втихую подкармливали их: кто сунет вареную картофелину, кто лепешку из жмыха, а кто и кусок хлеба. В любом народе испокон веков существует чувство сострадания к отверженным…

Мои встречи с Копелевым, весьма редкие, но памятные, начались как раз в первые годы после его возвращения из лагеря. В печати стала появляться его публицистика, в сознании осталась ее приподнятая тональность: в стране витал дух XX съезда. Захотелось что-то сейчас перечитать. Попытки найти публикации 50-х годов оказались тщетными — подозреваю, что все, написанное Копелевым до 1968 года, когда запретили его печатать, было изъято из библиотечных фондов. Я хорошо помню приезд в Москву Генриха Белля в 1962 году. Его принимали в журнале «Иностранная литература», и Копелевы на этом приеме присутствовали, хотя Р. Орлова в журнале уже не работала. Эта встреча многое изменила в жизни Копелева. Недаром первая глава книги-альбома называется «Дружба с Генрихом Беллем». Что их объединяло? Графиня Марион Денхоф, знавшая Копелева еще по Москве, отмечала особенности характера Льва Зиновьевича: «Больше всего меня восхищает в Копелеве свобода, которой он владеет. Может быть, лучше сказать, свобода, которую он выколдовывает для себя из ничего. Как он сам писал: “Я живу in spite of“. Для меня Копелев — и литературный, и нравственный авторитет».

Эта свобода меня тоже восхищала, но и пугала. Я находилась еще полностью во власти тех определений, которые спускались «сверху»: например, события в Будапеште — это контрреволюционный мятеж... Но не давала покоя одна деталь: венгерские повстанцы сбросили с пьедестала статую Сталина, а Сталин глубоко в подсознании олицетворял для меня все ужасы депортации. Тогда я еще не знала, что в 1937 году был расстрелян мой дядя. Но какая-то работа мысли по осмыслению происходившего начиналась. Однако еще восемь лет спустя в Дебрецене, где я училась на курсах венгерского языка, произошел курьез. Нас, нескольких человек из разных стран, пригласили выступить на радио — рассказать, кто, когда и почему начал изу-

чать венгерский язык. Я сказала, что начала учить язык буквально за месяц до контрреволюционного мятежа, а итальянка меня поправила: революционного! Я смотрю на нее удивленно. Но тут раздаются голоса других приглашенных: конечно, революционного...

Надо сказать, что после событий 1956 года общественная жизнь в Венгрии начала быстро меняться. Особенно это было видно по литературе. Стали публиковаться произведения опальных советских писателей, и отклики в венгерской прессе на них всегда были положительными. В 1961 году, когда Лев Копелев только еще передал секретарю Твардовского рукопись Солженицына «Щ-854», в Венгрии вышла повесть Йожефа Лендьела «Околдованный». Венгерский коммунист Йожеф Лендьел с 1930 года жил в Москве как политэмигрант. В 1938 году он был арестован вместе с Белой Куном и освобожден после смерти Сталина. Вернувшись на родину в 1955 году, он написал несколько рассказов о советских лагерях, но самым сильным его произведением на эту тему стала повесть «Околдованный», которую секретарь Союза писателей Алексей Сурков носил в портфеле, часто говоря: «Эта вещь в чем-то посильнее «Ивана Денисовича».

Но волна энтузиазма, возникшая в годы публикаций антисталинской литературы, с конца 60-х годов начала спадать. Изменения «наверху» уже явно ощущались. Суд над Иосифом Бродским в конце хрущевского правления стал символичным. Атмосфера в Советском Союзе менялась стремительно. А в Венгрии все, что было связано в литературе с осуждением культа личности Сталина, находило положительный отклик. У меня сохранилась адресованная мне записка Твардовского: «Дорогая Мая Петровна! До конца Секретариата я не смогу досидеть. Мне очень любопытна статья, о которой вы пишете. Если бы вы были так великодушны, то я бы был вам очень признателен. А. Твардовский». Я переводила и передавала Твардовскому все, что о нем и о деятельности «Нового мира» писали в венгерской печати. В СССР уже тогда усилилось преследование инакомыслящих, в том числе и Копелева. Я бывала у Копелевых и тогда. Во мне боролись дух протеста и страх перед новой депортацией. Правозащитная деятельность Копелева меня восхищала. Но к открытому неприятию происходившего в стране я готова не была. Много лет спустя в год смерти Раисы Орловой на вечере, посвященном ее памяти, мне прислали записку: «Где вы были, когда Р. Орлову подвергали остракизму?». Записка была без подписи. Тогда мне не дали на нее ответить — отвечаю теперь...

«Сегодня мы узнали о лишении нас гражданства. Ночь была мучительной. Головная боль, кошмары. На следующее утро официальное письмо из советского посольства по почте» — писал Лев Копелев в дневнике за 1980 год. Но в Германии было много людей, с которыми Копелевы познакомились в Москве. В первые же дни пребывания в Кельне чету Копелевых принял Вилли Брандт, возглавлявший к тому времени социал-демократическую партию. Генрих Белль знакомил Копелевых с городом. Бывшие корреспонденты немецких СМИ в Москве: Фриц Плетцген, Клаус Беднарц, Марион Денхоф, Герд Руге — все они взяли под опеку чету Копелевых, переживавших глубокий шок. В очерке «Лев Копелев в немецких руках», приведенном в книге-альбоме, Белль, ставший большим другом Копелева, писал: «Родившиеся после войны должны знать, что означало быть немцем в 1945 году. Это означало быть презираемым, унизительно поверженным. И в этот исторический момент майор Копелев осмелился рассказывать немецким военнопленным о культуре их страны, о том, что имела Германия, кроме Гитлера: Дюрера и Гутенберга, Кранаха и Гольбейна, Гельдерлина, Гейне и Лютера, Канта, Лейбница и Гегеля... Позднее это стало пунктом его обвинения: прославление буржуазной культуры. Да. Он действительно защищал немецкую культуру и тем самым Германию и немцев. Копелев — иностранец и не иностранец. В знании немецкой культуры и истории он может порой посрамить образованных немцев».

К осени 1981 года Копелевы получили немецкое гражданство и стали ездить за границу. Но главным для них была работа. В декабре 1980 года Лев Копелев получил место профессора-исследователя в университете города Вупперталь. Можно только восхищаться, что, изгнанный с родины, он уже к концу осени 1981 года задумывает

грандиозную научную работу «Вуппертальский проект». Тому, как рождалось и как претворялось на практике это главное его детище, в книге-альбоме посвящена глава «Ученый». В ней сотрудники Копелева по университету в городе Вуппертале делятся своими впечатлениями о совместной работе с Копелевым, результатом которой стали две серии книг: четырехтомная «Русские и Россия. Взгляд немцев» и пятитомная «Немцы и Германия. Взгляд русских».

Германистка Мехтильд Келлер пятнадцать лет сотрудничала с Копелевым в научном проекте «К исследованию истории немецко-русского образа врага» и была ответственным редактором серии «Русские и Россия. Взгляд немцев». Сегодня она член совета Форума имени Копелева. До 1979 года она знала Копелева только по книгам, таким как «Две эпохи немецко-русских отношений» и сборник эссе «Родственное и враждебное. О литературе ФРГ и ГДР» — это советские издания, переведенные на немецкий. Огромное впечатление оказала на нее передача «Почему мы стреляли друг в друга», сделанная в 1979 году в Москве корреспондентом программы «АРД» немецкого телевидения Клаусом Беднарцом. В ней беседовали два участника войны: русский майор Копелев и бывший немецкий солдат Генрих Белль. Поэтому, когда Копелев в декабре 1980 года рассказал о планах «Вуппертальского проекта» и объявил, что ищет сотрудников, Метхильд Келлер сразу согласилась. Она пишет, что годы работы над «Вуппертальским проектом» были самыми стоящими, самыми плодотворными в ее научной деятельности. «В XX столетии Россия не имела лучшего посла в Германии, чем Лев Копелев, которого в силу его свободолюбия и духовной нравственности изгнали из отечества». Работа началась в 1981 году и закончилась изданием «Западно-восточных отражений» уже после смерти Копелева.

Славистка Дагмар Германн признается в своем очерке, что ее заинтересовала тема «Образ врага у русских и немцев» внутри «Вуппертальского проекта», так как ее вообще интересовала Россия «недосягаемая, многими ненавидимая, противоречивая особенно в годы холодной войны и переживающая в последнее время процесс освобождения от политических иллюзий». Но подать заявку на участие в работе «Вуппертальского проекта» ее заставила главным образом позиция Льва Копелева в отношении теории существования двух немецких литератур: социалистической в ГДР и капиталистической в ФРГ. Копелев настаивал, что есть только одна неделимая немецкая литература.

Третий автор главы «Ученый» Герд Кенен — историк, специалист по истории Восточной Европы, редактор, журналист, автор многих книг, посвященных в частности диктатурам коммунистических режимов. Его книга «Необъяснимый мир», в которой он трактует немецко-польско-русские отношения как ядро истории XX века, вызвала интерес Копелева, проявлявшего любопытство к путаному радикализму «новых левых». В автобиографии Копелева «Годы учения одного коммуниста» (так она называлась в Германии) Кенена подкупало, что книга, осмыслявшая собственные заблуждения автора, лишена морализаторства и теоретизированных нотаций и психологически точно показывает, как идеалистическое великодушие может превращаться в преступление. Безоговорочно принимая Копелева-правозащитника, гуманиста и космополита, Кенен (и не только он) тем не менее абсолютно не воспринимал тезис о немецко-русском избирательном родстве, взятый Копелевым у Томаса Манна, он пишет о своих расхождениях с Копелевым. В проекте «Восточно-западные отражения» Герд Кенен был научным редактором особого пятого тома «Русские и Россия. Взгляд немцев. Германия и русская революция 1917—1924». Он хотел отразить в этом томе не только фобии и враждебность, но и привлекательные стороны русско-немецких отношений. Убеждая, что немцы и русские могли противопоставить приоритету материальных ценностей Запада свое духовное начало, он процитировал Копелеву поэта Эмунеля Гейбеля: «Мир должен выздороветь по образцу немецкого нрава» и Достоевского: «Мир ждет нового слова России». На что Копелев ответил: «Мир в состоянии выздороветь на немецко-русский лад, — и добавил (это было за год до его смерти): такого рода немецко-русские отношения до сих пор еще утопия».

«Копелев-писатель» — еще одна тема книги-альбома. Существует в Германии такая форма общения с читателем, как «авторские литературные чтения». Форма

очень популярная: автор читает отрывки из своего произведения, а потом читатели задают вопросы. Первое чтение Льва Копелева состоялось в книжной лавке Гердера. Дочь управляющего лавкой Христиан Балкхаузен вспоминает, что зал был переполнен, интерес к писателю из России, к его жизни и произведениям оказался огромным. Он читал заключительную главу из еще не опубликованного третьего тома автобиографии «Утоли моя печали» (первые два тома «И сотворил себе кумира» и «Хранить вечно» были изданы в Германии в середине 70-х годов), где рассказывается о пережитом в «шарашке». Немцы слушали потрясенно, а Копелев читал о своем горьком опыте без пафоса, с какой-то внутренней дистанцией, а на лавину вопросов отвечал независимо и непринужденно.

Второй книгой, которую Копелев представил немецким читателям, была биография Генриха Гейне. В 1965 году издательство «Молодая гвардия» заключило с Копелевым договор на книгу о Гейне для серии «Жизнь замечательных людей». В 1968 году книга была закончена, но после ввода советских войск в Прагу Копелев включается в правозащитное движение. Как вспоминает Мария Орлова, «... он пишет открытые письма в ЦК КПСС и правительству, протестуя против преследования инакомыслящих, выступает на радио «Немецкая волна» и «Голос Америки», рассказывает об обысках и арестах, запретах и увольнениях». Результаты не заставили себя долго ждать: в мае 1968 года Копелев был исключен из партии и уволен с работы с одновременным запретом печататься... Работая над книгой о Гейне, он учитывал неизбежность цензуры, поэтому в Германии не раз переработал рукопись, прежде чем она вышла в свет, первым изданием — в 1981 году в «Зидлер Ферлаг», затем в 1986 и в 1997 годах в массовом издании «Дойче Ташен Ферлаг» (карманная серия). «Что меня привлекало на протяжении всей моей жизни в этом большом поэте (…), так это его странствия меж двух миров. В последние годы жизни он пытался стать посредником между народами, особенно между немецким и французским, посредником между их культурами и идеологиями». Копелев тоже чувствовал себя посредником между немецким и русским народами, недаром Владимир Корнилов назвал книгу Копелева о Гейне в чем-то автобиографической.

Раиса Орлова изложила свои наблюдения и опыт вживания в немецкую повседневность в книге «Двери открываются медленно». Со времени написания и выхода книги до 1988 года, когда ей впервые дали российскую визу как немецкой гражданке, прошло пять лет. И, когда она пришла в редакцию «Иностранной литературы» встретиться со своими бывшими коллегами, это был уже другой человек, не тот, которого там знали: внутренне спокойный, раскованный, вкусивший материального сверхблагополучия, испытавший на себе все демократические ценности западного мира, где все подчинено человеку: от гуманистических принципов уважения к личности, действенного во всех сферах жизни, до мелочей повседневного быта. В кулуарах ее спросили, не думают ли Копелевы вернуться. На ее лице отразилась растерянность, она улыбнулась уголками губ: «Если бы Леве предложили...». О сколько смысла было в этом «если»: если бы в России было, как в Германии... Копелевы боролись за это каждой написанной строчкой, каждым выступлением, каждой акцией, в которой участвовали. Одной из таких акций стало создание общества «Восточная Европа» («Orient Okzident»). В письме к друзьям Лев Копелев писал: «Это общество создано для финансирования публикаций восточноевропейских авторов, живущих и ушедших, которые не могли публиковаться у себя в стране... Основателями общества были Генрих Белль, Марион Денхоф, Зигфрид Ленц, Ганс Вернер Рихтер, профессор славистики Вольфганг Казак и многие другие» (себя, председателя общества, он не упомянул). Благодаря финансовой поддержке этого общества вышли книги Владимира Корнилова, Василия Гроссмана, Семена Липкина, сборники украинских и литовских авторов. В главе, посвященной памяти Копелева, Марион Денхоф писала: «Я не знаю никого, кроме Копелева, кто бы свою страну, ее литературу и историю воспринимал так глубоко лично и всеобъемлюще».

Вся жизнь Копелева до изгнания и после была связана с болевыми точками России, и об этом очень хорошо написали его немецкие коллеги и друзья. «Непреклонный идеалист» — так назвал свои воспоминания Герд Руге, журналист радио ФРГ,

корреспондент в Москве, Вашингтоне, Бонне, позже шеф редакции западно-немецкого ТВ. Воспоминания начинаются с дня, когда Руге позвонил Семен Липкин и спросил, не может ли он прийти к Копелеву, так как ходят слухи, что в эту ночь, 20 февраля 1980 года, Лев Зиновьевич будет арестован. Сидя на кухне в квартире Копелева на Красноармейской улице (в случае его ареста они должны были стать свидетелями — к счастью, этого не случилось), они говорили о Сахарове, об Ахмадулиной, которую за стихи о Сахарове запретили печатать...

В Германии чета Копелевых и Руге оказались соседями по дому, они ходили друг к другу в гости и вели длительные разговоры, в которых не всегда оказывались единомышленниками. Руге называл Копелева демократическим идеалистом. Он не был согласен с безоглядной верой Копелева в силу просвещения: достаточно, мол, вести интенсивные диалоги и обмениваться достоверной информацией, и тогда не будет повода для вражды. Позиция Руге очень хорошо подтверждается сегодня на практике: общественность демократической Германии абсолютно не приемлет набирающей силу автократии в России. По этому поводу председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сказал в интервью немецкой газете «Тагесцайтунг» («Tageszeitung»): «Правозащитников считают сегодня предателями». Такое положение дел ведет к неизбежному отчуждению от мира, в котором права человека принято уважать.

Элизабет Вебер, член немецкой партии зеленых, познакомилась с Копелевым на чтении им книги «Хранить вечно» в марте 1981 года. Она признается, что именно в это время, после участия в студенческом движении в Западном Берлине и работы в тайной маоистской организации, она искала новые ориентиры. Книга Льва Копелева оказалась для нее определяющей: «Черно-белый мир холодной войны, в котором я жила, стал для меня вдруг конкретным, многообразным, интересным».

Похожим образом определяет значение Копелевых, которые вошли в жизнь многих людей в Германии, и Гизела Бранд — владелица книжной лавки в Кельне, жена корреспондента центрального канала телевидения ФРГ в Москве Харальда Бранда. Они познакомились с Копелевым еще в Москве. «Орлова и Копелев, — пишет она, — стали для нас ориентиром, помогали разбираться в административных и политических организациях. Квартира на Красноармейской улице в Москве была местом контактов и информационным пунктом, центром духовного притяжения и человеческой теплоты».

В разделе «Фото и цитаты» помещены документы о правозащитных акциях: «Открытое письмо» Вилли Брандта в газете «Цайт» по поводу лишения советскими властями четы Копелевых гражданства, а также отклики немецкой прессы на этот акт. Выдержки из прессы о поддержке Копелевым польской «Солидарности», о его выступлении на немецком радио в связи с высылкой в Горький Андрея Сахарова, о пикете у советского посольства с участием Белля и Копелева с требованием освободить арестованных польских борцов за свободу, о митинге в защиту Вацлава Гавела и много других материалов, свидетельствующих о том, как в стране демократии борются за установление демократии в других странах. Нельзя без волнения читать, как Копелев, изгнанный с родины, воспользовавшись приездом Горбачева в Германию, обратился к нему с просьбой разбюрократизировать отправку гуманитарной помощи в Москву, которая в 1991 году оказалась в тяжелейшем экономическом положении. В результате трем крытым грузовикам LKW с продуктами, медикаментами и одеждой дали «зеленую улицу». Огромный резонанс получила в Дюссельдорфе выставка «Дети Чернобыля рисуют Апокалипсис», организованная комитетом «Дети Чернобыля» (Ирина Гришаева) и немецкой организацией «Матери за мир» (Барбара Гладиш), разумеется, при участии Льва Копелева. Он писал в очерке на страницах газеты «Вестдойчецайтунг»: «Детская гениальность и наивная честность рисунков... При всех ужасах, которые случаются в нашем мире, невозможно предать забвению участь детей Чернобыля, медленно умирающих от лучевой болезни».

Копелев был инициатором приезда в Кельн в 1992 году физика и правозащитника Юрия Орлова, приговоренного советскими властями за эту деятельность к семи годам лагерей и пяти годам сибирской ссылки. Однако через некоторое время его

обменяли на арестованного в США советского разведчика Захарова. В Кельне Орлов был принят Вилли Брандтом, и после чтения в книжной лавке отрывков из своей вышедшей в Англии книги «Русская земля» долго беседовал со слушателями о положении в бывшем Советском Союзе.

Мне вспоминается выражение Владимира Маяковского о «заводе, вырабатывающем счастье», — Копелев приносил людям счастье личного общения, о чем его друзья и коллеги прекрасно написали. Руперт Нойедек, публицист, журналист и дипломат, пишет: «Копелев был гением дружеского расположения к людям». Это подтверждает друг Копелева Ульрих Шиллер, бывший солдат Второй мировой войны, проведший несколько лет в советском лагере для военнопленных, а после войны — славист, корреспондент немецкого радио и ТВ в различных столицах мира, в том числе в Москве: «Ежедневные горы почты в его адрес, знаки уважения, награды, почести, приглашение в круг известных политиков, радостные и восторженные приветствия на немецких улицах — его узнавали»...

В 1993 году я встретилась со Львом Копелевым в квартире его дочери Лены в Москве. Мы не виделись тринадцать лет. Несмотря на то что я была не одна, а с главным редактором газеты российских немцев «Нойес Лебен» Олегом Делем, и пришли мы по делам газеты, Лев Зиновьевич тут же заговорил о Раисе Давыдовне со мной как с человеком, жизнь и судьба которого также была связана с ней. Ему было приятно вспоминать какие-то эпизоды из нашего общего прошлого. В эту последнюю встречу он подарил мне только что вышедшую на русском языке в Москве книгу Раисы Орловой «Воспоминания о непрошедшем времени». Какое интуитивное чувство подсказало автору заглавие? Оно и сегодня для меня ассоциируется с тем, что в России мало что меняется в общественной жизни. Как-то в радиопередаче «Особое мнение» шел разговор о становлении демократии, и позвонившая женщина горько призналась: «А что мне дала демократия, кроме того, что я могу позвонить и сказать свое мнение?» (Кстати, людей, высказывающих нежелательное мнение, часто прерывают.)

Прошло больше шестнадцати лет с последней моей встречи с Копелевым, и у меня сжалось сердце от понимания, что он стал заметно сдавать и стареть без Раисы Орловой. Он все отправлял в Москву тома «Вуппертальского проекта», напрасно надеясь на ответ от российской Академии наук и других учреждений. Зато в Германии у него выходили книга за книгой, среди них — уникальные «Лаудации», в которых он нашел особый художественный способ сказать кратко, но афористично похвальные слова Генриху Беллю, Вилли Брандту, Марион Денхоф, Иегуди Менухину, Виктору Некрасову, Андрею Сахарову, Рихарду Вайцзеккеру — всех невозможно перечислить. Уже без Раисы Орловой он закончил книгу «Мы жили в Кельне» и задумал новую серию об «осси» и «весси» — так называют восточных и западных немцев.

У него еще находились силы участвовать в общественных акциях: вместе со старейшей поэтессой Германии Хильдой Домин и публицистом Каролой Штерн он писал тексты для литературно-музыкального концерта «Против ненависти к иностранцам», а в 1996 году стоял в Зелингене рядом с молодыми, протестующими против поджога дома, где жила турецкая семья. Тогда спонтанные протесты прошли во всех больших городах Германии. «Чтобы все народы любили друг друга — это вряд ли вероятно, даже невозможно, — говорил Лев Копелев, — однако быть толерантным очень важно».

В одном из фрагментов газеты «Кельнер Штадтанцайгер», которые проходят через всю книгу-альбом, есть выражение: «Копелев мечтал о гетеизации мира». Это больше и шире, чем «гуманизация». Гете был великим художником, а художническое отношение к жизни — это одно из средств воспитания толерантности. После ухода из жизни Льва Копелева его деятельность по «гетеизации» мира продолжает форум его имени. Об основании форума и его работе до 2002 года подробно рассказано Марией Орловой и Мариной Ройтер в книге «Лев Копелев и его ”Вуппертальский проект”», изданной на русском языке в издательстве «Памятники исторической мысли» в 2002 году. Я же хочу вернуться к тезису Копелева о независимости государства и нации.

Ганс Петер Кремер, экономист, менеджер, а с 1998 по 2006 год заместитель председателя Форума имени Копелева, пишет в очерке «Абсолютно убежденное послание»: «Государство и нация — действительно разные вещи. Тезис Копелева, что народ и его приходящие и уходящие правительства не могут друг с другом смешиваться, я поддерживаю целиком и полностью». Но вряд ли кто будет отрицать, что политика государства не может не влиять на умонастроения народа. Именно в силу этого влияния «расходятся сегодня векторы российского и западного развития». Тот же Ганс Петер Кремер признается, что развитие России в настоящий момент (его очерк написан в декабре 2004 года) для него неясно. В объятиях Герхарда Шредера, распахнутых Владимиру Путину, можно увидеть политическую логику этого жеста, но не понять его. А за пять прошедших после этого лет накопилось и многое другое. 2009—2010 годы — это «круглые даты» со дня начала второй мировой войны и разгрома фашистской Германии. В августе 2009 года в Лейпциге прошла конференция историков. Сегодня в Германии пакт «Риббентропа — Молотова» однозначно рассматривается как причина начала Второй мировой войны. Но кто был инициатором пакта? Сталин? Гитлер? Пока ответа не дают. Однако поднятие на щит Сталина в России немцев ошеломляет. Заметку под заголовком «Открытие памятной доски Сталину возмущает» опубликовали многие центральные газеты Германии. Имеется в виду воссоздание по фризу павильона станции метро «Курская» строки из первого варианта гимна СССР «Нас вырастил Сталин на верность народу». Цитирую слова председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова: «Это равносильно тому, что в Германии официально воспроизвели бы где-нибудь свастику и имя Гитлера». Когда-то существовала такая дипломатически удобная формулировка: «Давайте говорить о том, что нас объединяет, а не о том, что разъединяет». Но она — не для Форума имени Копелева. Только перечисление мероприятий свидетельствует, как целенаправленно форум продолжает воплощать в жизнь кредо Копелева. Учрежденная форумом «Премия имени Льва Копелева за мир и права человека» в последние шесть лет была присуждена Российскому правозащитному центру «Мемориал» (2002); израильскому публицисту Ури Анвери и палестинскому ученому Сари Нусейбах за активное участие в установлении мира на Ближнем Востоке (2003), польскому культурному обществу «Боруссия» за собранные документы по истории бывшей Восточной Пруссии и вклад в немецко-польское взаимопонимание (2004); чеченской правозащитнице Зайнап Гашаевой (2005), немецкому теологу Гансу Кюнгу за неутомимую деятельность по улучшению взаимопонимания между основными религиями (2006).

Многих жителей Кельна привлекают устраиваемые форумом вечера памяти, музыкально-литературные композиции, просмотры фильмов с обсуждением. Фонд проводит и литературные чтения: состоялись вечера с чтением отрывков из неопубликованных писем Генриха Белля и Льва Копелева; из книги украинского автора Бориса Забарко «Только лишь мы пережили», посвященной еврейскому гетто в Шаргороде на Украине; из книги рассказов Варлама Шаламова «Сквозь снег» и других. В рубрике «Политические беседы» прошла презентация CD с записью 1,4 миллиона имен жертв сталинских репрессий; состоялся диалог Ирины Щербаковой с Элизабет Вебер о школьниках России, собирающих истории из жизни родных, близких и соседей, которые составят книгу «Портрет времени». Прошли дискуссии о свободе прессы в условиях «управляемой демократии» в России, о голодоморе на Украине, о ситуации на Кавказе, об оппозиции в Белоруссии...

Книга-альбом «Из Москвы на берега Рейна» — дань памяти Льву Копелеву, правдолюбцу, человеку, опередившему время, прошедшему через непонимание и преследования. Германия высоко оценила его жизнь и деятельность: в Кельне аллея, ведущая от его дома в Бетховенский парк, названа «Тропою Копелева».

рецензии

Изнутри

***Марина Бувайло**. Игры: Повести. — М.: Новое литературное обозрение, 2009.*

Детские стихи о зайке, которого бросила хозяйка, или о мишке, которого уронили на пол, а потом оставили без лапы, пообещав, что его, хорошего, не бросят, — все эти стихи предполагают взаимоотношения своевольной хозяйки и ее вещи, игрушки. Такой, как мишка на обложке сборника Марины Бувайло «Игры»: остался один на мостках у озера, яркий на черно-белой фотографии. Лежит. Все остальное о нем (ждет, грустит, отдыхает, смотрит, боится, сердится) — наши домыслы.

Труднее, когда мишка живой. Когда действительно ждет, грустит, отдыхает, смотрит, боится, сердится, а относятся к нему как к плюшевому. На него злятся, с ним разговаривают, обвиняют, требуют... И страшно удивляются, если мишка вдруг отвечает.

Это уже обычные взрослые игры, в которые со всей серьезностью играют люди и литературные герои. Среди них — персонажи названного сборника.

Повестей три: собственно «Игры», «Stille Nacht», публиковавшаяся в 1995 году в «Звезде» (№ 10), и «Сникерсы и розы».

В каждой есть жизнь и есть схема, чтобы с этой жизнью лучше управляться. Прямо схема прописана только в последней, подростковой, действительно наиболее схематичной, разлинованной по сравнению с крайне эмоциональными первыми двумя повестями.

«Сникерсы и розы» сначала производит впечатление вариации на тему «гадкие лебеди». Внешне этому образцу соответствует поведение трех тринадцатилетних подруг, систематизаторов, увлеченных «интеллектуальным террором». Подростки, разумеется, считают себя взрослыми и исключительными, в повести ситуация осложняется тем, что растеряны взрослые: действие происходит в начале 1990-х.

Все наглядно, как с заглавным сникерсом, символический вкус которого долго был сильнее настоящего. Две семьи, одна из которых вписалась в новую реальность, вторая — втягивается боком, кренясь, скрипя и треща по швам. В первой — совет да любовь, вторая разваливается. В первой — единственный обожаемый сын Антон (и мама светится в ожидании младшего), во второй — трое детей, двое от предыдущих браков обоих родителей, один общий. Старшая девочка Славка, интеллектуалка, стипендиатка художественной школы, презирает одноклассника, «безмозглого бизнесмена». Декорации расставлены, ярлыки расклеены, но схемы, как водится, перестают работать и в личных отношениях, и в социуме. Оказывается, красивой и доброй, любящей взрослой дуре есть о чем говорить с девочкой-интеллектуалкой. Оба ярлыка, впрочем, уже не подходят.

Тезис — семья Славки, антитезис — семья Антона. Напрашивающийся синтез — Славка и Антон — прорабатывается, но не закрепляется. Главное, он делает свое дело, чтобы Славка в конце села и стала думать.

Внешняя аналогия с «гадкими лебедями» работает для всего сборника. Катя из первой повести — скорее «гадкий утенок», знаменитая балерина Наталья Кораблева из второй — прекрасный лебедь, которого она даже танцевать уже не может: надоел, затанцован, тошнит. В обоих случаях повествование замкнуто их внутренним миром, все — сквозь него, все — в нем. Эта замкнутость овеществляется в «Сникерсах и розах» в добровольном трагикомическом заключении девочки в «свенушной турме», в карантине из-за свинки.

Выход во внешний мир — катастрофа. Недаром психоз главного героя первой повести связан со страхом, вспыхивающим, стоит любимой выйти из дома: с ней обязательно случится что-то ужасное.

Ключевой игрой становятся прятки, потому что цель (больше: способ существования) — не открываться никакой ценой. Страх слияния настолько велик, что Катя предпочитает единству искусственный разрыв с любимым и с ребенком. А любимый, Поль, настолько привык к катастрофам за свою жизнь (гибель матери и сестры, возвращение в СССР из Франции, советский лагерь для отца, после — Магадан), что и эту воспринимает как неизбежную: «Если бы я не был так приучен к катастрофам, я бы не дал тебе уйти». Как будто плата за как будто жизнь в ожидании настоящей, вместо которой приходят наконец болезнь и умирание.

Катины прятки тоже имеют вполне реально-исторические корни, они начинаются в детстве, когда сажают ее родителей, потом дядю, потом отца Поля. Дети остаются с Катиными бабушкой и дедом, их прячут, стараются не привлекать внимания, что почти невозможно: они из семьи возвращенцев, эмигрантов первой волны, даже по-русски не говорят, только по-французски.

Для Кати-ребенка смутны эти посадки и возвращения, разве что так даже интереснее, чем если родители неизвестно где. Для балерины вопрос об эмиграции первого мужа, не вернувшегося в Союз, исчерпывается его последствиями: дадут ей самой танцевать или нет, чем кончится затеянная травля.

Здесь война, лагеря, эмиграция и репатриация не осмысляются как исторические факты или общечеловеческие трагедии, а переживаются как личные беды.

Естественный мотив для писателя, оказавшегося в иной языковой среде (Марина Бувайло-Хэммонд живет в Лондоне), — языковая полифония, немота и глухота, вызванные незнанием языка.

В «Играх» французский язык — знак прежней жизни. Русский, «Родная речь» и букварь немы, нежеланны и скучны, то ли дело «Отверженные». Потом надо забыть французский, чтобы быть как все, перестать рисовать, начать учить английский. Потом — надо вспомнить, потому что вдруг возвращается Поль. В «Stille Nacht» не раз и не два отмечается, что героиня не понимает, о чем говорят другие на этом бурлящем международном фестивале. А Тбилиси, который запоминается ей как город ссор, кричащих на разных языках?

Незнание языка — это и щит, часть игры в прятки для Кати, игры в «приму» для Кораблевой.

В тексте «Игр» все спрятано за третьеличным повествованием и диалогами, но сомнений, чье это восприятие, нет. Монологически «я» прорывается всего дважды, оба фрагмента выделены курсивом, они упаковывают всю историю в коробочку памяти. Остальное — в настоящем времени, выхваченные из прошлого сцены: Катя стоит, сидит, читает, рисует, бегает, лежит в больнице, падает... Текст подчеркнуто кинематографичен: «Так они сидят на снегу, пока мальчишки бегают в поселок за большими санками, на которых возят дрова. В овраге медленно и неровно темнеет. Потом на шоссе зажигаются фонари». Смена кадра, черный экран. Начало диалога.

Если о кинематографических ассоциациях, то упомяну о впечатлении мифического 25-го кадра: о повторяющейся опечатке (если это все-таки не прием). В «Играх» много замен «что» на «чту». Учитывая один из литературных контекстов повести — «Я изучил науку расставанья...», — это особенно любопытно. Замена -о- на -у- встречается не только здесь, есть она и в старом рассказе Бувайло «Календарь» («Новый мир», 1995, № 12): «с бульшим успехом».

Постоянное «чту» завораживает, воспринимается как одна из игр в этой книге сценариев. Хотя скорее всего — типографский брак, диакритические знаки слетели, как это часто бывает.

Пратексты «Сникерсов и роз» — «В ресторане» Блока и рассказы Чехова, от «Каштанки» до «Дома с мезонином». С одной стороны, школьная программа и то, над чем плачет чувствительная мама Антона; с другой — способы взаимодействия главных героев и источники некоторых ярлыков.

Для «Stille Nacht», начинающейся и заканчивающейся пожеланиями спокойной ночи, литературные контексты другие: знаменитый рождественский гимн, название которого дало имя повести, и снова Чехов — «Попрыгунья». Эмоционально гимн расходится с повестью как только можно, но значительная часть истории идет под знаком неродившегося (может, и незачатого) младенца. Кроме того, она о рождении живой женщины в балерине, в приме, наконец понимающей, чего она хочет от жизни.

Внешне (они, девочки-женщины трех повестей) — попрыгуньи, которые не ценят того, кто с ними рядом. По сути — попрыгуньи, которые падают, разбиваются и в глубине слишком ценят, до того, что готовы вырываться.

Каждую удается к концу удержать, разомкнуть их бесконечное внутреннее коловращение. Средства, правда, годятся только крайние, оптимальное — смерть в разных видах, подбирающаяся, пригрозившая, состоявшаяся. Безо всякого пафоса.

Три эти повести отлично играют вместе, сборник им нужен, и дело не только в заявленном на обложке книги единстве времени: «от позднего сталинского до раннего перестроечного (до начала 90-х. — *Д.М.*), увиденного в значительной мере глазами молодых». По отдельности они так и притягивают простые определения «женская проза», «школьная повесть», подходящие им ничуть не лучше, чем те, что автор сначала развешивает на груди героев в «Сникерсах и розах».

Дарья Маркова

Наше все равно

***Андрей Василевский**. Все равно. — М.: Воймега, 2009.*

Андрей Василевский — смелый человек.

Главный редактор одного из ведущих толстых журналов не мог не знать, сколько пристрастных взглядов будет на него обращено, если он решится выпустить в свет книгу своих стихов.

Тем не менее он пошел на такой шаг. Что ж, теперь берет слово читатель.

«Все равно» — книга, задуманная и исполненная, что называется, концептуально. Здесь все ингредиенты гармонируют один с другим: средний формат тощенького издания, сероватая обложка, черно-белая фотография, исполненная самим автором, где изображен горбатый мостик и маленькая группка людей, одиночек в толпе, бредущих спиной к зрителю в очередной одинаково-серый день…

Лирический субъект не пытается показаться больше или меньше того, что он есть на самом деле. И если в запечатленном им мире «все равно», то и сам герой подверстывается под ту же универсальную формулу: он действительно равен самому себе. Очень любопытного персонажа представил автор. Как если бы музилевский человек без свойств обрел творческий дар и написал о себе самом. Но не тысячестраничный вязкий роман, а тоненькую поэтическую книжечку.

Идеологическая доминанта — отсутствие у героя каких бы то ни было иллюзий. Иллюзий нет, а жизнь есть. И это очень трудное, неприятное дело: «Жизнь страшна, как московский вокзал, / И безвкусна, как миска попкорна. / И она, мне Херсонский сказал, / Выносима, пока иллюзорна. // А уроду не надо огня / В его здравохранительной клети, / Чтобы ясно увидеть себя / В беспощадном, но истинном свете».

«Все равно» — книга, написанная с позиции зрелого, а значит, печального опыта. Потому в ней многое строится на подтексте, но не столько литературном, сколько психологическом. Точно по принципу Чехова—Станиславского: говорится о всяких мелочах или даже пустяках в то время, когда жизнь людей рушится. И во сне, и наяву с человеком происходит одна и та же безнадега: «Ты сказала: приснилось вот поутру — / Кошка ест какую-то ерунду. / Отвечаю: встаешь поутру — / Действительно ест ерунду». Обратим внимание на полную адекватность содержания и формы: рифма здесь тавтологическая. Чудо в этом хронотопе невозможно, тут даже потрясающие воображение гипотезы тео-

ретической физики о темной материи могут быть опровергнуты другими положениями все той же физики, «а жаль / жаль / просто жаль // только дали и уже взяли // что хотят то и делают / не уважают / нет не уважают».

«Все равно» — книга, обладающая несомненным дидактико-педагогическим зарядом. Звучит дико, но это так. В первую очередь можно было бы порекомендовать читать ее молодым и начинающим авторам. Причем не с целью поучиться современным формам письма, хотя это именно оно — до мозга костей современное письмо. Нынешним двадцатилетним имеет смысл ознакомиться с книгой, чтобы почувствовать, в какую сторону может измениться их собственное представление об универсуме и о своем месте в нем лет через тридцать.

При знакомстве с этими стихами возникла неотвязная ассоциация с одной из самых пессимистических сцен русской литературы, эпизодом романа Г. Газданова «Вечер у Клэр», где умудренный опытом честный человек дядя Виталий, беседуя с юным племянником, объясняет ему, что в школе детям преподают «сусальную мифологию» вместо «исторической действительности»: «И в результате ты окажешься в дураках. Впрочем, ты все равно окажешься в дураках, даже если будешь знать настоящую историю. — Непременно окажусь в дураках? — Непременно окажешься. Все оказываются. (…) — А что же делать? — Быть негодяем, — резко сказал он и отвернулся».

В похожем духе о времени и о себе высказывается и персонаж книги Василевского, только он не отворачивается ни от того, что его окружает, ни от читателя.

Уже первое стихотворение с его легким, почти «анакреонтическим» стихом, непритязательными рифмами и «детской» интонацией вызывает совсем не детские чувства и литературные ассоциации: «Казалось ясным, внятным, / Совсем уже понятным. / Теперь оно ушло / И время то прошло. // Там, где прошелся ластик, / Остался детский хлястик. / Осталось и пальто, / Но и пальто не то. // В нем ходит через мостик / Над зимнею водой / Немолодой агностик, / Уже не молодой» (см. фото с обложки). Трудно сказать, имел ли автор в виду строки двух знаменитых поэтов, но они тут вполне к месту. У одного — образ времени как стиральной резинки, у другого — упоминания пальто агностика, и у обоих — безысходность, тянущаяся ровно, точно зубная боль: «Мир больше не тот, что был // прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот, / кушетка и комбинация, соль острот. / Кто думал, что их сотрет, // как резинкой с бумаги усилья карандаша, / время? Никто, ни одна душа. / Однако время, шурша, // сделало именно это. Поди его упрекни» (И. Бродский); «Угоден ли Богу агностик, / который не знает никак — / пальто ли повесить на гвоздик / иль толстого тела тюфяк?» (Л. Лосев).

Немолодой агностик, живущий в великой стране, о которой эвфемистически сказано, «очень эта родина странна», неустанно убеждается на собственном опыте — все человеческие деяния тщетны, все суета сует: «*У берега Петербурга / Горит иностранное судно*. / Оно пришло из Панамы / С грузом бананов. // Долго, наверно, оно / Плыло или плыло́ / Из Панамы, / Чтобы». Любые усилия приводят к одному и тому же: «что делать / похоронить мертвых. (…) что делать / хоть что-нибудь / слетать на марс / похоронить мертвых». Но приходится жить, потому что «кто-то большой стоит над моей душой / не дает быть перестать». Получается, однако, все равно не жизнь и не высокая экзистенция, а сплошное существование, «и в этом есть / что-то неправильное / метафизически порочное / мир слишком долго идет к концу / и если ему не помочь / люди с песьими головами / успеют порыться в наших костях».

Поэтический универсум, воссозданный на страницах «Все равно», безжалостен по отношению и к автору, и к читателю. Это мир, где демократ ничего не может возразить фашисту на спокойное убеждение «фашизм — это хорошо», где едва ли не самое живое существо — мертвая кошка, стерегущая в потемках героя, где едва ли не самая живая женщина — расхитительница гробниц Лара Крофт с пистолетами наголо, где самому лирическому субъекту легче почувствовать себя не человеком, а ядерной боеголовкой, не в охотку летящей выполнять задание, где антропоморфное пространство вообще, кажется, тихо сошло на нет, и во всем подлунном мире лишь Хищник смотрит на Чужого — пробел — Чужой на Хищника.

«Много разных дел до конца времен. / Многих надо убить».

Василевский последовательно, бескомпромиссно, равно-душно показывает среду обитания современного человека и его самого as it is. И на такое существо совсем не хочется смотреть. Но если перефразировать слова известного исторического деятеля, имеющего непосредственное отношение ко всем чужим и хищникам вместе взятым, и, между прочим, ставшего одним из персонажей рецензируемой книги, «другого современного человека у меня для вас нет». А раз автору удалось передать свой образ мира читателю без шума в канале связи и без потерь в пикселях, значит, поставленная им художественная задача выполнена. Ведь неслучайно он в одном интервью трехлетней давности, говоря о литературе, создаваемой другими, заметил: «(…) когда описывается современный человек в современных обстоятельствах, такое чтение зачастую безрадостно». Теперь Андрей Василевский сам включился в этот грустный полилог в качестве поэта.

Автор книги вольно или невольно, но, скорее всего, совершенно осознанно идет по пути, проложенному Г. Ивановым, как в стихах, так и в «Распаде атома». Из современных поэтов же при чтении «Все равно» вспоминаются в первую очередь С. Гандлевский (поздний) и Д. Новиков всех периодов. Одно стихотворение книги завершается признанием: «Поздний Гандлевский нравится мне больше, чем ранний». Ранний Гандлевский писал: «Птицам, бабочкам, стрекозам / Эта музыка сродни». Поздний Василевский откликается через тридцать лет глухим эхом: «Я понял себя в эти дни / (Грызя подмосковный сухарь) / Воронам и крысам сродни // Всеядная умная тварь». Новиковские же интонации отчетливо слышны в следующих чеканно-афористичных строках: «Я знаю, нам, тебе и мне / Не встретиться в аду. / Сам по себе, хоть и в толпе, / На Страшный суд пойду. // И ты на тот же Суд пойдешь / И то же обретешь, / Но среди адского огня / Не различишь меня». Вот уж воистину — ты сам свой Страшный Суд, как почти сказал классик.

С точки зрения версификации перед нами, если угодно, голая поэтика, характеризуемая, скорее, апофатически: нет головоломных метафор, сложного синтаксиса, богатой строфики и прочая и прочая. Но вполне определенные традиции поэтической техники, умело примененные в деле, тут, разумеется, есть. Так, нельзя не обратить внимание на органически усвоенный автором опыт обэриутов, минимализма и концептуализма. Василевский довольно разнообразен в стиховых формах и непринужденно переходит от почти частушечного гладкого стиха к лаконичному верлибру. Однако наиболее сложные эксперименты здесь проводятся с цитатностью. Редкое стихотворение книги обходится без напряженного взаимодействия с чужим словом. Тут и продукция массмедиа, и реклама, и инструкции, и собственно литературный пласт, где так или иначе фигурируют Державин, Блок, Маяковский, Мандельштам, Пастернак, Ахматова, Толстой (Лев), помещенные в неожиданные, подчас сюрреалистические контексты. Именно своей логикой абсурда они точно передают картину мира современного российского гражданина. Например, «демократ: фашист, фашист, фашист…», построенное по канону хармсовских микродрам, завершается минимально измененной финальной ремаркой из «Пира во время чумы».

Любопытный факт: если обозреть все явные и скрытые аллюзии и цитаты в книге, то выяснится, что больше всего их… из Пушкина. К чему бы такое в воссозданном автором мире, который лишен иерархии и каких бы то ни было центростремительных ускорений? Видимо, солнце нашей поэзии все же глубоко прожгло сознание современного литератора, от него никуда не деться. Впрочем, при желании у того, кто «наше все», можно найти даже провиденциальное описание позиции лирического субъекта: «Так точно дьяк, в приказах поседелый, / Спокойно зрит на правых и виновных, / Добру и злу внимая равнодушно, / Не ведая ни жалости, ни гнева». Так сказать, «наше все равно».

«Все равно» — современная книга. «Нравится» — не тот глагол, который уместно использовать в данном случае. «Удовольствие от текста» сомнительное. Нельзя же получать его от созерцания мучений и ощущения вакуума, где «(…) дух уже не захватывает / Ни по какому поводу». Но разве задача искусства — «нравиться»? Его дело — быть. Быть предъявленным. Как тут не вспомнить проницательно злого В. Ходасевича: «(…) жив только тот поэт, который дышит воздухом своего века, слышит музыку своего времени.

Пусть эта музыка не отвечает его понятиям о гармонии, пусть она даже ему отвратительна — его слух должен быть ею заполнен, как легкие воздухом. Таков закон поэтической биологии». И потому «сделайте мне красиво» — это не к Василевскому.

Зато от воссоздания тусклых красок жизни остается яркое впечатление. Некоторые стихи даже автоматически запоминаешь наизусть. Особенно из разряда самых тупиковых: «эвтаназия зло / ее не может не быть / она победит / она не может не победить».

Закрыв книгу, ловишь себя на ощущении: а ведь, похоже, автору удалось воплотить не только в букве, но и в духе сакраментальную «актуальную литературу», о которой так много говорили нынешние литстратеги, да как-то так и не смогли убедительно предъявить ее широкой публике. К тому же от псевдоактуальных писаний стихи Василевского отличает еще одно немаловажное обстоятельство: их интересно читать. Перед нами явление истинно актуальное, отчасти симптоматичное и уж точно адекватное нашему времени.

«Все равно» — книга финала. Однако по ее прочтении возникает интересный вопрос: что же будет после конца? Хочется верить в возможность проявления какого-то другого обертона поэтического голоса и в появления иного угла зрения в следующей книге. Ведь делать такой решительный шаг не имело бы большого смысла, если автор, декларирующий художественный радикализм, не хотел бы продвинуться по этому трудному пути и дальше. Поживем — увидим.

Артем Скворцов

Человеческая интонация

Игорь Гамаюнов. *Свободная ладья: рассказы, роман-хроника, эссе. — М.: АСТ Москва, 2009.*

В этой книге со мной как с читателем поступают честно: меня не хотят эпатировать, чем-нибудь напугать или специально рассмешить. Мне просто рассказывают о сокровенном, не навязываясь и не заставляя подглядывать в замочную скважину. Вот отрывок из третьей части сборника «Из тетради ДПБ (Драгоценные подробности бытия»), самой маленькой по количеству страниц и самой весомой, на мой взгляд: «Как-то сижу в полупустом читальном зале, у широкого окна, медленно вылепливаю абзацы, зачеркиваю, пишу заново. И чувствую: что-то за окном происходит. Поворачиваюсь, вижу: наше дитя, поддерживаемое мамой Людой, карабкается к оконному карнизу, машет мне варежкой, теплая шапка сдвинулась набекрень, глаза сияют, а за ее спиной — белый заснеженный парк, исчерченный синеватыми тропинками. Мы пообщались через стекло — жестами и улыбками, и пошли мои девчонки по тропинке дальше гуськом — впереди Наталька, за ней мама Люда с санками на веревке.

Я смотрел им вслед, ошеломленный. Я вдруг понял: вот эти две жизни и есть то главное, без чего нет меня. Это моя маленькая вселенная. Хрупкая и единственная. Ради нее — мое существование. Мне, именно мне предназначено защитить ее от подстерегающих нас бурь и бед. Я смотрел им вслед, почему-то уверенный, что все у меня получится.

Там, у окна, я пережил минуты счастья такой светоносной силы, что его хватило потом на все остальные годы».

Внятно и емко. И таковы все эти небольшие эссе.

У главного героя романа «Майгун» есть одна особенность натуры — ему свойственна эмпатия, умение переживать боль другого как свою собственную. После того как мальчишки стреляли из рогатки в воробьев и потом птицы умирали прямо в руках, вся грудь Виктора была в синих пятнах, будто стреляли в него... При этом повествование далеко от сентиментальности, «Майгун» — роман жесткий и трагичный, фабула его охватывает несколько эпох, с послевоенного времени до наших дней. Автор, как мне кажется, делает попытку одновременно и субъективного, и объективного прочтения советской и постсоветской истории. Субъективного — через судьбы героев, школьных учителей, работающих в молдавском селе, отца Виктора, побывавшего в послевоенных лагерях за то, что имел

несчастье выжить в плену, и преподавателя французского языка Бессонова по кличке Мусью, любимца местных мальчишек (их нешуточное идеологическое противостояние — одна из основных линий романа). И объективного, через дневниковые записи журналиста столичной газеты Виктора Афанасьева, сына Семена Матвеевича. Здесь события осмысляются уже ретроспективно, с довольно большого временного расстояния.

Роман живой, психологически достоверный, полный подробностей, работающих на создание точной атмосферы ситуации: «Звучала музыка. За соседним большим столом громко разговаривали и смеялись. Мама тоже чему-то смеялась, пододвинув Виктору продолговатую тарелку с селедкой, нарезанной тонкими ломтиками. Человек в гимнастерке, щелкнув портсигаром, закурил. Сизый дым клубился вокруг его лица, выпукло-серые глаза его блестели сквозь дым металлическим блеском. Так же блестели возле торчащей над столом Витькиной головы бока селедки и забытый рядом портсигар.

И тут Витька ощутил на своей макушке теплую мамину руку, услышал ее голос: “Вот он теперь твой отец”. Задрав голову, как в парке, когда смотрел на галок, Виктор увидел бледное мамино лицо — оно плыло над ним, над столом, над человеком в гимнастерке, над звучащей музыкой, но в ее взгляде не было утверждения, а был вопрос, было бесконечное любование им, Витькой, было признание за ним права сказать “да” или “нет”. И Виктор сказал, отодвигая от себя портсигар и тарелку с селедкой: “Здесь душно, пойдем домой”».

Шестая часть «Майгуна» — дневниковая — имеет ярко выраженный публицистический окрас. События в настоящем времени даются сжато и пунктирно; повествование в основном строится на социально-политической рефлексии выросшего Виктора. Сквозная мысль его размышлений — власть не должна становиться системой подавления человеческого достоинства. Однако эта публицистическая нота не мешает целостному восприятию романа. Ведь романное целое создается не столько сюжетной последовательностью, сколько особенной авторской интонацией — вдумчивой, сдержанной, без крайних полюсов восторга и уныния, но очень теплой.

В советское время критики отметили бы, что «Майгун» написан «в лучших гуманистических традициях». Теперь мы не пользуемся такими оборотами, но по прочтении романа благодарны автору именно за человеческую интонацию и традиционность «семейного» романа с положительным героем и оптимистическим посылом. Оптимизм здесь не декларируется напрямую, он исходит со страниц, наполненных трагическими событиями, как мироощущение, позволяющее преодолеть все тяготы бытия. Как-то соскучились мы по этому.

Рассказы в «Свободной ладье» сюжетны, увлекательны, с четко прорисованной идеей и этической концепцией. Самый удачный, на мой взгляд, — давший название сборнику, «Свободная ладья», — как раз не привязанный четко ни к какой идее, не призывающий делать выводы, что дает больший смысловой простор и этическую свободу восприятия. В рассказе «Разбитая виолончель» девушка, которую родители без конца пугали, что, если она не сделает то-то и то-то, непременно окажется на панели, — именно там и оказывается, а автор в последнем абзаце объясняет про ее отца: «Он так и не понял, что сам запрограммировал дочь на тот образ жизни, от которого предостерегал». То же в рассказе «Ах, жила-была коза!..»: брат, раздосадованный шумом, производимым детьми сестры, выгоняет ее из своего большого дома и обрекает на жизнь в крохотной коммуналке. Но в его доме случается пожар, от дома остаются только головешки, и в последнем абзаце автор резюмирует ситуацию, чем, к сожалению, сужает художественное пространство.

Так лирик и публицист — а автор в своей профессиональной деятельности много лет сочетает обе ипостаси — в этой книге то борются, то сосуществуют.

Анастасия Ермакова

«Этот мудрец никогда не состарится...»

***Между сердцем и временем**: Воспоминания об Александре Дейче. — Киев: Феникс, 2009. Составление: Е.К. Дейч*

Эта книга поразительно долго шла к читателю — чуть менее двадцати лет. Подтверждением тому, помимо признания этого факта в предуведомлении, служат траурные рамки вокруг фамилий людей, которым, как способствовавшим ее появлению, высказаны вначале слова благодарности. И хорошо, что от этого отказались при напечатании оглавления: иначе бы чернота бросалась в глаза и навевала бы грусть в то время, как появление такой книги должно вызывать ликование. Ведь о чем смеет мечтать литературовед? Что его имя появится в списке библиографии в какой-то диссертации. Или на него сошлется исследователь в подстрочном примечании. А если это литературовед, творивший в сталинскую эпоху или застойные годы, то и этого может не произойти. К сожалению, это реальность нового времени, особенно остро обнаруживающая себя в гуманитарных науках. Открытия в науках естественных отменить невозможно, а вот смена методологических подходов позволяет с легкостью оставлять за бортом многие филологические разыскания, когда-то считавшиеся обязательными для изучения и цитирования. Хотя справедливости ради стоит сказать, что действительно не слишком многое из созданного в литературоведении в советские годы можно воспроизводить без оговорок в сегодняшних филологических работах.

Но сказанное не относится к тому, что оставил нам Александр Иосифович Дейч (1893—1972) и свидетельством чему явился том воспоминаний о нем. Среди участников сборника — поэты (М. Рыльский, Л. Озеров, Я. Хелемский, П. Мовчан, Н. Кончаловская, Н. Браун, Н. Тихонов), выдающиеся переводчики (В. Левик, Л. Гинзбург, Л. Мкртчан и др.), яркие литературоведы (Е. Книпович, Я. Гордон), деятели культуры (И. Луначарская, Л. Танюк, К. Шилов, Б. Ефимов, И. Козловский)...

Примечательно, что книга издана в Киеве (она, кстати, могла бы появиться и в Москве). Это символизирует ту действительно нерушимую связь между украинской и русской культурой, символом которой во многом стала сама личность Дейча и его творческое наследие, вобравшее в себя и еврейскую составляющую (одна из интереснейших, принадлежащих его перу книг — «Маски еврейского театра», 1927).

Естественно, что родившийся в Киеве, покоренный искусством начала XX века юноша обратил свой взгляд на такое яркое явление, как украинский театр, который был явно недооценен. Его первые работы обращены к именам М. Заньковецкой, М. Садовского, постановкам в театре Соловцова. После окончания историко-филологического факультета Киевского университета любовь к театру приводит его в революционные годы во Всеукраинский театральный комитет, где он определяет репертуар театров, организует новые (ранее он с другом даже сам решился создать Интимный театр, просуществовавший — не по вине создателей — очень недолго)... Впоследствии расширились национальные границы его театральных интересов: появились исследования об актерах в эпоху Французской революции, великом Ф.Тальма, книга «Мы любим театр». Довольно быстро Дейч вырастает в филолога-энциклопедиста (библиография его работ приближается к 2000!), оставившего свой след в самых разных областях знаний: он и переводчик (первое выступление в печати — перевод «Баллады Редингской тюрьмы» О. Уайльда, спустя два года он переведет его же поэму «Сфинкс», о чем добрые слова скажет в «Аполлоне» Н. Гумилев, а позже в число переводимых им авторов войдут А. Франс, Т. Мор, И. Гете, А. Доде, Б. Шоу), критик, рецензент-журналист (сотрудничество в периодической прессе Киева, Москвы, Петрограда, Одессы, отзывы на спектакли, работу режиссеров, игру актеров), историк литературы, искусствовед (дважды доктор — искусствоведения и филологических наук!), писатель, чьи повести «Гарри из Дюссельдорфа» (о Гейне), «Ломикамень» (о Лесе Украинке), «Тарас Шевченко» (в соавторстве с Л. Бать; через годы она «перерастет» в серьезный литературоведческий труд, написанный на украинском совместно с М. Рыльским, а на русском с А. Белецким) ознаменовали собой определенные этапы в развитии жанра биографии, имеющей адресатом детскую аудиторию. К детям обращены и никоим образом не соприкасающиеся с филологией биографии Ф. Нансена и

Р. Амундсена (кстати, увлеченность Дейча «географическими темами» потрясала его собеседников). Ранние его стихотворные опыты были поддержаны Блоком, а прожитый путь получил освещение в мемуарах «Голос памяти» (1966) и «День нынешний и день минувший» (1969). Дейча можно назвать основоположником целой отрасли филологии: гейневедения (его книгой о немецком поэте открылась в 1933 году серия «Жизнь замечательных людей»), разросшейся позже в исследование немецкой поэзии в лице ее ярчайших представителей — Гельдерлина, Клейста.

Казалось бы, невероятный разброс интересов, распыление сил… Но, как справедливо написал Павло Мовчан, «в определении объектов исследования у Дейча не было места случайности или диктата вкусов. Тут существовала своя закономерность: к каждому имени, к каждому явлению вела тропинка заинтересованности, родства, а то и созвучности». Иными словами, Дейча характеризовала та «всемирная отзывчивость», о которой применительно к Пушкину сказал Достоевский. И это качество предопределило поистине безграничный охват материала, над которым работал Дейч (в последние годы он заинтересовался драматургией Мольера) и который поражает каждого, кто соприкасается с его наследием.

Но, помимо восхищения исследовательскими работами ученого, во всех отзывах о Дейче отмечаются и его человеческие качества: порядочность (он помогал и молодым, и тем, кто, по вполне понятным политическим причинам, оказался «в забвении»), доброта, отзывчивость (прекрасен рассказ Ольги Кретовой о том, как он помог ей «обнаружить» по отдельным деталям повесть никому не известной скандинавской писательницы Марии Зик «Горные вершины», чего не могли сделать прославленные библиографы Ленинки), заинтересованность всем по-настоящему талантливым, юмор, оптимизм. Кстати, о тех же качествах говорит и его умение работать вдвоем: кроме упомянутых выше соавторов следует сказать и о написанной совместно с Е. Зозулей биографии Дж. Свифта.

Наше литературоведение так устроено, что об ученых-филологах необходимые сведения разыскиваются с трудом (о Дейче есть только маленькая заметка в КЛЭ; к слову — гораздо более объемной статьи он удостоился в венгерской энциклопедии мировой литературы). Поэтому можно понять, каким бесценным вкладом в историю русского литературоведения явился труд многих, откликнувшихся на призыв Евгении Кузьминичны Дейч, вдовы ученого, чье неугасающее восхищение мужем вызвало к жизни идею этой книги. Но она сумела и довести задуманное до конца, что потребовало мужества и настойчивости. Близкие к литературным кругам москвичи и киевляне знают ее как выдающегося филолога, который связывает воедино (как когда-то и муж Е.К.) литературное пространство многих стран. Ее стараниями увидело свет собрание сочинений Б. Зайцева (для чего она укрепила отношения с семьей писателя во Франции), она участница многих филологических конференций, ее постоянно можно видеть в РГАЛИ, результатом чего становится публикация бесценных архивных материалов.

Думается, что это она как составитель тома не исправила в открывающей книгу заметке М. Рыльского настоящее время глаголов на прошедшее — ведь А.И. Дейч продолжает жить в сердцах не только знавших его, но и в памяти филологов, для которых не существует понятия конъюнктуры, чьи труды избавлены от фальши, «диктуемой» временем.

В одном шутливом стихотворении Дейч пожелал адресату «верстать счастье и веселье», имея в виду многочисленные верстки книг, которые так необходимы писателям. У него самого было много книг, следовательно, много версток. Немало было и верст: ему посчастливилось, работая в журнале «За рубежом» и газете «Журналь де Моску», неоднократно выезжать за рубеж тогда, когда об этом не могли и мечтать многие его соратники. Отсюда потрясающие знакомства — с Р. Роланом, Б. Шоу, К. Гамсуном, Б. Брехтом, И. Бехером, А. Барбюсом и многими другими. Но много было и веселья, и счастья в доме Дейчей, который всегда был открыт для друзей, где почти совершенно слепой хозяин (его «глазами» стала жена, во всем помогавшая ему) дарил приходивших «изяществом общения» (выражение Елены Николаевской) и нередко казался моложе самых молодых своих гостей. К Дейчу неприменимо понятие «несовременный», вернее, его несовременность может обнаружиться только тогда, когда восторжествуют, как справедливо заметил Леонид Финкель, «посредственность, безнравственность и

разрушение». И как хорошо, что появлением книги воспоминаний об Александре Иосифовиче это время, кажется, вновь отодвинуто в будущее.

Мария Михайлова

Слушая источники жизни

***Н.А. Дмитриева**. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет. Редактор-составитель: С.Ф. Членова — М.: Прогресс Традиция, 2009.*

Я горячая поклонница трудов и личности Нины Дмитриевой (1917—2003), мне нравятся ее изящество, грация, достоинство. Перечисляя эти качества, я прежде всего имею в виду Нину Александровну как исследователя. Вероятно, они же были свойственны ее бытовому поведению, украшали ее женский облик (тут остается только гадать и доверяться воспоминаниям тех, кто Дмитриеву знал лично). Да и ее фотография в начале книги — там она уже очень немолода, одета по-домашнему, кажется, даже в кухонном фартуке — отражает и достоинство, и грацию.

Но повторяю: я прежде всего имею в виду ее исследовательские качества. Нужно обладать нежностью, легкостью касания к материалу при тонкости проникновения в него, чтобы сказать о гротесковых трансформациях, которым Пикассо подвергал натуру: «“Спящая обнаженная”… собственно, уже и не женщина, а нечто имеющее признаки женщины — обвисшие мешки грудей, расплывшийся живот; вместо головы у нее — какой-то изогнутый рудимент. Она или, вернее, оно — существо — лежит на спине, с невинным бесстыдством открывая свои уродливые прелести, в окне видны месяц и большие звезды. Существо сладко спит — руки-култышки подняты, как у спящего младенца. И этот жест неожиданно уподобляет “женское” — детскому. Он возвращает женщине-монстру тепло человеческого чувства, как будто бы начисто изгнанного, саркастически высмеянного. Кажется, что художник скальпелем иронии препарирует “человеческое, слишком человеческое”, не оставляет на его счет никаких иллюзий — и видит, что оно, неистребимое, упрямое, снова проступает в истерзанной оболочке». Заметим: здесь, как и в других случаях, тонкость интерпретации не исключает отчетливости и решительности видения, первопроходческой смелости обобщений.

Кто-то из известных искусствоведов говорил, что зачастую художественные критики мало способны к исследованию литературы, а литераторы — пластических искусств. Это, может, и спорное мнение, однако есть в нем и что-то справедливое. Так или иначе, но Дмитриева пластична в наблюдениях над словесностью, а пространственные искусства обретают под ее взглядом волю к слову, к высказыванию (недаром одна из ее лучших книг называется «Изображение и слово»). Вспоминают, что Нина Александровна любила называть себя «литератором». Дело, конечно, и в ее постоянных собственно литературных занятиях: она умела глубоко рассуждать о Данте, о Чехове, о Томасе Манне (сборник включает некоторые из работ, посвященных словесности). Невозможно забыть, например, ее проникновенное наблюдение над второй песнью «Ада»: вихрь неустанно носит Паоло и Франческу, как и другие обреченные пары. Но казнь, которой подвергаются любившие слишком страстно, в то же время является актом милосердия: ведь они остались неразлученными в вечности. (Замечание, возникшее, быть может, не без влияния духовного чтения.)

Дмитриева непринужденно, широко сопоставляет литературный и художественный материал, и это всегда идет на пользу ее собственному творчеству, ее исследовательскому методу. В статье «Томас Манн о кризисе искусства (Опыт комментирования романа “Доктор Фаустус”)» говорится: «Томас Манн… объединил в образе Адриана Леверкюна различные тенденции эпохи (рубежа XIX и XX столетий. — *Е.С.-Р.*)… Он окрылил своего вымышленного композитора великой мечтой о слиянии искусства с жизнью и вместе с тем наделил его пресыщенным интеллектом, утратившим непосредственность и с холодным любопытством “разнимающим музыку как труп”. Если первое вызывает ассоциации с исканиями русских художников, то… “аналитические” рассуждения Леверкюна

могут напомнить о геометризме Сезанна, о таблице цветов Сера, о кубистическом расчленении предметов в живописи… Совмещение в художнической натуре Леверкюна… жажды “прорыва из одиночества” и абстрактного интеллектуализма — не является произволом писателя… Леверкюн с самого начала сознает в себе “недостаток наивности”… но это сознание мало ему помогает, так как он пытается искусственно обрести наивность с помощью все той же рассудочности». «Искусственная наивность» на подкладке ледяной рассудочности — не одна Нина Дмитриева отмечала это как капитальную черту модернизма, впрочем, и постмодерна тоже. Но особую силу именно ее суждениям придает их литературная убедительность, естественность, энергия и красота ее словесного жеста. Дмитриева видит и по заслугам оценивает моральный кризис, даже крах, к которому шло искусство в XX веке, ничуть не обольщается по поводу того, что ждет его в ближайшем будущем (правоту исследовательницы подтверждает его нынешнее состояние, его бессильные эскапады, да и бесстыдное трюкачество сегодняшней художественной критики). Но при этом Дмитриева зорка к любому проявлению «живой жизни», любому проблеску гуманности — словом, ко всему, чем нынешнее искусство еще может оправдаться. Далеко не случайно, что оставшаяся незащищенной кандидатская диссертация исследовательницы была посвящена Врубелю, художнику если не леверкюновского духа, то хотя бы отчасти леверкюновской судьбы. В самом деле, страдательный демонизм, неотделимый от наследия Врубеля, неотделим и от врубелевского «дум высокого стремленья», оправдывающего его как художника и человека. Дмитриева говорит об «избытке воли, направленной на постоянные поиски ускользающего идеала», с пронзительным состраданием рассказывает о создании и уничтожении им работ, вероятно, гениальных. Причем при всем драматизме излагаемые события как бы окрашены и некоей холодной иронией, — нет, не дмитриевской, конечно, а именно леверкюновской, иронией ада, терзавшего мастера и манившего его, словно Фауста, призраком Елены Прекрасной: «Вчера был “Христос в Гефсиманском саду”, восхитивший киевского мецената Терещенко, сегодня поверх него написана цирковая наездница. Потом и наездницы не стало. Терещенко заказал Врубелю картину “Восточная сказка”, художник работал над ней долго, но потом уничтожил, а акварельный эскиз принес в подарок жене Прахова Эмилии Львовне, в которую был платонически влюблен (модель для врубелевского образа Пречистой Девы. — *Е. С.-Р.*); когда она отказалась принять такой ценный подарок, он тут же разорвал лист на части (потом его склеили и сохранили)».

О, как «словесен» этот сюжет, буквально похищенный жизнью у литературы, недаром же он с ходу вызывает столько литературных ассоциаций! Исследовательница и завершает его именно как писательница, мастерски выбирая эпилогом к своей работе следующее: «Академия устроила торжественные похороны на петербургском Новодевичьем кладбище, в солнечный весенний день… Речь над могилой держал… поэт Александр Блок. Он говорил о борьбе ночных лилово-синих миров и золотого сияния в “Поверженном демоне”… Священник Новодевичьего монастыря сказал: “Художник Михаил Александрович Врубель, я верю, что Бог простит тебе все грехи, так как ты был работником”». И все. На этом кончается статья о Врубеле, как на этом же кончилось его пребывание на земле. Точность чувства — и нравственного, и литературного — подсказала Нине Александровне, что ничего более значительного, чем эти и только эти слова, не могло прозвучать при прощании с художником-страдальцем. И в самом деле, труды, страдания, томление Врубеля по высшей красоте, близкие душе Дмитриевой, — во многом причина нашей сегодняшней любви к нему. Мы не только любим его, а чувствуем в нем нечто вещее. Если говорить о произведениях искусства, предсказавших XX век, да и всю современность, то вспоминается, пожалуй, не «Герника», а врубелевская «Сирень». Огромный взрыв сиреневого куста, на его фоне — бледное лицо с пророческими глазами. Потерянный человек на фоне то ли космического, то ли природного, то ли рукотворного, но чрезвычайного, быть может, катастрофического явления.

Дмитриева не только вдохновляется личностями и «сюжетами судеб» Ван Гога, Ци Байши, Александра Иванова. Она, как уже говорилось, слышит речь их шедевров, доносит их слово. Впрочем, своеобразное красноречие оказывается свойственно, согласно Дмитриевой, даже и простым предметам повседневности. Опять не удержусь от литературной параллели: андерсеновский взгляд на смиренные детали быта заметен в ее статье

«Карнавал вещей». Здесь Дмитриева говорит о современной вещи, потерявшей смирение, ставшей самодостаточной, из служанки превратившейся в госпожу на час. Не буду пересказывать дмитриевский волнующий сюжет, посвященный тому, как современное дизайнерское изделие отвергает внешнюю функциональность, становится причудливым внешне, так сказать, рвет узду простой нужности, и, как следствие, навязывает человеку причуду, вносит прихоть в его быт. (В этом, понятно, виноват сам человек: ведь существуют этические правила и в нашем отношении к вещам.) Процитирую только одно рассуждение исследовательницы, содержащее, по-моему, философское обобщение относительно современной цивилизации: «Не только упаковки, многие обиходные вещи должны стать “саморазрушающимися” — это одна из насущных современных задач. В понятие функции вещи, таким образом, включается ее быстрое исчезновение. Очевидно, это требует и перестройки каких-то очень укорененных психических стереотипов: ведь забота о долговечности дела своих рук всегда была свойственна человеку, создавал ли он дом, статую, кувшин или стул. И если целесообразные вещи мыслятся как послушные, исполнительные слуги — легко ли убивать верных слуг?».

…Умная, способная к историческому мышлению, благородно-откровенная со своим читателем, Нина Александровна видела свою собственную жизнь и судьбы современников накрепко впаянными в контекст эпохи. Здраво оценивая исторические и социальные влияния, гнувшие судьбы людей, она никого не обвиняет, но и не обеляет, не прекраснодушничает. О марксисте «по зову сердца», тем не менее так и оставшемся чужим для коммунистической власти, М.А. Лифшице она говорит как о человеке с «ненадежной звездой». Лифшиц пленял широтой и лекторским блеском студентов ИФЛИ, среди которых была и она сама, а впоследствии на ее же глазах ушел в тень, разминулся со своей известностью. О его закате Дмитриева замечает корректно, но с твердостью: «Говорили, что в последние годы он стал угрюм, замкнут… Как мог чувствовать себя в старости незаурядный человек, сознающий свою незаурядность и не растерявший умственного багажа, видя, как стремительно его забывают, а главное — как неотвратимо рушатся его заветные идеалы». Кстати, в автобиографическом очерке «Рожденная в семнадцатом» Нина Дмитриева с той же благородной сдержанностью, с тем же критицизмом пишет о собственном пути. Пожалуй, тут она даже более жестка: «Я вспоминаю мелкие факты своей биографии из желания как-то реконструировать мироощущение мелкого образованца тех лет». И дальше — еще более твердо, с напором: «Не хочу сказать, что не было творивших добро. Они были: без праведников земля не стоит, но это не снимает исторической вины с поколения “ровесников Октября”. Легко все взваливать на Сталина и его приспешников… но почему же приспешников было так много, а народ так охотно обманывался?». И заключает решительно, цитируя слова Аверинцева о самом диком племени — советской интеллигенции: «Сказано жестко, но во многом справедливо».

Посвящая один из очерков историку искусства М.В. Алпатову и характеризуя его метод, Дмитриева замечает: «Он за то, чтобы как можно пристальнее всматриваться, вдумываться в само произведение как оно есть… и тогда оно само заговорит, расскажет многое, и не только о себе, а и об источниках жизни, его питавших». Такова она сама, неизменно слышащая слово искусства. А уж через него — неложное, живительное слово самой жизни.

Елена Степанян-Румянцева

Этнос и жанр

Е.И. Зейферт. *Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины XX — начала XXI веков. — BMV Verlag Robert Burau, 2009.*

Елена Зейферт — доктор филологических наук, переводчик, критик, автор многочисленных публикаций в периодике и книг, в том числе книги стихотворений. В своей новой книге «Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины

XX — начала XXI вв.», которая стала основой ее докторской диссертации, она анализирует поэзию родного этноса (всего 406 авторов из России, СНГ, Германии, Финляндии, Израиля, Польши, стран Прибалтики…), рассматривает содержание и версификационные формы, показывает взаимосвязь и взаимовлияния литературных жанров и этнической картины мира в свете самоидентификации этноса. Прежде чем исследовать предмет монографии, Елене Зейферт предстояло хотя бы отчасти его систематизировать и только потом изучить — проделана поистине гигантская работа.

Тема, рассматриваемая в книге, актуальна, и потребность в подобных исследованиях назрела давно. Во-первых, немецкое влияние на развитие русской литературы и России в целом до сих пор не проанализировано в достаточной мере. Не будем забывать, что этническими немцами были классики русской литературы В. Капнист, И. Хемницер, Д. Фонвизин, В. Кюхельбекер, А. Дельвиг, Б. Пильняк, Н. Эрдман, К. Вагинов, И. Одоевцева и многие-многие другие; немецкая кровь текла в жилах А. Блока и М. Цветаевой…

Во-вторых, многострадальные российские немцы в период со второй половины XX века по настоящее время переживают далеко не лучшие времена — при Сталине они были обвинены в предательстве и подверглись депортации в Казахстан и Сибирь, то есть были насильно высланы из привычной среды обитания; сейчас, в XXI веке, в связи с масштабной эмиграцией из России им грозит ассимиляция в Германии, где их считают русскими.

Понятие «этническая картина мира» было введено американским социальным антропологом Робертом Редфилдом (1897—1958), который полагал, что любому народу как коллективной личности присуще собственное видение мира. Елена Зейферт в своей книге доказывает, что жизнь этноса и литературные жанры взаимосвязаны. Мысль, конечно, не новая. Новыми мне представляются доказательства этой мысли. В специальной таблице, которую приводит автор, прослеживается детальная взаимосвязь этнической картины мира и литературных жанров. Например, элегии. Взаимосвязанными, согласно теории Елены Зейферт, являются стремление к автономности, подчеркивание своеобразия родного этноса, пессимистический финал лирического сюжета, пятистопный ямб / элегический дистих. Взаимосвязано все. Социально-экономическая ситуация влияет на этнос, этнос порождает востребованность тех или иных стихотворных форм, жанров, даже стихотворных размеров. При этом, подчеркивает исследователь, «обостренная связь между этническими и жанровыми процессами и элементами наблюдается в период, исторически сложный для нации, и в последующий за ним период».

В книге рассматриваются многочисленные (порою весьма неожиданные!) литературные жанры, в которых работают российские немцы, — лирические, эпические, религиозные… Анализируются такие стихотворные формы, как четверостишие (Vierzeiler), восьмистишие (Achtzeiler), фрагмент (das Fragment), молитва (das Gebet), псалом (der Psalm), басня (die Fabel), баллада (die Ballade), сонет (das Sonett), венок сонетов (der Sonnettenkranz), хайку (das Haiku) и другие «строфические» и жанровые твердые формы, проявляющие способность этноса осмыслить определенный пласт бытия и художественно организовать его в «типическое целое — модель мира, микрообраз» и обеспечивающие сохранение традиции или литературной преемственности, создание целостного представления о произведении (жанр дает набор признаков) и вовлечение читателя в «узнавание» модели текста.

Отдельная глава посвящена весьма редкому явлению, практически не известному в России, — жанру *шпрух* (der Spruch). Это слово имеет несколько значений. Оно может обозначать и сентенцию, и приговор (решение), и притчу. Текстов, написанных российскими немцами в жанре шпруха, довольно много. В книге приводятся сочинения, например, Ф. Больгера и Э. Катценштайна. Шпрухи Э. Катценштайна афористичны и дидактичны, напоминают русские пословицы. Между тем это своеобразный, более развернутый, чем пословица, жанр.

Кто неправильно поступает —
Тот испорченный и плохой.

Кто бессловесно терпит,
тот тоже не прав.
(Э. Катценштайн. Шпрухи к размышлению)

Из необычных жанров анализируется также российско-немецкое трехстишие (der Dreizeiler), которое отличается от традиционного хайку слоговой и даже строчной композицией. Число слогов и разнообразие тем в российско-немецких трехстишиях не регламентировано, что, разумеется, не мешает им быть фактом поэзии.

Мысли
широко и мощно кружат
над жизненным горизонтом
(Р. Пфлюг)

Метод Елены Зейферт предполагает всестороннее исследование творчества автора, панорамное и вместе с тем детальное изучение литературной карты российских немцев. Много места в книге занимают творческие портреты. Всякое произведение исследователь разбирает как стиховед и как культуролог, с привлечением математического анализа.

С одной стороны, очень хорошо, что представлены практически все литературные силы этноса. С другой стороны, понятно, что далеко не все представленные в книге авторы вызывают большой интерес как поэты. Нет сомнения, что следующий шаг такой работы — локальные исследования, выделение из панорамы наиболее ярких и сложившихся авторов и анализ их творчества. Однако сейчас сделано главное и невероятно полезное дело — фактически создана своеобразная культурная энциклопедия народа, показан уникальный этнос, испытывающий влияние двух культур — русской и немецкой.

Как сказано, в стихотворении Е. И. Зейферт «Российские немцы», которое заключает книгу: «Рот, вмещающий два языка. / Vater, Отче, скажи, чья дочь я? / Точит кирху на дне река… / «Твой удел — терпеть, Russlandeutche…».

Евгений Степанов

Четыре Сирано и еще один романтик

Эдмон Ростан. *Сирано де Бержерак. Четыре перевода. Героическая комедия в пяти действиях в стихах. Перевод с французского Т. Щепкиной-Куперник, В. Соловьева, Ю. Айхенвальда, Е. Баевской. Вступительная статья И. Гуляевой. Составление А. Григорьева. — Ярославль: Северный край, 2009.*

Эта книга возникла из любви. Мужчины к женщине. Восхищенного зрителя к театру. Главного редактора газеты «Северный край» (Ярославль) Андрея Григорьева к героической комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» и ее многочисленным постановкам. Тогда, двадцать лет тому назад, первым Сирано студента журфака МГУ Андрея Григорьева стал Сергей Шакуров в Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. Потом были другие, многие (только в одной Москве постоянно идет две-три, не меньше; на моем личном счету — спектакли Малого театра с Юрием Соломиным и МХТ с ныне покойным Виктором Гвоздицким).

А скольких Сирано уже не только Андрей Григорьев, но и никто никогда не увидит! Жизнь спектакля, увы, коротка, остаются лишь воспоминания тех счастливчиков, кто успел, да фотографии (ими обильно проиллюстрирована книга). Кино живет дольше, но одна из самых, возможно, любопытных экранизаций в силу ряда причин не состоялась (на роль Сирано пробовались Высоцкий, Юрский, Ефремов, но Эльдар Рязанов захотел снимать Евгения Евтушенко, что, в конце концов, все и погубило)... Что ж, утешимся многочисленными импортными кино-Сирано, в числе которых — Жерар Депардье, получивший, кстати, в 1990 году за эту роль приз Каннского кинофестиваля.

Вообще-то список пьес, которые ставят и ставят, во дни как торжеств, так и бед народных, невзирая на климат, общественный строй, наличие подходящих по амплуа актеров, уровень зрительской аудитории и так далее, и тому подобное, не так уж и велик. Если говорить о веке минувшем и продолжившем его веке нынешнем, то это пара-тройка пьес Вильяма нашего Шекспира да столько же пьес Антона, уж точно — нашего, Павловича Чехова. Применительно к России можно, конечно, говорить о долгой и относительно благополучной жизни нескольких пьес Александра Островского, Алексея (понятное дело, Константиновича!) Толстого и Максима Горького, но в переводе на русский они, как и пьесы Чехова, не нуждаются (во всяком случае, пока, хотя как знать, не появятся ли в не столь уж далеком будущем переводы с русского на русский?). Составитель книги Андрей Григорьев называет в качестве пьес, «которые весь XX век не сходили с театральных подмостков как Старого, так и Нового света», «Женитьбу Фигаро» Бомарше, «Слугу двух господ» Гольдони… Не знаю, не уверена, что эти достойные пьесы, судьба их переводов и постановок в России могли бы стать поводом для выпуска подобной книги. А «Сирано де Бержерак» таким поводом стал. И судьба этой пьесы, считавшейся при ее появлении легковесной и проходной, действительно, уникальна.

В книге, составленной Андреем Григорьевым, представлены (в хронологическом порядке) четыре высочайшего качества перевода (еще два полных перевода были признаны неудачными и ныне заслуженно забыты). Каждый из них стал большим культурным явлением, каждый ценен как самостоятельное литературное произведение.

Сжато и без присущего многим в подобных ситуациях занудства рассказывает обо всех четырех переводах в своей статье «Русская судьба «Сирано де Бержерака» литературовед Инна Гуляева. Она не просто раздает оценки, типа: лучше — хуже, но приводит фрагменты оригинала (с подстрочником), затем одного из переводов — и показывает, чего, на ее взгляд, в этом случае не хватило тому или иному переводчику. Но если переводчику что-то удалось лучше остальных, Инна Гуляева не упускает случая полюбоваться этой удачей и привлечь к ней внимание читателя.

Самый первый, самый, пожалуй, знаменитый, самый объемный перевод — Татьяны Щепкиной-Куперник (1898). Переводчица к моменту встречи с «Сирано де Бержераком» была лично знакома с Ростаном, успешно его переводила. Относилась к нему, кстати, вовсе без пиетета. Возможно, поэтому в ее переводе много отсебятины, а еще больше излишних пышностей и неточностей. Ну, и конечно, потому, что сроки были более чем сжатыми (восемь дней!) — срочный перевод «Сирано» заказал ей Суворин. Щепкина-Куперник вскоре сделала вторую редакцию, да и потом неоднократно вносила изменения в свой перевод. Ее Сирано — революционер, астроном и только потом уже поэт и влюбленный. Перевод Щепкиной-Куперник, в разных редакциях, издавался многократно.

Второй по времени появления перевод (1938) был сделан известным в то время драматургом, автором, например, хроник в стихах «Фельдмаршал Кутузов» и «Великий государь» Владимиром Соловьевым. Ирония судьбы: сегодня от лауреата Сталинских премий по-настоящему остался… лишь перевод героической комедии Эдмона Ростана! Сирано у Соловьева прежде всего герой и революционер, а уже потом все остальное. Публикаций перевода Соловьева значительно меньше, чем Щепкиной-Куперник, да это и естественно, ведь и сам его перевод на сорок лет моложе.

Автора третьего перевода, выполненного специально для театра «Современник» (1964), мне посчастливилось знать лично (правда, того спектакля, по младости лет, увидеть не довелось)… Юрий Айхенвальд был человеком удивительной порядочности, энциклопедических знаний и потрясающего обаяния. Сам интеллигент и поэт, он сделал интеллигентом и, конечно же, поэтом своего героя. В настоящей книге текст «Перевода и сценической редакции» Айхенвальда впервые опубликован полностью и для широкого читателя (хотя о широком читателе сегодня можно говорить лишь с большой долей условности).

Судьба четвертого представленного в книге перевода также достаточно витиевата. Елена Баевская перевела героическую комедию Ростана в 1984 году, но впервые этот перевод был издан лишь тринадцать лет спустя. Здесь, в этой книге, перевод Баевской появился уже в третий раз. В отличие от Щепкиной-Куперник, Соловьева, Айхенвальда, которые пользовались разностопным ямбом, Елена Баевская избрала ямб шестистопный.

И именно ее перевод максимально близок к оригиналу. Можно смело сказать, что ее Сирано — это практически Сирано Эдмона Ростана. Остается дождаться, когда перевод Баевской оценят на театре (или, может, в кино?), ибо пока он ни сценического, ни экранного воплощения не имеет.

Четыре перевода, плюс содержательная статья (по сути, сжатая диссертация) Инны Гуляевой, плюс разнообразные интересные дополнения… Итого 728 страниц! Красивый толстый том, который не стыдно поставить на полку, приятно подержать в руках, с удовольствием полистать, куда-то углубиться — да так и не оторваться, пока не дойдешь до конца. Я уж не говорю о тех, для кого подобное издание — насущная профессиональная потребность. Ведь здорово, в самом деле, дать студентам (а почему бы и не продвинутым школьникам?), изучающим французский язык, сравнить тот или иной фрагмент из четырех великолепных переводов, а затем предложить свой вариант! Правда, одна моя знакомая дама, занимающаяся французской литературой и переводами, восхитившись самой идеей и, конечно, книгой, посетовала, что в ней нет французского оригинала. Я ей на это сказала, что оригинальный текст Эдмона Ростана существует уже более ста лет, за это время он ничуть не изменился, выходил бессчетное число раз (достаточно сказать, что «Сирано де Бержерак» включен во Франции в школьную программу). И все, кто желал, его имеют или же могут иметь без особого напряжения сил.

А ведь первоначально предполагалась такая книжка-самоделка, чуть ли не в одном экземпляре, на компьютере, для себя. Но случилась встреча Андрея Григорьева с главой города Рыбинска Юрием Ласточкиным, нашлись деньги — и все заверте…

«Посвящаю эту работу моей жене Ирине — мы познакомились в апреле 1981 года на спектакле «Сирано де Бержерак» в театре им. Станиславского» — так заканчивает свое напутствие читателям книги ее составитель Андрей Григорьев. Подобное посвящение могло показаться трогательным, даже смешным, если бы книга осталась домашним рукоделием, таким «папиным кино». Но она стала событием. А вот это серьезно.

Юлия Рахаева

studio

О лютерах поганых, латыньских, и учебниках российских, патриотических

Литературное чтение. *4 класс. Часть 1. Составление: Л.Ф. Климанова и др. — М.: Просвещение, 2010.*

«Лучше понять окружающий мир, объяснить многое из происходящего в нем помогает народу его историческая память. Многие тысячи лет назад нашим предкам помогали сохранять в памяти прошлое устные сказания, предания, песни, былины…» Так сказано в предисловии к лежащему перед нами учебнику для четвертого класса общеобразовательных школ страны. Рассыпанные в этой книге крупицы исторической памяти представляют, на наш взгляд, живой интерес не только для десятилетних граждан. Поэтому мы хотим в меру своих скромных возможностей содействовать их популяризации.

Речь пойдет о былине «Ильины три поездочки». Почему из огромной литературы об Илье Муромце, упокоившемся в Киево-Печерской лавре древнерусском святом, выбран именно этот явно очень поздний текст?

Схематически предлагаемая былина традиционна. Лежит камень в степи, а под него вода течет. А на камне написано слово.

Прямо ехать — убитому быть!
Влево ехать — женатому быть!
Вправо ехать — богатому быть!
Все судьбой сие предписано!

Герой-богатырь начал с прямого пути. На коем и повстречали его «ходовитые разбойнички».

А щиты у них крестастые,
На них шлемы, будто ведра вверх дном,
Кони-лошади в булатной броне.

Узнаваемые приметы. Что ж, с «псами-рыцарями» Русь сражалась вскоре после смерти основного прототипа былинного героя. Фольклорная литература отражает историю глобально, в целом, и близким по времени событиям немудрено слиться в ней.

Куда интересней для читателя оказывается второй путь Ильи.

Путь этот, как мы видели, — к женитьбе. К сомнительному браку на чужой стороне.

Луговины, горы, реки да поля
Проскакал Илья Муромец,
На дворцы островерхие
Понаехал краснокаменные.
Вереницами девицы к нему
Выходили, встречали молодца.

Неверные девы вздумали рыцаря погубить — обычная, общеевропейская сказочная тема, в частности, частый элемент немецкого фольклора. Но в наших условиях девичье коварство получает четкое идеологическое объяснение.

Вас латынщина повыучила,
Хитромудрая повыходила
Молодых сильных витязей
Ослеплять, укрощать, усыплять,
В свою веру переверивать,
Под латынь облатынивать,
А всех необлатыненных
В подземелье заподваливать!

Тут снова возникает навязчивая ассоциация — на сей раз несколько причудливая. С Зоей-Софьей — византийской царевной, «латынщиной повыученной» воспитанницей папского престола. В браке с Иваном III — православной государыней, оставившей в нашей истории добрый след.

Но вот отправляется Илья по третьему пути. За богатством.

На святошную сторону
Наезжал Илья Муромец:
Перезвоны колокольные,
Перепевы богомольные.
Окружали Илью Муромца
В башлыках люди черные —
Покрывала вороновые,
Балахоны долгополые —
Знать, монахи это все аль попы!

Мрачновата святошная сторона. А дальше — будет хуже.

Зазывают Илью Муромца,
Уговаривают витязя
Бросить русский православный закон.

Илья, разумеется, отказывается.

Башлыки тут раздеваются,
Балахоны скидаваются —
Прочь-долой все покрывники,
Прочь и речи елейные,
Прочь и погляды святые в небеса!

Эвона... Так они не просто поганые еретики... Они вообще — *в Бога не веруют*...

Не монахи-чернорясики,
Не попы-долгополики,
Стоят воины латинские —
Меченосцы исполинские.
По носам они носастые,
По губам они губастые,
По глазам пучеглазистые...

Хватит, наверно...

«Но не переписывать же былины!» — слышится нам в ответ. Не переписывать. Но помнить о понятии исторического контекста. Понятии выбора, отбора и акцентирования материала. Идеологическая обработка способна на чудеса, прошлый век блистательно показал это. И прямые подлоги вовсе не обязательны при сотворении сих черных чудес. Для воспитания, например, высококачественных антисемитов вполне достаточно евангельских текстов. Гитлеровская «Немецкая церковь» это доказала.

Как сообразуется нарисованная «былинная» картинка с реальной Киевской Русью — эпохой жизни Ильи? И с литературой этой эпохи? Имеет смысл бросить на это взгляд. Тем более что — педалируя понятие «истинной, святой» Руси — нынешнее патриотическое мировоззрение древнейшую — киевскую — эпоху обычно боязливо обходит.

Киевская Русь была развитой европейской страной. Династические браки прочно связывали ее с соседями по континенту (дочь Ярослава Мудрого — королева Франции, жена Владимира Мономаха — дочь английского короля, и т. д.). Водный путь «из варяг в греки» единил Восток и Запад, создавая общее торговое пространство. Сегодня нечасто вспоминают о том, что и величайшее культурное деяние — создание славянской письменности — было делом «восточно-западным». Не только Царьград, но и Рим сыграл в создании этой письменности огромную роль: переводы делались Солунскими братьями как с греческого, так и с латыни, в контакте с римской курией, папа Иоанн VIII специальной буллой благословил богослужение на славянском языке.

Срединное (потенциально центральное?) положение Руси в Европе не колебала и крепнувшая Великая схизма. Точная датировка таких процессов — лишь условное упрощение: и после 1054 года нередко возникали тесные, вплоть до сослужений и взаимных рукоположений, связи между Церквями. Разделившие Церкви тонкие теолого-филологические вопросы оставались пустым звуком для едва обретшей богослужебный язык страны. В прозрачно-тонком слое образованного монашества они едва вызвали два-три отклика-трактата. Самое же главное: на рубеже тысячелетий разногласия еще не вросли в менталитет, не перешли в глухую, не требующую уже оснований и причин вражду. Менталитет определялся еще повседневными делами: культурными, политическими, торговыми.

Отразилось ли реальное древнерусское бытие в фольклоре своего времени? Разумеется. Иначе и быть не могло. Так, сказания о хождении русских людей как в Царьград, так и в Рим за наставлением и советом не только имеются. Есть и прекрасные лесковские литературные переложения их. Кстати, и язык замечательного мастера несколько иной, чем топорное *а ля древнерюс*, сляпанное в учебнике.

Мрачноватые картинки былины — порождение совсем иной эпохи. «Монгольская вьюга» (так назвал трагедию Древней Руси Петр Чаадаев) оторвала Россию от Европы. О связях с ней под Ордой не приходилось уже и говорить. Равно, впрочем, как и о самой прежней Руси. Изменился и сам ландшафт: сказочная «страна городов» превратилась в сельскую равнину — по сути близкую к степи. Борясь с Ордой и одновременно сближаясь с нею, Русь и вольно, и невольно перенимала ее психологию и менталитет.

И в этой новой — ордынской и послеордынской — Руси переписывалась история Руси древней. С новых позиций — столь близких сегодня многим. Иногда сознательно. Как в посланиях о преемстве московских великих князей от римских цезарей. Иногда — простодушно-бессознательно. Путем приписывания Древней Руси «антилатинского» мирочувствования XV—XVII веков…

В этот период и появились — в яростных и невежественных антилатинских трактатах — «латыньские лютеры», вынесенные нами в заголовок статьи.

В сегодняшние учебники они, правда, пока не вошли. Но не будем отчаиваться. Нынешним десятилетним учиться еще добрых семь-восемь лет. А протестантизм, как общеизвестно, еще гаже и вреднее католичества...

Валерий Сендеров

проект

Фильм снят по заказу…

Александр Сегень. *Поп. — М.: Вече, 2010;*
Поп. ***Фильм Владимира Хотиненко****. — Кинокомпании «Православная энциклопедия» и «Двадцатый век фокс», 2009.*

Все мы смотрели фильмы о примерных милиционерах, разведчиках, учителях, рабочих… Времена «меняются» и требуют «новых» героев. Этому требованию удовлетворяет произведение Владимира Хотиненко, где публике представлен образцовый священник. Когда состоялась премьера, с экранов телевизоров несколько раз прозвучало, что теперь православные батюшки все как один хотят быть похожими на героя фильма «Поп» в исполнении Сергея Маковецкого.

Заказной характер всего мероприятия угадывается с первых кадров, да это, в общем, и не секрет. В предисловии к роману Александра Сегеня, легшего в основу киноленты, сообщается, что и книга, и фильм созданы «по особому и весьма почетному заказу, поступившему не от кого-нибудь, а от самого Патриарха». И дело так хорошо пошло, что Александр Сегень стал получать все новые и новые заказы «не от кого-нибудь»: «После написания романа «Поп» Александр Сегень получил еще один заказ…», «Летом 2007 года Сегень получил спецзаказ…», «Так Сегень снова был вовлечен в работу по спецзаказу…». Один из спецзаказов увенчался появлением произведения с симптоматичным названием «Свет светлый». А фильм «Поп», который, по чистосердечному признанию, сделанному все в том же предисловии, снимался в первую очередь для того, чтобы «угодить Патриарху», удостоился награды кинофестиваля, причем международного, тоже с характерным названием — «Лучезарный ангел».

В одном из выпусков «Школы злословия» Авдотья Смирнова как-то обмолвилась, что от словосочетания «православное кино» ей хочется то ли залезть на стену, то ли сделать что-то еще в этом роде. И понятно почему. Только дело не ограничивается кино. Читаешь про светлый свет, и действительно начинаешь поглядывать на стенку. Вообще-то, имея в виду особенности нашего исторического опыта, на месте издателей романа «Поп» на «почетный заказ», «не от кого-нибудь» и «угодить» лучше было бы не упирать. Но кто знает: может, в той среде, на которую главным образом нацелены и роман и фильм, все это как-то принято и никого не смущает?

Однако, несмотря на обилие спецзаказов (для меня остается большим секретом, почему Александр Сегень, если ему так интересен подобный материал, не пишет о «Псковской православной миссии», о «московских событиях осени 1917 года» и о «митрополите Алексее, воспитателе и вдохновителе Дмитрия Донского» по собственной инициативе, а все время ждет заказов), в литературном отношении роман «Поп» чрезвычайно слаб. Условно говоря, если кто-то из героев попадает в трудное положение, то автор примерно так и пишет, что ему, мол, сейчас трудно. Если кому-то весело, то опять же — ему, вот, стало весело. Фигурами речи писатель не злоупотребляет. А если вдруг к ним прибегает, то получается следующее: «Он (Псковский Кремль) и теперь сохранял свою царственную осанку», или: «Древний Псков,

заваленный снегом, выглядел куда лучше, чем осенью. Его будто обновили, подкрасили, принарядили». На «принарядили» начинает подступать зубная боль.

Текст изобилует приторностями. Такими же, как «Свет светлый» и «Лучезарный ангел»:

— Господи! Чудо какое!

— Воистину чудо! — всплеснули руками женщины.

Или:

— До чего ж Господь любит Россию.

Щедро рассыпаны по страницам благостные рассуждения: «Иная девушка в обычной жизни не так уж и хороша лицом, и неказиста, а приходит ей день замуж идти, нарядится в подвенечное платье — и краше этой белой невинности ничего нет на свете!», «Твоя мама была самая лучшая у нас в селе женщина. Господь Бог видел это и очень хотел сделать ее святою. Не мог он без нее больше на небе. … Тут как раз злой человек рабу Божию Таисию застрелил. (Здесь, наверное, нужно возрадоваться. — *О.Б.*). И душа ее отправилась к Боженьке». И в таком духе. Зубная боль быстро нарастает и временами становится почти невыносимой.

Роман «Поп» — произведение образцово-православное. На каждой остановке здесь расставлены сигнальные флажки, указующие на то, что именно православному человеку должно думать по тому или иному поводу, как относиться к тем или иным вещам. При этом осуждающая интонация здесь не то чтобы доминирует, но звучит отчетливо. Католики и особенно протестанты — еретики, зарубежники — враги, а атеисты просто приравнены к пустому месту. Словесная схватка с неким протестантским проповедником занимает в романе одно из центральных мест, по этому поводу даже звучат слова «мой Сталинград» и прочее. Только ничего разгромно-убедительного участники спора на самом деле не говорят, и триумфальное настроение православного священника выглядит не совсем адекватным тому, что произошло.

В книге, а вслед за ней и в фильме проговорены вскользь либо вообще опущены многие существенные обстоятельства. Удочеренная священником еврейская девушка ни разу не вспоминает о своей родной семье, погибшей от рук фашистов. В фильме она выглядит слишком беззаботной и довольной для человека, особенно ребенка, потерявшего родных. Священник принимает в свою семью многочисленных сирот. И они как-то растут. Все заботы ложатся на матушку Алевтину, которую в кино исполняет Нина Усатова, и она как-то с ними справляется. Как? Как-то так, само собой. Это выглядит очень легковесно: что один ребенок, что десять, что двадцать — все равно. У самого священника Ионина есть четверо родных сыновей. Пару раз сообщается о том, что он за них тоже волнуется и по-отцовски переживает. И все. Для любящего отца этого «тоже» как-то маловато. О долгих годах, проведенных в лагере, также упоминается вскользь. Другими словами, возникают пропуски там, где их не ждешь, поскольку именно на месте этих пропусков должна бы быть некая живая ткань, создающая жизнеподобие.

Зато очень много авторских усилий приложено к тому, чтобы привязать все описываемые события к церковным праздникам и Житию Александра Невского. Святой благоверный князь поминается по делу и не по делу, с частотой, которая создает нестерпимую передозировку. Как будто в чашку чая положили десять ложек сахара.

Что касается фильма, то его во многом спасает актерское мастерство Сергея Маковецкого, которое компенсирует большую часть того, о чем говорилось выше. Сергею Маковецкому совершенно не пристало оканье и прочие покушения на народность, но в целом исполнителю главной роли удалось создать образ более сильный, более искренний и глубокий, чем предполагал литературный первоисточник. Но даже и в лучшем исполнении главный герой страдает какой-то нечеловеческой монолитностью. Ему неведомы никакие сомнения, хотя вокруг творится такое, что самая прочная вера не может не зашататься. Никаких достоевских бездн и пропастей, сомнений, провалов и, наоборот, воспарений здесь даже не намечено. Наверное, это не полагается священнику по должности. Однако, будь хотя бы намек на что-то в этом роде, центральный персонаж обрел бы большую убедительность.

В то же время фильм отказался от одного из главных достоинств книги и тем самым многое потерял. О романе можно сказать не так много лестного, но одного у него не отнять: рассказанная в нем история осложнена множеством событий, обстоятельств,

сюжетных поворотов и конфликтов. Главному герою приходится выслуживаться перед немцами и произносить проповеди во славу немецкого оружия. Среди священников есть герои и есть предатели-доносчики. Очень подробна линия, связанная с концлагерем и военнопленными. В книге вообще больше трагических и зловещих событий, которые не дают отвлечься от того, что действие разворачивается во время войны. Вся ситуация вокруг центрального персонажа значительно более напряженная, чем в фильме, и эта ситуация чаще обостряется и дает всплески. Фильм в этом отношении существенно облегчен и тем самым обеднен. Зачем? Чтобы священник был только один и только положительный? Чтобы не было двусмысленностей и теней? Очень зря. «Ведь тени получаются от предметов и людей».

Иными словами, начинает маячить «Женитьба» Гоголя: если бы к Сергею Маковецкому добавить сюжет и полный набор персонажей из книги Александра Сегеня и всем на помощь призвать Федора Михайловича… Да еще забыть про спецзаказ, лучезарных и прочих ангелов и обойтись без помпезных премьер в ХХС, то, глядишь, может, получилось бы нечто, имеющее большее отношение к искусству и меньшее — к идеологии и агитации.

Ольга Бугославская

музей

Чеховские дни на Луке

В обширной литературе о жизненном пути и этапах творчества А.П. Чехова представлены многие города и населенные пункты — Таганрог, Москва, Санкт-Петербург, Сахалин, Мелихово, Ялта. Но из этого перечня выпадает пребывание писателя на Луке Сумского уезда Харьковской губернии в 1888—1889 годах. Широкой общественности этот период или мало известен, или вовсе не известен.

В конце 80-х годов Антон Павлович проживал в Москве на Садово-Кудринской. Вместе с ним — его родители, сестра и младший брат. На одном из семейных советов обсуждали вопрос: где провести лето? Хотелось на Украине, но где именно? Друг семьи музыкант А.И. Иваненко, уроженец Сумского уезда, посоветовал снять дачу в живописной усадьбе помещиков Линтваревых в селе Лука — пригороде Сум.

В начале мая 1888 года семья Чеховых приехала в Сумы. Усадьба Линтваревых сразу очаровала Антона Павловича. Она располагалась у подножия небольшой горы, спускавшейся к речке Псел (приток Днепра). Радовали глаз большой старинный сад, тенистые липовые и тополиные аллеи, пруд, заросший со всех сторон старыми деревьями, широкая полноводная река, на которой виднелись островки. Неподалеку шумела водяная мельница.

Сама усадьба состояла из главного дома с мезонином и четырех флигелей, построенных в разное время с конца XVIII до второй половины XIX века. Хозяйка дома А.В. Линтварева происходила из старинного казацкого рода, придерживалась либеральных взглядов, интересовалась литературой, приглашала к себе «на огонек» деятелей культуры. У нее было пятеро взрослых детей: три дочери и два сына. Между членами семей Линтваревых и Чеховых сложились теплые, дружеские отношения.

Семья Чеховых поселилась в западном флигеле с колоннами по фронтону (двумя годами раньше в этом же доме летом проживал известный художник Н.Е. Маковский). Антон Павлович сразу же стал приглашать к себе в гости многих друзей. К нему приезжали поэт А.Н. Плещеев, беллетрист и издатель газеты «Новое время» А.С. Суворин, писатели К.С. Баранцевич и И.Н. Потапенко, артист Александринского театра П.М. Свободин, музыкант М.Р. Семашко и др. В просторном доме гостеприимной хозяйки зачастую устраивали литературно-музыкальные вечеринки. Антон Павлович очень любил катания на лодке, поездки на рыбалку, прогулки в лес. На берегу реки Псел часто беседовал с местными крестьянами, рабочими рафинадного завода. Широте общения с местным населением способствовало и то, что он продолжал заниматься медицинской практикой, оказывая в своем кабинете помощь больным из близлежащих сел.

За время пребывания на Луке Чехов написал пьесу «Леший», водевиль «Трагик поневоле», рассказ «Именины». Особую известность получила повесть «Скучная история».

В сентябре 1889 года Плещеев прислал Чехову отзыв о повести: «…У Вас еще не было ничего столь сильного и глубокого, как эта вещь». И советовал ему изменить заглавие повести, так как оно может вызвать дешевое остроумие рецензентов. Но Чехов не стал менять заглавия. Томас Манн в статье о Чехове писал, что «Скучная история» — «это совершенно необыкновенная, чарующая вещь, во всей литературе не сыскать ничего похожего на нее — такая она печальная и странная. Эта история, именующая себя «скучной», а на самом деле потрясающая, удивительна своим глубочайшим проникновением в психологию».[1]

Печально-потрясающая тональность повести во многом объяснялась переживаниями писателя в связи с давней тяжелой болезнью брата Николая, коорый жил летом в том же чеховском флигеле. Николай Павлович был талантливым художником, сотрудничал с И. Левитаном. В известной картине «Осенний день. Сокольники» пейзаж писал Левитан, а одинокую женскую фигуру на дорожке осеннего парка — Николай. На Луке он написал ряд этюдов. В 1889 году умер от туберкулеза и похоронен на Лучанском кладбище. Как известно, Антон Павлович также страдал этой болезнью. Темы смерти и смысла жизни становятся знаковыми, в известном смысле роковыми для его творчества.

Успех повести «Скучная история» побудил писателя ускорить работу над более крупным литературным произведением — романом. Из его писем Григоровичу и Плещееву в 1888 году видно, что роман был посвящен жизни нескольких семейств провинциальной интеллигенции. Причем в основе романа — жизнь «хороших людей» (а не «маленького человека»). Уже были готовы три листа. Но работа не ладилась. Мешали различные обстоятельства: занятость работой над ранее начатыми произведениями, тяжелые переживания, опасения, что «роман не годится для подцензурного издания». К сожалению, написанные листы романа до нас не дошли, судьба их до сих пор остается загадочной. Будучи непоседой и любителем странствий, Чехов и в дальних поездках всегда тепло вспоминал свое пребывание на Луке. Из Италии он писал: «Аббация и Адриатическое море великолепны, но Лука и Псел лучше». Из Ялты: «Я скучаю по Луке». После отъезда Чехова из Сум, куда он в последний раз ненадолго приезжал в 1894 году, дружеские отношения с семьей Линтваревых сохранялись. Они продолжали переписываться и приезжать друг к другу в гости.

Революционные события 1917 года и Гражданская война подвергли усадьбу Линтваревых тяжелым испытаниям. Имение было национализировано и разграблено, а хозяева вынуждены были уехать в Харьков. В зданиях бывшей усадьбы разместилась семилетняя школа. В 1934 году директором этой школы был назначен мой отец Григорий Павлович. Наша семья поселилась в восточном двухэтажном флигеле (Чехов называл его «терем-теремок»), рядом со школой.

Григорий Павлович принимал активное участие в общественной жизни, в частности, по его инициативе началась электрификация Луки, в том числе чеховского флигеля. Он обратился к учителям, ученикам и жителям с призывом собирать материалы о великом писателе. В школе, где царил дух Чехова, постепенно накапливались экспонаты. Собранные воедино, они образовали «Чеховский уголок». По ходатайству Григория Павловича, Лучанской школе было присвоено имя А.П. Чехова. Когда началась война, отец сразу же ушел в армию и в 1944 году погиб на Белорусском фронте. Война еще продолжалась, а в освобожденных от оккупантов в 1943 году Сумах уже начинались восстановительные работы. В трудных экономических условиях в июле 1944 года было отмечено, по мере возможностей того времени, 40-летие со дня смерти Чехова. В театре им. Щепкина открылась выставка, на которой в разделе «Чехов в Сумах» посетители увидели редкие фотоснимки и рисунки, представленные краеведами К.В. Калиниченко, П.И. Пелещук и др. Исполком горсовета принял решение о реставрации дома, в котором жил Чехов. Студенты Сумского педагогического института взяли шефство над чеховскими местами, привели в порядок здания усадьбы, а также могилу брата писателя.

1 Манн Т. Собр. соч., М., 1961, т. 10, с. 524.

В моем архиве сохранился потертый, пожелтевший экземпляр областной газеты (июль 1944 года), посвященной этой годовщине. В ней (пожалуй, впервые в исследовательской литературе) опубликована статья краеведа П.А. Сапухина «Сумская страница в биографии А.П. Чехова». Позже, в посмертно изданной в 1993 году книге «А.П.Чехов на Сумщине» он существенно расширил эту тематику. В последние годы другой писатель-краевед, М.А. Манько, опубликовал в Сумах три книги под общим названием «Сумы и сумчане в документах современников» (2007—2010), в которых исследуется, наряду с другими, родословная Линтваревых и история пребывания Чехова на Луке. Много труда по сбору чеховских материалов положили Наталья Михайловна Линтварева и Ксения Викентьевна Калиниченко, которая несколько лет переписывалась с сестрой Чехова Марией Павловной.

После войны школьные классы были переведены в другое место, и все здания усадьбы остались пустующими. В 1959 году в связи с приближением 100-летия со дня рождения А.П. Чехова сумской облсовет принял решение о создании на Луке мемориального музея писателя, а 29 января 1960 года он был открыт в качестве филиала областного краеведческого музея. Экспозиция музея размещалась в пяти комнатах. Одна из них представляет рабочий кабинет и спальню писателя, другая — комнату брата Николая, третья — комнату матери, четвертая — гостиную, пятая — прихожую. Экспонируются уникальные документы, письма, фотографии, картины, в том числе Николая Чехова. Атмосферу конца XIX века воссоздают и те предметы, которые музейщики называют «вещным рядом»: типовая мебель, предметы быта, медицинский уголок в кабинете.

Коллектив сотрудников музея, руководимый Людмилой Николаевной Евдокимчик, ведет большую работу по изучению и пропаганде творческого наследия Чехова. Организуются лекции, конференции, выставки, экскурсии для посетителей. Проводятся литературно-музыкальные вечера, посвященные деятелям русской и украинской культуры. Издан богато иллюстрированный проспект дома-музея (авторы текста Л.Н. Евдокимчик и А.А. Кожевникова). В 1990 году создана общественная организация «Клуб друзей А.П. Чехова».

А.Г. Мысливченко

знакомый журнал

Театр — весь мир?

Страстной бульвар, 10. *Ежемесячный журнал, №№ 3—123/2009 — 6—126/2010. — М., Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское театральное общество).*

«Российский театр: информация, проблемы, тенденции». В словах, вынесенных на обложку журнала Союза театральных деятелей РФ «Страстной бульвар, 10», четко обозначена программа издания. На его страницах рассказывается о событиях театральной жизни в Москве, Санкт-Петербурге и на периферии, анализируются новые постановки, ведется обмен мнениями о режиссерских поисках, находках и новациях, обсуждается работа актеров, драматургов, художников, хореографов. Информирует «Страстной бульвар, 10» и о фестивалях, выставках, конкурсах, премиях, юбилеях…

Знаменитая фраза Белинского («Любите ли вы театр так, как я люблю его?») встретилась мне на страницах журнала всего один раз: ею начинается рассказ Геннадия Бирюкова о Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева в Улан-Удэ и прошедшем там фестивале сибирских и дальневосточных театров «По соседству мы живем». Но незримо изречение, ставшее крылатым, присутствует как эпиграф чуть ли не в каждой публикации: все они неравнодушны, не причесаны под одну гребенку и интересны не только профессиональному служителю Мельпомены, но и рядовому зрителю.

Нумеруются выпуски по театральным сезонам. Все номера, оказавшиеся в моих руках, относятся к сезону 2009—2010 годов. В каждом из них немалое место отведено обзору премьер примерно полутора десятков провинциальных театров, причем не только областных или республиканских. Наряду с рассказами о событиях в театральной жизни Новосибирска, Перми, Краснодара, Казани, Саратова, Тюмени, Челябинска я с большим интересом читал сообщения из самой что ни на есть глубинки: таежной якутской Нюр-

бы, закрытого по сей день Сарова — бывшего Арзамаса-16 и Горького-130, уральского Златоуста, подмосковного Серпухова, кубанского Армавира…

В Нюрбинском драматическом театре, например, гвоздем нового сезона стал спектакль «Тутугури» по пьесе якутского драматурга Семена Ермолаева о французском поэте, философе, театральном деятеле Антонене Арто. Режиссер Юрий Макаров стремится на его примере показать освобождение от жестокости и преодоление трагического. Арто в спектакле безжалостен только к себе самому. И, как рассказывает автор статьи Галина Томская, несмотря на тяжелейшую ситуацию, не признает себя ни побежденным, ни сумасшедшим.

Официальное название театра в Сарове — Нижегородский областной драматический. Петербургский режиссер А. Кладько поставил там «Плутни Скапена» Мольера и называет свой веселый спектакль «театральным хулиганством на неаполитанской почве».

В театре «Омнибус» (Златоуст) сезон открылся премьерой «Свадьбы Кречинского» (режиссер Борис Горбачевский). По ходу спектакля, сообщает в журнале Ирина Ликинская, заметны некоторые отступления от пьесы. Но в финале, как и у А. Сухово-Кобылина, утверждается сила любви, которая пусть и не в состоянии изменить мир, но позволяет ради любимого человека смириться с неизбежными жестокостями жизни.

В репертуаре Армавирского театра драмы и комедии появился спектакль «Изобретательная влюбленная» по пьесе Лопе де Вега. Поставил его главный режиссер Юрий Ковалев, стремящийся, как отмечено в журнале, донести до зрителя главную мысль: нельзя позволить Красоте исчезнуть из нашей жизни.

С большим для себя интересом узнаю, что во Владимирском академическом театре им. А. Луначарского с неизменным успехом идет спектакль «Василий Теркин» молодого режиссера Р. Феодори (Ильина). Второе название юбилейного спектакля по поэме А. Твардовского (в нынешнем году исполняется 100 лет со дня рождения поэта) — «ТТ». Грозное слово, означающее марку до сих пор стоящего на вооружении пистолета, складывается из фамилий автора и его героя еще в программке.

Русские песни звучат в зале с первых минут представления. На сцене парни и девушки с шутками и прибаутками переодеваются в потрепанное солдатское обмундирование. «…Их, Теркиных, — делится впечатлениями Дмитрий Ледовский, — будет ровно девять. Как и предполагал поэт, Теркин есть в «каждой роте». А после переодевания, после спора ребят, «кто ж все-таки из них настоящий Теркин», началось прощание с любимыми — хореографическая, мимическая сцена, исполненная такого отчаяния, такой тоски, такого предощущения будущих страданий и смерти, что в зале наступила гробовая тишина».

О II Фестивале молодежных театральных коллективов «Виват, театр!», прошедшем в Тамбове в ноябре 2009 года, подробно рассказывается в статье Элеоноры Макаровой.

Заходит в журнале речь и о II Фестивале русских театров Северного Кавказа и Черноморско-Каспийского региона, состоявшемся в Махачкале в октябре 2009 года. В нем участвовали театральные коллективы Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии, Калмыкии. Гостями были московский театр «Модернъ» и Калужский драматический. Моноспектакль «Хаджи Мурат» привез из Санкт-Петербурга артист Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова Михаил Морозов. Завершая рассказ о фестивале, Ольга Буткова отмечает, что знаменитая повесть Льва Толстого прозвучала «…как нельзя более современно и своевременно, напоминая, что понятия чести, храбрости, благородства равно дороги всем народам, что человеческая сущность куда важнее любого деления по национальному или религиозному принципу».

Рассказывает журнал и о VI Международном театральном фестивале «Крымский ковчег», в котором участвовали коллективы и театроведы из Москвы, Киева, Ташкента и Вильнюса. Проходил фестиваль в Симферополе в Крымско-татарском музыкально-драматическом театре, чьи 110 лет со дня основания и 20 лет со дня возрождения исполнились в апреле 2010 года. В день открытия фестиваля был показан спектакль «Сенмеген йылдызлар» (Сияющие звезды») по пьесе Р. Муедина о депортации крымско-татарского народа в 1944 году. Постановщик спектакля и художественный руководитель театра Билял Билялов сказал на пресс-конференции: «Фестиваль мы делаем для того, чтобы к нам приезжали разные театры со всего мира. Ведь чем больше таких представлений мы будем видеть, тем более толерантными и культурно-богатыми мы станем».

Подобное с полным правом можно сказать и о спектакле театра из польской Легницы «Повесть сибирская», показанном в девяти российских городах, включая Москву. В абсолютно нестандартном, как я понимаю, представлении (не только сцену, но и пол между зрительскими амфитеатрами перед началом действия засыпали слоем тучного чернозема) речь заходит о весьма непростых российско-польских отношениях в XIX и XX веках, а также и в наши дни. Анализ спектакля, раздельно предпринятый Елизаветой Ганопольской и Александрой Лавровой (главным редактором «Страстного бульвара, 10»), — один из интереснейших материалов журнала. Особенно привлекли мое внимание процитированные там слова драматурга Кшиштофа Копки на пресс-конференции в Тюмени перед началом гастролей по Сибири: «В Польше сейчас идет общественная дискуссия, которая, возможно, приведет к переоценке польской истории. Надо, наверное, воспринимать мой текст как голос в этой дискуссии. Надо перестать думать, что Польша и поляки были жертвами истории, жертвами злых соседей и так далее».

Интересно узнать и о проходившем в Элисте Международном театральном фестивале «Желанный берег». Фестиваль этот кочевой, и в столице Калмыкии, принявшей эстафету от Улан-Удэ и Улан-Батора, получил название «Сказание Великой степи». В нем участвовали три местных театра — Национальный калмыцкий, Русский и Театр юного зрителя «Джангар», а также театры Якутии, Тувы, Адыгеи, Республики Алтай, Южной Осетии…

Выпуски журнала непременно сопровождаются вступительным словом главного редактора. Александра Лаврова, представляя один из номеров, говорит: «Никто не знает истинной правды не только в настоящем, но и прошедшем. Но искусство гораздо более, чем социально повязанная история, стремится эту правду нащупать и обсудить, чтобы к ней приблизиться». Фестивали, по ее мнению, как раз и являются поиском общего языка и коллективным движением в сторону правды.

Во вступлении к юбилейному «чеховскому» номеру главный редактор рассказывает, что «…в Ярославле в старейшем Волковском театре провели беспрецедентный марафон, на шесть часов превратив весь театр, включая закулисье и зрительские фойе, в чеховскую сцену. Главный режиссер театра Сергей Пускепалис предложил артистам сделать самостоятельные работы по Чехову, и их было представлено 56! Нон-стоп показывали фрагменты чеховских пьес, инсценировки рассказов все артисты — от народных до молодых, только что принятых в труппу».

В Сыктывкар на Северный фестиваль привезли спектакли по Чехову из Москвы, Кирова, Казани, Нижнего Новгорода, Твери, Пензенской области… «Иванова» поставил Тульский театр кукол.

«…В Марийском ТЮЗе “Вишневый сад” прочли безыскусно, почти что по ролям, но седенький старичок Фирс (Андрей Андрианов), забытый, как положено, в запертом доме, вызвал поначалу гогот в зале, а закончил свои слова в мертвой тишине — юные зрители осознали трагизм произошедшего. Не забыть этого Фирса тем, кто его увидел. Хочется, чтобы Чапай выплыл, чтобы Фирса не забыли. Чтобы не забыли в театре человека. А Чехова не забудут, и он скажет о главном, человеческом, и в самых абстрактных и холодных, и самых резких и ниспровергающих, и в самых простеньких постановках».

Любите ли вы театр так, как любит его «Страстной бульвар, 10»? Я вот теперь люблю…

Виктор Кузнецов

ни дня без книги

Вероника Боде. *Берега те и эти: Стихотворения, рассказы. Предисловие: Елена Фанайлова. — М.: НЛО, 2009.*

Стихи и малая проза журналистки, сотрудницы радио «Свобода», переплетаются мотивами. Основной из них — поиск человеком своего места в географическом и метафизическом пространстве, которые переходят одно в другое в самых неожиданных точках, как в рассказе «Свое место». Герои Вероники Боде — люди, которых носит ветром перемен по огромной земле, чаще всего не выдерживающие холода открывающихся пространств.

Екатерина Донец. *Частный маклер. Роман. — М.: Олимп, 2010.*

Роман написан на очень редком материале риэлторской практики — секретами этого бизнеса мало кто делится. Героиня — бывший режиссер культурных телепередач — резко ломает свою жизнь: на последние деньги оканчивает платные курсы менеджеров по работе с недвижимостью и начинает заниматься этим непростым бизнесом, оставаясь по мере возможности порядочным человеком. По ходу ее профессиональных приключений читатель узнает массу уловок, при помощи которых агентства недвижимости обирают и сотрудников, и клиентов.

Маргарита Хемлин*. Крайний. Роман. — М.: Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2010.*

«Я прожил быстротечную жизнь», — говорит герой этой книги Нисл Зайденбанд и неторопливо рассказывает, как тринадцатилетним ребенком остался на оккупированной фашистами территории совершенно один, успев спрятаться в лесу до того, как всех евреев его городка расстреляли, как кружил по лесу, попадая к разным людям, пока не оказался у партизан, и что с ним было дальше. Романы Маргариты Хемлин написаны в той же манере повествований о судьбе, что и повести, принесшие ей литературную известность; и тоже, вероятно, будут складываться в циклы.

Андрей Рубанов. *Йод. Роман. — М.: АСТ, 2010.*

После фантастической «Хлорофилии» Андрей Рубанов снова обратился к автобиографическому герою двух первых романов, вернувшемуся в родительский дом в подмосковном городишке после витка жизненных перипетий и смакующего подзабытый провинциальный покой после десятилетия столичной суеты. Лучшие места в романе — эти моменты постижения вещей, которые приходят только по приобретении жизненного опыта, вот, например, автопортрет с родителями-бессребрениками: «Им пришлось туго. Особенно в первой половине девяностых. Но они постепенно забрали свое. Трудолюбием, умом и спокойствием. В девяносто первом году я, весь в мускулах, приходил к ним, вращая на пальце ключи от машины, и самодовольно вещал, чтоб они ни о чем не беспокоились — я, мол, их надежда и опора. Они кивали головами и бросали озабоченные взгляды. Я покорял столицу и рвался к миллионам — они делали свое дело. Прошло десять лет — я приполз, тощий и нищий, зализывать раны. Теперь у них есть возможность поехать в Кисловодск — а у меня нет ни копья, и я живу в их квартире, как некий дальний родственник, специально выписанный присматривать за имуществом».

Рефлексируя, герой приходит к идее вымещать агрессию на самом себе — сцены с эстетизированным разрезанием собственного тела отсылают к лабораторным опытам западных интеллектуалов по обретению телесности и доверия не вызывают, хотя в интервью автор уверяет, что эти автопортреты писались с натуры.

Илья Крупник. *Время жалеть. Сочинения разных лет. — М.: Этерна, 2010.*

В книге малой прозы Ильи Крупника, впервые опубликованного в периодике конца 50-х («Юность» и «Октябрь»), а в 60-х издавшего две книги, после чего стал «непечатным» и не издавался до 1989 года, — восемь произведений, которые можно считать рассказами, а можно и повестями — их сноподобная реальность, пересыпанная точными деталями, создающими атмосферу бытовой достоверности, стремится вырасти в развернутую метафору. Когда это получается, как в открывающей книгу повести «Город Дельфт» или давшем книге название рассказе «Время жалеть», — вспоминаются кафкианские метафизические лабиринты, из которых сознанию выхода нет. В такой среде особенно милы детали, отражающие конкретное время — например, в этих рассказах много кудрявых парней, щеголяющих своей шевелюрой. Сейчас, когда в моде лысые, это трогательно.

Марина Ахмедова. *Женский чеченский дневник. — М.: АСТ, 2010.*

Роман, написанный на документальной основе. Прототип героини — фоторепортер Наталья Медведева, поехавшая на Первую чеченскую и увязшая в этой войне на семь лет, общаясь с полевыми командирами, спасая заложников Буденновской больницы и пленных российских солдат... Если верить предисловию, уезжая в Америку, где она теперь живет, Медведева отдала Ахмедовой свой архив и буквально заставила написать эту книгу. И все бы ничего, если бы не старательная беллетризация документальной основы, в чем автор этой книги увидела свою задачу: «Страх набухал в пальцах, растягивался по венам, полз к пупку, собираясь в кулак. Врезался тупыми костяшками в мягкие стенки ее живота, и Наташа вздрогнула, когда поняла, что земле тоже страшно»…

Владимир Кочетков. *Урок географии. Рассказы. — М.: Вест-Консалтинг, 2010.*

Автор этой книги работает учителем географии в Ульяновской области. В книге собраны его рассказы о детстве и юности, а также циклы новелл о путешествиях. Лучшие рассказы — о гибельном мальчишеском авантюризме и том невероятном везении, благодаря которому большинство мальчишек остаются в живых, идя ради лидерства на любой риск.

Эдуард Шульман. *Инцидент исперчен. Я все равно тебя возьму. — М.: Арт Хаус медиа, 2010.*

«Инцидент исперчен» с подзаголовком *роман в «коротышках»* — парадоксальные и юмористические заметки о Маяковском и его окружении, иллюстрированные карикатурами В.Г. Мочалова. Второе произведение в содержании и в основном тексте книги значится под другим названием, нежели в выходных данных: «Сестры» с подзаголовком *эпистолярное повествование о жизни, любви и литературе*. Оно о Лиле Брик и Эльзе Триоле, с тремя архивными фотоиллюстрациями, построено на прямой речи, облеченной в эпистолярную форму, поэтому больше похоже на пьесу.

Алексей Олин. *Лена Миро. Школа: Дневник Марлы. Детство закончилось. — СПб.: Амфора, 2010.*

Литературный секонд-хэнд: сериал «Школа» «пошел в народ». Лена Миро (привет Наде Леже?) написала повесть в форме интернетского дневника главной героини сериала Ани Носовой, жившей с дедом и бабушкой, не зная родителей. Переведенная на домашнее обучение из-за болезни легких, Аня потом вернулась в школу, но не сумела наладить отношения с одноклассниками и в конце концов покончила с собой. Блог выглядит натурально — с «постами», в которых онлайновая публика в ответ Ане, матерящей деда с бабкой, изливает собственные проблемы, а затесавшийся среди этой публики педофил тихо радуется жизни. Повесть Алексея Олина с другим героем сериала, Ильей Епифановым, в главных героях — о том, как парень жил до поступления в эту самую школу, которой посвящен сериал. Не пропустите премию Белкина, господа, повесть — жанр почитаемый.

Дмитрий Глазов*. Мне снилась девочка босая. — Кипр — Москва — Кемерово, 2010.*

Итоговый сборник почти семидесятилетнего человека: пьеса, отрывки из романа и избранное из 23 стихотворных циклов. Человек этот, родившийся в разгар войны на станции Яя Транссиба, окончил школу с золотой медалью и благополучно пережил все политические перемены, выпавшие на его жизнь: был слесарем в Кемерове, секретарем РК ВЛКСМ на комсомольских стройках, в 60-х окончил педвуз и аспирантуру, сделал педагогическую, научную и деловую карьеру, став генеральным директором горно-машиностроительных и угле-экспортных компаний, с 1992 года работал за рубежом. Первую книгу стихотворений выпустил в оттепельные 60-е, издание второй было остановлено, рукопись ее потеряли в издательстве или ЛИТО. В 2000-х Дмитрий Глазов снова начал публиковаться, шестидесятническая нотка ощущается во всех его произведениях.

Евгений Степанов. *Историк самого себя. Стихи. — Iaşi.: Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2010.*

Двуязычное русско-румынское издание: на каждом развороте — стихотворение на русском и его перевод на румынский. Радует составительская работа — хороший отбор. Открывается книга выразительным стихотворением, где «пела песни трава точно пьеха» и «уходила в декретный эпоха / несвободы свободы греха», далее образ эпохи и *ее-себя-историка* последовательно развивается, от «ни юрашки ни тани — ни дна ни покрышки / а с собою не взять ни рубля ни деркама / непонятно — и видимо в сторону храма» — до «…Не откажусь от бешеной гонки. / Не уйду в монахи (а так хочется)».

Юрий Казарин. *Каменские элегии. Стихотворения. Часть вторая. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010.*

В 2009 году у екатеринбургского поэта вышла книга под этим же названием без пометы «Часть первая» — видимо, второй не предполагалось, но элегическое настроение не покинуло автора. Неслучайно первая книга в белой обложке, а вторая — в черной: вся она о смерти и о бытии-к-смерти, как выразился о подобном умонастроении Хайдеггер. Там, где прямо о смерти не говорится, весть о ней несут трагические образы: «Скоро из синевы / снег полетит в окно, / словно душа листвы, / сгнившей давным-давно».

Георгий Степанченко. *Абсолютно свободные стихи. — Ржев, 2010.*

Лучшее в этом сборнике — самохарактеристики в раскрытии темы поэта и поэзии: «но не Пушкин / далеко не Пушкин / а что вы хотели / ведь и писал не Пушкин».

Раиса Музиченко*. Танцующая на ветрах. Стихи. — Тбилиси: Библиотека журнала «Русское слово — бис», 2009.*

Сборник предваряет авторское предисловие, в котором прочувствованно описываются этапы созревания собирательного поэта: вот он еще не знает, что отличается от других людей, а вот уже знает... Одно из характерных стихотворений поэта, хранящего русское слово в нерусской земле, содержит «пушкинский список»: «Их было много, но: / Один увлекся бабочкой залетной, / Другой попал на нити паучихи. / А третий сразу трем поет, / Да под гитару все, триптихи. / А пятый сватался пять раз; / Но ближе всех ему намаз, / И за кордоном — дети в клети (…)» То, что трИптих исполняется в другой технике, нежели пение под гитару, еще можно простить. Но не нарушение сюжетной логики. Куда девался четвертый — это ведь может стать неразрешимой загадкой для филологов будущего.

Ирина Маулер. *Вишневое время. Стихи. — Тель-Авив, 2009.*

Поэт и бард из Иерусалима, бывшая москвичка, пишет нечто интересное, когда пользуется стихами как инструментом, пытаясь как-то приблизить к себе категорию времени. Образы времени попадаются удачные: «Растянуться на времени, / Как на пляже, / Подтянуться на времени, / Дотянуться (…)».

Разница во времени: *Сборник переводов из современной американской поэзии (по результатам работы семинара-мастерской молодых переводчиков Самарской области «Современная школа перевода»). — Самара, 2010.*

«Современная школа перевода» — творчески-педагогический проект, организованный в Самарской юношеской областной библиотеке в 2007 году с целью приобщения молодежи к мировой литературе через литературный перевод, который участники проекта — литературно одаренная молодежь — выполняют сами, читая англоязычных классиков и современников в подлиннике. Два раза в год проводятся семинары-мастерские художественного перевода, руководят которыми опытный литератор, постоянный автор «Зна-

мени» Александр Уланов и молодой наш автор Анастасия Бабичева. Итоги семинара публикуются на сайте библиотеки и издаются в виде сборников.

Н. Черепанов. *Осторожно шевелится туман. — СПб.: Алетейя, 2010.*

Карельский очеркист пишет о своей малой родине — хуторе Пюхясало и других деревнях, разбросанных среди лесов и озер, о рыбоводстве и рыболовстве, о красоте тамошней природы и мистической притягательности тех мест для людей, когда-либо там живших.

Евгений Сидоров*. Граждане, послушайте меня! Евгений Евтушенко. Личность и творчество. Третье издание, исправленное и дополненное. — М.: 2010.*

Литературный портрет Евгения Евтушенко. Книгу открывает интервью «Сорокалетье — строгая пора», которое критик взял у поэта для «Литературной газеты» в 1973 году, после выхода сборников «Поющая дамба» и «Дорога номер один», специально поставленное вместо предисловия, поскольку «время подтвердило многое из того, о чем мы спорили с поэтом и в чем были единодушны». Полвека наблюдая за творчеством Евтушенко, критик приходит к выводу: «Пускай в нем недостаточно Моцарта, но зато ни капли Сальери».

Гильем Тудельский. *Песнь об альбигойском крестовом походе. — М.: Квадрига, 2010.*

Перевод первой части исторической хроники крестового похода 1209 года на альбигойских еретиков — официально провозглашенного похода христиан против христиан, — написанной в стихах на провансальском (окситанском) языке, вышедший в восьмисотлетнюю годовщину события. Издание маркируется как научное, но в таком случае имена переводчиков и филологов, подготовивших аппарат, должны быть вынесены в выходные данные книги. Перевод выполнен С. Лихачевой в соавторстве с А. Дубининым, М. Виноградовой и Е. Денисовой, предисловие «Исторический экскурс» написано ею же при содействии Н. Дульневой, автор послесловия «Две Церкви, или Катаризм в Окситании» — Н. Дульнева.

Дмитрий Володихин. *Митрополит Филипп. — М.: Молодая гвардия (ЖЗЛ), 2009.*

Главный источник, по которому восстанавливается биография митрополита Филиппа, обличившего Ивана Грозного в неправедности, — житие, и это основная трудность биографа, поскольку жанровое задание жития совершенно иное, чем биографии. Легким тут был бы путь беллетризации, когда все, что неизвестно, досочиняется. Дмитрий Володихин идет по другому пути, признавая: «Мы не знаем о его молодости почти ничего. Зато довольно много известно о его роде» — и, делая экскурсы то в историю рода, то в монашеский быт; то, ориентируясь по житийным эпизодам, разгадывает, почему биографируемый пошел сюда, поступил так, сказал то, воссоздавая исторический фон его жизни. Однако полностью беллетризации избежать не получается, и мы то и дело узнаем, что было в сердце у Филиппа. Биографию пишет человек верующий, придерживающийся идеи, что земная жизнь — большое драматическое действо, и главные герои этой драмы — Бог и бес, которые часто поминаются в книге.

Сергей Федякин. *Мусоргский. — М.: Молодая гвардия (ЖЗЛ), 2009.*

Великий русский композитор Модест Петрович Мусоргский умел слышать прошлое и воссоздавать его в звуке, считает биограф, которому досталось очень непростое задание: избавиться от ошибок и домыслов, легенд и прикрас, которыми обросла биография Мусоргского. Написана книга лирическим тоном, с воодушевлением — биограф явно большой поклонник композитора; увлекаясь, однако, впадает в грех излишней беллетризации: «После столкновения со Стасовым Мусоргский вышел на улицу со смятением в сердце. Шел возбужденный, то казня себя за неожиданность, то вновь закипая при мысли (…)».

Вера Лещенко. *Скажите, почему?! — Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2010.*

Вдова знаменитого тенора с трагической судьбой Петра Лещенко написала эту книгу после того, как дала несколько интервью и поразилась: журналисты переврали все ее слова. Историю своей любви она сравнивает с сюжетом «Золушки». «Вот только концовка не была медовой, карета, так красиво начавшая свой путь, вновь превратилась в тыкву». Познакомились они в 1942 году во время его концертов в Одессе, где она жила и училась в консерватории, было ей девятнадцать, ему — сорок четыре, и он был женат. Через два года он увез ее с матерью и двумя братьями в Румынию, там развелся с первой женой и женился на ней, а с 1948 по 1950 год безуспешно добивался права вернуться на родину — родился он под Одессой, вырос в Кишиневе, после Первой мировой войны, когда румынские войска захватили Бессарабию, эмигрировал с белой армией в Грецию, жил в Париже… В 1951 году Петр Лещенко был арестован румынским ГБ и вскоре умер в подземной тюрьме в сыром и гиблом месте Жилава. В 1952 году была арестована Вера Белоусова-Лещенко — за измену Родине, то есть связь с белоэмигрантом…

Книга написана в необычной форме — Вера Белоусова-Лещенко все время обращается к мужу, будто рассказывает все это ему. К изданию приложен компакт-диск «Самое любимое. Исполняют Петр и Вера Лещенко».

Культура русской диаспоры: *Эмиграция и мемуары. Сборник статей. Составление: С. Доценко. — Таллинн, 2009.*

Издание Института славянских языков и культур Таллиннского университета посвящено памяти Рашита Янгирова, выдающегося киноведа, ушедшего из жизни так рано и неожиданно, что ученое сообщество еще не подвело итогов его исследовательской деятельности, однако осознание масштабов сделанного им, я думаю, не за горами. В сборнике — последние разработки русских и зарубежных ученых, в основном по эмигрантике, особняком стоит работа Э.Б. Мекша из Даугавпилса, умершего, не дождавшись ее публикации, комментирующая воспоминания Д.С. Лихачева о Борисе Глубоковском, репрессированном актере Камерного театра Таирова, ставшего режиссером Солтеатра (Соловецкого театра).

Вячеслав Иванов*. Anima. Перевод с немецкого: С.Л. Франк, подготовка текста, предисловие, примечания, комментарии и исследования: С.Д. Титаренко; послесловие: К.Г. Исупов. — СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009.*

Философское эссе, написанное Вячеславом Ивановым в 1935 году на основе символистской статьи 1907 года «Ты Еси», содержит мистическую трактовку развития человеческой души. Книга представляет собой толкования, размышления и комментарии к приведенному тексту, позволяющие проникнуть в его мифологический, философский и исторический контексты.

Б.К. Зайцев. *Дневник писателя. Вступительная статья, подготовка текста, комментарии: А.М. Любомудров. — М.: Дом Русского Зарубежья им. Александра Солженицына: Русский путь, 2009.*

«Дневник писателя» — цикл из двадцати трех очерков, заметок и эссе, выходивших в парижской газете «Возрождение» с сентября 1929 года по декабрь 1932-го. Открывает цикл публицистическая заметка о книге парижанки Маризы Шуази «Месяц у мужчин», якобы сделавшей операцию по перемене пола, чтобы побывать в мужском монастыре на Афоне, списавшей многое с очерка Б. Зайцева, расцветив списанное эротическими фантазиями с порнографическими подробностями. Эта заметка и еще одиннадцать глав «Дневника» никогда ранее в России не публиковались. «На наш взгляд, специфику глав “Дневника писателя” можно определить словом «Отклик». Они действительно являются откликами на самые разные события литературной, общественной, религиозной жизни», — пишет в большой вступительной статье А.М. Любомудров, считающий, что личность автора сообщает цельность всем этим разнородным заметкам. Издание снабжено комментариями и именным указателем.

«Революционное христовство»: *Письма Мережковских к Борису Савинкову. Вступительная статья, составление, подготовка текстов и комментарии: Е.И. Гончарова. — СПб.: Пушкинский дом, 2009.*

Многолетняя дружба с эсером-террористом Борисом Савинковым Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского и их единочаятеля по внедрению в умы интеллигенции «нового религиозного сознания» Дмитрия Философова, который тоже подразумевается под собирательным «Мережковские», часто принимала эпистолярные формы. В данном издании публикуются семьдесят писем Гиппиус, семь писем Мережковского и двадцать два дореволюционных послания Философова знаменитому бомбисту. В большой вступительной статье составитель показывает суть этой дружбы, основанием которой стала идея общности революции и религии, террористического насилия и искупительной жертвы. Книга снабжена комментариями в постраничных примечаниях, именным указателем и указателем периодических и продолжающихся изданий, упомянутых в ней.

Александр Марков. *Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы. — М.: Астрель, Corpus, 2010.*

Последние пятьдесят лет экспериментальная биология развивается быстрее остальных наук. На рубеже 50—60-х годов XX века открыта природа наследственности — расшифрована структура ДНК и генетический код. Но ни это, ни поток новых открытий не дал целостного понимания жизни — вновь открытые факты не связываются в единую научную теорию, зато порождают массу социологических, правовых и нравственных проблем. Автор излагает суть четырех классических теорий, не справляющихся с потоком современного материала, и пытается отстоять престиж теоретической биологии, объясняя ее отставание от экспериментальной. Задача благородная, но вряд ли подвластная методу — разговору с широким читателем голосом ведущего детской радиопередачи: «Наверное, читатель уже догадался, что мы в этой книге не будем “опровергать дедушку Дарвина”, равно как и других уважаемых и заслуженных “дедушек”». Я думаю, главная задача популяризаторских книг — найти верную интонацию…

Александр Сидоров. *Песнь о моей Мурке. История великих блатных и уличных песен. Иллюстрации: Александр Егоров. — М.: ПРОЗАиК, 2010.*

Александр Сидоров — ростовский теоретик и историк профессиональной преступности Советской России и уголовно-арестантской субкультуры России и СССР, кроме научных работ, издавший под псевдонимом Фима Жиганец сборник переводов мировой поэтической классики на блатной жаргон «Мой дядя, честный вор в законе» (Ростов-на-Дону: Феникс, 1999).

В новой книге — одиннадцать очерков по истории основного корпуса классики «русского шансона», или блатного фольклора, который, кроме «Мурки», составляют «Гоп со смыком», «С одесского кичмана», «На Дерибасовской открылася пивная»; «Марсель»; «Цыпленок жареный», «Шарабан», «Постой, паровоз», «Кирпичики», «Купите бублички», «Купите папиросы», «Позабыт, позаброшен», «По приютам я с детства скитался», «Цыц вы, шкеты под вагоном!»…

Кстати, есть ли прототип у Мурки — так и остается загадкой. Претенденток много: петлюровка Соколовская, махновка Черная Маруся, анархистка Никифорова и еще с десяток Марий, автор выбрал из них ленинградскую чекистку середины 20-х Евдокимову, внедренную в уголовную среду.

Ирина Хакамада*. Дао жизни: Мастер-класс от убежденного индивидуалиста. — М.: Альпина Паблишерз, 2010.*

Если притерпеться к популистскому тону, в дидактически-мемуарных книгах Ирина Хакамада умна и наблюдательна. Например, обратила внимание, что несколько ранее о славе обыватель мечтал в последнюю очередь, стараясь обзавестись для начала хотя бы

деньгами, а в эпоху пиара слава встала на первое место в иерархии обывательских чаяний. Здесь она нащупала феномен самозванства, но не вдумалась и не определила то, на что вышла, а сразу стала отговаривать: «Чужое лицо отнимает энергию, не развивает интуицию, не сохраняет в нас ощущение самого себя» — и советовать «…снять маску, стать самими собой и выработать свои приоритетные критерии успеха. Я успешен, если: творчески самореализован и чувствую себя счастливым; меня окружают комфортные в общении люди, то есть я сам создаю себе позитивную коммуникативную среду; у меня есть ровно столько денег, сколько нужно, чтобы обеспечить мне душевное равновесие и достойное качество жизни; у меня есть признание моего успеха со стороны людей, которых я уважаю. (…) Да, конечно, за самодостаточность и независимость придется чем-то заплатить. (…) Придется отказаться от части денег, славы, высокого статуса, усилить риски. (…)». Пропуская банальности, читать можно.

Рохит Бхаргава. *Рождение i-брендов. Как выжить компаниям в эпоху социальных сетей. Перевод с английского: А. Чех. — М.: Эксмо, 2010.*

Рохит Бхаргава — старший вице-президент фирмы «Digital Strategy» и член руководства одного из крупнейших в мире маркетинговых и коммуникационных агентств, специалист по маркетинговому влиянию, он ведет онлайн-журнал «Influential Marketing» и лекции по маркетингу. Его универсальный совет, как выжить на рынке в информационную эпоху, когда рекламная ложь перестает работать, — нравиться: «Привлекательность, помимо прочего, включает в себя умение прощать потребителям (клиентам) их незначительные ошибки. Если покупатель возвращает товар через 32 дня после покупки (превысив обычный 30-дневный срок возврата), не отказывайте ему. Если человек хочет приобрести товар стоимостью 6,03 доллара, но у него не хватает трех центов, — забудьте о них. Если процедура, назначенная пациенту вашей клиники, стоит несколько тысяч долларов, не заставляйте его платить три доллара за парковку. Это те мелочи, на которые обращают внимание потребители. Именно эти «пустяки» и отличают привлекательные бренды от тех, с которыми потребителям приходится мириться».

Екатерина Чубукина. *Школа: Выжить и победить. Практические советы школьного психолога. СПб.: Амфора, 2010.*

Сериал «Школа» пошел и на иллюстрации популярного «нон-фикшн»: вот книга из категории «что ты хотел бы знать, но боялся спросить» — пособие школьнику в советах, тестах и примерах из сериала, нацеленное на то, чтобы «сделать твое существование в школе не просто выживанием, а самыми волнительными, интересными и насыщенными днями твоей жизни». Уже из этой цитаты виден литературный и психологический уровень автора. Школьный психолог ведет разговор с детьми *об отношениях* тем невыносимым тоном, который отталкивает от детских энциклопедий умного ребенка. Впрочем, такие книги — не для умных…

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25; 694-01-98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2; 915-11-45; 915-27-97; inikitina@ropnet.ru)

проза

АГЕЕВА Людмила — По воде далеко слышно. *Повесть.* № 1
АЛЕХИН Евгений — Первый покойник. *Рассказ.* № 7
БАЛЛ Георгий — Князь из нашего двора. *Повесть.* № 3
БАСМАНОВ Александр — Возраст любви. *Рассказ*. № 12
БЕНИГСЕН Всеволод — Русский диптих. № 4
БЕРЕЗИН Владимир — Сорок пять слов. № 8
БУВАЙЛО Марина — Отдам даром в хорошие руки. *Рассказ*. № 9
БУЙДА Юрий — Идеал, un grand poète français. *Рассказ*. № 10
ВАСИЛЬЕВ Андрей — Ванька Рыков. *Рассказ*. № 6
ВЕРНИКОВ Александр — Самолетики. *Рассказ*. № 5
ВИШНЕВЕЦКАЯ Марина — Из цикла «Вещественные доказательства». № 4
ВУЛФ Олег — Бессарабские марки. № 3
ГАВРИЛОВ Анатолий — Уже пишу. *Рассказы*. № 8
ГЕНАТУЛИН Анатолий — Бессонная память. *Рассказы*. № 5
ГОРЛАНОВА Нина, **БУКУР Вячеслав** — Тюрьма и любовь. *Шекспировские страсти*. № 3
ГРИБОНОСОВ-ГРЕБНЕВ Григорий — Скверный ужас. *Рассказ*. № 1
ГУРЕЕВ Максим — Вожега. *Повесть*. № 5
ДАВЫДОВ Георгий — Грустная фильма. *Рассказы*. № 5
ДОЛГОПЯТ Елена — Письмо. *Рассказы*. № 10
ЗОРИН Леонид — Последнее слово. *Монолог адвоката*. № 2
ЗОТОВ Игорь — Богбандит. *Рассказ*. № 9
КАПОВИЧ Катя — Контрабандистка. *Рассказ*. № 5
КИБИРОВ Тимур — Лада, или Радость. *Хроника верной и счастливой любви*. № 6
КУРЧАТКИН Анатолий — Полет шмеля. *Роман*. №№ 11—12
КЮНЕ Екатерина — По средствам. *Рассказ*. № 4
МЕСЯЦ Вадим — Первочеловек. *Рассказ*. № 6
НЕМЗЕР Анна — Плен. *Повесть*. № 7
ОСИПОВ Максим — Москва — Петрозаводск. *Рассказ*. № 5; Цыганка. *Рассказ*. № 11
ПЕТКЕВИЧ Юрий — И меня поцелуй. *Рассказ*. № 4
ПОПОВ Евгений — Как писатель Гдов в историю влип. *Рассказ о магическом*. № 2
САДУЛАЕВ Герман — Шалинский рейд. *Роман*. №№ 1, 2; Морозовы. *Рассказ*. № 11
САМСОНОВ Сергей — Зараза. *Повесть*. № 4
САФИЕВ Надир — Подражание блаженному Франциску. *Рассказ*. № 4
СЛАВНИКОВА Ольга — Легкая голова. *Роман*. № 9—10
СНЕГИРЕВ Александр — Два рассказа. № 1
ТАВРОВ Андрей — История не про нас. *Рассказ*. № 12
ТУЧКОВ Владимир — Фотосессия. *Рассказ-проект*. № 10
ШАНИН Моше — Рассказы. № 2
ШЕНДЕРОВИЧ Виктор — Операция «Остров». *Неоконченный киносценарий*. № 3
ШИШКИН Михаил — Письмовник. №№ 7—8
Dj Stalingrad — Исход. *Повесть*. ***Вместо предисловия.*** *Чупринин Сергей.* № 9

ПОЭЗИЯ

АЙЗЕНБЕРГ Михаил — Спроси у лесников. № 7
АМЕЛИН Максим — Простыми словами. № 7; Проникновенный свет. № 12
АРАБОВ Юрий — Нобель зовет… № 1
БАХАРЕВ-ЧЕРНЕНОК Антон — Огонь к огню. № 2
ВАНШЕНКИН Константин — Лампа, горящая днем… № 2; Золотой огонек. № 11
ВЕДЕНЯПИН Дмитрий — Описанья бессмысленны. № 6
ГАДАЕВ Константин — увидел его отец его… № 7
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир — Цирковой артист. № 4

ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — Два стихотворения. № 1; «У Гоши? Нет…». № 5
ГЕССЕН Ольга — Ночная уборка. № 10
ГРИШАЕВ Андрей — Запоздалое облако. № 3
ДРАГОМОЩЕНКО Аркадий — кто действительно разбирает буквы. № 6
ДОЗМОРОВ Олег — Ход облаков. № 8
ЖУК Вадим — Лодка от деда Мазая. № 11
ЗАКУРЕНКО Александр — Дрожанье стрекозы. № 9
ЗАРАХОВИЧ Алексей — Рыбья скворешня. № 7
КЕНЖЕЕВ Бахыт — Верхний свет. № 1; Колхида. № 9
КИМ Юлий — Попурри по Гоголю. № 10
КОВАЛЬ Виктор — О вещи бесхозной. № 6
КОСТЕЛЬМАН Владимир — реставрация речи. № 3
КРУГЛОВ Сергей — Серафимополь. № 9
КУБРИК Алексей — это твой прадед, сажавший леса. № 8
КУШНЕР Александр — Продолжение молний. № 5
Ф.К. — Стихотворения В. Мааса. № 12
ЛЕВИН Александр — на Орловщине, то ли Смоленщине… № 6
ЛЕОНОВА Элина — Праздничная ель. № 4
ЛИСНЯНСКАЯ Инна — Три стихотворения. № 8
ЛОГВИНОВА Анна — Разговоры в озере. № 3
ЛУКЬЯНОВ Павел — Запомни, как выглядит жизнь. № 12
МАШИНСКАЯ Ирина — Шествие. № 8
МИТИН Павел — Ода кроту. № 5
МУХАЧЕВ Дмитрий — на три затяжки. № 11
НИКОЛЕНКОВА Наталья — Чуйский тракт. № 12
НОСКОВ Александр — Мужчины городских окраин. № 9
ПЕРФИЛЬЕВ Юрий — Садовник. № 11
ПОЛЯКОВ Андрей — Стихи о Родине. № 5
ПУРИН Алексей — Обмен. *Послания*. № 4
РАДАШКЕВИЧ Александр — Поздравить брата. № 8
РЕЦЕПТЕР Владимир — «Очнусь, когда горло рокочет…». № 2
РУСАКОВ Геннадий — Свои скворцы. № 10
РЯШЕНЦЕВ Юрий — Облик деревьев. № 4
САНЧУК Виктор — Гималаи. № 10
ТИМАТКОВА Мария — Разлука. № 12
ТРАФЕДЛЮК Сергей — Сугубая проза. № 1
ХОХЛОВА Оля — все ~~фигня~~, кроме пчел. № 4
ЦВЕТКОВ Алексей — не сдадим гибралтара. № 2
ЧУХОНЦЕВ Олег — К небывшему. № 1
ШВАРЦ Елена — Перелетные птицы. № 3
ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь — Легкой рукой. № 6

НЕФОРМАТ

КОКОШКО Юлия — Вдоль снега. **P.S.** Беляков Сергей. № 11
СКУЛЬСКАЯ Елена — Приготовления. **P.S.** Чупринин Сергей. № 3;

КАРТ-БЛАНШ

ВАЧЕДИН Дмитрий — Расписание. *Рассказ. Карт-бланш Андрея Дмитриева.* № 9
ЗАВЕРШНЕВА Екатерина — Бабушка. *Рассказ. Карт-бланш Анны Кузнецовой.* № 12
СТАНИСЛАВСКАЯ Елена — Два рассказа. *Карт-бланш Анатолия Королева.* № 10

NON FICTION

СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

БАРХИН Сергей — Заветки. № 4
КАБАНОВ Вячеслав — В большой политике. № 8
КОЧЕРГИН Эдуард — Три бывальщины. № 5
МАКУШИНСКИЙ Алексей — Три дня в Ельце. № 3
НАЙДИН Владимир — Давнишние секреты. № 1
НИЛИН Александр — Линия Модильяни. *Мой ордынский роман*. № 6
РУСАКОВ Геннадий — Из баек переводчика. № 4
ХАФИЗОВ Олег — Рассказы бывшего студента. № 5

АРХИВ. СВИДЕТЕЛЬСТВА. МЕМУАРЫ

АЙЗЕНБЕРГ Михаил — На открытом дыхании. № 5
ВАНШЕНКИН Константин — Испытания Теркина. № 6

ЖЕРЕБЦОВА Полина — Вы мне поверьте… № 5
МАКШЕЕВ Вадим — Время, дороги, книги… № 8
МЕДВЕДЕВА Г. — Письма литераторов к Д. Самойлову. № 6
РОКИТЯНСКИЙ Владимир — В поисках Шифферса. № 2
РУБАШКИН Александр — Из «Заметок на полях жизни». № 4
САБУРОВ Евгений — Три горы огней. *Стихи*; О поэзии. *Публикация Т.П. Сабуровой*. № 5
САМОЙЛОВ Давид — Ранние стихи. *Публикация Александра Давыдова*. № 2
СВЕНЦИЦКИЙ Валентин — Венок на могилу Льва Толстого. *Публикация, вступительная статья и примечания С.В. Черткова.* № 11
СИДОРОВ Евгений — Записки из-под полы (Из новой книги). №№ 3, 12
СИМИС Константин — Воспоминания о Дезике. *Публикация и примечания Г. Медведевой*. № 2
СИМКИН Лев — Посольская история. № 7
СЛУЦКИЙ Борис — Начато до войны. *Публикация П. Горелика и Н. Елисеева.* № 5
Александр ТВАРДОВСКИЙ и его «Новый мир». *Свидетельства, подготовленные Мариной Лунд*. № 1
ХОЛОПОВА Елена — Война — последнее дело. № 5

ПУБЛИЦИСТИКА

Книга как повод. Между жанрами. Образ жизни. Studio

АРДОВ Михаил — Разные люди бывают согласны. № 1
ГАЛЬПЕРИН Иосиф — Крики во сне. № 4; Уроки Бесланской школы. № 9
КАГРАМАНОВ Юрий — Война — отец всему? № 5
КОЛЧИН Денис — Признаем друг друга людьми? № 5
МАРЬИНА Татьяна — Университеты русской Швейцарии. № 6
СЕНДЕРОВ Валерий — Немилицейский детектив. № 10
СОСНОВ Георгий — Кризис и так далее. № 6
ТУЛЬЧИНСКИЙ Григорий — Обессиленное общество. № 1
ФЕДОРОВ Анатолий — «За что?» № 2
ЦУКАНИХИН Владимир — Расстрел — безжалостный, упорный, многократный. № 8
ЧАЙКОВСКАЯ Ирина — Американский русский. № 11
ЧУВИЛЯЕВ Павел — Записки мелкого бизнесюка. № 10

КРИТИКА

Книга как повод. Фильм как повод. Пристальное прочтение. Технологии. Nomenclatura. Кино. Культурная политика

АКСЕНОВ Сергей — Анна Каренина. После Толстого. № 2
БАЕВСКИЙ Вадим — Стихотворение Пастернака «В больнице». № 7
БЕРЕЗИН Владимир — Соглядатаи, клоуны и сценаристы. № 12
БУЛКИНА Инна — Проза «нулевых». № 9
ВЕЖЛЯН Евгения — Маргинальный материк (случай Анатолия Гаврилова). № 8
ИВАНОВА Наталья — Трудно первые десять лет. № 1; Дорогое удовольствие. № 11
КЛЮЧНИКОВ Анатолий — Правила для всех. № 4
МАРКОВА Дарья — Синтез ядра. № 6
МОРОЗ Эльвина — Между городом и деревней. № 4
ОБОРИН Лев — О Григории Бакланове. № 5
ПЛИСКЕВИЧ Наталья — Эффективен ли «эффективный менеджер»? № 2
ПОЛУХИНА Валентина — Ритмы России в творчестве Бродского. № 10
СЕДУНОВА Елена, КОЗЬМИНА Елена — «Чувствовалась в нем какая-то духовная возвышенность…». № 10
СКВОРЦОВ Артем — Максим Амелин: знакомый незнакомец. № 10
СТЕПАНЯН Елена — «Это мы, Господи». О дилетантах, профессионалах и мировом холоде. № 2
ФРУМКИН Константин — Откуда исходит угроза книге. № 9
ЧЕРНЯК Мария — Игра на новом поле, или Еще раз о диагнозе российской прозы XXI века. № 11
ЧУПРИНИН Сергей — Остров. *Литература в эпоху паралитературного бума*. № 4
ШИШКОВА-ШИПУНОВА Светлана — Почерк голубки. № 5; В Москву и из Моск-

вы. № 10; Жизнь и смерть интеллигента. № 12
ЩЕРБИНА Татьяна — Бессмертный XX век. № 8
ЩЕРБИНИНА Юлия — Одержимость погибелью. № 7

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

ВИНОГРАДСКИЙ Валерий — Снявши голову. № 10
ЖИДКОВ Юрий — Беды наши общие. № 3
КЛЮЧНИКОВ Анатолий — Где у нас Европа? № 7
КОВАЛЬ Виктор — Рождество на водах. № 12
Коломенская пастила и саратовский калач — ГЕНИНА Анна. Город забытых вкусов; **ПИЛЬНЯК Борис**. Коломенская пастила; **СОРОКИН Игорь**. Саратовский калач. № 1

РОССИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

ГАРДЗОНИО Стефано — Страницы из потерянной тетради в клетку. № 1
РАЙХЕР Виктория — Переводные картинки. № 8
УЛЬРИХ Мая — Копелев в Германии. № 12

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ. ДИСКУССИЯ

XXI век: будущее или — ...? — КАСПЭ Ирина, КРОНГАУЗ Максим, ЛЕВЧЕНКО Ян, САЛЬНИКОВА Екатерина, ФАЙБИСОВИЧ Семен. № 1
Говорят лауреаты «Знамени» — ГЕР Эргали, ГРИШАЕВ Андрей, НАЙДИН Владимир, ПАВЛОВ Олег, ТУЧКОВ Владимир, УЛИЦКАЯ Людмила, ХОДОРКОВСКИЙ Михаил. № 3
Нова ли «Новая критика»? — БУЛКИНА Инна. Новый Пролеткульт; **ГАНИЕВА Алиса**. Не бойся новизны, а бойся пустозвонства; **КУЗНЕЦОВА Анна**. Новые-новые; **ЛАТЫНИНА Алла**. Манифестация воображаемого; **МАРКОВА Дарья**. Не цельности ради; **ОБОРИН Лев**. Митинг на палубе; **ПУСТОВАЯ Валерия**. Мушкетеры десять лет спустя. № 3
Говорят финалисты премии Ивана Петровича Белкина — ГАМАЮН Ульяна, ГЕР Эргали, ЛЕВИТЕС Ирина, НАГИМ Фарид, УШАРОВ Александр. № 5
Настоящий Чехов — *Вступительная заметка* **Натальи ИВАНОВОЙ. ГИНКАС Кама, ОСИПОВ Максим, СТЕПАНЯН Елена**. № 6; **КРЫМОВ Дмитрий, ТУРКОВ Андрей**. № 7; **БЕРЕЗИН Владимир, КУЗИЧЕВА Алевтина**. № 9; **АКСЕНОВ Сергей, ДАВЫДОВ Георгий**. № 10
Dj Stalingrad — Исход. Повесть. *Вместо предисловия.* **ЧУПРИНИН Сергей**. *Еще одно потерянное поколение?* **ЛЕВИНСОН Алексей, КАБАКОВ Александр, ЦВЕТКОВ Алексей, ФАНАЙЛОВА Елена, ЕГОРОВА Марина**. № 9
Однажды в Липках — БЕЛОВ Игорь, ВАЧЕДИН Дмитрий, ДОВЛЕТКИРЕЕВА Лидия, САДУЛАЕВ Герман, ШАРГУНОВ Сергей — Десять лет вместе. **ФИЛАТОВ Сергей** — Планета «Липки». № 10

РЕЗОНАНС. FORUM

ЕРЕМЕНКОВ Станислав — Прерванная кинолетопись. № 11
КУКУЛИН Илья — «Какой счет?» как главный вопрос русской литературы. № 4
СТАРОДУБОВ Вячеслав — С чего начинается общество, или Где моя партия? № 8
ФРУМКИНА Ревекка — Наедине с экраном. № 11

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Книжные серии. Рецензии. Симптом. На другом языке. Дважды. Юбилей. Проект. Музей. Studio. Издательство. Детское. Конференция. Однажды в «Знамени». Фильм. Спектакль. Выставка. Фестиваль

БАБИЧЕВА Анастасия — *Мир «без-»*. Александр Миронов. Без огня. № 6; Самый увлекательный сюжет. Самарские судьбы (Самара). № 8
БЕРЕЗИН Владимир — *Уличные голоса*. Александр Терехов. Каменный мост. № 1
БОГОМОЛОВ Н.А. — *Несколько измерений биографии*. Андрей Арьев. Жизнь Георгия Иванова: *Документальное повество-*

вание. № 4; Ошметки чужого огня. Владимир Батшев. Александр Галич и его жестокое время. № 11

БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — Заметки о внешних впечатлениях. *Александр Архангельский. Тем временем. № 2; Зачем*? Светлана Сорокина. Недетские истории; Светлана Сорокина. Мне не все равно. С комментариями психолога Елены Султановой. *№ 4; «Я русский бы выучил…»*. Современная русская проза — XXI век: Хрестоматия для изучающих русский язык как иностранный. *Под ред. Е.А. Кузьминовой, И.В. Ружицкого*. № 5; *Как художник художника*. № 7; *Христианство и кино*. Царь. Фильм Павла Лунгина; Палата № 6. Фильм Карена Шахназарова. № 8; *Очень странное кино 2*. Утомленные солнцем 2. *Режиссер Никита Михалков*. № 10; *Фильм снят по заказу…* Александр Сегень. Поп; Поп. Фильм Владимира Хотиненко. № 12

БЫКОВ Леонид — *В соответствии со здравым смыслом*. Н.А. Купина, М.А. Литовская, Н.А. Николина. Массовая литература сегодня. № 2

В.К. (Виктор Кузнецов) — *Кавказский меловой круг?* Вайнах: Литературно-художественный журнал (Грозный); Литературная Адыгея. Литературно-художественный и общественно политический журнал (Майкоп); Горцы: Кавказская литературно-художественная газета (Махачкала). № 5

ВАЙЛЬ Борис — *Обо всем понемногу*. Иные берега: журнал о русской культуре за рубежом. № 2; *Мандельштам и Сталин*. Делир Лахути. Образ Сталина в стихах и прозе Мандельштама. № 5

ВАСИЛЬЕВА Светлана — *Зыбка с ветошью*. Л.Н. Толстой. Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть. — Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова. Режиссер, художественный руководитель Т.Н. Чхеидзе. № 1; *Резонансный эффект*. Эдмунтас Някрошюс. Идиот. Театр «Мено Фортас» (Вильнюс). № 4; *«Искусство есть искусство есть искусство»*. «Триптих» по А. Пушкину. Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко». Идея спектакля, организации пространства, режиссура Петра Фоменко. № 11

ВАСЮЧЕНКО Ирина — *Под звуки флейты*. Григорий Канович. Очарованье сатаны. № 5

ВОЛОДИХИН Дмитрий — *Смерть в конце тоннеля*. Александр Терехов. Каменный мост. № 1; *Летучее создание*. Леонид Юзефович. Журавли и карлики. № 8

ГАЛИНА Мария — *Стихи, уловленные Сетью*. Библиотека журнала «Современная поэзия». — М.: Вест-консалтинг. № 7

ГОЛУБКОВА Анна — *Женская драма начала века*. Женская драматургия Серебряного века: антология. *Составление, вступительная статья и комментарии М.В. Михайловой*. № 4

ДЕМАХИН Александр — *Страшный субботник*. А.П. Чехов. Иванов. *Режиссер Юрий Бутусов*. № 5

ДУЛЕНИН Олег — *От медведей белых до берлинских…* Как я провел этим летом. *Режиссер Алексей Попогребский*. № 9

ЕЛИСТРАТОВ Владимир — *Филологическая виртуаль как жанр исторического романа.* Борис Голлер. Возвращение в Михайловское. № 4

ЕРМАКОВА Анастасия — *Ускользание ответа*. Поколение: Проза. — Александр Зайцев. Старое общежитие; Кирилл Рябов. Стрельбы из настоящего оружия; Моше Шанин. Я знаю, почему ты пишешь рассказы. № 1; *Человеческая интонация*. Игорь Гамаюнов. Свободная ладья. № 12

ЕРМОШИНА Галина — *Эльфы в нашей жизни*. Эльф: Литературный журнал для школьников (Петрозаводск). № 4; *В поисках божественного слова*. Елена Зейферт. Веснег. № 5; *Журнал в библиотеке*. Сура: журнал современной литературы, культуры и общественной мысли. (Пенза). № 6; *Только для книголюбов*. У книжной полки: журнал для библиотек. (Москва). № 7

ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ Александр — С казахского на русский. Республиканский конкурс переводчиков казахской поэзии на XI Фестивале языков народа Казахстана. № 2; *Пьеса про наш сад*. А.П. Чехов. Вишневый сад. — *Алматы: Государственный академический русский театр драмы им. М.Ю. Лермонтова. Режиссер Рубен Андриасян*. № 10

ЗАКУРЕНКО Александр — *О пути*. Кейс Вайман. Духовность. № 3

ЗЕЙФЕРТ Елена — *Поэты Ра*. Библиотека журнала «Дети Ра». Поэтическая серия. — Михаил Вяткин. После абсурда; Евгений Степанов. Две традиции; Татьяна Щекина. Кончился свет. № 1; *В парковом раю*. Владимир Рецептер, Ворон в Таврическом. № 3

ИГНАТЬЕВА Мария — *Ничего личного. Ничего лишнего*. Лариса Щиголь. Вариант сюжета. № 6

КАЛМЫКОВА Вера — *«…свежая творческая энергия жизни — “душа”…»*. Андрей Платонов. Собрание сочинений. Усомнившийся Макар: Рассказы 1920-х годов. Стихотворения; Эфирный тракт: Повести 1920-х — начала 1930-х годов; Чевенгур: Роман, Котлован: Повесть; Архив Платонова. Книга 1. № 3

КАРЕВ Андрей — *«Знакомое неизвестное» этим летом*. Знакомое неизвестное. *Живопись Германии, Австрии, Швейцарии, Дании Норвегии, Швеции XV — начала XIX века из фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина*. № 11

КОРМИЛОВ С.И. — *Ахматова, англичанин и сексотки*. И. Копылов, Т. Позднякова, Н. Попова. И это было так. Анна Ахматова и Исайя Берлин. № 6; *Филолог об истории*. Юрий Коновалов. XIX век: события и люди. № 11

КОСТЫРКО Василий — *Памяти родового тела*. Мариам Петросян. Дом, в котором… № 11

КУБАТЬЯН Георгий — *В особой аранжировке*. Леонид Григорьян. Лягу в два, а встану в три… № 9

КУЗНЕЦОВ Виктор — *Слушать и слышать*. Казань. Журнал. № 1; *О драмах жизни и кино*. Киноведческие записки. № 3; *«…Побитого жалеть, убитого не забыть. Но и только»*. Сергей Каледин. Почему проиграли войну. № 5; *Беспамятство?*. Леонид Костюков. Великая страна. Мэгги. № 6; *Театр — весь мир?* Страстной бульвар, 10. № 12

КУЛАКОВ Владислав — *Summa Summarum*. Евгений Сабуров. В сторону Африки. № 2

КУРЧАТКИН Анатолий — *Из Америки с любовью и ностальгией*. Михаил Эпштейн, Сергей Юрьенен. Энциклопедия юности. № 8

ЛЕЙБОВИЧ Олег — *«Народным комиссарам (разумею римских)…»*. Епископ Варнава (Беляев). «Дядя Коля» против… *Записные книжки епископа Варнавы (Беляева)*. 1950—1960. *Составление, вступительный очерк, комментарии П.Г. Проценко*. № 10

МАРКОВА Дарья — *Без больших надежд*. Захар Прилепин. Именины сердца. Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно. № 3; *В отсутствие неба над головой*. Роман Сенчин. Елтышевы. № 10; *Изнутри*. Марина Бувайло. Игры. № 12

МЕЛЬНИКОВА Жанна — Столетие Юрия Домбровского. № 5

МИХАЙЛОВА Мария — *Из Серебряного переулка — в век Серебряный*. Андрей Турков. «Что было на веку…» *Странички воспоминаний*. № 4; *«Этот мудрец никогда не состарится…»*. Между сердцем и временем: Воспоминания об Александре Дейче. № 12

МОРОЗ Э. — *На круги своя. Об издательстве «Возвращение» (Москва)*. № 7; Игорь Сутягин. На полпути к сибирским рудам. № 8

МОРОЗОВА Татьяна — *Дежурная по пятиэтажной России*. Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия. № 9

МУРАВЬЕВА Ирина — *Поезд в ночи*. Александр Городницкий. Ночной поезд. № 11

МЫСЛИВЧЕНКО Александр — Чеховские дни на Луке. № 12

ОБОРИН Лев — *Облако тэгов*. Денис Драгунский. Нет такого слова. № 2; *Красная книга*. Бенгт Янгфельд. Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг. Перевод со шведского Аси Лавруши и Бенгта Янгфельда. № 3

ОРЛИЦКИЙ Юрий — *Глазами свидетеля*. Игорь Клех. Хроники 1999 года. № 10

ПАНН Лиля — *Роман-энциклопедия*. Михаил Эпштейн, Сергей Юрьенен. Энциклопедия юности. № 8

ПЕРМЯКОВ Андрей — *Частный сектор*. Алексей Дьячков. Райцентр. № 10

РАХАЕВА Юлия — *Четыре Сирано и еще один романтик*. Эдмон Ростан. Сирано де Бержерак: четыре перевода. Героическая комедия в пяти действиях в стихах. Перевод с французского Т. Щепкиной-Куперник, В. Соловьева, Ю. Айхенвальда, Е. Баевской. Составление А. Григорьева. Вступительная статья И. Гуляевой. № 12

РУСАКОВ Андрей — *Педагогика белых оленей*. Анатолий Цирульников. Педагогика кочевья. № 10

САФРОНОВА Елена — *Детство на колесах*. Эдуард Кочергин. Крещенные крестами. Записки на коленках. № 5

СЕНДЕРОВ Валерий — *Выстоявший утес*. Эрнст Юнгер. На мраморных утесах. *Перевод с немецкого: Евгений Воропаев*. № 9; *О лютерах поганых, латыньских, и учебниках российских, патриотических*. Литературное чтение. 4-й класс. Часть I. *Составление: Л.Ф. Климанова и др*. № 12

СКВОРЦОВ Артем — *Наше все равно*. Андрей Василевский. Все равно. № 12
СТАРИКОВСКИЙ Григорий — *Отторжение знакомых смыслов*. Ирина Машинская. Волк. № 4
СТЕПАНОВ Евгений — *Этнос и жанр*. Е.И. Зейферт. Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины XX — начала XXI веков. № 12
СТЕПАНЯН-РУМЯНЦЕВА Елена — *Слушая источники жизни*. Н.А. Дмитриева. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет. № 12
ТУЛЬЧИНСКИЙ Григорий — *Книга о выносимой трудности бытия*. Л.С. Клейн. Трудно быть Клейном: Автобиография в монологах и диалогах. № 5
ТУМАНОВА С.Р. — *«Незаменимое и неподкупное для моей души»*. «И только правда ко двору». Материалы Четвертых Твардовских чтений. № 6
УЛАНОВ Александр — *Шаг навстречу?* Политология России. — Демократия в современном мире: сборник статей; Сообщества как политический феномен: сборник статей. № 1; *Странствия взгляда*. Сергей Костырко. На пути в Итаку. № 2; *Существования литературы*. А.И. Рейтблат. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. № 3; *Текст повышенного внимания*. Борис Останин. На бреющем полете. № 6; *Беспокойное сердце // Свободны как никогда*. Краткий курс. — М.: Текст. № 7; *Победа поражения*. Анатолий Барзах. Причастие прошедшего зрения. № 8; *Мученик искусства*. Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940—2007): Сборник статей и материалов. № 11
ФАЛИКОВ Илья — *Перепек*. Владимир Радзишевский. Между жизнью и смертью: Хроника последних дней Владимира Маяковского; Андрей Белый — Григорий Санников. Переписка 1928—1933. *Составление, предисловие и комментарии: Д.Г. Санникова*. № 2; *Обратный путь*. Александр Кабанов. Бэтмен Сагайдачный. *Крымско-херсонский эпос*. № 11
ФИШМАН Леонид — *«СССР™» как «утопия ордена»*. Шамиль Идиатуллин. СССР™. № 6
ЧАСОВНИКОВА Евгения — *Мои четыре строчки*. Supremum {versus}. — *Уфа: Вагант*. № 7
ЧЕРЕШНЯ Валерий — *Реквием по эпохе*. Маргарита Хемлин. Клоцвог. № 11
ЧЕРНЯК М.Ф. — *Петербургский диагноз*. Международная научная конференция «Русская литература в XXI веке. Первое десятилетие: диагнозы и прогнозы». № 8
ЧКОНИЯ Даниил — *Для людей о людях*. Михаил Гиголашвили. Чертово колесо. № 6
ЩЕГЛОВА Евгения — *Монолог из царства разума*. Евгений Калмановский. Мое собрание лиц. Жизнь: книги и люди. № 3
Ю.Б. — *Когда цвет растворяется в свете*. О живописи Наталии Брагиной. № 3
ЮРКЕВИЧ Александр — *Революции с любовью и без*. Александр Панцов. Рассказы о Мао Цзэдуне. Книга Первая. Любовь и революция, или Приемный сын Бодхисаттвы; Книга вторая. Революция без любви, или Бунт — дело правое! № 9
ЯВЛЮХИНА Наталья — *Предел обнаружения*. Ольга Сульчинская. Апрельский ангел. № 5; *Ток-шоу про ад*. Мария Ватутина. На той территории. № 6

Ни дня без книги

КУЗНЕЦОВА Анна — №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

IN MEMORIAM

Памяти Григория Бакланова — № 2

Именной указатель авторов журнала «Знамя» за 2010 год

а

АГЕЕВА Людмила — № 1
АЙЗЕНБЕРГ Михаил — №№ 5, 7
АКСЕНОВ Сергей — №№ 2, 10
АЛЕХИН Евгений — № 7
АМЕЛИН Максим — №№ 7, 12
АРАБОВ Юрий — № 1
АРДОВ Михаил — № 1

б

БАБИЧЕВА Анастасия — №№ 6, 8
БАЕВСКИЙ Вадим — № 7
БАЛЛ Георгий — № 3
БАРХИН Сергей — № 4
БАСМАНОВ Александр — № 12
БАХАРЕВ-ЧЕРНЕНОК Антон — № 2
БЕЛОВ Игорь — № 10
БЕНИГСЕН Всеволод — № 4
БЕРЕЗИН Владимир — №№ 1, 8, 9, 12
БОГОМОЛОВ Н.А. — №№ 4, 11
БУВАЙЛО Марина — № 9
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — № 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12
БУЙДА Юрий — № 10
БУКУР Вячеслав — № 3
БУЛКИНА Инна — №№ 3, 9
БЫКОВ Леонид — № 2

в

В.К. (Виктор Кузнецов) — № 5
ВАЙЛЬ Борис — №№ 2, 5
ВАНШЕНКИН Константин — №№ 2, 6, 11
ВАСИЛЬЕВ Андрей — № 6
ВАСИЛЬЕВА Светлана — №№ 1, 4, 11
ВАСЮЧЕНКО Ирина — № 5
ВАЧЕДИН Дмитрий — №№ 9, 10
ВЕДЕНЯПИН Дмитрий — № 6
ВЕЖЛЯН Евгения — № 8
ВЕРНИКОВ Александр — № 5
ВИНОГРАДСКИЙ Валерий — № 10
ВИШНЕВЕЦКАЯ Марина — № 4
ВОЛОДИХИН Дмитрий — №№ 1, 8
ВУЛФ Олег — № 3

г

ГАВРИЛОВ Анатолий — № 8
ГАДАЕВ Константин — № 7
ГАЛИНА Мария — № 7
ГАЛЬПЕРИН Иосиф — №№ 4, 9
ГАМАЮН Ульяна — № 5
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир — № 4
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — №№ 1, 5
ГАНИЕВА Алиса — № 3
ГАРДЗОНИО Стефано — № 1
ГЕНАТУЛИН Анатолий — № 5
ГЕНИНА Анна — № 1
ГЕР Эргали — №№ 3, 5
ГЕССЕН Ольга — № 10
ГИНКАС Кама — № 6
ГОЛУБКОВА Анна — № 4
ГОРЛАНОВА Нина — № 3
ГРИБОНОСОВ-ГРЕБНЕВ Григорий — № 1
ГРИШАЕВ Андрей — № 3
ГУРЕЕВ Максим — № 5

д

ДАВЫДОВ Георгий — №№ 5, 10
ДЕМАХИН Александр — № 5
ДОВЛЕТКИРЕЕВА Лидия — № 10
ДОЗМОРОВ Олег — № 8
ДОЛГОПЯТ Елена — № 10
ДРАГОМОЩЕНКО Аркадий — № 6
ДУЛЕНИН Олег — № 9

е

ЕГОРОВА Марина — № 9
ЕЛИСТРАТОВ Владимир — № 4
ЕРЕМЕНКОВ Станислав — № 11
ЕРМАКОВА Анастасия — №№ 1, 12
ЕРМОШИНА Галина — №№ 4, 5, 6, 7

ж

ЖЕРЕБЦОВА Полина — № 5
ЖИДКОВ Юрий — № 3
ЖУК Вадим — № 11

З

ЗАВЕРШНЕВА Екатерина — № 12
ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ Александр — №№ 2, 10
ЗАКУРЕНКО Александр — №№ 3, 9
ЗАРАХОВИЧ Алексей — № 7
ЗЕЙФЕРТ Елена — №№ 1, 3
ЗОРИН Леонид — № 2
ЗОТОВ Игорь — № 9

И

ИВАНОВА Наталья — №№ 1, 6, 11
ИГНАТЬЕВА Мария — № 6

К

КАБАКОВ Александр — № 9
КАБАНОВ Вячеслав — № 8
КАГРАМАНОВ Юрий — № 5
КАЛМЫКОВА Вера — № 3
КАПОВИЧ Катя — № 5
КАРЕВ Андрей — № 11
КАСПЭ Ирина — № 1
КЕНЖЕЕВ Бахыт — №№ 1, 9
КИБИРОВ Тимур — № 6
КИМ Юлий — № 10
КЛЮЧНИКОВ Анатолий — №№ 4, 7
КОВАЛЬ Виктор — №№ 6, 12
КОЗЬМИНА Елена — № 10
КОКОШКО Юлия — № 11
КОЛЧИН Денис — № 5
КОРМИЛОВ С.И. — № 6, 11
КОСТЕЛЬМАН Владимир — № 3
КОСТЫРКО Василий — № 11
КОЧЕРГИН Эдуард — № 5
КРОНГАУЗ Максим — № 1
КРУГЛОВ Сергей — № 9
КРЫМОВ Дмитрий — № 7
КУБАТЬЯН Георгий — № 9
КУБРИК Алексей — № 8
КУЗИЧЕВА Алевтина — № 9
КУЗНЕЦОВ Виктор — №№ 1, 3, 5, 6, 12
КУЗНЕЦОВА Анна —№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
КУКУЛИН Илья — № 4
КУЛАКОВ Владислав — № 2
КУРЧАТКИН Анатолий — №№ 8, 11—12
КУШНЕР Александр — № 5
КЮНЕ Екатерина — № 4

Л

ЛАТЫНИНА Алла — № 3
ЛЕВИН Александр — № 6
ЛЕВИНСОН Алексей — № 9
ЛЕВИТЕС Ирина — № 5
ЛЕВЧЕНКО Ян — № 1
ЛЕЙБОВИЧ Олег — № 10
ЛЕОНОВА Элина — № 4
ЛИСНЯНСКАЯ Инна — № 8
ЛОГВИНОВА Анна — № 3
ЛУКЬЯНОВ Павел — № 12

М

МАКУШИНСКИЙ Алексей — № 3
МАКШЕЕВ Вадим — № 8
МАРКОВА Дарья — №№ 3, 6, 10, 12
МАРЬИНА Татьяна — № 6
МАШИНСКАЯ Ирина — № 8
МЕДВЕДЕВА Г. — № 6
МЕЛЬНИКОВА Жанна — № 5
МЕСЯЦ Вадим — № 6
МИТИН Павел — № 5
МИХАЙЛОВА Мария — №№ 4, 12
МОРОЗ Эльвина — №№ 4, 7, 8
МОРОЗОВА Татьяна — № 9
МУРАВЬЕВА Ирина — № 11
МУХАЧЕВ Дмитрий — № 11
МЫСЛИВЧЕНКО Александр — № 12

Н

НАГИМ Фарид — № 5
НАЙДИН Владимир — №№ 1, 3
НЕМЗЕР Анна — № 7
НИКОЛЕНКОВА Наталья — № 12
НИЛИН Александр — № 6
НОСКОВ Александр — № 9

О

ОБОРИН Лев — №№ 2, 3, 5
ОРЛИЦКИЙ Юрий — № 10
ОСИПОВ Максим — №№ 5, 6, 11

П

ПАВЛОВ Олег — № 3
ПАНН Лиля — № 8
ПЕРМЯКОВ Андрей — № 10
ПЕРФИЛЬЕВ Юрий — № 11
ПЕТКЕВИЧ Юрий — № 4
ПИЛЬНЯК Борис — № 1
ПЛИСКЕВИЧ Наталья — № 2
ПОЛУХИНА Валентина — № 10
ПОЛЯКОВ Андрей — № 5
ПОПОВ Евгений — № 2
ПУРИН Алексей — № 4

ПУСТОВАЯ Валерия — № 3

р

РАДАШКЕВИЧ Александр — № 8
РАЙХЕР Виктория — № 8
РАХАЕВА Юлия — № 12
РЕЦЕПТЕР Владимир — № 2
РОКИТЯНСКИЙ Владимир — № 2
РУБАШКИН Александр — № 4
РУСАКОВ Андрей — № 10
РУСАКОВ Геннадий — №№ 4, 10
РЯШЕНЦЕВ Юрий — № 4

с

САБУРОВ Евгений — № 5
САДУЛАЕВ Герман — №№ 1—2, 11
САЛЬНИКОВА Екатерина — № 1
САМОЙЛОВ Давид — № 2
САМСОНОВ Сергей — № 4
САНЧУК Виктор — № 10
САФИЕВ Надир — № 4
САФРОНОВА Елена — № 5
СВЕНЦИЦКИЙ Валентин — № 11
СЕДУНОВА Елена — № 10
СЕНДЕРОВ Валерий — №№ 9, 10, 12
СИДОРОВ Евгений — №№ 3, 12
СИМИС Константин — № 2
СИМКИН Лев — № 7
СКВОРЦОВ Артем — №№ 10, 12
СКУЛЬСКАЯ Елена — № 3
СЛАВНИКОВА Ольга — №№ 9—10
СЛУЦКИЙ Борис — № 5
СНЕГИРЕВ Александр — № 1
СОРОКИН Игорь — № 1
СОСНОВ Георгий — № 6
СТАНИСЛАВСКАЯ Елена — № 10
СТАРИКОВСКИЙ Григорий — № 4
СТАРОДУБОВ Вячеслав — № 8
СТЕПАНОВ Евгений — № 12
СТЕПАНЯН Елена — №№ 2, 6
СТЕПАНЯН-РУМЯНЦЕВА Елена — № 12

т

ТАВРОВ Андрей — № 12
ТВАРДОВСКИЙ Александр — № 1
ТИМАТКОВА Мария — № 12
ТРАФЕДЛЮК Сергей — № 1
ТУЛЬЧИНСКИЙ Григорий — №№ 1, 5
ТУМАНОВА С.Р. — № 6
ТУРКОВ Андрей — № 7
ТУЧКОВ Владимир — №№ 3, 10

у

УЛАНОВ Александр — №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11
УЛИЦКАЯ Людмила— № 3
УЛЬРИХ Мая — № 12
УШАРОВ Александр — № 5

ф

Ф.К. — № 12
ФАЙБИСОВИЧ Семен — № 1
ФАЛИКОВ Илья — №№ 2, 11
ФАНАЙЛОВА Елена — № 9
ФЕДОРОВ Анатолий — № 2
ФИЛАТОВ Сергей — № 10
ФИШМАН Леонид — № 6
ФРУМКИН Константин — № 9
ФРУМКИНА Ревекка — № 11

х

ХАФИЗОВ Олег — № 5
ХОДОРКОВСКИЙ Михаил — № 3
ХОЛОПОВА Елена — № 5
ХОХЛОВА Оля — № 4

ц

ЦВЕТКОВ Алексей — №№ 2, 9
ЦУКАНИХИН Владимир — № 8

ч

ЧАЙКОВСКАЯ Ирина — № 11
ЧАСОВНИКОВА Евгения — № 7
ЧЕРЕШНЯ Валерий — № 11
ЧЕРНЯК Мария — №№ 8, 11
ЧКОНИЯ Даниил — № 6
ЧУВИЛЯЕВ Павел — № 10
ЧУПРИНИН Сергей — №№ 3, 4, 9
ЧУХОНЦЕВ Олег — № 1

ш

ШАНИН Моше — № 2
ШАРГУНОВ Сергей — № 10
ШВАРЦ Елена — № 3
ШЕНДЕРОВИЧ Виктор — № 3
ШИШКИН Михаил — №№ 7—8
ШИШКОВА-ШИПУНОВА Светлана — №№ 5, 10, 12
ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь — № 6

щ

ЩЕГЛОВА Евгения — № 3
ЩЕРБИНА Татьяна — № 8
ЩЕРБИНИНА Юлия — № 7

ю

Ю.Б. — № 3
ЮРКЕВИЧ Александр — № 9

я

ЯВЛЮХИНА Наталья — №№ 5, 6

Dj Stalingrad — № 9

Письмо в редакцию

В № 11 нашего журнала был напечатан цикл очерков русского богослова и публициста В. Свенцицкого «Венок на могилу Льва Толстого», предоставленный редакции публикатором С. Чертковым, с его вступительной статьей и комментариями. В № 11 журнала «Наш современник» появился практически аналогичный цикл, правда, уже под названием «Куда уехал Лев Толстой?». В ответ на наш вопрос, заданный г. Черткову, каким образом это могло произойти, редакция получила нижеследующее письмо.

Уважаемая редакция!

21 июня 2010 цикл очерков В.П. Свенцицкого «Венок на могилу Льва Толстого» был передан мною в журнал «Знамя». 8 июля я отклонил предложение «Знамени» напечатать только треть текста и 13 июля представил материал в журнал «Наш современник», но никакого ответа не получил. 19 июля «Знамя» выразило желание опубликовать произведение в относительно полном объеме, спустя месяц началась совместная с К.А. Степаняном плодотворная работа по технической подготовке текста, который и появился в ноябрьском номере. О готовящемся издании очерков в журнале «Наш современник» я не подозревал, полагая, что это невозможно без предварительных переговоров и согласования с публикатором; лишь 11 ноября с удивлением узнал о свершившемся факте.

Произошедшее частичное дублирование свидетельствует о нарастающем интересе к творчеству Свенцицкого — слишком долго оно оставалось под спудом, и возвращение к читателю будет лавинообразным (только что еще два «толстых» журнала опубликовали ранее не переиздававшиеся лекции и рассказы, впервые изданы «Диалоги» в авторской редакции). На давно назревшую потребность полноценного знакомства с его трудами отвечает Собрание сочинений, 2-й том которого, включающий раннюю публицистику, выйдет в январе 2011.

14 ноября 2010
Чертков С.В.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
©журнал знамя/12/2010 декабрь ISSN 0130-1616
выходит с января 1931 года

Сергей ЧУПРИНИН
главный редактор
699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

Наталья ИВАНОВА
первый заместитель главного редактора
699 39 60, ivanova@znamlit.ru

Елена ХОЛМОГОРОВА
ответственный секретарь
699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

Евгения ВЕЖЛЯН
отдел прозы
699 47 84, vejlyan@znamlit.ru

Ольга ЕРМОЛАЕВА
отдел поэзии
699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

Анна КУЗНЕЦОВА
отдел библиографии
отдел публицистики
699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

Карен СТЕПАНЯН
отдел критики
699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

Ольга ТРУНОВА
отдел прозы
699 47 84, trunova@znamlit.ru

Елизавета ПОЛУКЕЕВА
корректор

Евгения БИРЮКОВА
допечатная подготовка, производство, распространение
699 80 67 т/факс, bir@znamlit.ru

Валерий КАЛНЫНЬШ
художник

Людмила БАЛОВА
исполнительный директор
699-48-98

Марина ГАСЬ
бухгалтер
699-48-98

Наталья РОГОЖИНА
компьютерный набор
699-48-71

Марина СОТНИКОВА
заведующая редакцией
info@znamlit.ru
699-52-83

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по делам печати и массовых коммуникаций

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/znamia/

адрес редакции:
123001, Москва,
ул. Большая Садовая, 2/46
(вход с улицы Малая Бронная).
Для справок: (495) 699 52 83 т/факс,
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации №20 от 28.08.1990.
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя»
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 15.10.2009.
Подписано к печати 17.11.2010.
Формат 70x108 1/16.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз.
Заказ № 4135

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом «Красная звезда».
123007, Москва, Хорошевское ш, 38.
http: www.redstarph.ru

СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ» И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ
Также представлены журналы
«Арион», «Вопросы литературы», **«Дружба народов»**, **«Если», «Звезда»**, **«Иностранная литература», «Континент», «Мир Паустовского», «Нева»**, **«Новый мир»**, **«Октябрь»**, альманах **«Достоевский и мировая культура»**.

метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46, вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своем решении.

Материалы, поступившие по e-mail, а также рукописи объемом более 10 авторских листов (400 000 знаков) не рассматриваются.

«ЗНАМЯ» В 2010 — НАЧАЛЕ 2011

Белла АХМАДУЛИНА. За весь род воробьиный
Эльга БАКЛАНОВА. Мой муж Григорий Бакланов
Всеволод БЕНИГСЕН. Глебов-младший
Валерий БОЧКОВ. Ферзевый гамбит
Христина БОЯДЖИЕВА. Воспоминания о Мандельштаме
Ольга БУГОСЛАВСКАЯ. Советское значит шампанское
Юрий БУЙДА. Синяя кровь
Инна БУЛКИНА. Время Чижовой
Равиль БУХАРАЕВ. Горбунок
Надежда ВЕНЕДИКТОВА. Чистильщик
Ульяна ГАМАЮН. ∞
Исаак ГЛАН. Мячик
Игорь ГОЛОМШТОК. Воспоминания старого пессимиста
Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные книжки
Георгий ДАВЫДОВ. Алхимик
Андрей ДМИТРИЕВ. Крестьянин и тинейджер
Ганс ДИБОЛЬД. В бункерах Сталинграда
Вадим ДУБНОВ. Кавказ особого назначения
Юрий ЖИДКОВ. Инфаркт
Леонид ЗОРИН. Муравейник
Елена КОМАРОВА. Уроки игры на баяне
Владимир МАКАНИН. Новая повесть
Олеся НИКОЛАЕВА. Деньги для Саваофа
Даниэль ОРЛОВ. Счастливая жизнь победителя
Владислав ОТРОШЕНКО. Новая повесть
Олег ПАВЛОВ. Вор
Ольга ПОКРОВСКАЯ. Невеста Марина
Станислав РАССАДИН. Один из нас
Ирина САВКИНА. Герои каптруда и ударники потребления
Ольга СЛАВНИКОВА. Уступи место
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма
Константин ФРУМКИН. Стабильность. Что дальше?

новая проза

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,
Фазиля ИСКАНДЕРА,
Александра КАБАКОВА,
Эдуарда КОЧЕРГИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Юрия ПЕТКЕВИЧА,
Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Дины РУБИНОЙ,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра СНЕГИРЕВА,
Александра ТЕРЕХОВА,
Маргариты ХЕМЛИН,
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ,
Сергея ЮРСКОГО

новые стихи

Шамшада АБДУЛЛАЕВА,
Юлии АРХАНГЕЛЬСКОЙ,
Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,
Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Аркадия ДРАГОМОЩЕНКО,
Михаила КВАДРАТОВА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Тимура КИБИРОВА,
Виктора КОВАЛЯ,
Татьяны ПОЛЕТАЕВОЙ,
Андрея ПОЛЯКОВА,
Константина РУПАСОВА,
Марии СТЕПАНОВОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Олега ЧУХОНЦЕВА

адрес редакции:
123001, Москва
ул. Большая Садовая, 2/46
телефон/факс: 699 52 83
e-mail: info@znamlit.ru